

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)

Г. Андреев, Л. Ржевский

1976 – 1981 редактор Роман Гуль

1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Е. Магеровский

1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Ю. Кашкаров, Е. Магеровский

1986 – 1990 Редакционная коллегия

1990 – 1994 редактор Юрий Кашкаров

1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Семьдесят седьмой год издания

Главный редактор Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах, Марина Гарбер, Генрих Иоффе, Елена Краснощекова, Мария Рубинс, Валентина Синкевич, Владимир фон Цуриков.

Ответственный секретарь – Рудольф Фурман

Редакция – Владимир Гандельсман, Наталья Гастева, Марина Гарбер.

The New Review, Inc.:

T.Bobrinskoy; T.Chebotareva; S.Hollerbach; G.Glinka; M.Jordan;
P.Khlebnikov; V.Kreyd; G.Mesniaeff; A.Nebolsine; A.Neratoff;
I.Sikorsky; V.Sinkevich; P.Tcherepnine; V. von Tsurikov; M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 290, Март 2018

© 2018 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» он-лайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012.
Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.

POSTMASTER: send address changes to The New Review,
611 Broadway, # 902, New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Владимир Гржонко</i> – Время сурка. Роман	5
<i>Валерий Черешня</i> – Женщина. Старость. Смерть. Стихи	103
<i>Вера Зубарева</i> – В ожидание непогод. Стихи	107
<i>Елена Малишевская</i> – Стихи	113
<i>Игорь Гельбах</i> – Призрак Алафузова. Повесть	116
<i>Михаил Этельзон</i> – Стихи	162
<i>Ефим Ярошевский</i> – Стихи разных лет	166
<i>Евгений Шкловский</i> – Рассказы	170
<i>Татьяна Скрундзь</i> – Кукушка. Рассказ	180
<i>Зоя Межирова</i> – Стихи	187
<i>Татьяна Ананич</i> – Стихи	191
<i>Владимир Батиев</i> – Приключения с турецким барабаном	194
<i>Борис Ильин</i> – Стихи	210
<i>Дмитрий Артис</i> – Стихи	213

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Вячеслав Вс. Иванов</i> – «И Бог ночует между строк...» (Публ. – Е. Якович)	215
«Священное право творить свободно».	
Прогрессивные литераторы о съездах советских писателей (Публ. – Ю. Сандулов)	255

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

<i>Андрей Красильников</i> – Есть у революции начало... и есть у революции конец	275
<i>Ара Мусаян</i> – Искусство и неистовство	285
<i>Игорь Рейф</i> – Рафаил Нудельман. Русский Айзик Азимов	304
<i>Л. Бельская</i> – «Я не в изгнание, я – в посланье»	318

КНИГА И СУДЬБА

<i>Наталья Червинская</i> – Записки читателя	330
--	-----

ЗАМЕТКИ. ЭССЕ

<i>Сергей Голлербах</i> – Голос двух столетий. К 100-летию Ивана Елагина	347
---	-----

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

М. Адамович – Сын кадета.

Памяти князя В. К. Голицына (1942–2018) 352

БИБЛИОГРАФИЯ

Евгений Голлербах – Вульфина Лариса. Неизвестный Ре-Ми: Художник Николай Ремизов; *Виктор Леонидов* – Владимир Варшавский. Ожидание. Проза, эссе, литературная критика; *М. В. Михайлова*, *А. Н. Кравцов* – Михаил Соловьев. Когда боги молчат. Малая война; *Артем Лысенко* – Андрей Чернышев. Открывая новые горизонты. Споры у истоков русского кино. Жизнь и творчество Марка Алданова; *М. Адамович* – Доктор Лиза Глинка. «Я всегда на стороне слабого». Дневники, беседы; Лиза Глинка. Письма о любви к людям 355

ОБ АВТОРАХ 376

УКАЗАТЕЛЬ К №№ 281–290, 2015–2018 380

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Владимир Гржонко

Время сурка*

*Посвящается двум Абрамам – моим дедам,
одного я никогда не видел, а второго видел,
но почти не знал.*

ПОСЛЕ

По шаткой железной лестнице я взобрался в самолет и, перехватив автомат поудобнее, спросил: «А где здесь Гагарин?». Происходило это, если мне не изменяет память, году в шестьдесят третьем; Гагарин все еще был главным героем страны и поэтому никто из пассажиров маленького деревянного ИЛ-14 не удивился; все, включая пилота, в ту невинную пору не отделенного от салона пуленепробиваемой стенкой, рассмеялись. Пассажиры смеялись громко, но немного нервно, как всегда бывает перед полетом. Я же тогда совсем не боялся летать, потому что не знал еще ни страха высоты, ни страха смерти. Которая, как стало мне известно чуть позже, иногда бывает внезапной. В три года вообще хорошо живется на свете. Особенно когда у тебя есть деревянный автомат с круглым, выкрашенным черной, замечательно пахнущей масляной краской, диском а-ля ППШ. И ты впервые в жизни летишь на самолете, управлять которым, конечно же, должен сам Гагарин.

Начав работать с пожилыми людьми, я стал лучше относиться к старости. Потому, наверное, что теперь мне самому до нее уже рукой подать. А может быть, наоборот: когда я видел сведенные артритом руки, выцветшие, обращенные внутрь себя глаза и нетвердую походку, то испытывал эгоистичную радость от того, что сам-то я еще хоть куда...

Впрочем, не могу сказать, что мне нравилась сама работа. Я был мозольным оператором в специальном Центре по болезням ног на Брайтоне, возглавляемом доктором Коцем. Сюда приходили на педикюр старики со всего района. Кряхтя, они усаживались в кресло, я опускался на низенький стульчик, потом они протягивали мне свою

*Журнальный вариант. © Vladimir Grjonko

корявую, не всегда чистую ногу с вросшими ногтями и пяточными шпорами...

А потом ко мне в кресло села она. Это случилось в жаркий майский день ровно месяц назад. Я не сразу понял, что произошло, даже еще не взглянул на нее. Увидел только сухонькие маленькие ступни и подумал, что работы тут будет совсем немного.

– Меня зовут Рита, – кокетливо сообщила пожилая дама, и, словно угадав мои мысли, добавила: – Особых хлопот, голубчик, я вам не доставлю. Обычно я пользуюсь услугами своей педикюрши, но в этот раз... обстоятельства заставили меня прибегнуть к вашей помощи.

Дама по-девичьи хихикнула, и я поневоле поднял на нее глаза. Коротко стриженные волосы, сухонькие ручки с припухшими суставами, глухое платье под горло... В общем-то, если не считать странной в наши дни манеры разговаривать, она вполне походила на привычных брайтоновских бабулек.

– Да-а, видите ли, я, собственно, пришла к милейшему доктору Коцу по одному важному делу, связанному с его эликсиром, а он, насколько я понимаю, человек исключительно занятой, принять меня сразу не может... – она пошевелила пальцами на ноге, – и так я оказалась в этом кресле. Надеюсь, вас не затруднит... поработать со мной, пока доктор не освободится. Он совсем недолго будет занят, вот увидите...

Я не нашелся, что ответить. Эта старушка отчего-то мне не понравилась. Ее фраза о недолгой занятости Коца прозвучала двусмысленно...

– Да не переживайте вы так, – усмехнулась она. – А то начнут у вас руки дрожать, порежете меня, не ровен час, кровь пойдет, а я не выношу вида крови и тут же впаду в истерику... Ну и кому это нужно? Вы, Павел, человек, я вижу, нервный. Вам бы не со стариками работать...

Я уставился на Риту с откровенным испугом. Откуда она знает, как меня зовут? Что это, провокация, чтобы замести Коца, а заодно и меня, и всех работников Центра? Эта молодежавшая старушка вполне могла сотрудничать с конторой, которую обозначают неприятной аббревиатурой. Ножнички, которыми я подрезал ноготь на ее большом пальце, вывалились у меня из рук.

– Ах, право слово! – Рита всплеснула руками и прижала их к груди. – Отчего вы такой пугливый? Я вас просто узнала... ну кто ж не знает Павла Кижевича? Знала я и о том, что вы работаете здесь, у доктора Коца. Собственно, мне нужно было с вами поговорить... Ну что вы так на меня смотрите? Секретов не существует, голубчик... А я ведь к доктору Коцу ненадолго: на пару слов – и сразу же уйду.

Дела, знаете ли... Кстати, не хотите ли сменить место работы? У меня и зарплата повыше, и работа почти по профилю...

Я промямлил что-то вроде того, что я бы не против, работа тут, конечно, не сахар, но вот... доктор обидится.

— Ну да, ну да, — понятиливо закивала Рита. — Только вам все равно скоро придется искать новую работу...

Я окаменел. Неужели мои подозрения оправдываются, причем самым неприятным образом? Значит сейчас Коца арестуют за его махинации, и меня, в лучшем случае, вынудят давать показания против него...

Рита поднялась на ноги и, сунув мне визитную карточку, пошла к выходу. В дверях она остановилась, покачала головой и велела обязательно ей позвонить. Желательно прямо сегодня, еще до конца рабочего дня. Я вертел в руках кусочек картона и озадаченно смотрел ей вслед. Дверь закрылась. Тишина. Никто не заглядывает в кабинет с криканием и жалобами на долгое ожидание, а за самой дверью не волнуется, не колышется раздраженно нетерпеливая очередь. Странно, ко мне было записано никак не меньше двадцати человек. Куда они все подевались? Я приоткрыл дверь в холл. Все кресла, в которых обычно ожидают своей очереди наши пациенты, были пусты. Я зачем-то снял белый рабочий халат и вышел из кабинета. С ужасом ребенка, которого оставили одного в пустом доме, я посмотрел туда, где у входной двери за стойкой должна была сидеть наша секретарша, милая, но глупая девушка Наташа. Наташи на месте не оказалось. И хотя за большими окнами-витринами стоял яркий солнечный день, ездили машины и ходили люди, меня охватило ощущение ночного кошмара. На цыпочках я пробрался к кабинету доктора Коца и прислушался. Услышав голоса, я с облегчением вздохнул.

— Еще раз повторяю, я никому ничего уже не должен, — вибрировал за дверью голос доктора Коца. — Это вы напрасно думаете, что вам все с рук сойдет...

Коц явно пытался показать, что ему не страшно и даже наоборот, что сам он кого хочешь напугает. Но было понятно, что испуган он почти до истерики, до той степени, когда человек начинает рыдать, бухаться на колени и униженно просить... Его страх оказался настолько заразительным, что мне стало совсем не по себе.

— Ты мне, перец, пустого-то не пой, я ж тебя не первый день знаю, — произнес незнакомый голос, тихий, но очень низкий. Настолько низкий, что опускался куда-то в неслышимые, но, казалось, ощущаемые кожей даже через дверь частоты. — Ты ж понимаешь, если что, так я тебя на колбасу пушу, потрох ты сучий... Потом будешь себя своим же дерьмом лечить. Только напрасно. Хрен выле-

чишь! Дрянь-то твоя, сам знаешь, никуда не годится, а главное, потому что будешь ты это... как его... неоперабельный!

Обладатель низкого голоса зловеще рассмеялся, и я услышал стук: доктор Коц бухнулся-таки на колени.

– А можно... – запинаясь и всхлипывая, заныл Коц, – можно я перед всеми извинюсь... перед всеми-всеми вашими... ну как-то все это исправить можно? Ну можно же? Я готов... Только не убивайте...

Тут его собеседник, должно быть, сделал угрожающий жест, потому что Коц оборвал себя на полуслове и заплакал, высоко, побавьи взвизгивая. Я оторопел. Последняя фраза Коца не оставляла сомнений в том, что в его кабинете находится вовсе не представитель конторы с неприятной аббревиатурой, а кто-то куда более опасный. Дело принимало совсем другой оборот. Я в растерянности попытался сообразить, что же мне делать – вмешаться или бежать отсюда, как, похоже, сбежали все остальные – пациенты и работники центра. С одной стороны, если Коца действительно собрались убивать, я вряд ли могу его спасти, а с другой... оставлять человека, даже такого как Коц, наедине с убийцей как-то нехорошо...

Пока я размышлял, что предпринять, дверь кабинета неожиданно распахнулась, и я с удивлением обнаружил, что кроме Коца, с перекошенным лицом сидящего за своим столом, в кабинете находилась только моя новая знакомая – пожилая дама по имени Рита.

– А-а, – как ни в чем не бывало сказала она, – это вы, Павел! Кроме всего прочего, я и о вас успела переговорить с доктором. Он готов вас отпустить прямо сейчас. Да, доктор?

Она повернулась к Коцу, который мелко закивал головой, но мне показалось, что более всего он сейчас хотел бы, чтобы я не оставлял его наедине с Ритой.

– Погодите, – пролепетал он наконец, подтверждая мои подозрения, – погоди, Паша... Пожалуйста...

– Да-а? – Рита вроде бы не сменила тона, но хотя она обращалась к Коцу, у меня отчего-то сразу заныл левый висок.

– Ну так... – промямлил Коц, – я ведь... Я Паше денег должен, ну, за отработанные дни... Я сейчас... только чековую книжку найду и...

– А вы, доктор, ему потом деньги вышлите. Тем более что сумма-то смешная, копейки...

– Да-да, – с готовностью закивал Коц, – я, конечно, понимаю – мало, но и вы поймите – времена тяжелые, а тут... Центр этот... слезы одни, а не доходы...

Тут Рита взмахнула ручкой, и Коц послушно оборвал себя на полуслове, как будто задохнулся.

– Хорошо, – решительно заявила Рита, – сейчас будем разбираться.

Она сделала многозначительную паузу, во время которой Коц попытался набрать в грудь воздуха, но у него ничего не получалось. Коц побледнел, а потом пошел пятнами, заметными даже на его бронзовом загаре.

— Ладно, — смилостивилась Рита, — после разберемся.

И обратилась ко мне:

— Павел, не соблаговолите ли проводить меня немного? Вас, конечно, удивляет, что я так легко и быстро закрыла этот ваш Центр, — кокетливо глядя на меня снизу вверх, заявила она. — Ах, Паша, Паша... Надеюсь, вы позволите мне так вас называть? — Рита уверенно тащила меня вперед. — Я вас сейчас, можно сказать, спасла, голубчик вы мой! Да-да, именно так! Вы ведь, с позволения сказать, на Коца... э-э-э... неофициально работали, верно? То есть никакой информации о ваших трудовых подвигах там, в его Центре, не осталось? Так вот, сегодня в ваш Центр нагрянет проверка из администрации штата... очень любознательные ребятишки. Все-то их интересует, а уж деятельность доктора Коца в особенности.

Рита хитро прищурилась и еще сильнее сжала мою руку.

— Вот, собственно, и вся история. Узнав о проверке, я тут же отправилась к вам и предупредила всех, кого могла; девочки отпустили пациентов и сами ушли от греха подальше, ну а доктор... доктор, разумеется, остался ждать визитеров, чтобы удовлетворить их любопытство. И тут я вспомнила о вас. И подумала, что уж вам-то и подавно лучше не встречаться с этими ребятами... Ну что, надеюсь, вам все понятно, голубчик? В таком случае приглашаю вас поработать со мной хотя бы какое-то время. Если не понравится, удерживать вас никто не будет. Но я уверена, что работа придется вам по душе. От такого предложения не отказываются, поверьте! Ну что, согласны?

Я неуверенно кивнул и спросил, когда начинать и что именно будет входить в мои обязанности.

— Считайте, что вы уже начали! — бойко заявила Рита. — Пойдемте, я покажу вам наши владения.

ДО

Вся эта история началась с того, что я написал роман. Мне давно хотелось его написать. Оглядываясь назад, я начинаю думать, что не выбирал его тему и сюжет. Как-то так само собой получилось, что история, которую я хотел рассказать, странным образом переплелась с преданиями моей семьи. Эти предания, противоречивые и не всегда достоверные, собственно, и стали основой романа. А то, что я перенес его действие на несколько тысячелетий назад, объясняется просто: многие описанные в Библии события перекликаются с теми,

которые произошли с моим прадедом, дедом, а также с их многочисленным потомством.

Наверное, не существует семьи, у которой не было бы преданий, передающихся из поколения в поколение. Преданий веселых, трагических, как правило, интересных только тем, что главными их персонажами являются дальние или близкие родственники. Но истории нашей семьи были необычны хотя бы потому, что в каждом поколении события раз за разом повторялись почти буквально... Менялись действующие лица, менялись времена и обстоятельства, но, так или иначе, ситуация, в которой оказывались мои предки, оставалась прежней. Как будто они рождались и жили в одном большом старом доме, принадлежавшем еще дедам и прадедам, ходили по его комнатам, спали на его кроватях, приводили в него жен и мужей, умирали в свой час, оставляя дом в наследство следующему поколению... Но каким бы оно, следующее поколение, ни было, дом всегда оставался прежним.

История любой семьи начинается с того из предков, кого сам рассказчик считает родоначальником. В моем случае это был прадед по материнской линии – отец моей бабки, по имени Вульф. Говорят, он был богатым человеком, хотя в небольшом западноукраинском городке, где они жили, по-видимому, богачом считался любой обладатель ста золотых рублей. Но как бы там ни было, а свою младшую дочь, мою бабушку Лизу, он баловал как мог, вкладывая в нее душу и потакая всем ее капризам. Не знаю, какие отношения складывались у нее с многочисленными сестрами и братьями, но думаю, что они не одобряли отца и недолюбливали свою младшую сестричку, росшую, насколько можно судить, довольно своенравной девчонкой.

К началу двадцатого века, когда начались погромы, прадед Вульф уже успел женить и выдать замуж самых старших детей, но поскольку городок был маленьким, а прадед Вульф, как я уже говорил, богатым, то все они жили рядом с ним. И вот когда из соседнего местечка прибежал еле живой, бледный как стена учитель хедера в оборванном лапсердаке и сообщил, что распаленная водкой и безнаказанностью толпа погромщиков убила у них несколько лавочников и раввина, а теперь двигается в эту сторону... В общем, когда в городке началась паника, прадед Вульф встал посреди своего двора и заявил, что все семейство будет прятаться вместе – там, где, по его мнению, безопаснее всего.

Дело в том, что за городом, на отшибе, с незапамятных времен стояла маленькая католическая часовенка, построенная поляками, судя по всему, еще до восстания Хмельницкого. Прадед Вульф плохо разбирался в тонкостях различий между православием и католициз-

мом, но здраво рассудил, что эта часовня – последнее место, где погромщики будут искать евреев. Поэтому вся семья, наскоро собрав пожитки, побежала прятаться в подвале часовни. Беда заключалась в том, что прадед Вульф не соотнес размеров подвала с размерами собственной семьи. В результате разыгралась ужасная сцена, когда обезумевшие от страха братья и сестры, невзирая на крики отца, пытались доказать, что именно они должны первыми лезть в подвал, а если остальным места не хватит, что уж тут поделаешь. Мало ли подвалов в городе?..

В то время все еврейские семьи почему-то считали, что погромщикам никогда не придет в голову искать их в подвалах. Отчасти это было справедливо, потому что, добравшись до оставленного в домах и квартирах добра, бандиты часто забывали о его владельцах: види-мо, жадность все же была сильнее жажды насилия и крови.

Но вернемся к прадеду Вульфу. Стоя перед часовней, семейство начало ругаться и спорить, так что даже забыло, зачем, собственно, собралось там, на окраине города. Поминались старые и новые обиды, которых всегда хватает между родственниками: скупость одних, мотовство других, а также такое, о чем вслух и говорить-то не хочется, чтобы не позорить семью. Прадед Вульф тоже забыл обо всем и стоял как оплеванный. Он не ожидал от своих детей такой жестокости, мелочности и злопамятности. Но когда на краю городка загорелся чей-то дом и уже слышны были вопли то ли бандитов, то ли их жертв, прадед Вульф опомнился и страшно закричал на детей. Продолжая выяснять отношения, семейство начало спускаться в подвал. Оказалось, что места там значительно больше, чем они думали, так что ругаться было, в общем-то, незачем. Только и нужно было, что выбросить подальше в кусты, окружавшие часовню, несколько узлов и один сундук, который притащила толстая Двойра, жена старшего сына.

Все были уже внизу, кроме самого прадеда Вульфа и его младшей дочки, моей бабки Лизы. Ей не хотелось лезть в грязный подвал, чтобы не испачкать платье, подарок отца. Да и вообще она не верила, что какие-то там бандиты действительно могут кого-либо убить, а уж ее-то и подавно. Лизе совсем недавно стукнуло пятнадцать, и она была настолько уверена, что этот мир хорош и справедлив, что никакие погромщики не могли бы заставить ее усомниться в этом. Кроме того, рядом с ней был отец, а отец никогда бы не позволил, чтобы с ней случилось что-то плохое. Он вообще не позволял, чтобы с ней случилось хотя бы что-нибудь. Один раз он застал Лизу наедине с Абрамом, приглянувшимся ей приказчиком из лавки, где Лиза покупала себе кружева, и даже не позволил, чтобы с ней случилось что-

то, по ее подозрениям, очень хорошее. А вместо этого вытолкал красавчика Абрама в шею...

Забегая вперед, должен сказать, что с Лизой довольно скоро случилось-таки это самое хорошее: красивый, но бедный Абрам, тоже уцелевший во всех погромах, несмотря на сопротивление прадеда Вульфа, стал ее мужем и моим дедом. Лиза всегда умела добиваться своего, чего бы это ей ни стоило.

Вот и тогда, стоя у входа в подвал часовни, Лиза наотрез отказывалась лезть в эту грязную дыру и на все уговоры отца только кривила румяное розовое личико и отпихивала протянутые к ней руки. Не полезет она в подвал и все! Какие еще погромщики, какая опасность? Что за глупость, пусть ее сестры прячутся, особенно Фаня и Софа; они такие грязнули, им все равно, что подвал, что курятник...

Прадед Вульф хотел было схватить ее на руки и силой затащить в подвал, но вовремя вспомнил, что она уже барышня, и он, даже будучи отцом, не может так ее хватать. В его просвещенном мозгу тут же всплыл образ пророка и праведника Лота и его бесстыдных, по мнению прадеда Вульфа, дочерей... На всякий случай он не делился ни с кем такими своими мыслями, но в глубине души полагал, что историю Лота, переспавшего со своими дочками, лучше бы вообще никому не рассказывать... В общем, он не смог остановить Лизу. Презрительно усмехнувшись, она пошла по дороге обратно в город.

В это время из подвала раздались причитания перепуганной до смерти прабабки. Не думая о том, что Лиза может услышать ее слова, она кричала мужу, что так нельзя, что они торчат на виду у всех и, конечно, эти бандиты тут же нападут на след всей семьи; что у прадеда Вульфа есть дети и кроме Лизы, и эти дети пока еще нуждаются в нем; что если у этой паршивки кой-где чешется и ей хочется быть изнасилованной и убитой, то пусть тогда ее изнасилуют и убьют, но семья из-за нее погибать не должна. И он, Вульф, просто не имеет права оставлять семью без кормильца...

– Вульф! – пронзительно закричала прабабка. – Вульф, немедленно иди сюда!

В ее крике прадед Вульф слышал знакомые нотки, которые всегда лишали его воли, и на короткое время он переставал быть самим собой – богатым человеком, главой большой семьи. Потому что именно она, его жена, родившая ему девятерых детей – и еще четверых, которые сразу умерли, – именно она всегда знала лучше, что для семьи важнее всего. И когда наступал такой момент, его в общем-то не сварливая жена вдруг превращалась в совершенно незнакомое существо, перечить которому он не мог. Но все равно, даже понимая, что жена права и что Лиза из-за своей глупости, в которой виновата

его отцовская любовь, его упрямая Лиза, не желавшая подчиняться обстоятельствам, сейчас погубит все семейство... все равно прадед Вульф медлил. Он просто не мог заставить себя спрятаться в подвале и оставить Лизу одну. И тогда прабабка пустила в ход самое страшное оружие.

— Мерзавец и скотина! — кричала она мужу. — Ты любишь ее не совсем так, как любят своих дочерей приличные люди! Думаешь, я этого не знаю, сволочь ты такая?!

Прадед Вульф дрогнул. Конечно, в словах его жены было больше страха и злости, чем правды, но... Но все же что-то в них было. И опять вспомнился ему праведник Лот... он даже оглянулся посмотреть, не окаменела ли жена. Впрочем, этого можно было и не делать, потому что камни не умеют кричать так громко... А еще прадед Вульф вспомнил праотца Авраама, вспомнил и его сына, чуть было не принесенного в жертву. И снова оглянулся прадед Вульф, как будто в поисках козла, которого можно было бы подsunуть судьбе вместо любимой дочери. Но, как назло, не держали в их городке коз. И вообще никакого скота не держали. Птицу — да, держали. Гусей, уток и еще кур. Прадед Вульф ими, курами, и торговал, выращивая петухов специальным, известным кроме него только французам способом, позволявшим сделать из обычной птицы упитанного каплуна. Прадед Вульф сам поразился тому, о какой чепухе думает в этот страшный момент, когда любимая младшая дочь идет по дороге туда, где к небу уже поднимается черный дым и белый пух, где страшно кричат женщины... Но когда на одной чаше весов — глупая, хоть и любимая дочь, а на другой — вся семья... Вся его большая семья...

И опять дрогнул прадед Вульф. Больше не глядя вслед дочери, он суетливо, делая множество ненужных движений, полез в подвал, на ощупь ухватил ржавую железную створку двери и с силой захлопнул ее за собой, словно отгородился от всего того, что разум его не мог вынести и, тем более, осознать. И только когда все они оказались в темноте и относительной безопасности, вдруг без слов заголосила прабабка, оплакивая только что потерянную дочь. Вскоре к ней одна за другой присоединились старшие дочери и кое-кто из мальчишек-сыночек. Тут самообладание вернулось к прадеду Вульфу, а вместе с ним и власть главы семейства. Он прикрикнул на жену и детей, и все замолчали, понимая, что жертва, только что принесенная их отцом, выше их слез и причитаний. А прадед Вульф, пользуясь темнотой, отер мокрое лицо, прочистил горло и вполголоса запел-забормотал молитву...

Это может показаться невероятным, но мою бабку Лизу не только не убили и не изнасиловали, но даже не ограбили, хотя на шее у

нее висело всеми, и ею самой в том числе, забытое ожерелье из мелкого жемчуга – недорогое, но вполне способное привлечь внимание погромщиков. Теперь трудно сказать, что именно спасло ее. Может быть, жалость пополам с отвращением, которую вызывают даже у самой озверевшей толпы блаженненькие. Или, может быть, абсолютная уверенность бабки в том, что ее не могут тронуть, которая передалась бандитам, в глубине души знающим, что они переступили черту и что вот так, отступившись и пощадив кого-то одного, возвращают для себя иллюзию закона, если не человеческого, то Божьего. А еще может быть, что к тому моменту, когда Лиза дошла до городка, бандиты просто устали и торопились унести добычу: мало ли, появятся попрятавшиеся было городовые да и отнимут то, что им приглянется...

Кроме того, Лиза была одета как барышня и вела себя как барышня, а совсем не как грязная жидовка. Она подошла к своему дому, остановилась во дворе – там, где еще недавно стояла со своим Абрамом, – увидела двух полупьяных старух, тащивших по земле один из ее сундуков, и громко закричала на них. Услышав не терпящий возражений голос моей бабки, старухи в нерешительности остановились, но добычу не бросили. Тогда Лиза выскочила на улицу со страшными следами творящегося вокруг кошмара, которого она не желала видеть, и остановила первого встречного. На ее счастье, это был не окончательно опустившийся полуинтеллигент из спившихся учителей, случайно прибившийся к погромщикам. Она пожаловалась ему, что какие-то отвратительные тетki грабят ее дом. Полуинтеллигент оказался хоть и опустившимся, но джентльменом, к тому же довольно крепким мужчиной, поэтому старухи, увидев его входящим во двор вместе с Лизой, бросили от греха подальше сундук и, спотыкаясь, потащились через дорогу во двор к Райхманам, которых бабка терпеть не могла. Поэтому она только поблагодарила спасителя, вошла в разграбленный дом и стала ждать, когда вернутся остальные его обитатели.

Можно только догадываться, что пережил прадед Вульф, когда посреди ночи со всем благополучно спасшимся семейством вошел в дом и обнаружил там голодную и злую Лизу. Семейство испытывало смешанные чувства. Пришлось признать, что эта дура и капризуля оказалась права: ее никто не тронул, кроме того, она спасла свой сундук, в то время как вещи других сестер были украдены или безнадежно испорчены. Получается, что все они зря торчали в вонючем подвале...

Лиза окончательно задрала нос, а на следующее утро даже не приняла участия в общей уборке дома, заявив, что она и так спасла

его от пожара и дальнейшего разграбления. Прадед Вульф только качал головой, стараясь не встречаться глазами с дочерью, которую, как он сам полагал, принес в жертву. Конечно, Бог спас ее, как когда-то Исаака, но кто знает, что чувствовал Авраам, чуть было не убивший сына? Прадед Вульф считал, что это было мучительное чувство вины, потому что и сам до конца жизни не мог избавиться от тяжелых воспоминаний о собственном предательстве. Он укрепился в этой мысли, когда не обнаружил в сарае своих тщательно выращиваемых каплунов, и решил, что они заменили собой жертвенного козла...

Почитаемые прадедом Вульфom Мишна и Гемара трактовали поступок праотца Авраама иначе, и прадед это знал. Что было бы, думал он иногда, невидящим взглядом уставясь в молитвенник, если бы Авраам не подчинился приказу убить сына? Может быть, все сложилось бы по-другому, откажись Авраам от такого доказательства верности Всевышнему... Зачем Богу кровь Исаака? А может быть, Он хотел, чтобы Авраам, наоборот, доказал, что он не слепой раб? Да, тогда все могло бы сложиться по-другому...

Чтобы не прослыть сумасшедшим безбожником, прадед Вульф не делился такими мыслями ни с кем. Но в конце концов согласился выдать Лизу замуж за красавчика Абрама и даже дал ей в приданое целых триста рублей. Согласился именно потому, что чувствовал себя виноватым. Виноватым и перед ней, и перед прабабкой, хотя, видит Бог, у него никогда и в мыслях не было ничего такого, о чем кричала тогда, во время погрома, его жена. Вот чтобы больше не разбираться в своих сложных чувствах, он и согласился на эту свадьбу.

Красавчик Абрам был в каком-то смысле еще и счастливчиком. По крайней мере, вся его бедная многочисленная родня была убеждена, что тут не обошлось без колдовства. Ничем другим невозможно было объяснить, что именно ему досталась самая богатая в городке невеста. Правда, поговаривали, будто характер у Лизы такой, что ее собственный отец был счастлив избавиться от нее и с радостью дал бы Абраму не триста, а все пятьсот рублей, если бы тот стал настаивать на увеличении приданого. Абрам, не имея никакого образования, кроме нескольких классов местного хедера, любил читать, но был напрочь лишен коммерческой жилки да и вообще умения зарабатывать; к тому же испытывал непреодолимое отвращение к деньгам. Родня – как его собственная, так и Лизина, – считала деда изрядным лентяем, каким, подозреваю, он и был на самом деле.

Молодые очень быстро потратили эти триста рублей. Как потом говорила Лиза, они прокатали их на тройках. Впрочем, она была счастлива: лишний раз подтвердилось ее убеждение в том, что этот мир

создан специально для того, чтобы она могла получить все, чего пожелает. Удивительно, но с каждым годом ее уверенность в этом не уменьшалась, а только росла. Некоторое время спустя Лиза родила сына, и это тоже было лишним подтверждением ее правоты. А в мире, между тем, творилось несусветное: началась мировая война, потом грянула революция, потом пришли большевики... Винивший себя во всех грехах прадед Вульф на самом деле был виноват только в одном: он забыл объяснить своей любимице, что жизнь тяжела, опасна и непредсказуема. Поэтому Лиза продолжала жить счастливо – так, как привыкла жить в отцовском доме, – невзирая ни на какие обстоятельства...

Так начиналась одна из историй, легших в основу моего романа. Я был уверен: рассказав их правильно, не сбившись с тона и не изменяя внутреннему чувству ритма, я достигну того ощущения, ради которого, собственно, и приступил к написанию романа. Истории лились из меня со знакомым каждому пишущему человеку ощущением, что действие разворачивается само, без участия автора... Закончил рукопись быстро, за несколько месяцев, и, волнуясь, отправил ее в Москву. Роман, согласно утверждению классика, должен был принести мне сюрпризы, и он их принес. Но не совсем такие, каких я ожидал. Роман приняли в довольно крупном издательстве, даже заплатили мне до смешного маленькие деньги, – и после множества томительных проволочек книга, наконец, была напечатана.

Это было странное время. Роман был издан, на него было написано несколько ругательных и несколько хвалебных рецензий... а потом в литературном мире о нем начисто забыли. Как будто и не было его никогда.

Я ничего не мог понять. Моя жена и наша кошка Алиса, которые принимали деятельное участие в судьбе романа, тоже недоумевали. Обе были уверены, что роман если не гениальный, то уж, по крайней мере, талантливый... Мои надежды оказались напрасными, и постепенно во мне росло чувство внутренней пустоты. Ни жена, ни кошка не могли мне помочь, хотя обе очень старались, каждая на свой лад. Алиса шурила свои томные египетские глазки и молчала о том, что тайны, в которые она посвящена, гораздо важнее и интереснее судьбы моего романа. А жена просто любила меня и старалась, чтобы никто из друзей или родственников не ляпнул ненароком какой-нибудь бестактности...

ЛУТИЯ

По ночам я ухожу далеко за стан, в пустыню, сижу на своем коврике и гляжу на звезды, которые Единый подвесил так низко, что

порой мне, дерзкому, хочется дотронуться до них рукой. Но ангелы Джуда, которых мне довелось узнать, рассказывали мне о том, что все это дурман, морок. На самом деле звезды очень далеко, так далеко, что не хватит деревьев в лесах и камня в каменоломнях всего Кенана и Бабеллы, а может быть даже и Мицрамского царства, чтобы построить башню, способную дотянуться до жилища Единого и звезд, которые его освещают. Я гляжу на звезды и думаю, что если там, наверху, все неверно и обманчиво, то что же говорить о нас, людях, – и даже о моем господине, про которого я, столько лет знающий его, не всегда могу сказать, человек ли он вообще... Все неверно, все истолковано так, как хотелось бы тому или иному рассказчику... Хотя даже я, свидетель и участник всех событий, начинаю иногда путаться и уже не понимаю, что видел сам, а о чем мне только рассказывали ангелы Джуда...

Наш народ, пришедший в Кенан из-за реки Арахту – народ кочевников и пророков, великий народ, – всегда любил приукрасить свою историю. Ибо, если ничего хорошего не случилось с тобой в прошлом, чего тогда ждать от будущего, кроме бед и несчастий? Так уж устроен наш народ, да и любой народ, даже неблагородное йеменское племя Джухрум, укравшее нашу удачу...

Господин в ту пору был очень беден. Родня – два брата и племянник – осталась в Уре, отец – бывший военачальник, к которому он и приехал в Бабеллу, – внезапно умер, не оставив ему никаких средств к существованию. Господину пришлось устроиться на работу в лавку в квартале Куллаб, где он продавал женщинам украшения и яркие ткани, привезенные из Мицрама. Шары, тогда еще совсем молодая, красивая и капризная младшая дочь Лахаджа, однажды увидев господина, зачистила в эту лавку. Что и понятно: на господина тогда заглядывались и девицы, и любители ласкать мальчиков, и сами мальчишки... Он был красив, мой господин. Но меня, тогда еще совсем молодого, привлекла к нему не красота. Единый не дал мне возможности наслаждаться плотью. Вернее, отнял ее у меня с самого рождения... Но зато Он подарил мне способность предвидеть будущее. Впервые встретив своего господина, я сразу понял не только то, что ему предназначено стать моим повелителем и что судьба моя рядом с ним будет не из легких, но и что именно этот человек станет одним из самых великих людей на земле...

Это оказалось непростым делом – напроситься в слуги к такому бедняку, каким был тогда мой господин. Три дня я стоял перед лавкой на коленях, умоляя его взять мою жизнь. Три раза мне приходилось откупаться от стражи, которую господин звал, чтобы связать меня, ибо, по его словам, слишком устал от постоянных приставаний: он собирался жениться на богатой невесте, а всем известно, что мужчи-

ны, уделяющие много времени мальчикам, теряют способность к рождению детей.

В конце концов мне удалось убедить господина с помощью простейшего рассуждения: разве его будущему тестю, который и без того берет его в семью только по настоянию любимой дочери, не будет приятно узнать, что у зятя-голодранца все-таки кое-что есть. Например, преданный слуга. Благодаря своему дару предвидения я знал, какой скандал устроила Шари в доме своего отца, чтобы добиться разрешения стать женой моего господина. Лахадж в гневе и бессилии разбил три драгоценных наполненных розовым маслом сосуда из страны Мод, которые собирался выгодно продать розничным торговцам. С тех пор и до конца жизни он не выносил запаха розового масла, потому что оно напоминало ему о проявленной слабости. Лахадж не любил моего господина даже тогда, когда тот стал знаменитым и почитаемым. Люди редко прощают другим свои слабости. Так было, так есть и так будет. Мой господин не однажды испытал это правило на себе.

Свадьба была пышной: молодая на белой ослице объехала, как и положено, все восемь ворот Бабеллы, ведущие к восьми храмам богов, которые теперь мне, познавшему Единого, кажутся проявлением человеческой глупости и издевкой Другого. Мой господин – я видел это, сидя невдалеке вместе с остальными слугами, которых в доме Лахаджа было множество, – так вот, мой господин был очень весел на свадебном пиру, много ел, а потом запел, то и дело ударяя себя по ляжкам и ласково поглядывая на тестя, который от его взглядов морщился и брезгливо отворачивался. Торжество немного испортила сама невеста, которая в начале пира сидела с матерью и подружками в отдельном шатре. Даже мне, умеющему предвидеть многое, до сих пор непонятно, почему Шари вскочила со своего места и, скользя босыми ногами по густо залитой жертвенной овечьей кровью земле, подскочила к мужу. Что именно она говорила, я не слышал, но речь шла об одной из ее хорошеньких служанок. Скандал вышел большой: невесте не положено дотрагиваться до жениха до того, как он войдет к ней ночью. Шари, которой ни в чем не было отказа в родительском доме, пренебрегла такой мелочью, как обычай, потому что не захотела мириться с тем вниманием, которое проявляли по отношению к моему господину другие женщины. Это был первый, но далеко не последний скандал в семье моего господина.

Но все проходит... Прошел свадебный пир, прошла брачная ночь... Я знал о том, что Шари еще множество раз будет пренебрегать и обычаями, и чувствами других людей. Но как бы там ни было, а любивший свою дочь Лахадж устроил молодым хороший дом, а

потом купил моему господину ту самую лавку, в которой тот работал до свадьбы. Но даже мне, видящему чуть дальше собственного носа, было ясно, что никакого толка от этой торговли не будет. Так и случилось. Мой господин плохо умел обращаться и с товаром, и с деньгами. Даже моя помощь не могла ничего изменить. Видимо, Единый, наделив меня даром предвидения, взамен отнял не только возможность предаваться любовных утехам, но и умение торговать. То ли дело пасти скот!

Но прежде чем мы с господином занялись этим делом в замечательно спокойных и удобных землях Вирсавии, случилось так, что нам пришлось бежать из Бабеллы и перенести множество лишений. А виной этому, да простит меня Единый, была красавица Шари...

Многое из того, что случилось в жизни моего господина, называют теперь сказками те, кто по ночам спорит о нем у костров, распахивая самих себя и обжигая бороды огнем и ложью. Наверное, я единственный, кто никогда не спорит. Я не вступаю с ними в разговор даже тогда, когда они просят меня рассудить их. Если бы у меня был сын, наследник, ему бы я поведал всю правду. Но я одинок, поэтому разговариваю только со звездами, которые и без того знают обо всем.

Своенравная и капризная Шари, до сей поры жившая во внутреннем дворике в доме своего отца, вдруг сама стала хозяйкой; ибо мой господин, при всем моем уважении и любви к нему, не был господином ни в своем доме, ни, кажется, в своей постели. Потому что Шари, несмотря на все свои старания, никак не могла понести. Она стала настаивать на жертвоприношении богам, в особенности чтимому в Бабелле Черному Бааллу, рассчитывая заслужить расположение этого кровавого идола и принести господину потомство. Сам господин очень противился этому, и я знал, почему: еще у себя на родине, в Уре, он однажды увидел во сне Единого и так уверовал в Него, что ввязался в странную историю, когда в компании с такими же молодыми парнями повалил несколько священных идолов. Я называю эту историю «странный» из-за того, что вынужден свидетельствовать: мой господин не стал полагаться на Единого, который, по его словам, велел ему идти и ничего не бояться, а бежал от гнева урийских властей в Бабеллу. Стоило уверовать в Единого, чтобы тут же усомниться в Его всесилии и Его обещании – и спасти свою жизнь бегством? Думаю, не обошлось здесь без Другого...

Шари окончательно вывела моего господина из себя, когда заявила, что Бааллу нужно принести в жертву невинного младенца, которого в ту пору нетрудно было купить у черных торговцев на рынках Бабеллы. Впервые господин возвысил голос на Шари, назвав ее

жалкой глупой курицей, не понимающей подлинного смысла бытия и величия Единого и идущей на поводу у тянущих у нее деньги жрецов.

– Никогда, – кричал господин так, что торговцы холодной водой останавливались перед нашими воротами, думая, что их зовут в дом, – никогда Единый не позволит нам проливать невинную кровь! Идолопоклонница! Чтобы и духу Баалла в моем доме не было!

Я видел, как, отвернувшись, незаметно усмехнулась Шари. Она-то прекрасно помнила, кому принадлежит их дом. А что касается Баалла, то Шари и без того не особенно любила этого злобного божка. Правда, ходили слухи, что еще девушкой она принимала участие в ночных бдениях в храме Иштар...

К сожалению, ее усмешку заметил не только я, но и сам господин. Он увидел лицо отвернувшейся жены в привезенном на свадьбу друзьями Лахаджа редком подарке – листе бронзы, отполированном так, что в нем отражались люди и предметы. Этот бронзовый лист был приставлен к стене, и сама Шари то и дело подходила к нему, чтобы полюбоваться своим отражением. Я часто наблюдал, как она, удивленно вскидывая брови, показывала ему розовый язычок или, изогнувшись, разглядывала свою спину и бедра.

Не могу сказать, почему усмешка Шари показалась господину настолько оскорбительной, что он, разозлившись, ударил ее по лицу. Шари с грохотом стукнулась затылком о свое бронзовое отражение, а я поразился силе своего господина, о которой никогда не подозревал...

Господин и сам испугался, когда у Шари из носа хлынула кровь. Он даже протянул руки, как будто пытаясь остановить ее. Но Шари успела прийти в себя и, не смущаясь тем, что кровавое пятно расплывалось у нее на груди, выскочила из комнаты. Овернувшись на пороге, она крикнула господину, что уходит к отцу, что больше не желает жить с дураком и тряпкой и что он еще узнает, чей это дом и что значит поднимать руку на дочь самого Лахаджа. Признаюсь, ее лицо с распухшим носом и окровавленными губами было пугающим, а взгляд, остановившийся на господине, острым и колючим как копье. В тот момент легко было поверить, что она знает толк в таинственных и страшных мистериях Иштар.

Когда Шари исчезла, мой господин вопросительно посмотрел на меня, как будто сомневаясь в истинности того, что только что произошло. Благодаря своему умению видеть будущее, я понимал, что, конечно, неосторожно было со стороны моего хозяина ударить молодую жену, хотя это как раз грех простительный: кто из мужчин не наказывал свою жену или наложницу? Но трижды неосторожно было

дотрагиваться до любимой дочери Лахаджа, особенно — препятствуя ее намерению принести жертву Бааллу. Это было уже по-настоящему опасно. Я не знал, чей гнев окажется страшнее — божка или всесильного богача.

И снова должен признаться, что именно я уговорил господина бежать. Господин колебался. Что поделаешь, у великих людей бывают свои слабости: стыдно говорить, но значительно позже, когда мы, голодные и оборванные, уходили из Кенана на юг, мне пришлось самому перерезать горло двум пастухам, чтобы завладеть их шатром. Мой великий господин почему-то потерялся при виде их крови и сказал, что Единый не простит ему насилия... Правда, в ту ночь — да и потом, когда мне и другим приходилось убивать, чтобы выжить самим, — господин не отказывался ни от еды, ни от шатров, доставшихся нам столь ненавистным ему способом. Если бы он не был так велик, я мог бы заподозрить его в трусости...

Мы бежали той же ночью, как только погасли все факелы в округе. Взяв только самое необходимое, мы с господином, спотыкаясь в темноте, пробрались вдоль Новой стены к мосту через Арахту и почти бегом пересекли Восточный город, чтобы без следа раствориться в Кенанской пустыне. Я знал, что отрезаю господину путь назад, в город и в лавку, но делал это, потому что так же твердо знал, что его ждет предуготовленное Единым великое будущее. Но о таком будущем хорошо говорить, оглядываясь назад, когда оно стало прошлым. А пока мы с господином плелись в полной темноте, не разбирая дороги, потому что даже звезды, мои единственные свидетели и слушатели, не были зажжены Единым в ту ночь.

Наконец уже под утро, когда силы наши были почти на исходе, из небольшой ложбинки на нашем пути выскочил встрепанный человек с выпученными глазами. Размахивая широким ножом, он с рычанием бросился на нас и наверняка зарезал бы господина, если бы я не преградил ему дорогу. Но этот человек не стал убивать меня. Наоборот, разглядев в лучах восходящего солнца лицо господина, он бросил нож в песок и снова закричал, на сей раз от радости. И когда ко мне вернулась способность думать, я узнал его и позволил себе рассмеяться. Во время свадьбы господина этот человек, называвший себя Нахором, примкнул к толпе, сопровождавшей белую ослицу Шари, и пытался выдать себя за брата господина. Это был наглый нищий, каких немало в бедных кварталах Бабеллы. Никакой опасности этот Нахор, даже вооруженный ножом, не представлял: он слишком дорожил своей жизнью, чтобы пытаться отнять чужую.

Наверное, все наши скитания и потери были чем-то вроде долгих испытаний, которые проходит любой воин для того, чтобы

однажды в один-единственный миг не дрогнуть и оказаться достойным выполнить то, что ему предназначено... Если бы я мог с уверенностью сказать, что был достойным своей скромной доли! Спустя много лет, почти на пороге смерти, которую я вижу так же ясно, как эти звезды, я понял, что жизнь каждого из нас, подчиненная воле Единого, только на крохотное мгновение отдается в руки человека, и именно на это мгновение он становится равным Ему... или окончательно теряет себя. Таких мгновений в жизни обычных людей бывает несколько, но в жизни людей великих – всего лишь одно...

Почему я вспомнил этого жалкого самозванца Нахора? Наверное потому, что он неожиданно для меня тоже стал служить моему господину – и сослужил-таки странную службу.

Побродив несколько дней, не найдя ничего съестного и утолив мучительную жажду из мутного ручейка, неведомо откуда взявшегося в пустыне, мы поняли, что нужно либо отправляться дальше на юг, рискуя умереть с голоду, либо держаться поближе к городской стене Бабеллы, где можно было найти пропитание. Что, впрочем, тоже было рискованно: городская стража не любила оборванцев, готовых поживиться чем придется... Но господин решил иначе. Доверившись Нахору, он отправил его в город, вручил ключ от лавки и приказал принести оставшиеся там деньги... ну, или хотя бы украсть на базаре какой-нибудь еды. О том, что будет с нами потом, он не говорил, но мне казалось, что я ясно вижу его желание.

Не устану повторять, что господин мой – человек великий и необычный. С этим, к счастью, не спорят даже наши бородатые болтуны. Поэтому, наверное, я часто не мог предвидеть действий моего господина и ошибался, пытаюсь предсказать, как он поступит в том или ином случае. На этот раз я ошибся дважды. Нахор отсутствовал так долго, что господин заволновался. Я решил было, что он волнуется из-за отсутствия еды, ибо не мог же он беспокоиться о жизни несчастного Нахора.

Нахор появился тогда, когда я уже начал подумывать, что следующим в город придется отправляться мне. Какой смысл Нахору хранить верность моему господину? Я видел его глаза и знал, что этот человек легко мог бы найти себе службу попроще. Он вообще легко менял все, что мог поменять с выгодой для себя: друзей, верования, женщин, овец и коз... Но в тот раз Нахор верно послужил моему господину.

Не сразу я понял, что господину удалось обмануть меня в тот день, когда он ударил Шари. Ничего он не боялся, а просто хотел избавиться и от лавки, и от Лахаджа. Но это понимание пришло ко мне много позже, когда нас, слуг и друзей, у господина значительно

прибавилось, и мы все вместе бежали дальше на юг. Мы вообще все время куда-то бежали. Может быть потому, что трудно сказать, кого у нас было больше – пастухов или пророков...

А тогда мы с господином сидели за большим камнем, брошенным за ненадобностью строителями Внешней стены, я развел из сухой травы скудный костерок, и вдруг из темноты вынырнул Нахор с тяжелым свертком под мышкой. Собравшийся было прибить подлого раба, заставившего моего господина так долго голодать, я замер с поднятой рукой. Вслед за Нахором у костра появилась невысокая хрупкая фигурка, с головы до ног закутанная в плотный куннет. Но мне не нужно было смотреть на нее дважды, чтобы понять свою ошибку. Господину снова удалось меня провести.

ПОСЛЕ

Мы с Ритой прошли по знаменитому брайтоновскому променаду, называемому в народе «бордвоком», свернули к стоявшему почти у самой воды многоэтажному жилому дому и вошли в подъезд. Поднялись на лифте на последний, двенадцатый, этаж, и Рита повела меня по длинному коридору. «Странное место для офиса», – подумал я. И снова, в который раз, Рита угадала мои мысли.

– Вы, вероятно, спрашиваете себя, почему наш офис расположен в таком необычном месте. На это есть как минимум две причины. Во-первых, мы не работаем с клиентами с улицы, и я не хотела бы, чтобы ко мне в кабинет врывались случайные люди; во-вторых... Ну да вы сейчас сами все поймете.

Она распахнула дверь, и мы оказались в просторном холле, две стены которого были стеклянными. За стеклом открывался захватывающий вид на океан и далекий нью-джерсийский берег.

– Ну вот, – кивнув на окно, с гордостью сказала Рита, – видите? Это и есть вторая причина.

Рита на секунду скрылась в кабинете и сейчас же вернулась назад, держа в руке книгу. При ближайшем рассмотрении оказалось, что от книги остался один только переплет: внутри находились какие-то бумаги, частично отпечатанные на принтере, а частично написанные от руки.

– Ну вот... – Рита отодвинула от себя книгу и дальнозорко сощурилась, – для первого раза поручу-ка я вам вот это... Да вы садитесь, Паша, садитесь, это теперь ваше рабочее место.

Рита кивнула на кресло перед компьютером.

– А-а, – протянул я, – а другие сотрудники, они...

– Они существуют. Их немного, всего пара-тройка человек, но зато лучшие из лучших. Вы с ними познакомитесь в ближайшее время.

Сейчас они заняты, что называется, на местах, а в офисе появляются только время от времени. Да и сама я, честно говоря, бываю здесь не каждый день. Но вы, думаю, будете трудиться именно за этим столом.

Рита немного помедлила и спросила:

– Вы по-прежнему считаете себя писателем, не правда ли?

Я неуверенно кивнул. Называть себя писателем или литератором всегда казалось мне нескромным. Но Рита не стала вдаваться в такие мелочи.

– Рада это слышать. Потому что здесь вам придется писать... Но не романы и не рассказы, а, скорее, сценарии. Но сценарии специфические. Потому что наша фирма занимается проверкой людей... как бы это лучше объяснить? Впрочем, мой партнер Феликс, с которым вам еще предстоит познакомиться, называет это хоть и грубовато, но точно – «проверкой на вшивость». Аббревиатура «пэ-вэ»... Так вот, наша задача – создавать ситуации, в которых проверяемый вынужден проявлять свои подлинные качества в той области, которая интересует компанию-заказчика. Это ясно?

Видя, что я не выражаю готовности кивнуть, Рита на секунду прикрыла глаза и терпеливо улыбнулась.

– Разумеется, вы не совсем понимаете, о чем я говорю, потому что еще не отвыкли от привычных стереотипов мышления. Видите ли, существует целый ряд частных или государственных структур, руководство которых хочет получить неформальные доказательства лояльности своих работников, а то и просто их порядочности, – и потому пригодности к выполняемой ими работе. Теперь понимаете? Существуют формальные способы проверки, вроде полиграфа или скрупулезного изучения прошлого своих сотрудников. Но согласитесь, что полиграф при надлежащей подготовке не так сложно обмануть, а безупречное прошлое не обязательно указывает на столь же безупречное будущее. Иначе не существовало бы шпионов-перебежчиков, а солидные директора крупных корпораций никогда не обманывали бы своих доверчивых вкладчиков... В общем, как вы догадываетесь, спрос на наши услуги высокий. Например, детективные агентства, предлагающие своим клиентам надежную охрану, очень желают знать, насколько этим охранникам можно доверять в, так сказать, экстраординарных ситуациях. Да и вообще, богатые заказчики часто хотят быть уверенными в своих людях. Я уже не говорю о мужьях и женах...

Ритина лекция была прервана громким звонком в дверь. Рита чуть вздрогнула, но тут же с улыбкой повернула голову к входу. Я тоже повернулся и увидел, что в офис входят двое. Молодая красивая девушка с такими огромными и такими синими глазами, что и черты

лица, и фигура, и детали одежды терялись в их свете. И высокий худой мужчина средних лет в старых засаленных джинсах и майке с надписью «Я тоже люблю их».

– А-а-а, – дурашливо протянул мужчина, и я сразу узнал этот тяжелый низкий бас: именно его я слышал в кабинете Коца. – У нас пополнение! Ну что ж, Ритуль, ты знаешь, кого записывать в добровольцы...

Девушка, от которой я с трудом оторвал взгляд, буднично кивнула и сразу проскользнула в кабинет Риты, а высокий подошел ко мне и протянул руку.

– Ну-с, – уже серьезно сказал он, – давайте знакомиться. Я – Феликс, партнер Риты, а эта очаровательная девушка... – он оглянулся на кабинет и рявкнул так, что я вздрогнул, а стекла в окнах завибрировали. – Галка! Подь сюда, дылда! Некрасиво прятаться от новых сотрудников. Тем более, что это – господин писатель, значит, не сегодня-завтра напишет тебе такую рольку, что изрыдаешься вся. А может и наоборот – все зависит от того, насколько ты его вдохновишь...

Странно было слышать, как обладатель такого невероятного баса частит и болтает, как изголодавшаяся по слушателям сплетница. Было видно, что Рите не по душе такая болтливость партнера, но отчего-то она не останавливала его и только брезгливо кривила губы. Мне самому не очень понравился Феликс. Никогда не знаешь, чего можно ожидать от такого шутника-начальника.

– Мы с Галкой только что с пэ-вэ, – продолжал Феликс. – Что за хрень, скажу я вам! Ну и людишки пошли... Павел, – вдруг обратился он ко мне, – запомните и обязательно учитывайте это в своей работе: девяносто пять процентов населения Земли – существа предельно, просто патологически, тупые. Это я вам говорю! Оставшиеся пять процентов – это люди гениальные, умные и просто нормальные...

Тут не утерпела Рита.

– Самого себя ты, надо полагать, относишь к гениям, – язвительно заметила она.

– А вот и нет! – снова гаркнул Феликс. – Я не только не гений, но и гениев рядом с собой не потерплю. Нормальность – вот в чем главное достоинство человека. Быть нормальным куда труднее, чем быть гением. С нормального человека и спрос выше. Ему никогда не простят причуд, которые легко прощают натурам ярким и творческим. Да хрен с ними, с гениями! Обязательно какую-нибудь гадость придумают, не живет им спокойно, блин...

– Феликс, дорогой, не забывай, что писатели тоже люди... э-э... не совсем обычные... – вставила Рита.

Из кабинета вышла девушка по имени Галина. Спыхватившись, Феликс манерно познакомил нас. При этом мне показалось, что он как будто немного ревнует ее ко мне, хотя я и слова не успел вымолвить. Только этого мне не хватало!

– Ну что ж, дорогие мои, давайте вернемся к делу! Я только начала объяснять Павлу, что входит в круг его обязанностей. Но, разумеется, в двух словах об этом не расскажешь. Чуть позже, – обратилась ко мне Рита, – я познакомлю вас с наиболее удачными сценариями. Это поможет вам лучше представить себе то, чем мы занимаемся. Кроме того, вы поймете, какие приемы мы обычно используем. Но знайте, что вы совершенно не обязаны придерживаться каких-либо рамок...

– Да просто никаких рамок! – опять рявкнул Феликс. – Вон у Галки спросите, мы используем любые возможные средства, чтобы добиться нужного результата. Любые! – повторил он, покосившись на Галю, и я чуть было не хмыкнул вслух, на секунду представив себе, что он имеет в виду. – В общем, пишите, фантазируйте сколько угодно. Все исполним! Но смотрите, если сценарий окажется затратным, а результат незначительным, то вычтем из зарплаты!

Одной рукой подхватив под руку Галю, а другой помахав нам с Ритой на прощание, Феликс исчез за дверью. В холле сразу стало пронзительно тихо. Я поднял глаза на Риту, которая, казалось, погрузилась в размышления, все еще не сводя глаз с двери.

– Да, так вот, – собираясь с мыслями, наконец, заговорила она. – Значит, сценарии... Ну да, сценарии... А знаете что? Я вот о чем подумала: пожалуй, не стоит ограничивать вашу фантазию рамками уже осуществленных пэ-вэ. Нет, мы с вами поступим по-другому. Представьте, что вы пишете сценарий для многомиллионного голливудского фильма и можете использовать все, что угодно, – массовку, компьютерную графику, съемки с воздуха и под водой, кровавые драки, постельные сцены... В общем, вы меня понимаете.

С улицы донеслись звуки сирены. Рита замерла, подошла к тому окну, из которого была видна Брайтон-Бич авеню, коротко взглянула и расхохоталась. Знаком подозвала меня и указала пальцем в ту сторону, откуда поднимался вверх густой дым. Звуки сирены приблизились и усилились. Я увидел, как по узкой улице пробираются две красные пожарные машины.

– Пожар, – странным тоном произнесла Рита. – И знаете, что горит? Медицинский центр доктора Коца! Подожженный, должна заметить, самим доктором. Чистая работа, не правда ли?

Я ошеломленно кивнул.

ДО

Когда после погрома все более или менее успокоилось, прадед Вульф перестал ежеминутно думать о том, что он предал свою дочь, а в сарае завелись очередные жирные каплуны, случилась новая беда. На сей раз своенравная Лиза была вроде бы ни при чем. Хотя позднее, вспоминая прошлое и пытаясь понять, за что на его долю выпали такие испытания, прадед Вульф вынужден был признать, что именно Лизе тогда пришлось в голову пойти всей семьей в театр.

Дело в том, что в их городок приехала маленькая странствующая труппа еврейского театра, и все местные евреи во главе с прадедом Вульфом мучительно решали вопрос, следует ли посещать представления бродячего театра. Менее религиозная часть населения склонялась к мысли, что привезенная театром пьеса куда лучше спектаклей, которые устраивались на Пурим для местных ребятишек. В общем, просвещенная общественность городка решила, что только отсталые синагогальные служки могут цепляться за отмирающие под напором современности традиции.

И тогда бабка Лиза, еще совсем молодая и принадлежащая к этой самой просвещенной общественности, потащила всю семью в театр. Вернее, она собиралась пойти на представление сама, но было понятно, что одну ее никто не отпустит. К тому же остальные братья и сестры, включая тех, кто уже успел выйти замуж и жениться, в один голос заявили, что и они не чужды новым веяниям и поэтому хотят попасть на этот заранее ставший модным спектакль. Прадед Вульф представил себе, как все его семейство, блистая нарядами, сидит в первом ряду, а женская его часть еще и обмахивается веерами, которые он недавно подарил дочерям... Подумал и согласился. Согласился, несмотря на ворчание прабабки, которое потом, когда случилось несчастье, превратилось в стенания и требования, чтобы ее немедленно накрыли саваном, потому что она все равно уже почти как мертвая...

В общем, однажды вечером все семейство отправилось в старый сарай, где крупный негодяй и, по мнению прадеда Вульфа, не менее крупный негодяй Шмуклер обычно держал мануфактуру. Помещение подмели, устроили нечто вроде подмостков и расставили рядами стулья. Мне неизвестно, какую именно пьесу давала в тот вечер бродячая труппа. Могу только предположить, что прадеду Вульфу очень нравилось, что вся его семья, на зависть многим, сидела-таки в первом ряду, и дочери обмахивались-таки веерами, и даже само представление показалось ему вполне приличным. Семья вернулась домой в отличном настроении. Если бы не прабабка, которой эта затея с самого начала не пришлась по душе, прадед Вульф, может быть, и не пробудился бы ночью от дурного сна и не встал бы с кро-

вати, чтобы пойти на кухню и напиться воды из кадучки. Позже, вспоминая тот день, прадед Вульф всегда думал, что лучше бы он тогда не просыпался, лучше бы его мучили ночные кошмары. Потому что с тех пор в кошмар превратились его дни...

Но он проснулся, почувствовал жажду и, крихтя, отправился на кухню. Посреди кухни стояла его дочь Софа, полностью одетая и держащая в руке узелок с вещами. Прадед Вульф сначала ничего не понял и решил было, что Софа откуда-то вернулась в такое позднее время. Это было бы страшным, неслыханным делом для приличной еврейской семьи, но действительность оказалась еще хуже. Наверное поэтому прадед Вульф повел себя так странно. Когда обнаруженная отцом красавица Софа объявила, что уходит из дому, потому что ее приняли в труппу того самого театра, он не поднял шум и не разбудил жену, как опасалась дочь. Может быть, он не сделал этого потому, что понимал: жена больше никогда не даст ему покоя. Но скорее всего, он просто растерялся: даже во время погрома он знал, что сохраняет власть над семьей, и вдруг его красавица-дочка, которую он намеревался вскорости выгодно выдать замуж за сына негодяя Шмуклера, навлекает на него такой позор. Ведь всем известно, каковы нравы в актерском мире, да и вообще дочери не должны убежать с бродячим театром, пусть даже и еврейским...

В общем, прадед Вульф растерялся. Вот как, оказывается, легко детям пойти против его воли... Должно быть Софа обладала не менее твердым и упрямым характером, чем Лиза. В противном случае, увидев отца, всегда такого уверенного и властного, а сейчас растерянного, даже жалкого, она осталась бы дома. Но Софе шел семнадцатый год, она была молодой и потому жестокой; кроме того, она была твердо уверена, что впереди ее ждет необыкновенная судьба. Забегая вперед, могу сказать, что это один из немногих случаев, когда судьба оказалась еще более удивительной, чем могла себе вообразить маленькая еврейская девочка из глухой украинской провинции.

Прадед Вульф, конечно, и представить себе не мог, что ждет его дочь. Он думал о своем позоре и о том, что теперь всю оставшуюся жизнь ему придется притворяться перед женой, делать вид, что он ничего не знал о бегстве Софы. И еще он думал о том, что скажет соседям...

А Софа, стоило ей закрыть за собой дверь, совсем забыла о несчастном отце. Ее ждала большая красивая жизнь! Трудно сказать, сколько времени она ездила по городам и весям с труппой бродячего театра. Можно предположить, что ей пришлось испытать. Я уверен, что все испытания и унижения только закалили ее характер и научили пользоваться своей красотой и молодостью. Ибо нравы бродячих

актеров и в самом деле были довольно свободными, в этом прадед Вульф не ошибался. Он только не мог предположить, что его дочь вполне освоится в этом мире и сможет извлечь пользу из того, чем довольно щедро одарил ее Бог. И речь не только о ее весьма посредственном голосе...

Незадолго до Первой мировой войны, когда Софа окончательно разочаровалась и устала от бродячей актерской жизни, она, недолго думая, сбежала из труппы с красавцем румыном, обещавшим ей все блага мира и ангажемент в знаменитую парижскую Гранд Опера в придачу. Софа прекрасно понимала, что, скорее всего, румын врет, кроме того, он был нечист на руку. Но он предлагал ей избавиться от надоевшей рутины, от полуголодного и уже невыносимого существования актрисы бродячего театра. И самое главное, у нее был легкий характер, и потому ее мечта о прекрасном будущем не только не съезжилась от грязной изнанки настоящего, а наоборот, казалась еще привлекательней. Ну и потом – Софе всегда нравились черноволосые и черноглазые мужчины с крупными носами и жесткой щетиной на щеках...

Так Софа попала в Париж. Румын, конечно, оказался воришкой средней руки, который рассчитывал, что красота Софы поможет ему проворачивать всякие темные делишки. Но Софа была девушкой из приличной еврейской семьи. И ей все время хотелось оправдать свой побег из дома какими-то серьезными жизненными успехами. Как это ни странно, но она не забывала о семье. К тому же Софа была убеждена, что ее воспитание и амбиции несовместимы с карьерой вульгарной воровки. Иными словами, Софа обладала пусть своеобразным, но стержнем.

Она ушла от румына и после нескольких дней лихорадочных поисков работы устроилась певичкой во второразрядное заведение где-то в районе Трокадеро. Жизнь входила в свою колею, и Софа даже подумывала было, не отправить ли письмо родным с рассказом о своем удивительном успехе в Гранд Опера, о поклонниках и цветах, о ресторанах и бриллиантах, о прочих признаках счастья, успеха и достатка, которые, как ей представлялось, помогут получить прощение отца и вызвать зависть остальных родичей.

Однажды летом, когда Софа, получив порцию жидких аплодисментов от распаренных духотой посетителей, уже собиралась уйти за кулисы и выпить там, наконец, холодного пива, она заметила сидящего за ближним столиком мужчину, не сводящего с нее глаз. По ее молниеносной оценке, он вряд ли принадлежал к местным бездельникам-бульвардье – основным посетителям их заведения. Судя по дорогому костюму и бриллиантовым запонкам – если они, конечно,

настоящие, – эта рыбка была совсем из другого пруда, и оставалось только гадать, что могло занести ее сюда.

Заметив взгляд Софы, мужчина смущенно улыбнулся и неловко развел руками, приглашая ее к своему столику. Вообще-то хозяин заведения строго-настрого запрещал певичкам подсаживаться к посетителям без его ведома, но бриллианты на запонках – если только они настоящие – ослепительно сверкнули и окончательно решили дело.

Бриллианты оказались настоящими. В каком-то смысле ненастоящим оказался их владелец. Мустафа Валид Оглы до недавнего времени был довольно скромным торговцем в маленьком предместье маленького города Баку. Вернее, город был маленьким до того момента, как компания Нобеля начала там промышленную добычу нефти. С тех пор он сильно изменился. Изменились и его жители. Оказалось, что нефти вокруг много, и довольно часто владельцы крохотных – безводных и потому никому не нужных – участков земли становились миллионерами-скоробогачами, потому что работники Нобеля охотно скупали такие нефтеносные участки и платили за них довольно щедро.

Одним из счастливцев оказался и Мустафа. Из пробуренной на его земле скважины забил мощный нефтяной фонтан. По своим убеждениям Мустафа был достаточно современным человеком. Получив крупную сумму за участок, он стал партнером другого бакинского миллионера, Тагиева, и начал активно приобщаться к европейскому стилю жизни. По мнению большинства новых знакомых Мустафы, самым подходящим для этого местом был Париж. Мустафа отправился во Францию. Но попав в Париж, он растерялся. Что и понятно: это было его первое путешествие за пределы Азербайджана, к тому же французского Мустафа не знал; он и по-русски-то объяснялся с трудом. Да и вообще он еще не успел привыкнуть к своему внезапному богатству и не понимал, как им распорядиться в свое удовольствие. Тем не менее, оказавшись в большом незнакомом городе, он ухитрился снять себе номер в дорогой гостинице неподалеку от вокзала, а потом отправился в ресторан, где заплатил сумасшедшие деньги за дюжину устриц, которые побоялся попробовать, и шампанское, показавшееся ему нестерпимо кислым.

Немного потерянный, он долго бродил по улицам, где за весь вечер не встретил ни одного знакомого лица, и вдруг почувствовал, что ему никогда не стать своим в этом холодном чужом городе, никогда не выучить этого журчащего языка... да и вообще, Мустафе вдруг остро захотелось домой. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы тут же не отправиться на вокзал. Черт возьми, думал он, это же Париж, город греха, как будто созданный для развлечений... Что ска-

жут друзья, если он вернется, пробыв в Париже всего один день и даже не прикоснувшись к тем соблазнам, которые, по словам друзей, просто рассыпаны здесь на каждом шагу.

Так Мустафа попал в заведение, где пела Софа. Она понравилась ему сразу, потому что была достаточно красива, но еще и потому – и это, наверное, главное, – что в тот момент исполняла не модный французский шансон, а какую-то русскую песню. Поняв, что перед ним девушка из России, азербайджанец Мустафа сразу почувствовал в ней единственное родное существо, с которым в этом городе тоскливого одиночества можно хотя бы разговаривать. Мне кажется, он и сам не очень понимал, для чего приглашает Софу за свой столик. По крайней мере, у него и в мыслях не было покупать такую девушку на ночь. Софа же своим обостренным в житейских передрыгах умом быстро сообразила, что этот застенчивый богатый азербайджанец – ее долгожданный шанс и было бы просто преступлением им не воспользоваться.

Они голубками упорхнули из заведения и отправились гулять. Теперь Париж не казался Мустафе таким холодным и чужим! А Софа точно знала, в каком направлении вести этого милого простака не только по городу, но и по жизни. Позже Софа признавалась, что тоже увлеклась Мустафой, хотя тут же оговаривалась, что уже и сама не могла бы сказать, какую роль в этом увлечении сыграло кольцо с крупным бриллиантом чистой воды, купленное для нее Мустафой в первый же вечер в ювелирной лавке на улице Ришелье, где-то в районе Фоли-Бержер.

Софа была потрясена, когда уже на следующий день влюбившийся без памяти Мустафа сделал ей предложение. Она рассчитывала всего лишь слегка потрясти этого скоробогача во время его парижских каникул и никак не ожидала такого поворота событий. Правда, в Баку у Мустафы уже была одна жена, но по законам шариата ему не возбранялось иметь как минимум четырех, при условии, что он в состоянии их обеспечить. Мустафа был в состоянии обеспечить целый гарем. Кроме того, он тоже был черноволосям и черноглазым...

Недолго думая, Софа ответила согласием, и они, славно погуляв напоследок по Парижу, отправились в Баку. Город несколько разочаровал уже отвыкшую от провинциальной жизни Софу. Впрочем, положение второй и горячо любимой жены миллионера компенсировало многие недостатки. Первая жена – тихая, услужливая и некрасивая – была кем-то вроде служанки: она вела дом и не смела даже глаза поднять на Софу.

Наконец-то Софа получила то, о чем еще недавно и мечтать не смела. Когда-то она наивно думала, что ее отец – богатый человек.

Только теперь она поняла, что такое настоящее богатство. А потом началась Первая мировая война, во время которой Мустафа разбогател еще больше.

Вскоре до Баку добралась революция. Правда, англичане, не желая отдавать России лакомый нефтяной кусок, быстро расстреляли комиссаров, но и сами не удержались у власти. Началась пора безвластия и погромов, на сей раз армянских. Софа всегда вспоминала это время со смешанным чувством: впервые в жизни при погроме ее еврейство гарантировало ей относительную безопасность. Хотя дом Мустафы и так прекрасно охранялся боевиками из Муссавата.

Карусель смены власти, уличных митингов, переходящих в бои, и боев, оканчивающихся митингами, настолько опротивела жителям города, что они с воодушевлением встретили вступившую в город Одиннадцатую Красную армию. Ни Мустафа, ни Софа еще не знали, что большевики всерьез решили избавиться от богатых, сделав всех одинаково бедными. Вскоре после окончательной победы Советской власти Мустафа был приглашен в Чека, где ему доходчиво объяснили, что его нефтяные промыслы теперь принадлежат народу и что в течение двадцати четырех часов он должен сдать все деньги и драгоценности, а иначе... Молодой чекист в неказистой кожанке, председатель комиссии по экспроприации, выразительно похлопал по деревянной кобуре маузера. Мустафу отпустили домой в сопровождении двух солдат, чтобы думалось ему в правильном направлении.

И Мустафа действительно задумался. Он уже понимал, что придется расставаться с деньгами. За все эти годы он так и не привык к богатству, поэтому денег ему было не жалко. Но вот драгоценности... Как он может отнять у Софы ее бриллианты?! Что она о нем подумает?.. Тут у Мустафы мелькнула новая мысль. Этот молодой чекист почти наверняка еврей. Что если Софа пойдет к нему и попробует договориться? В конце концов, они единовверцы. Тем более что все остальное он был готов отдать добровольно...

Молоденький чекист действительно оказался евреем. Более того, это был Арон, тот самый сын негодяя Шмуклера, за которого прадед Вульф когда-то собирался выдать Софу. Софа обрадовалась. Но разговор с Ароном получился тяжелым. Софа вспомнила, как еще дома он, правда за глаза, обвинял своего отца в религиозном фанатизме. Но сам, по мнению Софы, стал еще большим фанатиком. Только служил он другому богу. Пришлось применить все известные ей способы убеждения — от напоминания о родственниках, от которых Арон давно и решительно отказался, до демонстрации содержимого ее glove-бокового декольте.

Трудно сказать, что повлияло на решение Арона, но он вдруг

смиловивился, перестал выкрикивать бессмысленные, с точки зрения Софы, лозунги, которыми и без того был обвешан весь город, и сказал, что так и быть, обыска в ее доме производить не будут. Тут он многозначительно посмотрел на Софу и вполголоса добавил, что у нее есть три дня. Именно три, потому что его, Арона, переводят в Москву, а его место займет один грузинский товарищ. Он этого товарища немного знает и потому настоятельно советует Софе с мужем... как бы это правильнее выразиться... в общем, уехать из Баку. Хотя на Украину, хоть еще куда. Тем более что муж Софы, кроме всего прочего, был активным членом буржуазной партии Муссават...

Дома Софа пересказала весь разговор Мустафе. Ехать на Украину к родственникам было далеко и опасно. Куда проще было перейти границу с Ираном, до которой рукой подать. В Иране у Мустафы оставались серьезные знакомства и связи. Кроме того, в Тебризе, столице южного Азербайджана, жили родственники.

Когда они с Мустафой уходили ночью из дома, глаза остававшейся первой жены напомнили Софе глаза прадеда Вульфа. Она поехала, но отогнала от себя это видение. Тем более что у нее в корсете были зашиты все подаренные мужем бриллианты. Нужно было спасать и их, и мужа. А кто тронет никому не нужную немолодую азербайджанку? Решили, что она назовется прислугой, большевики таких любят. Тем более что это было почти правдой.

Путей в Иран было два – по морю и по суше. Морем добираться было бы куда удобней, но стоял август, пора пассатов, и такое путешествие на небольшой рыбацкой лодочке становилось просто опасным. Более крупные суда были экспроприированы большевиками. Поэтому решено было отправиться в путь сначала на извозчике за город, на юг, до Биби-Эйбата, а потом... потом уж как-нибудь. Софа взяла с собой только самое необходимое, но когда они добрались до небольшого селения, за которым, по уверениям Мустафы, начиналась территория Ирана, на Софе не осталось ничего, кроме платица, под которым находился заветный корсет, и стоптанных туфель. Мустафа выглядел не лучше. Соломенное канотье, которое он зачем-то надел в дорогу, смешно смотрелось на оборванце, в которого он превратился.

Трудно сказать, откуда взялся этот красноармейский пограничный разъезд. Возможно, Мустафа ошибся в расчетах, и они все еще находились на территории Азербайджана. А может, и сам разъезд заплутал: пограничники были русскими и вряд ли знали, где тут проходит граница. Этого тогда вообще никто толком не знал...

Так или иначе, но эти здоровые вооруженные парни, несомненно, были бандитами. Они окружили Мустафу и Софу, задали несколько

вопросов, на которые супруги не смогли дать никаких внятных ответов, и быстро поняли, в чем дело. Напрасно Мустафа на ломаном русском убеждал красноармейцев, что они с Софой – местные крестьяне. Несмотря на лохмотья и измученный вид, на крестьян они походили мало. Старший из красноармейцев, перехваченный крест-накрест ремнями здоровенный бугай, внимательно осмотрел Софу и усмехнулся. Софа отвела взгляд: она понимала, что может означать его усмешка. Не будь рядом Мустафы, она, чтобы сберечь бриллианты, ответила бы бугаю точно такой же. По опыту она знала, что насильники редко долго мучают женщину, особенно если она не сопротивляется как последняя дура. Но Мустафа...

Мустафа тоже прекрасно понял, что означает взгляд русского. Они были одни посреди выжженной степи, откуда-то из-за спин бандитов показался краешек солнца, и их фигуры сразу сделались черными – как то темное дело, которое они собирались совершить... Мустафа знал, что не сможет защитить жену. Если бы у него был хотя бы пистолет... Но пистолет пришлось продать еще в Ленкорани, чтобы купить еды и оплатить услуги проводника.

– Слышь, – сказал ему главный, чуть склонившись с седла, – эта баба твоя, что ли?

На короткий миг у Мустафы перехватило дыхание. Он почувствовал, что, оказывается, у этого бандита-большевика, привыкшего к ощущению всевластия и безнаказанности, сохранились остатки каких-то моральных принципов. И теперь он не уверен, следует ли насиловать жену на глазах у мужа. Но что помешает ему изнасиловать вдову? Выражение лица большевика и его крупная ладонь, ослабленно, но чутко лежащая на шишаке сабли, подтверждали, что именно так все и случится... прямо сейчас. Ужас неминуемой смерти охватил Мустафу, почти мертвые губы не повиновались ему. Он судорожно вздохнул, бросил взгляд на Софу, которая как будто пыталась что-то ему подсказать... И тут его осенило.

– Какой жена? – Мустафе казалось, что он кричит, но на самом деле большевику пришлось нагнуться еще ниже, чтобы расслышать его слова, – Какой жена? Сестра это мой, понимаешь, да? Теперь не убьешь?

Большевик все понял. Ему понравилось, что он так красиво обошел внезапно возникшую моральную проблему; ведь он знал о большевистской законности и желал ее соблудности. Если, конечно, это не помешает ему и его ребятам поиграть с бабой. Но еще больше ему понравилось ломать этого черножопого...

– Ну, – сказал большевик откидываясь в седле, – раз не жена, тогда что ж... У нас все бабы теперь общие, правильно, товарищи?

Товарищи расхохотались, испугав коней, и в ту же минуту чьи-то крепкие руки ухватили Софу и стали срывать с нее ветхое платье. Больше всего Софа волновалась за мужа. Она понимала, чего ему стоило такое признание, – и одобряла его: ведь другого выхода все равно не было.

История закончилась самым неприятным для Софы образом. Натешившись, эти мерзавцы нашли-таки камушки, тщательно зашитые вдоль пластинок китового уса, – и тут же арестовали и Софу, и Мустафу. Понятное дело, суки-буржуи хотели спрятать свое богатство от рабочего класса ... Дальше история понеслась по обычной для того времени колее. Софу, Мустафу и бриллианты, количество которых несколько сократилось, отправили назад, в Баку. Там сменивший Арона грузинский товарищ внимательно выслушал жалобу Мустафы на то, что красноармейцы изнасиловали его жену. Чекист улыбнулся, как будто оскалился, поправил пенсне на потном носу и пододвинул к себе какие-то бумаги.

– Мы жен не насируем, – проворковал он. – Вот протокол задержания, тут сказано, что она – твоя сестра.

И, мгновенно сменив тон, заорал:

– Что, обоссался от страха, муссаватист вонючий?! Все вы такие! Чтобы спасти свою жизнь, вы и жену, и убеждения продадите, дешевки!

В тот же день Мустафу расстреляли в подвале дома его бывшего партнера, сбежавшего миллионера Тагиева. А Софа уцелела. Если верить семейным слухам, уцелели и несколько ее камушков... То ли грузинский товарищ нашел ее не опасной для дела революции, то ли, расстреляв мужа, прельстился ее красотой... трудно сказать.

В начале нэпа, уже после смерти прадеда Вульфа, Софа перетаскала все свое оставшееся на Украине голодающее семейство в относительно сытый Баку. Умерла она в середине шестидесятых, когда ей было немногим за семьдесят. Рассказывают, что незадолго до смерти она пошла в поликлинику и пожаловалась на какие-то проблемы со щитовидкой. Внимательная молодая докторша покивала головой, пошелестела бумагами и с сожалением объявила, что все очень запущено и что при ее болезни нужно было лет с сорока пить йод.

– Да что вы, милочка, – ответила Софа, и ее выцветшие старческие глаза на секунду молодо и опасно блеснули, – в сорок лет я пила водку!

ЛУТИЯ

Дар предвидения, полученный от Единого, много раз помогал мне уберечь моего господина от мелких неприятностей, но ни разу не

сумел я предотвратить большой беды. Потому что господин никогда не слушал моих просьб, хотя и знал о моих способностях. Всегда было мучительно видеть, как он, руководствуясь собственными представлениями о мире, упрямо приближается к самому краю пропасти и не внемлет моим предостережениям. Мне, простому слуге, было почти невыносимо бездействовать; хотя в такие минуты я понимал, что у моего господина особое предназначение и что там, где любой другой разобьется насмерть, он, волею Единого, останется невредимым. Вот почему, зная о грядущих бедах, я мог лишь почтительно следовать за господином, чтобы если и не помочь, то хотя бы разделить с ним его судьбу.

Мы отправились на юг, и я был рад, что не убил и не прогнал Нахора. Этот бездельник нес за Шари ее пожитки и тяжелый бронзовый лист, с которым Шари ни за что не захотела расстаться. Став ее слугой, он часто получал ту порцию гнева, которая иначе могла бы достаться моему господину. А Шари была гневлива и, выражая свое недовольство, могла пойти далеко. В ней просыпалась настоящая служительница Иштар, и не раз Нахору приходилось убегать от нее далеко в пустыню, спасая свою ничтожную жизнь. К счастью, мне не было нужды опасаться Шари: отчего-то мой скромный пророческий дар казался ей достаточной причиной, чтобы относиться ко мне не как к слуге, пусть даже слуге ее мужа, а как к провидцу. Вот кто внимательно, с жадным любопытством выслушивал мои предсказания! У меня, дерзкого, даже появился искус, несомненно, внушенный мне Другим, попытаться повлиять на господина при помощи его жены. Ибо господин мой, как я уже говорил, редко мог устоять перед ее гневом или ее просьбами.

Мы шли по пустыне, и только Единому было известно, что влечет моего господина на юг. К счастью, нам то и дело встречались пастухи с небольшими отарами овец, поэтому у нас не было недостатка в пище; а стада наши могли бы стать тучными, если бы не вечная жажда, с которой пустыня проглатывала воду, посланную нам Единым. Но чего, по моему мнению, нам не хватало по-настоящему, это понимания, куда и зачем мы идем. Иногда мне начинало казаться, что господин ушел в пустыню потому, что ему нравилась сама дорога. Нравилось это упоительное ощущение, когда тебя уже нет там, откуда ты ушел, и еще нет там, куда ты стремишься попасть. Кто знает, что бы произошло, если бы Шари все-таки удалось зачать. Но, несмотря на то, что господин проводил в ее шатре почти все ночи, Шари оставалась бесплодной, как та пустыня, по которой Единому было угодно вести нас.

Теперь я могу сказать себе и звездам, этим светильникам

Единобо: не знаю точно, но подозреваю, что в ту пору Шари прибегала ко всем мыслимым способам подарить господину наследника. Слишком часто убегал от нее в пустыню подлый раб Нахор, слишком ласкова бывала Шари со мной, не способным к плотской любви, но знающим прошлое и умеющим видеть будущее...

Но все эти уловки, несомненно, внушенные Другим, не помогали. Она не могла принести господину даже ворованное счастье быть отцом, и это беспокоило его все больше и больше. Однажды он признался мне, что Единый пообещал ему великое будущее: он станет родоначальником большого и богатого народа. Но еще яснее, чем будущее, читал я в глазах господина недоумение и боль; казалось, что передо мной не зрелый муж, а обманутый злыми взрослыми ребенок, которого пустыми посулами заманили на базар и бросили там одного. Я не знал, что сказать, потому что его отношения с Единым превосходили мое понимание, и часто я, дерзкий, силясь разглядеть то, что было от меня закрыто, видел совсем другие вещи, о которых не посмел бы рассказать даже всё знающим звездам. И только много позже, когда ангелы Джуда отказались вмешаться, чтобы остановить непоправимое, я до конца понял, что виделось мне тогда, во время нашего путешествия на юг. И вина моя настолько велика, что до сих пор не понимаю, отчего Единый не отнял мою жизнь...

Однажды ночью, когда погасли костры и все уснули, я поднялся, чтобы опорожниться, и отошел от стоянки подальше. А когда возвращался обратно и переходил небольшую ложбину, в которой, сбившись в кучу, спали наши овцы, неожиданно услышал разговор, который не был предназначен для моих ушей. Я узнал голос господина и хотел было выйти к нему, чтобы показать, что не собирался подслушивать, но остановился, когда услышал второй голос – подлый голос Нахора. Кое-кто скажет, что я ревновал этого раба к своему господину. Нет, чувство ревности мне незнакомо. Я только опасался, что мой простодушный господин может довериться такому человеку, как Нахор.

– Да, господин, – говорил Нахор, и голос его был льстивым и дрожащим, как у уличного шарлатана, который еще не понял, что получит за свою ложь: награду или наказание. – Я готов поручиться жизнью, что знаю этого жреца. И хотя сегодня моя ничтожная жизнь не стоит ничего, та награда, которую я попрошу у господина взамен, сделает ее для меня ценнее святой головы, что так оберегается слугителями великого зиккурата в Бабелле...

– А почему ты уверен, что именно этот жрец не потребует человеческих жертвоприношений, которые противны Единому?

Голос у господина был тусклым, как будто сонным, и я подумал, что еще немного и господин прогонит от себя дерзкого раба. Но он не

сделал этого. Теперь я понимаю, что мне следовало выскочить из темноты и ударом меча отсечь проклятому Нахору его плешивую голову. Ибо чего тогда стоил мой жалкий дар?..

– Я ручаюсь моему господину, что в жертву будут принесены только животные, и, главное, я ручаюсь в том, что не пройдет и года, как господин станет отцом и основателем великого рода. Жрец, о котором я говорю, – великий маг, владеющий знаниями всего Мицрама и Магриба...

– Но чего ты захочешь от меня? Овец или денег?

– О, нет, мой господин! С овцами, как ты знаешь, в пустыне много хлопот, да и деньги здесь совершенно ни к чему. Я прошу у тебя то, что не будет стоить тебе ни денег, ни овец, ни даже хлопот.

Мерзкий Нахор замолчал, и было слышно, как от волнения прерывается его дыхание. До сих пор не знаю, что заставило моего господина слушать этого дрянного раба. Как могло случиться, что Единый в эту ночь отвернул свой взгляд от моего господина и отдал его во власть Другого? Только этим я объясняю себе то, что произошло дальше.

Грязный и подлый раб потребовал у господина права на родство. Если на свадьбе господина он пытался выдать себя за его брата, то теперь хотел, чтобы господин признал его хотя бы своим племянником. Я знал, что у господина где-то действительно остался племянник, но представить себе не мог, зачем Нахору нужно было такое сомнительное родство. Трудно предположить, что эта мелкая продажная душонка тоже обладала даром предвидения и стремилась занять лучшее место подле моего господина. Еле сдерживаясь, я вцепился в рукоятку меча, а господин только рассмеялся и сказал, что нет ничего легче, и он даже рад будет заполучить нового родственника, тем более что он, Нахор, даже внешне напоминает его умершего племянника Авилота.

Странная мысль промелькнула у меня в голове. Уж не собирается ли господин, отчаявшись заполучить сына, стать основателем великого рода, поделившись родством с безродным Нахором? Что если ему нужен кто-то, кто смог бы оставить потомство вместо него? Я для этого не подходил, ибо господин знал о моей неспособности к деторождению, а вот... Правда, за время скитаний к нам примкнуло несколько пастухов, которых мы поленились убивать и сделали своими рабами, но то были существа совсем дикие, вряд ли способные даже понять, чего от них хочет господин.

Да, я знаю, что сказали бы на это люди. И потому рассказываю свою историю только звездам...

На следующее утро на заре мы стали сворачивать шатры, чтобы

двигаться дальше, и господин объявил нам две новости. Теперь мы должны были держать путь на восток, к черным землям Мицрама. Вторая новость, как и первая, уже не была новостью для меня. Господин объявил, что наконец-то нашел своего любимого племянника и в его честь на ближайшем привале принесет в жертву Единому двух новорожденных ягнят. Я внимательно следил за Шари, которая в этот момент не выразила никакого удивления, – наоборот, улыбалась и выглядела довольной, что в последнее время случалось с ней все реже. Тогда еще более странная мысль обожгла мое сознание. Разве Нахор, бездомный шарлатан, мог знаться с великими жрецами Мицрама? Да и само безумное желание втереться в родство к господину ему могло быть внушено... Еще до женитьбы господина до меня доходили слухи о том, что торговавший с Мицрамом Лахадж как-то раз уступил просьбам дочери и отпустил ее туда вместе с караваном и большой охраной.

Мы отправились в Мицрам, и печальная, почти бесплодная пустыня, где наши стада с трудом могли найти себе пропитание, сменилась пестрыми, как женский куннет, рощами и полянами земли Кенана и Вирсавии. Я продолжал исполнять свои обязанности слуги и охранника господина, стараясь не вмешиваться в дела, меня не касающиеся. Все лучше относилась ко мне Шари, все веселее становилась она по мере нашего продвижения вперед. Я радовался за господина, потому что никогда еще с момента женитьбы не видел его таким довольным и спокойным. Надежда, вселенная в него Нахором-Авилотом, и ставшая вдруг покладистой и незлобивой Шари делали из моего господина человека, который, и это я знал точно, способен выполнить великое предназначение... Все бы хорошо, если бы не окончательно распоясавшийся Авилот. Кроме панибратства с господином он был замечен в каких-то темных делишках с пастухами, которым внушал простые, но противные Единому мысли.

Я заметил, что господин опять приуныл, хотя изо всех сил старался показать нам, что уверен в себе и что ведет его Единый, являвшийся ему то во сне, то наяву. Не смею рассуждать о Едином, но, как уже говорил, отношения с Ним моего господина всегда оставались для меня загадкой. Мне и сейчас кажется, что полученные тогда господином великие обещания легли на его душу тяжким грузом. Потому что это был груз надежды, но не веры. Господин сам говорил мне об этом в те редкие минуты, когда нам удавалось остаться вдвоем.

С тех пор как Нахор назвался Авилотом, он перестал быть прислужником Шари и старался всегда находиться рядом с господином. Но когда мы по узкой полоске земли наконец-то перебрались на

земли Мицрама и своими глазами увидели голубую реку Нахаль, окруженную черной плодородной землей, Авилот бесследно исчез – очевидно, отправился на поиски того самого жреца, рассказом об искусстве которого купил себе родство с господином.

Нахор-Авилот появился на восходе солнца, когда господин проснулся и подошел к воде, чтобы напиться. Шари еще спала, а пастухи только-только развели костер, чтобы поджарить кусок вяленого мяса. Я поразился тому, насколько изменился Авилот. И дело не в том, что этот мошенник успел где-то раздобыть новую сомлу. Всегда несколько приниженный и одновременно наглый, он вдруг стал как будто другим человеком: вместо недавнего раба к господину подошел равный ему, и не по поддельному родству, а по праву. Картину портил только пот, обильно струившийся у него по щекам и шее, да еще глаза – беспокойные и непривычно тоскливые.

Авилот принес добрую весть: великий жрец готов принять господина с женой, но отправляться к нему нужно немедленно. Это недалеко, чуть выше по течению реки. Нетерпение, охватившее господина, казалось, передалось даже глупым пастухам, которые быстро затоптали костер и свернули шатры. Но Шари была необычно задумчива. Она потребовала, чтобы пастухи соорудили носилки и несли ее на руках, как это принято у жителей Мицрама.

Мне доводилось посещать храмы Бабеллы, которые славились своим величием во всем Междуречье. Но храм, к которому привел нас Авилот, не походил ни на один из них. Величина его превосходила все, что я мог бы себе представить. Огромные, в три человеческих роста, фигуры богов подавляли волю входящего. Я заметил, что господин тоже подпал под влияние этих вырезанных из неведомого камня фигур. От них исходила какая-то скрытая угроза; рядом с ними даже всевластие Единого казалось уже не таким очевидным. Наши несчастные пастухи, не знавшие никаких богов, испугались настолько, что отказались подойти к храму ближе чем на сотню шагов. С недовольным видом Шари вылезла из носилок и испуганно разглядывала страшные фигуры. Ей, посвященной в тайны служения Иштар, была лучше других известна опасная магия здешних мест.

К счастью, нам не было нужды заходить в сам храм. Авилот с видом человека, которому здесь было оказано покровительство, повел нас вокруг, к задней части храма. Подошел к крохотной калитке в стене и, чуть помедлив, постучал по камню бронзовым молотком, изображавшим раскрывшего пасть Себеса. За стеной раздался гул, калитка приоткрылась, и мы вошли в маленький выложенный диковинными разноцветными плитками дворик. С трех сторон его окружали каменные стены, а с четвертой находился вход в храм, к

которому вели несколько ступеней из черного камня. На ступенях, лениво щуря на нас огромные глаза, сидел маленький зверек с короткой черно-белой шерстью, в котором я только мгновение спустя узнал обыкновенную кошку. Слишком уж все здесь было необычным, грозившим опасностью и даже смертью. Кошка пристально разглядывала нас и, кажется, была недовольна нашим появлением, которое нарушило ее покой.

Она надменно изогнулась и, как только двери храма приоткрылись, скользнула внутрь, в прохладную темноту. Вместо нее к нам вышел высокий бритый наголо человек с глубоким шрамом, пересекавшим его лоб и щеку. Ни слова не говоря, он уставился своими пронзительными черными глазами на господина, который вдруг заволновался и тревожно взглянул на меня. Я понял его взгляд. Моему принявшему Единого господину было не по себе из-за необходимости обращаться к жрецам. Я сочувственно покачал головой и посмотрел на Шари. Она была бледна, и, несмотря на безжалостное полуденное солнце, ее пробирала дрожь. Это было мне понятно. Ведь сейчас решалась ее судьба. Я настолько погрузился в наблюдение за ними двумя, что пропустил момент, когда жрец, наконец, заговорил.

— Есть ли у тебя деньги, путник? — обратился он к господину на местном наречии. — Вы прибыли из тех мест, где в ходу серебряные шекели.

Я выступил вперед, ибо торговаться было несовместимо с достоинством моего господина, тем более торговаться со жрецом, пусть даже могущественным и опасным. Я ответил жрецу на его же наречии, что в больших и знаменитых храмах Бабеллы, откуда мы пришли, жрецы сначала узнают, что привело к ним человека, а уж потом назначают цену. Кроме того, мой господин — великий человек, и если жрец хоть что-нибудь смыслит в людях, он и сам должен был это понять... Я увидел, что жрец недоволен моей речью, и пустился на ухищрения. Просить у такого человека плату негоже даже великим жрецам, сказал я, хотя мой господин очень богат и мог бы...

— Знаю, — перебил меня жрец. — Знаю все, что ты, беспольный, хочешь мне сказать. Я заговорил о деньгах совсем не потому, что собирался просить их у него. Даже если бы я хотел воспользоваться тем положением, в котором находится твой господин, то не смог бы этого сделать. Потому что я никогда не беру платы за то, чего не могу обещать.

— Как! — не в силах сдержаться, воскликнул я и мысленно порадовался, что ни господин, ни Шари не владеют языком страны Мицрам. — Великий жрец, про которого жалкий раб Нахор сказал нам,

что он единственный способен помочь моему господину... Ты знал заранее, с какой просьбой мы придем к тебе, — и заставил господина тратить время на поклонение твоим жалким идолам? Нахор, назвавшийся Авилотом, змея, залезшая за пазуху к моему господину, ты ответишь мне за это унижение кровью!

Под моим взглядом Авилот вновь превратился в Нахора, того самого, который пытался ограбить нас с господином, — в жалкого трусливого раба.

— Оставь в покое этого человека, — сказал жрец, не повышая голоса, но я почувствовал, как невидимый аркан затянулся у меня на горле, лишая возможности говорить. — Он ни в чем не виноват. Я хотел сказать только, что мои боги, которых ты назвал жалкими, могут помочь женщине понести, и поэтому позвал вас сюда. Но... твоему господину не очень понравится способ, с помощью которого я могу помочь ему.

Жрец громко хлопнул в ладоши, и словно из-под земли появились воины в кожаных шлемах со странными изогнутыми мечами в руках. Их было много, никак не меньше десятка. Наши пастухи, даже если бы не были так напуганы и могли помочь мне, остались далеко за стеной. Я взглянул на внезапно побледневшего господина, потом на Шари, и понял, что мой пророческий дар оказался тут бесполезным: нас заманили в ловушку, и виноват в этом грязный Нахор. Что ж, я готов был выполнить свой долг и умереть, защищая господина, но сначала следовало перерезать горло этому подлому существу...

Ангелы Джуда объясняли мне потом, что тогда произошло на самом деле, но странен и текуч был их язык, и трудно было мне, простому слуге, поверить, что глаза и память обманывали меня долгие годы. Даже им, ангелам, отчего-то нужно было, чтобы мой господин перестал быть человеком, а стал просто исполнителем воли Единого. Но ведь тогда он не мог бы стать великим! Разве может считаться храбрым ночной мотылек, по воле ветра бездумно залетевший в костер? Но спорить с ангелами Джуда я, дерзкий, не мог и не хотел...

Мне не дали убить Нахора. Воины накиннулись на меня, и хотя двое из них, обливаясь кровью, тут же упали на плитки двора, все же у меня отняли меч, связали и бросили под ноги жрецу. Мой господин даже не посмотрел в мою сторону, зато Шари подмигнула мне и выступила вперед. Тут выяснилось, что Шари тоже понимает местный язык.

— Не убивайте его, — сказала она жрецу. — Это предсказатель и верный слуга моего брата. У него только один недостаток — он не может осчастливить женщину. Впрочем, то же можно сказать о многих мужчинах, не обладающих ни его даром, ни его преданностью.

Она говорила что-то еще, но я, пораженный, уже не мог слушать. Лучше бы меня сразу убили! Шари выдает моего господина за своего брата?! Но тут же я порадовался и поблагодарил Единого за то, что господин не понимает сказанного ею. А подлый Нахор улыбался и кивал Шари своей грязной головой, до которой я так и не смог добраться. Тут жрец снова вышел вперед, и я, догадываясь, что для меня уже все кончено, озабочился судьбой господина.

Жрец заговорил, а я не мог поверить тому, что слышу. Великий правитель Мицрама, он же верховный жрец, равный богам и сам бог, мог бы забрать Шари у господина, даже не спрашивая его разрешения. Но боги должны подчиняться верховной справедливости, иначе они перестанут быть богами. Пусть сам господин подтвердит, что Шари его сестра, а не жена. В обмен он получит те самые шекели, а еще все, что ему захочется получить из оружия и скота: ведь боги Мицрама не только могущественны, но и богаты. С того места, куда меня бросили, мне не было видно лица господина, но зато хорошо была видна Шари. И я вдруг все понял. Ведь Шари уже бывала в Мицраме и могла свести знакомство с этим самым верховным жрецом... Я слышал, что в Мицраме нет сословных преград и что местные правители, в отличие от бабелльских, просты в общении и не делят людей на знатных и незнатных. Да не сговорились ли они?! Ведь не случайно господину – конечно же, в угоду ее ревности! – было предложено взамен все, кроме местных женщин, известных своей утонченностью в любви. И еще раз поблагодарил я Единого за то, что господин не знает языка Мицрама.

И снова господину удалось меня обмануть. Потому что ответил он, хоть и неуверенно, на том же наречии, на котором говорил с ним жрец. Он сказал, что Шари действительно его сестра, и он благодарен верховному жрецу и правителю Мицрама за оказанную ему великую милость, за честь взять у него сестру. А еще благодарен за проявленную правителем щедрость, которой он не преминет воспользоваться. Я услышал хихиканье Нахора и понял, что он тоже принимал участие в этом мерзком деле. В ту минуту я дал себе клятву, что если меня не убьют сейчас, то я обязательно перережу его мерзкое горло. Забегая вперед, хочу сказать, что мне никогда не пришлось сдержать свою клятву. Даже когда Единый, наконец, понял всю ничтожность этого человека и захотел покарать вместе с гнусными его последователями, мне, верному воле своего господина, пришлось спасти его вместе с двумя девушками, которых он, выдавая за своих дочерей, прихватил с собой...

Шари тут же увели куда-то в глубину храма, исчез и жрец вместе с охраной. Мы остались одни. Тут господин вспомнил о своем

верном слуге. Он достал нож и собственноручно перерезал веревки, которыми были стянуты за спиной мои запястья. Но прежде он, хорошо меня зная, потребовал, чтобы я ни коем случае не трогал Нахора, то есть его любимого племянника Авилота.

– Потом, – сказал мне господин тем мягким тоном, каким он обычно говорил с Шари, когда той приходило в голову капризничать, – потом, Лутия, я тебе все объясню. А сейчас нам нужно идти: не следует подвергать испытанию великодушие этих идолопоклонников.

Тогда, в Мицраме, мы были еще молоды, и я в первый и последний раз в жизни позволил себе дерзко говорить с господином. Но это случилось лишь тогда, когда мы выбрали место для стоянки, а трусливый Авилот шептался с пастухами где-то вдали от шатра.

– Как, – закричал я тогда, – как господин мой мог допустить такое, зачем он не дал мне умереть, чтобы я не видел, как жену его уводит хитрый жрец? И почему господин мой согласился принять взамен награду, словно базарный торговец, отдающий внаем дешевых рабынь?

Много обидного и злого говорил я своему господину и думал о том, что сейчас милостивый господин мой позовет Авилота, и тот с удовольствием прирежет меня, дерзкого, как овцу, ибо другого наказания я не заслуживал. Но господин только покачивал головой. Когда силы мои иссякли и я замолчал, он пытливо посмотрел мне в глаза и заговорил. Тут я впервые по-настоящему осознал, что мой скромный дар не обманул меня и что передо мной подлинно великий человек. Господин сказал, что позволил увести жену, потому что испугался: сейчас и его, и всех нас убьют, и воля Единого не будет исполнена. А согласился принять награду, потому что... Тут господин улыбнулся странной улыбкой, печальной и мудрой, от которой гаснул гнев и утихла печаль. И я вдруг увидел бесконечные отражения этой улыбки, уходящие далеко, на многие и многие поколения вперед. И снова улыбнулся господин, и сказал, что уж если Единый посылает нам тяжелое испытание, то вряд ли стоит отказываться от посланного им же вознаграждения. А Шари еще вернется, он в этом совершенно уверен. И еще принесет ему ребенка, с которого и начнется великий народ...

ДО

Мой дядя Лева, старший брат мамы, не был желанным ребенком. Еще в раннем детстве, когда сыновья, особенно первенцы, обычно оказываются центром внимания и заботы всей семьи, Лева не чувствовал, что его любят. Может быть потому, что бабка Лиза, заполучив-таки в мужья вождя Абрама, была настолько сосредоточена на нем, что в какой-то момент поняла: рождение сына может оказать-

ся досадным препятствием, отнимающим время и силы, необходимые ей для мужа. Бабка Лиза не была по-настоящему жертвенной женщиной. К Абраму она относилась скорее как к дорогой игрушке, чем как к мужу и главе семьи. И все время ревновала, даже к его собственным сестрам. Слишком вздорный был у нее характер, слишком долго жила она в коконе эгоистичной отцовской любви ...

А дед Абрам просто не успел полюбить сына. Едва родился Лева, как началась Первая мировая война. Абрама очень быстро забрали в солдаты. Как еврейский парень, да еще женатый, мог оказаться вольноопределяющимся российской армии, — неизвестно. Известно лишь, что провоевал он недолго, почти сразу попал в плен. К счастью, в Первую мировую немцы еще не додумались сжигать евреев в печах, хотя уже сообразили, что их можно использовать в качестве рабочей силы. Поэтому в плену Абраму жилось, в общем-то, неплохо. Он обнаружил, что немецкий язык очень похож на его родной идиш, так что объясняться с немцами оказалось совсем несложно. А потом ему повезло: толстая немка-фермерша, вдова павшего на полях сражений капрала, затребовала его для работ по хозяйству. Видимо, высокий красивый Абрам ей приглянулся, поэтому в батраки он так и не попал, а занимался, по моим подозрениям, куда более важными для своей хозяйки делами.

Когда дед Абрам вернулся домой, там всюю полыхала революция, потом началась Гражданская война и, чтобы выжить, требовалось много сил, не оставляющих места таким чувствам, как любовь. Дед и вообще не был сентиментальным. Поэтому Лева рос недолюбленным, но очень нуждавшимся в любви, хотя, наверное, и сам об этом не догадывался.

Когда Леве исполнилось семнадцать — а вся семья к тому времени давно перебралась в Баку, — дед Абрам объявил ему, что поскольку он уже взрослый, то пусть идет и кормится сам, больше его содержать никто не будет. Пустые надежды и невыполненные обещания, на которые была столь щедро жизнь деда, сделали из него человека холодного и скуповатого. Лиза была занята воспитанием двух подрастающих дочек, Веры и Аси, и тоже знать ничего не хотела: по еврейским законам семнадцатилетний парень — уже совсем взрослый мужчина. Кроме того, высокий и широкоплечий Лева был очень похож на своего отца, и это вызывало у Лизы странное раздражение. Как будто ее Абрам раздвоился, и теперь ей придется ревновать еще и этого, более молодого... Поэтому при случае она старалась внушить Леве, что он некрасив, глуп и неловок. А сама с удивлением думала о том, как у нее посреди голода и разрухи мог вырасти такой красавец.

И в самом деле, внешне Лева был удивительно похож на отца, но

внутренне он оказался совсем другим человеком – нежным и незащищенным. Такое иногда случается: у беспросветных алкоголиков вырастают совершенно непьющие дети, а в семье потомственного, плохо умеющего читать сантехника рождается тонкий интеллектual. Видимо, природе важно восполнять убыль того или иного вида людей, и она, не заботясь о таких пустяках, как среда и наследственность, выращивает их на первой попавшейся почве.

Когда Лева решил уйти из дома, ни Абрам, ни Лиза не попытались остановить сына. Лева же казалось, что если родители отвергают его любовь, ему будет мучительно встречаться с ними каждый день и знать, что все в нем раздражает и вызывает недовольство отца или матери. Поэтому Лева поселился отдельно, снял комнату у дальних родственников и начал работать на бакинских нефтяных промыслах, где всегда требовалась рабочая сила.

А несколько лет спустя он влюбился в Минну. Минна была миниатюрной и не слишком привлекательной девушкой с усыпанным оспинками лицом, которая и мечтать не могла о таком красавце. Она смотрела на него восторженно и преданно. Ей все время казалось, что это ошибка, что Лева одумается и не придет на следующее свидание. Поэтому каждый раз она торопилась выказать ему свое доброе отношение и заботу. Но Лева чувствовал себя не менее счастливым: впервые в жизни его любовь не отвергли.

У них было все – ночные прогулки, жаркие поцелуи, томящие многообещающие прикосновения, разговоры о будущем... Но самого главного, делающего их мужем и женой, конечно же, не было. Несмотря на царившие тогда простые взгляды на интимные отношения, оба они оставались обычными мальчиком и девочкой, как тогда говорилось, из хороших еврейских семей. Больше всего они любили сидеть на берегу моря, на камнях рядом с купальнями, построенными напротив Девичьей башни.

Но жениться они, тем не менее, не торопились. Вернее, не торопился Лева. Потому, что чувствовал: семья не одобрит его Минну. Он был почти уверен, что мать не примет вообще никакую девушку, приведенную им в дом. Лизе могло прийти в голову, что он, чего доброго, захочет поселиться с женой в их без того небольшой квартирке, на самом-то деле представляющей собой построенную на скорую руку из разного хлама хижину без воды и электричества. В качестве удобств использовалось ведро с фанерной крышкой. Моя мама рассказывала, что одним из ее первых воспоминаний стала эта крышка, потому что вырезанное в ней отверстие по размеру было приспособлено для взрослых, и она на всю жизнь запомнила свой детский страх провалиться в это ужасно пахнущее ведро...

Но Минна была усердна и настойчива. Семья, если уж на то пошло, никак не может повлиять на их судьбу, ведь они люди совершенно независимые. А уж с Лизой она как-нибудь поладит. Минне было хорошо рассуждать: из родных у нее была только выросившая ее тетка – тихая и ни во что не вмешивающаяся старушка. А у Левы, несмотря на натянутые отношения с родителями, оставалась огромная семья, с мнением которой он не мог не считаться.

– Да, – говорила ему Минна, прижавшись к его плечу и глядя на серебрищиеся под луной волны, – конечно, все это так. Но я почему-то думаю, что семья – это когда все любят друг друга и прощают не только свои, но и чужие слабости. И еще помогают друг другу. Вот такая семья и будет у нас с тобой, наша семья. Твои родственники увидят, как мы живем, захотят жить так же – и сразу станут добрыми и хорошими. Особенно после того, как родятся наши дети. Когда у твоих родителей появятся внуки, они изменятся, вот посмотришь...

Лева понимал, что в чем-то Минна права, но так же понимал и то, что вряд ли нарисованная ею картинка может стать реальностью. Он искренне любил своих родных, но знал их характер и нравы. Минне потребовалось больше года, чтобы уговорить Леву расписаться в загсе, а потом, если это будет так уж необходимо для спокойствия его родни, сыграть свадьбу по еврейским обычаям.

Узнав о том, что сын нашел себе невесту, Лиза взвилась. Как и предполагал Лева, она кричала, что выдерет косы этой мерзавке, наплевавшей на все приличия. Но кос у Минны не было, к тому же времена наступали такие, что об обычаях лучше всего было забыть раз и навсегда, а уж про приличия и говорить-то было смешно. «Какие приличия, когда они, эти современные девицы, – тут бабка Лиза закатывала глаза, – вообще творят что хотят...» Отбушевав, Лиза призвала к себе Минну для интимной беседы. Догадываясь, о чем пойдет речь, Лева боялся отпускать невесту, но Минна так уверенно и спокойно улынулась ему, что Лева отступил.

Разговор прошел, может быть, не так гладко, как это представляла себе Минна, но и не так ужасно, как ожидал Лева. После беседы с Лизой Минна вышла раскрасневшаяся, со слезами смущения на глазах, но вполне довольная собой. А Лиза, вдруг умилившись, заявила, что эта бедная девочка никогда не видела ничего хорошего в жизни, так что ж с нее взять. По мнению Лизы, все хорошее принадлежало только ей, и оно навсегда осталось в ее родном городке, похороненное на еврейском кладбище вместе с прадедом Вульфом.

Свадьбу сыграли скромную. Собрались Лизины братья и сестры, во дворе хижины поставили стол, Лиза пожарила принесенную Левой курицу, предварительно подвергнув ее критике: она прекрасно

помнила, какие упитанные каплуны подавались в их доме... Приглашенный раввин с сожалением косился и на небогатое угощение, и на импровизированную хупу. Лева раздавил ногой стеклянную баночку, призванную изображать принесенный тетей Софой, но припрятанный Лизой хрустальный бокал... Молодые стали мужем и женой и ушли жить к Минниной тетке в ее комнату на втором этаже типичного бакинского дома с внутренним двориком и балконом, на который выходили двери всех комнат.

Неизвестно, что говорила Лиза Минне в их первую встречу, но столь ожидаемые и желанные Минной дети отчего-то все никак не рождались. Молодые жили дружно и весело. Лева так и остался работать на промыслах, а Минна, став замужней женщиной, устроилась посыльной в Культпросвет. В теплое время года тетка спала на балконе, предоставив комнату молодым. Зимой она располагалась на своей раскладушке за занавеской и по ночам долго кряхтела, возилась, что-то бормотала себе под нос, а Лева и Минна, затаив дыхание, ждали, пока она захрапит.

Если им чего-то и не доставало, то они об этом не догадывались — и потому были счастливы. Минна уже с самого утра ждала вечера, когда они с Левой вернутся с работы, Лева будет долго мыться внизу во дворе под краном, а потом они сядут обедать. Обеды готовила тетка, при этом умудрялась пересолить все, к чему прикасалась, но Лева только смеялся и говорил, что нефть, которую он добывает, еще солоней, так что он привык. На самом же деле он не привык. Не привык к тому, что теперь у него есть своя семья, к тому, что он влюблен и любим. Каждое утро после ночи любви казалось ему новым и неизнаваемым, и странно было, что мир вокруг оставался прежним. Не верилось, что после такой ночи люди могут по-прежнему жить своими мелкими заботами; что дядя Ашот — старый армянин, торгующий семечками на углу их дома, — все так же буднично кивает Лева, когда тот возвращается с работы, а соседка Клавдия Ивановна, парторг на швейной фабрике, все так же сердится на тетку Минны, которая спит на общем балконе.

Минна умудрялась сочетать в себе восторженность по отношению к мужу с практичностью во всех остальных делах. Новые родственники оказались вовсе не такими страшными. Правда, однажды пригласив родителей Левы в гости, она отказалась от надежды на близкое общение: Лиза нагнала такого страха на несчастную тетку, что та боялась пошевелиться и только мелко кивала, слушая, как жила в детстве сама Лиза, что и в каких количествах подавалось в ее семье на стол...

— Ничего, — думала Минна, — вот родятся дети, тогда все станет по-другому.

Она представляла их слевой будущую жизнь так: много детей и большой, неведомо откуда взявшийся дом, в котором они будут жить. И тогда свекровь уже не сможет упрекнуть ее за отсутствие крахмальной скатерти и фамильного серебра или за скудное угощение – худосочную пересоленную курицу...

Но все это не успело случиться, потому что началась война. И Лева, и Минне показалось, что она началась почти сразу после их женитьбы, хотя к сорок первому году они жили вместе, наверное, уже лет пять или шесть. И все, жизнь сразу как-то сбилась, завертелась по-новому и понеслась скачками, не разбирая дороги. Лева был нефтяником, поэтому его довольно долго не призывали в армию, но в сорок втором, когда немцы заняли Северный Кавказ, все же прислали повестку из военкомата. Сразу после короткого и бестолкового курса молодого бойца в Сураханах он попал куда-то под Сталинград. По своей природе Лева не был ни храбрецом, ни удалым солдатом. Два чувства неотступно преследовали его с того самого момента, когда, переодетый в нелепую, в спешке выданную не по размеру солдатскую форму, он впервые встал в строй таких же бедолаг-новобранцев: как и все остальные, Лева страдал от голода и страха. Иногда голод пересиливал, и тогда было легче, потому что унять голод немного проще. Страх же не отступал почти никогда.

Вместе со своим взводом Лева попал в резервную часть, расположившуюся на степном берегу Волги. Он подолгу сидел на дне окопа полного профиля и, чтобы отвлечься от страха и невыносимой окопной вони, пытался вспоминать свою Минну. Но все вокруг настолько не совпадало с его привычной мирной жизнью, что ничего, кроме голоса жены, вспомнить не удавалось. И тогда страх только усиливался. Тем не менее Лева умудрился подружиться с Федором – низеньким плотно сбитым пареньком из Ростова.

Федор был моложе Левы, но казался куда более уверенным в себе и говорил, что ему наплевать на все и что он вообще пошел на фронт, чтобы замазать одно дельце и не попасть чалиться на зону. Узнав, что Лева – еврей, Федор оживился и, хитро улыбаясь, начал расспрашивать, как евреи хранят кровь христианских младенцев, чтобы та не свернулась. Он-то знал, что кровь быстро густеет и теста с ней не замесишь... Этот древний, почти как сами евреи, и обязательный, как неполное среднее образование, вопрос любого антисемита о крови младенца Леву не удивил: он много раз слышал его при самых разных обстоятельствах. Удивило другое – полное отсутствие у Федора привычного осуждения, а вместо этого наличие живого практического интереса. Так обычно женщины спрашивают друг у друга рецепт понравившегося пирога. Лева заверил Федора, что люди

все врут насчет младенческой крови – и даже попытался объяснить ему строгие законы кашрута. Но Федор, придвинувшийся было к Лева и приготовившийся внимательно его слушать, разочарованно откинулся назад, отчего сверху, с плохо утрамбованного бруствера, на него потек тоненький ручеек песка.

– Эх, вы, – сказал Федор, отряхиваясь. – А я-то думал: вот ведь люди, звери просто, чуть что не так, давай сразу у врагов младенцев мочить, чтоб неповадно было. Не-е-е, что бы ни говорили, а так и должны вести себя настоящие урки. А батянька мой покойный, который, между прочим, дьяконом был, получается, все врал про казни египетские и разное такое...

Лева чувствовал странное расположение к этому удальцу, впрочем, понимая, что не хотел бы встретиться с ним в темном переулке где-нибудь там, в гражданской жизни. В Федоре чувствовалась какая-то непредсказуемая дикая сила, полное отрицание законов и правил, навязываемых ему окружающим миром. Он даже евреев уважал, вопреки всем байкам, которые слышал о них. Но главное, Федор не боялся. Совсем никого и ничего не боялся. Рядом с ним Лева становилось немного легче.

– Ты, Левчик, около меня трись, – говорил Федор, по блатной привычке почти не разжимая губ. – А когда на фрица пойдем, ты, главное, не ссы, отобьемся...

...Оставшись вдвоем с теткой, Минна словно вернулась в девичество. Умом она понимала, что у нее есть муж и что муж этот ушел на фронт. Но с того дня, когда Леву посадили в кузов грузовика и куда-то увезли, он как будто перестал быть для нее живым человеком из плоти и крови, превратился в воспоминание или, может быть, даже и не в воспоминание, а в нечто расплывчатое и неуловимое. Не прошло еще и месяца, а она уже и сама не могла бы сказать, помнит ли настоящего Леву... Наверное, это происходило с ней потому, что где-то глубоко внутри она так и не сумела до конца поверить в то, что Лева ее любит, что они счастливы вместе, и, самое главное, ей казалось, что чем больше она отстранится от мужа – настолько, чтобы связь между ними почти оборвалась, – тем меньшая опасность будет грозить ему на фронте. Обманывая себя, она хотела обмануть судьбу...

Узнав о том, что она беременна, Минна впала в состояние глубокого недоумения. Из этого состояния ее не вывело даже Левино письмо – первое письмо, полученное после разлуки. Лева писал, что у него все хорошо, что на фронт он и носу не кажет, потому что сидит вместе с другими новобранцами вдали от передовой и конца этому

сидению не видно. Хотя, добавлял он, скоро... дальше строки были замазаны строгим военным цензором, и, выполнивший свою работу, смершевец даже представить себе не мог, какое впечатление произведет на Минну его бдительность. Ей показалось, что, оборвав Леву на полуслове, погрузив его в страшное фиолетовое ничто, в тот провал, откуда не возвращаются ни слова, ни люди, кто-то неведомый на что-то ей намекает. Но она не могла и не хотела понимать этих намеков. Весь жизненный опыт Минны говорил о том, что человек не бывает счастлив абсолютно – так, чтобы какая-нибудь малость не омрачала его счастья. Пока они были вместе слевой, такой малостью было отсутствие детей. А теперь...

Теперь вновь материализовавшемуся Леве грозила страшная опасность. Минна ощущала ее куда более остро, чем ребенка, которого она носила. Это было пронзительное, сводящее с ума чувство. Несколько дней она боролась с ним, хотя уже решила, что следует делать, но не будучи в силах произнести это вслух хотя бы для себя самой.

А потом события понеслись еще быстрее, но уже не одно за другим, а параллельно, бок о бок, как лошади в упряжке.

Лева со своим новым другом Федором попал на передовую. Не обращая внимания на браваду Федора, он оцепенело смотрел прямо перед собой и понимал, что вот-вот начнется то страшное, во что невозможно было поверить, но что приходится принимать. Лева видел, как уносили мертвых и раненых бойцов – тех, кого успевали унести, – и не знал, чего больше страшится – смерти или ужасных, невыразимых страданий, на которые был обречен здесь каждый раненый... А Федор не пьянея пил спирт, не лезущий Леве в горло, был весел и призывал «Левчика» «не бздеть».

– Настоящий еврей, – говорил он, многозначительно усмехаясь, – не может погибнуть в такой херне, как эта война. Западлю это ему. Я ж про вас читал, знаю, что говорю. Подумай сам, фараон египетский настоящий пахан был, куда до него сявке Гитлеру, а чем дело кончилось? Это когда евреи с Египта скипнули. Так фараон за ними, а тут море Красное на пути. И ни лодок, ни хрена... Ну, евреи на то и евреи, раз – и проскочили, а когда фараон за ними со всей кодлой сунулся, море и сомкнулось. Утоп фараон как котенок... На крайняк, вон Волга, ничуть не хуже того моря, если что, так расступится, а когда эти гниды за тобой кинутся, тут им и кирдык! Ты это запомни, Левчик!

Чуть позже в тот день молодой лейтенантик, командир взвода, объявил солдатам, что ближе к вечеру старшина раздаст им патроны, ну и чтобы, значит, винтовки были начищены, потому как есть сведения: ночью они пойдут в атаку.

В это же время Минна окончательно решилась. Она про ту бабушку слышала давно, но, встречаясь с ней на улице, всегда старалась обойти стороной, как будто боялась, что шлейф черных дел, тянувшихся за бабушкой, может оказаться заразным... Но сейчас другое дело, сейчас Минна была способна пожертвовать многим, чтобы спасти Леву. Преодолевая стыд и страх, она отправилась к бабушке, и та согласилась, похмыкав и посверлив Минну темным взглядом: понятное дело, война, немцы того и гляди доберутся до Баку. Куда ж этой евреечке с малым-то дитем... Не торгуясь и не глядя в жуткие бабкины глаза, Минна договорилась, что придет к ночи, как стемнеет, чтобы соседи не таякали и, того гляди, не вызвали бы милицию...

К ночи, когда патроны были розданы, а винтовки вычищены, немцы, как будто кто-то, несмотря на все усилия «Смерша», их предупредил, начали пускать осветительные ракеты «люстры». Лева вместе со всеми тихо матерился, ожидая обещанной артподготовки, следом за которой они должны были идти в атаку. Но сигнала все не было и не было, и это вселяло слабую надежду, что, может быть, атаку в этот день вообще отменят.

В тот момент, когда Минна уже шла по темным из-за светомаскировки улицам к бабушке, к бойцам на передовую пробрался политработник из штаба. Поминутно вздрагивая от грохота запускаемых немцами «люстр», он лихо заявил, что в атаку придется идти без артподготовки. Потому что хоть немец и дурак, но и дураку понятно, что за артобстрелом обязательно последует атака. И, значит, он успеет подготовиться. А мы его обманем — атакуем без предупреждения!

— Видно снарядов на батарее нет ни хрена, — шепнул Лева Федор, — то ли подвезти забыли, то ли еще что... Вот же суки!

Федор протиснулся вперед и, прикидываясь деревенским дурачком, зачастил: «Товарищ комиссар, а, товарищ комиссар! А ‘ура!’ кричать надо будет — или мы по-тихому, чтоб не догадались гады-фрицы?»

Комиссар захлопал красными веками, пытаясь понять, следует ли ему накричать на этого разбитного и не по уставу незастегнутого бойца. Но боец так ловко держал в руках винтовку с примкнутым штыком, а в позе его было столько готовности к неожиданно резким движениям, что строгий комиссар все-таки решил улыбнуться шутке, но отметить про себя этого типа на будущее. Сказать же политработник ничего не успел, потому что в это время запел зуммер полевого телефона и был получен приказ к атаке по двум красным ракетам.

В это самое время Минна на ощупь пробралась в низкий бабкин

подвал. С озабоченным видом бабка что-то кипятила в большом тазу на примусе, называемом в Баку керосинкой. От влажной духоты Минне сделалось дурно и так страшно, что она готова была бежать. Но, сделав над собой нечеловеческое усилие, осталась. Минна слышала, будто некоторые бабкины пациентки умирали от кровотечения прямо тут же на столе, в этом жутком подвале, но, внутренне робко торгуясь с судьбой, Минна радовалась, что подвергает себя такой опасности. Пусть она даже умрет, пусть, зато Лева...

Атака, в которую повел свой взвод молодой лейтенантик, быстро захлебнулась. Немцы почему-то не растерялись, а сразу же стали палить из пулеметов. Вокруг падали бойцы. И хотя в самую последнюю минуту, когда, отчаянно ругаясь от страха, Лева вслед за Федором выскочил на бруствер, он перестал бояться, стало понятно, что сейчас его убьют. Лева растерянно огляделся. Куда-то подевался только что бежавший рядом друг Федор. Лейтенантика тоже нигде не было видно. На секунду ему показалось, что он остался совсем один на этом изрытом окопами берегу, и странно было слышать выстрелы и крики. Не было ни немцев, ни русских, а были только он и Волга, которая — он вспомнил смешной разговор с Федором — должна была расступиться, чтобы укрыть Леву. Тут ему сделалось очень больно, так больно, что он даже не мог бы сказать, где именно у него болит. И тогда, сразу поняв что-то важное, такое большое, что не вмещалось в его разум, он побежал, потащился, пополз к воде, к спасительной воде Красного моря...

И Минне было очень больно. Она даже не представляла себе, что в этом мире существует такая боль. Боль заслонила все — и грязный подвал, и бормотанье бабки, и жуткий запах крови. На какое-то время Минна потеряла сознание, а когда пришла в себя, к ней вернулись и звуки, и запахи, и начинающая стихать боль. Она снова услышала бабкин голос.

— Это надо же, — бормотала та с непонятной Минне злобой, — двойня была, мальчишки... Взять с нее, что ли, как за двоих?..

Судьба повела себя странно. Леву среди убитых не нашли, поэтому он попал в списки пропавших без вести. А Минна до конца жизни верила, что он еще найдется, ведь не убили же, ведь не зря же она принесла свою жертву...

ЛУТИЯ

Мы брели по пустыне к перешейку между Великим морем и морем Мицрамским, и худо было моему господину, несшему на пле-

чах тяжелую ношу раскаяния. Время от времени он останавливался, устремлял невидящий взор к оставленной нами реке Нахаль и молча бил себя кулаками по голове. Я никак не мог решиться спросить, что мучает его больше — проявленная слабость или утрата Шари. Несколько дней он не притрагивался к пище, и тогда я начал опасаться за его жизнь, заподозрив, что, обладая даром предвидения великих свершений, я ничего не знаю о невзгодах, которые неизбежно следуют за ними, как торговки разбавленным вином за бабелльским войском. Радовало только исчезновение проклятого Нахора. Потому что если бы он остался с нами, я, не удержавшись, мог бы нарушить приказ господина и пролить его жалкую кровь на белый песок пустыни. Но Нахор-Авилот не посмел тогда присоединиться к нам, хотя позднее нам еще пришлось с ним столкнуться и господин сам мог убедиться в его подлости и ничтожности.

Не знаю, как это объяснить, но господин мой ослаб настолько, что однажды вечером, когда утомленные тяжелым переходом рабы уснули и у костра остался я один, он сел рядом и опустил руку на мое плечо. Так же, как сейчас, обманчиво сверкали низкие звезды, так же, как сейчас, надрывно кричали невидимые глазу насекомые, а ящерицы чертили на песке свои таинственные знаки. Только в отличие от сегодняшней ночи, мой господин был рядом со мной. Он неуверенно улыбнулся и заговорил. Никогда еще мне не приходилось слышать от господина столь необычных речей.

Не мне, любящему и верному слуге, судить, что следует говорить и делать моему господину. А если бы я решил, что сказанное недостойно его, то разве не означало бы это, что я, дерзкий, рассуждаю о делах и вещах, неподвластных моему пониманию?

— Друг мой, — мягко произнес господин, и я еще больше изумился, услышав такое необычное для господина обращение, — верный друг мой... Я чувствую, что ты все время хочешь задать мне вопрос, но не решаешься, потому что боишься огорчить меня. Молчи! — видя, что я хочу возразить, он повелительно поднял руку, но тут же бессильно опустил ее. — Все эти дни, возвращаясь в Кенан, я призывал Единого, чтобы понять, что же мне следует делать, и еще ни разу не получил ответа. Ни разу! И только вчера, во время сиесты... Ах, какой это был сон! Никогда еще Единый не проявлял Себя так ясно, и никогда воля Его не была столь очевидна. Тебе, преданному слуге, я могу признаться только в одном: хотелось бы мне, чтобы в этот раз все было иначе. Я, смиренный, не задаюсь вопросом, отчего мне было дано то, что теперь отобрано. Но сейчас мне кажется, что самый жалкий из наших рабов куда счастливее меня, потому что я все же не отнимаю у него последнего...

Думая, что он имеет в виду оставшуюся в Мицраме Шари, я стал

утешать господина, говоря ему, что все еще может обернуться к лучшему. В первый и единственный раз я соврал ему, уверяя, что ясно вижу их снова вместе. Но господин оставался безутешным, и видно было, что только любовь ко мне не позволяет ему сказать то, что заставило бы меня делать страшный выбор между преданностью господину и служением Единому.

А наутро мы опять медленно двигались в песках, оставляя позади и Мицрам, и Шари, и пустые надежды. Текучие обманные видения пустыни то и дело посещали нас: то вдали, то совсем близко виделись нам высокие городские стены, пышные фруктовые сады, фонтаны, полные прохладной воды... Поэтому когда я, шедший впереди, чтобы указывать путь ленивым разморенным жарой рабам, вдруг заметил среди сияющих песков черное пятно, то не сразу понял, что это такое. И только пройдя еще несколько шагов, увидел на месте одного пятна два, и что меньшее движется вокруг большего. Тогда я понял, что это не обман, и еще понял, что, может быть, смогу хоть немного облегчить груз, лежащий на плечах моего господина. Не сдержавшись, я бросился бежать, чего не следовало делать под таким палящим солнцем. В голове у меня шумело, когда я, наконец, ясно разглядел на песке павшего верблюда и фигурку, с головы до ног закутанную в тряпье. Даже не обладая даром предвидения, по неловким опасливым движениям, по неуклюжим попыткам поднять бедное животное на ноги я сразу понял, что передо мной женщина. Страх, с которым она смотрела на меня, говорил о том, что женщина молода и неопытна и, главное, что она здесь одна, без мужчин.

Это была грязная и оборванная дикарка, которая тут же бросилась бежать. Меня, дерзкого, охватил азарт, и я пустился следом, в тот момент не столько думая о господине, сколько желая поймать эту гибкую кошку, набросить на нее аркан, подчинить, ударить ножом под сердце. Да, она была сильной и ловкой, но никакая ловкость не может сравниться с жадной охотника, преследующего дичь не для утоления голода, а из-за бурлящего в крови желания обладать. Я быстро нагнал дикарку, и тогда она упала на спину, подняв, как настоящая кошка, ноги и руки, а в сжатых кулаках угрожающе сверкнули на солнце узкие лезвия. Но могли ли они испугать меня, с детства знакомого с боевым искусством ассиров? Когда же я скрутил ей за спиной руки, с невероятным проворством она выгнулась, скрипнула зубами, и по ногам у нее потекло зловоние. Я невольно отпрянул, а она злобно расхохоталась и закричала. И хотя кричала она на неизвестном языке, было понятно, что это ругательства и что если я и после того, что она сделала, не побрезгую ею, то и сам я жалкая тварь, и проклятие ляжет на головы всех моих потомков.

Я оттолкнул ее на песок и в гневе хотел отдать нашим рабам, бывшим пастухам, которые не стали бы обращать внимания на запахи и проклятия. Но тут подоспел мой господин, и я, вспомнив о своем предвидении, сказал, что эта девушка потерялась в пустыне и теперь по праву принадлежит ему. Господин тусклым взглядом оглядел дикарку и велел развязать ее. А я испугался, что, потеряв Шари, он потерял и жизненную силу, и тяжесть ноши переломила ему хребет. Много позже ангелы Джуда пытались объяснить мне, что господин, метавшийся от надежды стать родоначальником великого народа, как обещал ему Единый, к отчаянию из-за бесплодности Шари, потому и решился назвать ее сестрой. Ведь ни словом не обмолвился Единый, кто станет той, через чрево которой и исполнится обещание. Но мне, дерзкому, все равно думается, что сила моего господина заключена даже в его слабости, и пусть накажет меня Единый, но ангелы Джуда не убедили меня ни в чем.

Как только я развязал дикарку, она подпрыгнула и, захватив полные горсти песка, бросила его в нас с господином. Когда же мы отерли глаза концами головных платков, она уже исчезла, как будто капелька воды, ушедшая в бархан. Я вопросительно посмотрел на господина, но он покачал головой, и я не посмел сдвинуться с места, хотя внутри меня бушевала буря. Я хотел сделать своего господина счастливым, хотел, чтобы он выполнил великое предназначение. И если для этого требовалось поймать и усмирить не одну, а множество дикарок, то я был готов сделать это даже ценой собственной жизни, не говоря уже о жизнях тех, кто попытался бы мне в этом помешать.

Но тем же вечером, когда солнце почти село за барханы и мы расположились на ночлег, господин в который раз удивил меня. Рабы еще не закончили свой ужин и о чем-то вполголоса спорили; господин сидел, как это часто с ним теперь бывало, задумавшись и глядя на угасающий закат, а я пытался внушить себе, что сделанного не вернешь и что, видимо, Единый не желал, чтобы великий народ начинался с семени, пролитого господином в чрево случайно пойманной в пустыне дикарки. И вдруг из-за края шатра появилась маленькая гибкая женщина. Глаза ее были густо подведены сурьмой, а ногти на маленьких ручках и пальцах ног были желтыми от хны. На женщине была накидка из какой-то полупрозрачной ткани, а под накидкой угадывалось гладкое обнаженное тело. Она переступала крохотными ножками, как будто танцевала, и было слышно, как позвякивают украшения на ее шее и призывнодвигающихся бедрах.

Только тогда, когда удивление отпустило меня, я смог узнать в ней ту грязную дикарку. Но теперь от нее пахло чем-то пряным и одновременно сладким, в глазах не было ни страха, ни жестокости, а

только покорное обещание, которым, не обращая внимания на окружающих, она щедро одаривала моего господина. Взглянув на господина, я увидел, что он улыбается. Эта улыбка сказала мне многое. Я отогнал любопытных рабов подальше от шатра и сам уселся вместе с ними, чтобы ненароком не нарушить покоя моего господина. Но когда я думал о том, что сейчас происходит в шатре, все большее беспокойство охватывало меня. Эта добровольно вернувшаяся к господину дикарка могла быть подослана одним из тех племен, чьи отары мы забирали себе, а пастухов убивали или делали своими рабами. Да и правитель Мицрама, решивший оставить у себя Шари, тоже мог подослать к господину убийцу, чтобы окончательно оборвать связь между ним и Шари.

Теперь я могу признаться звездам, что мой пророческий дар порой изменял мне, и тогда я знал о будущем не больше, чем это дано обычному человеку. Внезапно, как кинжал проклятой дикарки, пронзила меня мысль, что я, тот самый верный слуга, которому полностью доверился господин, беспечно сижу у костра, в то время как ему может угрожать страшная опасность. С проклятиями вскочил я на ноги, но они тут же подкосились, и от неожиданности я опять опустился на песок. Потому что из темноты прямо на меня, улыбаясь во весь рот, вышел проклятый раб Нахор. На время я забыл о своем желании прирезать его и только спросил, как он нашел нас, и зачем, презренный, бросил в Мицраме Шари.

Нахор рассмеялся своим обычным подлым смехом и сказал, что не таков он, чтобы бросать женщину, к тому же свою госпожу. Тут желание пустить ему кровь вновь охватило меня. Потому что снести оскорбление, вскользь брошенное моему господину, было выше моих сил. Я вскочил и уже схватился за меч, но этот мерзкий раб мгновенно оценил опасность, отпрыгнул от меня и шепотом закричал, что не мечом я должен ему грозить, а поклониться как родственнику своего господина и спасителю его жены.

Только тут я до конца понял, что происходит. Не теряя времени на расспросы нагло улыбающегося Нахора, я бросился к шатру господина, ожидая увидеть все что угодно и заранее ругая себя за глупость и нерасторопность. То, что я увидел, поразило меня, и я решил, что опоздал, что дикарка успела сделать свое черное дело. И только когда раздался громкий женский смех, я сообразил, что господин жив. Он просто опустился на колени, а перед ним, одетая пышно, как полагаются богатым женщинам Мицрама, стояла Шари, за спиной которой пряталась, покорно опустив голову, безмолвная дикарка. Я перевел дух, еще не понимая, следует ли мне радоваться или огорчаться.

Потом, когда все успокоилось и господин устроил пир в честь

возвращения Шари, а я одним ударом меча убил двух наглых рабов, позволивших себе непочтительно обсуждать действия господина, негодяй Нахор рассказал мне, что только благодаря его уму и храбрости удалось вырвать Шари из рук мицрамского правителя. Посмеиваясь, он врал о том, как храбро вел Шари по пустыне, как купил у встреченного на полпути неведомого племени служанку, которую Шари назвала Хайгайри и которую они послали вперед к господину, поскольку та родилась в пустыне и могла быстро нагнать нас, отыскивая на песке одной ей понятные следы. Я не поверил ни одному его слову, но Шари вернулась к господину, и мне не оставалось ничего другого, как согласиться с этим. А пытаться узнавать, что случилось на самом деле, я не посмел. Мне не хватило мужества, чтобы услышать унижительные для господина речи.

Признаюсь, было такое время, когда мне казалось, что все идет так, как указано Единым. В полных воды и жизни землях Вирсавии приумножились наши стада, и рабы наши уже не были жалкой горсткой полудиких пастухов, и господин мой приобрел уважение и любовь многих живших по соседству племен. Но вслед за богатством и величием всегда черной тенью крадется зависть. Я пробовал увещевать господина, чувствуя, что эта зависть может обернуться опасным весенним скорпионом, заползшим в его сандалию. Но Шари, не привыкшей скрывать своего богатства в Бабелле, даже нравилось дразнить и своей надменностью, и своими капризами людей из других племен, живших суровой кочевой жизнью. Она оставалась бесплодной, и что бы ни случилось с ней в Мицраме, это не наложило на нее никакого отпечатка – ни плохого, ни хорошего. Мне начинало казаться, что и сама Шари такая же – не хорошая и не плохая. Она была как вода, не имеющая ни вкуса, ни запаха и принимающая форму того сосуда, в который она попадает.

Это мучило меня, я не мог понять, что же делать, и проклинал свой жалкий дар, потому что он не подсказывал никакого выхода, не давал ответа ни на один из мучивших меня вопросов. Но что самое ужасное, мне стали сниться странные сны. Они не могли быть проявлением моего пророческого дара, потому что ничего не говорили о господине и его будущем. И в то же время они рассказывали обо всех нас, находящихся под его рукой и опекой. Я видел вещи, которые невозможно описать словами, потому что они были недоступны моему слабому рассудку. Сны эти не были посланием Единого, ибо общение с Ним было уделом господина, я же, дерзкий, не мог и помыслить о таком. Но и происками Другого эти яркие сны тоже быть не могли. Я видел множество лиц, но единственным знакомым было лицо Шари. Я стал присматриваться к ней и задумываться. Тут-

то мне и пришло в голову, что ни я, ни господин не знаем ее по-настоящему. Однажды ночью я не выдержал. Мне казалось, что взглянув на спящую Шари, я смогу понять, какая она на самом деле, и это поможет мне решить, что делать дальше. И если за мою дерзость нужно будет потом умереть от руки господина, то я покорно приму свою участь, как и положено верному слуге.

И вот когда наш, ставший теперь большим и шумным, стан погрузился в тишину, я взял меч и ползком прокрался к шатру Шари. Я понимал, что глупо и недостойно мужчины, пусть даже и не способного любить женщину, пытаться тайком взглянуть на спящую жену своего господина. Но я понимал и то, что не избавлюсь от своих сомнений, пока не выполню задуманного. И снова со мной случилось то, что часто случается с усердными, но неумными слугами: я оказался очевидцем того, что не было предназначено ни для моих глаз, ни для моего ума. В шатре Шари шепотом беседовали несколько человек – и среди них был мой господин. Шари больше молчала, но трое незнакомцев говорили почти не останавливаясь, и странна и малопонятна была их переливчатая речь. Только потом, много после, узнал я, что так разговаривают ангелы Джуда.

Они в чем-то убеждали моего господина, а господин возражал, что кровь не должна быть пролита, что его потомков могут проклясть за это, что ему страшно, что пусть лучше отнимут руку. И тогда возвысил голос один из ангелов, и даже мне было понятно, о чем он говорит. Кровь всегда была и будет залогом верности Единому. Только кровью, одной только кровью будет подписан Залог и Завет, потому что пустое обращено наружу, а подлинное направлено внутрь. И как кровь, наполняя тело силой жизни, невидимо бежит по жилам, так и воля Единого проявляет себя неявно. Говорящий замолчал, и тогда вздохнул мой господин и сказал, что согласен, если на то воля Единого. Радостно заговорили другие ангелы, а Шари весело рассмеялась. И только я, невольный свидетель, расслышал в голосе господина тоску и неуверенность. Но не успел я подумать об этом, как из шатра раздался крик боли. Это кричал мой господин, и я, уже не раздумывая, бросился ему на помощь.

Много позже, когда этот обряд стал законом нашего народа, когда завистливое и неблагородное йеменское племя Джухрум уже переняло этот обряд, и от этого пошла рознь и полилась совсем другая кровь, я понял, почему и трое незнакомцев, и Шари были так веселы в ту ночь, почему господин мой, хоть и бледный, ласково мне улыбнулся. Но тогда, увидев окровавленного господина, я решил, что это коварная Шари, чтобы оправдать свое бесплодие, решила учинить над ним одну из тех уловок, которым научилась в противном Единому храме Иштар.

Чем ближе подхожу я к самому главному, ради чего тревожу воспоминаниями звезды, тем обрывочнее становятся эти воспоминания. Как будто моя пугливая мысль старается пропустить самое неприятное, то и дело, как мошенник на базаре, подсовывая взамен полновесных, но болезненных воспоминаний пустые никчемные подробности. Не хочется вспоминать о том, как еще раз была потеряна для господина Шари, как потом вернулась к нему, плачущая и несчастная, и господин вместо того, чтобы убить, как на его месте поступил бы любой, простил ее и принял.

Но я совсем позабыл о служанке Шари, о Хайгайри. Она, как и положено служанке, тоже нередко проводила ночи в шатре господина, и Шари была рада этому. Потому что ответственность за невозможность принести господину наследника делилась теперь на двоих. Но и вдвое тяжелее было моему господину. Несколько раз, когда господин терял присутствие духа, я позволял себе спрашивать его о том полуденном сне, в котором, по его словам, Единый отобрал уже отданное ему. Но ни разу не удалось мне узнать, что именно видел во сне мой господин.

А потом у господина родился сын. Это произошло зимой, в то самое время, когда обильно плодились наши овцы, что было сочтено хорошим знаком. Первенец оказался крепким и сильным, достойным своего отца. Господин был счастлив. Обещанное сбывалось, и мою радость не омрачало даже то, что господин выделил стада и наделы набившемуся в родственники Нахору. Я знал, что этот наглый раб приложил руку к каким-то темным проискам, которые господин, ставший наконец отцом, упорно не желал замечать, но ничего не мог с этим поделать. Когда в очередной раз я заговорил с господином о Нахоре, он, теперь столь легко переходящий от довольства к гневу, ударил меня, дерзкого, и приказал забыть о своем ничтожном даре, запретив даже в мыслях в чем-либо подозревать его близких. Потом он ударил меня еще раз, чтобы лучше стала понятна его воля, и, сплевывая на землю кровь, я поклялся, что буду глух и слеп ко всему, не имеющему отношения к моим прямым обязанностям.

Но чуть позже, когда господин перестал гневаться, он призвал меня и сказал, что все дело в любви. Той самой любви, которой мне не суждено узнать, но которая дана ему Единым и которую он обязан сберечь, даже рискуя показаться недостойным главы рода. Да, я действительно не знаю иной любви, кроме привязанности к господину, но напрасно он упомянул о том, что эта его любовь сжигает внутренности человека и лишает его рассудка. Такое чувство знакомо и мне. Потому что ничем другим, кроме безумия, я не могу объяснить многие свои поступки.

Народу было объявлено, что Шари принесла господину долго-

жданного наследника. Рабы кричали, как опоенные тайными зельями, я даже опасался, что, пользуясь безнаказанностью и попустительством господина, они перережут все наше стадо. Шари не показывалась никому на глаза уже давно, по бабелльским традициям укрывшись в шатре вместе со своими служанками. Я твердо держал данное господину обещание не пользоваться своим пророческим даром и не лезть в чужие дела. Но что такое моя воля в сравнении с волей Единого? Я опять начал видеть необычные сны, и сны эти становились все навязчивей. Мне, всегда готовому умереть не дрогнув, было страшно от увиденного; во сне я пытался и не мог уберечь что-то ценное, защитить то, важнее чего нет в мире. И я просыпался в холодном поту с криком, пугающим спящих неподалеку рабов.

Однажды какой-то пастух принес нам известие, что мерзкий Нахор-Авилот попал в рабство. Очевидно, сытый по горло его подлыми уловками правитель Элама, где поставил свои шатры Нахор, захватил и его, и его людей вместе со всем имуществом. Господин взъерился. Но, зная мое отношение к Нахору, оставил меня с женщинами, а сам опоясался мечом и во главе отряда наших рабов отправился на выручку. Уходя, он наделил меня большой властью и еще большей ответственностью. Ведь на мне теперь лежала забота о всех женщинах рода и, самое главное, о наследнике.

В первую же ночь, обходя стан, я услышал крики младенца, доносившиеся из шатра Шари. Это кричал Первенец, и поначалу я не придавал этому значения: о младенцах я знал, что они часто кричат. Но стоило мне подойти поближе, как я услышал что-то странное, и ужас сковал меня, как тогда, во сне. Кто-то пытался заткнуть Первенцу рот, а ребенок вырывался и кричал еще громче. Чувствуя, что ноги плохо мне повинуются, я медленно отыскал щель между шкурами, покрывающими шатер, и заглянул внутрь. Слабого света было достаточно, чтобы увидеть, как раздраженная Шари пытается засунуть в рот младенца свою маленькую, по-девичьи упругую грудь. Первенец крутил головой, дергал ножками и закатывался от крика. И когда я почти потерял голову от увиденного, откуда-то из темноты выскочила служанка Хайгайри. Глаза ее пылали, а лицо было еще страшнее, чем во время нашей первой встречи. Она выхватила Первенца из рук госпожи, прорычала что-то по-звериному и приложила его к своей груди. Ребенок нашел большой мягкий сосок, казавшийся в полутьме черным, тут же успокоился и зачмокал, окрасив белым молоком розовый ротик.

Я еще не успел понять, что тут происходит, но изменившееся выражение лица Хайгайри, которое мгновенно сделалось нежным и кротким, открыло мне страшную тайну, повлекшую за собой множество бед.

ДО

Мои папа и мама вряд ли женились по любви. Оба вернулись с фронта, встретились в доме дяди Бори, брата бабки Лизы, и папа очень скоро, недели через две, сделал маме предложение. Теперь уже трудно сказать, почему папа выбрал именно ее, ведь тогда, в сорок пятом году, в Советском Союзе любой неубитый мужчина был на вес золота. Наверное, папа мог найти невесту и по красивее, и побогаче. Но папа выбрал маму... Конечно, возникла взаимная симпатия и, конечно, как и у всех вернувшихся с войны, у них было желание наконец-то пожить по-человечески. Достаточно ли этого для счастья? По крайней мере на случайной фотографии, сделанной спустя некоторое время, оба они выглядят влюбленными и довольными...

Жизнь начинала как-то налаживаться. Папа был человеком трудолюбивым и много работал, обеспечивая семье вполне хороший по тем временам достаток. Потом, один за другим, родились дети: мои сестра и брат. Бабка Лиза, то ли испытывая угрызения совести после гибели Левы, то ли просто став старше и ощутив потребность кого-то любить и о ком-то заботиться, пыталась ухаживать за внуками. Правда, мой папа бабке никогда не нравился: она хорошо усвоила наставления прадеда Вольфа о том, каковы должны быть потенциальные женихи. Хотя сама же пренебрегла и наставлениями, и женихами, выйдя замуж за полунищего Абрама. Тем не менее, всю последующую жизнь бабка Лиза ворчала, что ее Ася могла бы найти себе генерала, а не этого «шлепера»...

Но, так или иначе, мама была счастлива. Она стала женой и хозяйкой дома, ей больше не нужно было жить с родителями в грязной, с детства ненавистной халупе... Всю жизнь она была мнительной чистюлей и приучила всю семью к непривычной в Советском Союзе роскоши ежедневно принимать душ. Мама вообще жила в своей сказке, но это не была сказка о Золушке – простушке парвеню, чудом выбившейся из служанок в принцессы. Потому что мама не была простушкой с самого рождения. Ей казалось, что после долгого отсутствия она просто вернулась домой и теперь обустроивала доставшееся ей королевство по своему усмотрению. Это было очень аристократическое королевство, и маму совершенно не смущало, что брабантские кружева оказывались крашеной марлей, а придворные камер-дамы – неуклюжими ленивыми домработницами из приезжающих в Баку на заработки молоканских девиц. Она царила всерьез и с видимым удовольствием. Мальчишкой я не мог себе представить королевскую чету из андерсеновской «Принцессы на горошине» иначе, чем в образе моих родителей.

Но была еще Вера, мамина младшая сестра, которой повезло

значительно меньше. К тому возрасту, когда ей, как приличной еврейской девочке, пора было выходить замуж, все вернувшиеся с войны женихи были давно разобраны теми, кто постарше или побойчее. К тому же, в отличие от миловидной и женственной мамы, Вера выросла чрезмерно худой и очень высокой неуклюжей дурнушкой. Но зато Вера была музыкальна. Первая в семье она получила высшее образование, прекрасно пела, любила веселые компании и, не имея ни малейшей склонности к аристократическому образу жизни, обладала характером куда более легким, чем мама, которой она люто завидовала. Ничего необычного в этих родственных отношениях, круто замешанных на любви и ненависти, не было. Вера страдала от одиночества и непривлекательности, а мама искренне сочувствовала и тихо торжествовала: ее семейное счастье на фоне не сложившейся судьбы младшей сестры казалось еще полнее.

Конечно, у Веры бывали мужчины, но ни один из них не годился в мужья и, главное, ни один не хотел брать на себя ответственность и становиться отцом ее ребенка, пусть даже и внебрачного. Когда Вере исполнилось тридцать и по тогдашним меркам она давно уже была старой девой, ей встретился Мирза-Али. Они познакомились в лесном санатории в Набрани под Баку, куда Вера приехала, чтобы отдохнуть и хоть немного набрать вес. Мирза-Али был окружен романтическим ореолом. Он был иранцем, членом социалистической партии «Тудэ», только что чудом избежал казни, к которой его приговорил одноклассник по военному училищу шах Ирана Реза Пехлеви, и получил убежище в Советском Союзе. Власти с ним носились, как всегда в СССР носились с иностранцами: безо всякой очереди предоставили квартиру, назначили заведующим обувного магазина и, наверное, осыпали бы благами и дальше, но... Мирза-Али категорически отказался принимать советское гражданство. Сталина к тому моменту почти два года как внесли в Мавзолей, и, хотя еще не вынесли обратно, времена уже были относительно свободными. Потому Мирза-Али до самой смерти оставался лицом без подданства, дразня мелких местных начальников своей относительной независимостью.

Непонятно, чем могла его привлечь некрасивая Вера. Возможно, сыграло свою роль то, что Мирза-Али почти не понимал по-русски, и ему, окруженному веселой толпой вечно о чем-то галдящих людей, было тоскливо в этом санатории. Или, может быть, худая и носатая, она разительно отличалась от тех женщин, которых он знал в Иране, что внесло в его жизнь приятное разнообразие. Но сам он внес в ее жизнь куда больше. Вернувшись домой к родителям, Вера обнаружила, что беременна. И сразу же поняла: это тот единственный шанс, который предоставила ей неласковая судьба.

– Гевалт, – простонала ошеломленная бабка Лиза, когда Вера заявила ей, что собирается рожать. Трудно сказать, что именно сразило бабку – отсутствие законного мужа или то, что имеющийся в наличии незаконный – мусульманин. Лиза хорошо помнила, как однажды ее сестра Софа тоже опозорила приличную еврейскую семью – и чем это в конечном итоге кончилось.

– Никогда, – начала накаляться Лиза, – не будет такого, чтобы моя дочь родила, как кошка, от какого-то тутерганефа!.. Гевалт, ой, гевалт!

Дед Абрам мрачно поглядывал на Веру. Разговор состоялся за завтраком, и сваренная Лизой манная каша постепенно остывала в кастрюле. Однако, зная характер жены, он предпочитал не вмешиваться.

– Только попробуй мне родить! Тогда я тебе не мать, а ты мне не дочь, поняла?! А что скажут родственники? – при воспоминании о родственниках Лиза схватилась за голову. – Ох, зарезала ты меня, без ножа зарезала!

К тому моменту, когда страсти окончательно накалились, а каша, наоборот, уже остыла, Вера решительным движением надела кастрюльку себе на голову, одновременно оставляя все семейство без завтрака и давая понять, что ради своего счастья готова и не на такие жертвы. Дед Абрам всплеснул руками и сломался: ему было жаль испорченной манной каши. А бабка Лиза еще долго ругалась и проклинала всех присутствующих, а также отсутствующих участников разворачивавшейся драмы. По ее уверениям, давным-давно похороненный на далеком еврейском кладбище прадед Вульф ворочался в могиле, тревожа остальных родственников, чьи могилы находились неподалеку.

К величайшему удивлению бабки с дедом, Мирза-Али, узнав о беременности Веры, сообщил, что готов на ней жениться. Возможно, еще не освоившийся с местными обычаями иранский подданный полагал, что дед Абрам, узнав о позоре дочери, наточит кинжал и решит вопрос так, как его полагается решать оскорбленному восточному мужчине. А может быть, не хотел портить отношения с советской властью, которую тоже могло бы обидеть такое безответственное отношение человека без подданства к простой советской женщине, пусть даже и еврейке.

Молодые расписались в загсе и поселились в халупе, под боком у бабки с дедом. Но их счастье длилось недолго. Вера оказалась никудышной женой и хозяйкой. В отличие от моей мамы, она не страдала излишней чистоплотностью. К моменту рождения Исмаила, или, как его называли в семье, Исика, Мирза-Али уже достаточно близко познакомился и с дедом Абрамом, и с советской властью,

чтобы перестать опасаться мести с их стороны. Поэтому в только что полученную квартиру он переехал один, оставив сына и жену на попечение бабки с дедом. Порой, соскучившись по неумелым Вериным ласкам, Мирза-Али навещал ее, приносил деньги и подарки сыну, был вежлив с бабушкой Лизой и дедом Абрамом... В общем, для мусульманина и тутерганефа вел себя более или менее прилично.

Позднее, когда Исику исполнилось десять, Вера все-таки переехала к мужу, и они успели пожить год или два в его квартире не то вместе, не то порознь... Да, это была странная семейная жизнь. Но Вера пребывала в состоянии эйфории: ее старшая сестра больше не могла колоть ей глаза своим счастьем. Вера сама стала женой и, главное, матерью. В каком-то смысле она даже превзошла мою маму, потому что маленький Исик обладал более высоким социальным статусом. Разумеется, Исик был записан азербайджанцем. Многонациональный в ту пору Баку не был антисемитским городом, но все же представители коренной национальности в Советском Азербайджане могли претендовать на множество благ, которые были недоступны для евреев или армян. Вдобавок Исик был сыном иранского подданного, что в глазах Веры поднимало его, а вместе с ним и ее саму, на недостижаемую для моей мамы высоту.

Это был один из тех больших приемов, которые любила и умела устраивать моя мама. Такие праздники трудно себе представить нынешним людям, привыкшим к холодноватому ресторанному гостеприимству. И дело было не только в крахмальных скатертях и салфетках, серебряных приборах и вазах с цветами, не в специально приготовленных вручную шербетах и мороженом, не в пяти переменах блюд в полном соответствии с «Книгой о вкусной и здоровой пище». И даже не в том, что мама встречала гостей в своем знаменитом длинном панбархатном платье с разрезом. Дело было в самой атмосфере изысканного праздника, пропитанного запахами тонких закусок и еще более тонких духов, атмосфере предвкушения таинства, в которое посвящались только избранные – и только изредка. Столы, впрочем, накрывались кувертов на двадцать-тридцать.

Точно так же, как цирковой зритель не догадывается о том, какой тяжелой работой достигается легкий полет воздушных гимнастов, маминым гостям и в голову не могло прийти, что все это великосветское чудо создавалась на примусе в крохотной кухоньке из непонятно каким образом добытых папой продуктов. Всеми правдами и неправдами полученная родителями квартира была большой, в старом дореволюционном доме, с огромным застекленным коридором-верандой, выходившим на не менее широкий балкон. Я успел пожить в этой

квартире первые несколько лет своей жизни, прежде чем старый дом пошел на слом, и нас переселили в новостройку на краю города.

В общем, мамины приемы так же отличались от обеда в ресторане, как акт подлинной любви – от посещения публичного дома. Откуда у выросшей в полунищете дочки бабки Лизы взялись вкус, умение и шарм, достойные французской аристократки, сказать трудно. Вопросы крови, как известно, самые сложные вопросы в мире. А не избалованные суровой жизнью гости, даже самые важные и богатые из них, часто терялись, в равной степени не понимая, что следует делать с тремя видами вилок – и как такое вообще может существовать в стране победившего пролетариата.

Вера редко посещала мамины приемы. В старом, подаренном мамой и нелепо смотревшемся на ней платье, без косметики и украшений, она чувствовала себя на них еще более несчастной, чем обычно. Но в этот раз она шла в гости, не испытывая ни малейших сомнений в том, что Исик – ее лучшее украшение, броня, предохраняющая ее от кривых взглядов, поднимающая над глупыми предрассудками, которыми пропитаны и сестра, и все ее гости. Золушка, танцевавшая на королевском балу со смотревшим на нее с обожанием принцем, вряд ли чувствовала себя большей избранницей судьбы, чем Вера, которая готовилась предъявить избранному мамину обществу своего собственного принца...

Вечер начался так же, как начинались все подобные вечера. Гости с рюмками и бокалами в руках, разбившись на группки, разговаривали стоя, искоса бросая нетерпеливые взгляды на уже накрытые столы. Начитавшаяся французской и английской классики мама считала, что аперитив располагает гостей к светской беседе. Поэтому гости, боясь нарушить торжественность момента, не смели даже приближаться к столам. Мама в своем знаменитом платье, заколотом у горла бриллиантом, почти не отличимым от настоящего, как и положено хозяйке дома, переходила от одной группки гостей к другой. Все шло по плану. Мама была центром внимания. Многие из приглашенных мужчин, войдя в роль, галантно целовали ей руку и говорили комплименты, женщины криво улыбались и до смерти завидовали, скатерти отливали снежной голубизной, закуски и цветы были представлены в должном порядке.

Перед тем как пригласить всех к столу, мама еще разок обошла его со всех сторон, поправила неровно лежащую салфетку, взглядом полководца окинула поле предстоящего пира, потом прислушалась к ровному гулу голосов и удовлетворенно наклонила голову. В эту минуту раздался звонок в дверь: пришли Вера с Исиком. И в маминном королевстве все сразу пошло не так: с трудом созданная атмо-

сфера праздника была разрушена. Вера громко и бесцеремонно требовала, чтобы присутствующие оторвались от своей бессмысленной болтовни и обратили внимание на Исика, который исполнял все положенные юному гению трюки.

— А где у нас глазик? — сюсюкала Вера, одновременно грозно кося глазом на гостей. — А где у нас ушко?..

Мамины гости мялись, но вежливо хлопали. А потом подошло время финального номера, которым Вера особенно гордилась, — вокальной партии, обещавшей миру еще один оперный талант. Недолго думая, Вера поставила Исика прямо на стол, сменяя скатерть и опрокинув тарелочку с какой-то сложной маминой подливой. Страшное пятно разлилось не только по скатерти, но и по маминой душе. Мама окаменела. И только это позволило смущенному общим вниманием Исику вяло промямлить: «Яйца-яйца...» и после паузы тоненько закончить кодой: «Тра-та-та!»...

— Ну вот, слышали? — Вера победоносно оглядела гостей. И, заметив пятно, с непосредственностью варвара, гонящего в церковь табун, добавила:

— Ну да, тут ребенок немножко разлил, так что, это трагедия? Я вас умоляю! Ну вот, а теперь можно и закусить. Ася, почему ты не зовешь всех к столу? Я, например, очень голодная...

Чтобы не упасть, мама ухватила руками за спинку стула. Все было безнадежно испорчено. Светский прием вдруг превратился в обычную вечеринку, на которой не могло быть должного почтения ни к ритуалам, ни к подаваемым блюдам. Испачканная скатерть лежала как свидетельство утраченной невинности, и заждавшиеся угощения гости совсем расслабились. Они с облегчением хватали с блюд и тарелок яства, уже не смущаясь ни их изысканностью, ни количеством ножей и вилок. В довершение всего маленький Исик, которого Вера посадила рядом с собой, по недогляду умудрился сбросить на пол тарелку из драгоценного маминого сервиза и окончательно испортить скатерть, вывалив на нее стоящую поблизости вазочку со шпротами. Мама была убеждена, что Вера намеренно позволила ему закончить разорение стола. Но это было уже не столь важно.

Невозможно было даже оценить размеры приключившегося несчастья. Мамин смешной и хрупкий, как разбитая Исиком тарелка, сказочный мир держался на наивном желании уйти как можно дальше от той девочки, которая в раннем детстве боялась провалиться в грязное отхожее ведро. Она была готова убить Веру за бесцеремонность, за неотесанность и глумление над ее трогательным мирком, но... неприглядный для мамы новый статус Веры, да и само существование маленького Исика требовали к себе иного отношения, заставляли смот-

реть на многое по-другому. Когда в самом конце вечера мой папа взял Исика на руки и стал что-то ласково ему говорить, мама всерьез задумалась. До сей поры муж и двое детей казались ей достаточной гарантией того, что границы ее королевства надежно защищены. Но теперь... Теперь именно Исик показался ей страшной силой, способной уравнять ее с непутевой сестрой и, значит, вернуть обратно, в ненавистное ей прошлое.

К тому времени маме уже исполнилось тридцать шесть лет. В сегодняшней Америке ее ровесницы только подумывают о том, чтобы завести ребенка, но в пятьдесят девятом году прошлого века в Советском Союзе женщина маминого возраста считалась почти старухой. А папе, который был старше мамы на четырнадцать лет, перевалило за пятьдесят. Дети уже подросли, но что-то же нужно было противопоставить маленькому Исику и его бесцеремонной матери. Что-то или кого-то... Вскоре решение было принято, и почти год спустя на свет появился я. По семейной легенде, из роддома домой меня несла на руках четырнадцатилетняя сестра, и теперь, желая ее поддразнить, я иногда спрашиваю, не роняла ли она меня по дороге. Уж больно неправильным я получился. Или, наоборот, слишком правильным?..

Но растили меня настоящим принцем. По крайней мере, Исику всегда казалось, что именно так принцы и живут – в светлом и чистом доме, где есть прислуга и много вкусной еды. Не знаю, как это могло случиться, но с моим рождением Вера вдруг утратила всякий интерес к сыну, как будто главным для нее был не сам ребенок, а стремление доказать сестре, что и она не хуже, что и у нее есть свое маленькое королевство... Исик рос заброшенным на руках у бабки Лизы, а потом часто и подолгу жил у нас. Как это всегда бывает, значительно позже, когда Исик стал взрослым и уже не нуждался ни в чьей опеке, в Вере опять проснулась лютая материнская любовь. Но это запоздалое и неуместное проявление чувств у Исика ничего, кроме тягостного раздражения, не вызвало.

А в детстве мы росли вместе, и если я был принцем, то Исик чувствовал себя куда менее комфортно. Хотя моя мама всячески старалась не подчеркивать разницу между мной и Исиком, годам к семи-восьми эту разницу я все же ощущал.

– Яша, – с величественным видом говорила мама папе, – сделай детям бутерброды с черной икрой.

Папа послушно делал нам с Исиком по бутерброду, но я видел, как мама, сама же стыдясь этого, сравнивала бутерброды и поворачивала тарелку так, чтобы мне достался тот, на котором икра была намазана гуще. Мама была щедрым человеком и не жалела икру, которая

в те времена в Баку стоила недорого и была доступна всем желающим. Дело было в принципе: ведь ее сын – наследник сказочного королевства, а племянник – всего лишь дитя ее непутевой сестры.

Мы с Исиком дружили, но дружба эта была, конечно, неравной. И дело не только в том, что он был на четыре года старше. Куда менее изнеженный, чем я, он старался ухватить от жизни то, что мне доставалось само собой. А я, наивный и открытый, даже не понимал, почему Исик иногда бывает так жесток со мной. Но мы все равно дружили. Ссорились, мирились, но дружили. А потом произошло то, что я назвал «большим семейным скандалом». Даже его непосредственные участники не знали толком, с чего именно он начался, но по своей длительности, количеству вовлеченных в него лиц, числу интриг и предательств война Алой и Белой розы выглядела на его фоне обычной коммунальной ссорой из-за невымытого сортира.

Дело в том, что однажды, когда мне было уже лет двенадцать, мама приревновала папу к Вере. Точнее, она решила, что Вера пыталась соблазнить папу. Имелись ли у нее для этого основания? Не знаю, не думаю. Но, как и полагается в любой мало-мальски серьезной гражданской войне, такие мелочи, как факты, не имели для мамы ни малейшего значения. Она была убеждена: коль скоро предпринятая Верой с помощью Исика атака на ее дом захлебнулась, а брешь удалось заделать мной, Вера не побрезгует разрушить сказочное королевство с другой стороны. Тем более что ее приходящий муж Мирза-Али вряд ли был способен помешать этому коварному замыслу. В мамином королевстве папа чаще всего играл роль статиста: не король, а так, принц-консорт. И, конечно же, Вера интуитивно выбрала самое слабое звено маминой защиты...

Мама посвятила в подробности ее предполагаемого преступного плана всех родственников и отказала Вере от дома. И это не обычный эвфемизм, скрывающий под собой яростные вопли и битье посуды. Мама именно отказала Вере от дома. В отличие от бабки Лизы и сестры, умеющих со вкусом поскандальить, мама была начисто лишена куража, необходимого для любой хорошей ссоры. Но скандал все равно разразился большой. Его результатом стало вовлечение в семейные разборки и нас с Исиком: нам было категорически запрещено видаться друг с другом. И Вера, и ее сын должны были быть изгнаны из сознания и памяти всех жителей нашего королевства. Но мы, конечно же, продолжали общаться. Это было даже интересно, совсем как в шпионских романах. Мы с Исиком тайком встречались где-нибудь в центре города, ходили в кино, лазили на Девичью башню, пробирались в пользующийся дурной славой Нагорный парк... В общем, нам было хорошо. А вот папа чувствовал себя скверно.

— Ася, — успокаивающим голосом говорил он в минуты затишья, — ну зачем ты так? Что ты придумываешь?

— Я тебя ни в чем не виню, но она... Думаешь, ей нужен ты? Нет! Ей никто не нужен, она хочет разбить семью: раз у нее нет, так и у меня быть не должно... Дети! — трагическим голосом восклицала мама, — если вы посмеете общаться с этой... — Тут мама делала над собой усилие и выговаривала: — с этой тварью или ее сыном, то вы мне не дети!

«Дети» произносилось скорее для внесения должной патетической ноты: мои сестра и брат давно уже жили отдельно, так что обращалась она ко мне одному. «Дети» кивали головой, делали честные глаза и клятвенно обещали хранить верность королевскому дому и флагу. Но однажды случилось то, что когда-нибудь непременно должно было случиться: мама увидела нас с Исиком выходящими вместе из кинотеатра. Вот когда мне пришлось ощутить все тяготы гражданской войны на собственной шкуре. В доме разразилась жуткая гроза, прозвучали призывы к папе наказать меня как следует. Папе не хотелось этого делать, но тогда у мамы могли бы возникнуть сомнения в его собственной лояльности. Папа скривил лицо, раздул ноздри, изображая неукротимую ярость, и схватил меня за руку.

Я удивился и испугался. Меня редко наказывали: папа был человеком мягким и обычно ограничивался выговором. А тут... Но в самый последний момент, когда я уже сжался от предчувствия удара, что-то удержало его руку. Он замер, как будто прислушался к чему-то в себе, и его напускной гнев сменился искренней грустью. А занесенная ладонь бережно опустилась мне на голову.

— Да что же это я... — вдруг сказал папа и, обращаясь к маме, перешел на идиш. Родители всегда так делали, когда хотели, чтобы мы, дети, не поняли, о чем они говорят.

Мой папа был атеистом и коммунистом, его приняли в партию на фронте, в сорок третьем. Но до революции он успел поучиться в хедере и был знаком с Торой. Может быть эта история про двух мальчиков — еврейского и мусульманского, — включая требование наказать сына, вызвала у него странные, неуместные для члена партии ассоциации. Потому что какими бы смешными и невинными ни выглядели наши с Исиком проделки, в них так же, как когда-то в библейские времена, были круто замешаны любовь и страх, правда и ложь, надежда и отчаяние...

Моя память еще хранит прошлое, но за долгие годы жизни оно потускнело и съезжилось, превратилось в едва различимую точку. Я ощущаю себя героем собственного романа, и мне становится не по себе при мысли о бесконечно повторяющейся человеческой истории:

все то, что почему-либо не было исполнено прежними поколениями, выпадает на долю следующих...

Давно уже нет ни мамы, ни папы, ни Веры, ни Мирзы-Али. Следы маминого сказочного королевства развеяны по миру, и я с сожалением думаю о том, что теперь уже некому запретить мне общаться с Исыком...

ЛУТИЯ

К тому времени, когда Первенец вырос и окреп, я давно уже похоронил в глубинах памяти случайно открытую мною тайну его рождения. Одно время я мучился, не решаясь спросить господина, известно ли ему, кто настоящая мать Первенца. Но потом понял, что такой вопрос может только огорчить его: либо разрушит его блаженное незнание, либо откроет ему, что я посвящен в страшную семейную тайну. И хотя господин давно привык ко мне и, как мне кажется, полюбил своего преданного слугу, за обладание таким знанием он мог не только убить, но и лишить своего расположения, что для меня было бы страшнее смерти. К тому же мысль о том, что по неосторожности я могу огорчить Первенца, приводила меня в трепет. Я привязался к Первенцу, полюбил его не меньше, чем самого господина. Ведь когда он начал делать свои первые шаги, именно я учил его науке мужества, умению держать меч, тайным боевым уловкам ассирийских мастеров-хареджей.

Первенец радовал господина и прилежанием, и всем своим видом. С самого раннего возраста в нем чувствовался достойный наследник господина, его кровь и стать. По моим наблюдениям, Первенец даже обещал превзойти господина мужеством и умением повелевать. Недаром в нем кроме благородной крови господина текла кровь дикого и независимого племени его матери. О мудрости же его судить было рано, ибо господин еще не допускал Первенца к делам, требующим проявления качеств, столь необходимых для решения сложных и запутанных вопросов, постоянно возникающих у нашего племени.

Первенец рос, и, глядя на него, я представлял себе то великое и светлое время, когда он встанет во главе большого войска и мы с ним расширим и укрепим границы наших владений. Кто знает, не падут ли стены Вавилона – той самой Вавилона, из которой пришлось бежать господину – под натиском воинов его сына.

Сегодня, когда все, о чем я рассказываю, давно уж случилось, мне стыдно признаваться звездам в своей глупости и наивности. Я совсем одряхлел и скоро уже перестану оставлять следы на песке, но теперь я знаю, что Единый никогда не ходит прямыми путями. Мой

господин еще и потому величайший из живущих, что всегда умел отличать подлинное от наваждения, а важное от мелочей. Мне кажется, что иногда, как во времена бедствий, так и во времена благоденствия, он и сам не понимал, почему совершал тот или иной поступок. Но этот поступок всегда оказывался единственно верным, и воля Единого была выполнена.

Хотя воспитание Первенца занимало почти все мое время, я не мог не обратить внимания на то, как возвысилась в глазах нашего народа Шари. Теперь никто не мог позволить себе даже косога взгляда в ее сторону. Ведь она была матерью Первенца! Хайгайри же оставалась скромной служанкой, и только иногда я замечал в ее глазах, обращенных на Первенца, странный отблеск, заставлявший меня настораживаться. Пророческий дар мой, как я уже говорил, теперь только мешал понимать происходящее, но по мере того как Первенец рос и становился красивее и мужественнее, а Шари царственней, я все больше терял покой. По ночам сон не шел ко мне, и я мучительно размышлял о том, что мне следует делать, забывая, что воля Единого проявляется во всем и что все случившееся – часть какого-то плана, важность и величие которого мне, дерзкому, постичь невозможно.

Наверное, господин просто не хотел думать о том, кто является матерью Первенца. Ему было важно передать наследие и Завет, ибо, по словам господина, Единый объявил ему, что только от сына его сына начнется тот народ, которому уготовано великое предназначение. Но мне, старому глупому слуге, было страшно и за Первенца, и за господина, и даже за Шари, хотя звезды, которые я тревожу своим рассказом, знают, что никогда во мне не было приязни к ней. Это был мир моего господина – мир, настолько же непонятный, насколько непостижим Единый, – и я боялся, что по моему недосмотру он может быть разрушен.

Шари относилась к Первенцу без любви. С тех пор как я в последний раз заглянул ночью в ее шатер, прошло много лет, но Шари, кажется, так и не смогла простить Первенцу того, что он не был ее сыном. И Первенец отвечал ей тем же, насколько это позволяли наши обычаи. Под взглядом отца он каждое утро целовал край ее куннета, но в глазах его при этом не было и тени любви. Правда, я не заметил, чтобы и к Хайгайри Первенец относился иначе, нежели как к служанке его матери.

Но прошло время, и эти мои волнения оказались позабытыми, потому что господин начал передавать Первенцу знание о Едином. То, как Первенец понимал его слова, сначала нравилось мне, а потом стало пугать.

– Есть два пути принятия Единого, два жизненных пути, – гово-

рил господин, обращаясь к Первенцу. – Это путь Любви и путь Страха. По воле Единого мы сами можем выбирать свой путь. Но, выбрав единожды, обязаны до конца жизни с него не сворачивать.

– Что дает путь Любви? – спрашивал Первенец и недоверчиво улыбался.

– Путь Любви, – говорил господин, волнуясь и по давней привычке теребя пальцами бороду, – тяжел и опасен, ибо Единый, заботясь о нас, остается суровым и непреклонным. Он требует бесконечного проявления любви и послушания, свою же любовь дарит скупой, и только немногим посвященным до конца понятен этот путь. Любить Единого и следовать Его заветам трудно, но необходимо, потому что именно так ежеутренне заново создается мир. Идя путем Любви, ты несешь Его любовь людям. Не только ты, но и седьмое колено седьмого колена твоего будет нести Любовь. И никогда не будет иначе, как никогда не изменится этот мир.

– А что же тогда путь Страха? – спрашивал Первенец, недовольно нахмурившись.

– Путь Страха, сын мой, – отвечал господин с улыбкой, – это путь не мудреца, но воина. На этом пути ты тоже должен любить Единого, но еще больше бояться Его. Единый грозен и всемогущ, и ты несешь Его страх окружающим, и славить Его, призывая к повиновению под угрозой бед и проклятий. И седьмое колено седьмого колена твоего будет нести Страх. И никогда не будет иначе, как никогда не изменится этот мир.

– Какой из путей выбрали вы, отец?

Первенец продолжал хмуриться и упрямо сжимал губы.

– Ни один из них, – отвечал ему господин, сдвинув брови. – Я еще ничего не выбрал. А какой из путей предпочел бы ты?

– Я?... – Первенец недоверчиво посмотрел на отца, потом перевел взгляд на меня. – Я – воин, мой путь был бы путем Страха. Я часто наблюдал, как и вы, отец, и ты, Лутия, добиваетесь своего мечом, а не любовью. А мне не нравится быть среди тех, кто проигрывает... Вы говорите, отец, что Единый любит нас. Но можно ли любить слабых и подневольных? Разве мы любим наших рабов? А они нас? Как любить сильного, повелевающего тобой? Его можно бояться, можно ненавидеть, но любить... Нет, мне кажется, любить следует равного себе, иначе... Вот вы, отец, разве вы могли бы вместо матери полюбить какую-нибудь из наших служанок?

В одно мгновение я понял, что господин знает о том, чье чрево подарило ему Первенца. Мне показалось, что он сейчас ударит сына, но господин только слегка подвинулся, чтобы лучи заходящего солнца не падали ему на лицо, и, преодолев себя, снова улыбнулся.

– Ты рассуждаешь слишком здраво для своих лет, – сказал он и пронзил меня косым яростным взглядом. Я хорошо знал этот взгляд. Господин был недоволен мною. Но ведь он сам приказал научить Первенца мужеству, и я с честью исполнил его волю. Воину мало толку от любви, а ее постоянная спутница жалость делает человека беззащитным там, где все решается только ударом меча.

Кончилось дело тем, что господин страшно наказал меня, удалив от Первенца, и как будто для того, чтобы усилить мою боль и отчаяние, призвал презренного раба, погрязшего в своих нечистых делишках Нахора-Авилота, чтобы тот продолжил обучение его сына. Чему, спрашивается, этот подлый человек мог научить мальчика? Умению хитрить и исподтишка наносить удары? Мне опять приходилось сдерживаться, чтобы не пролить грязную кровь Нахора, когда он с победоносной ухмылкой проходил мимо. Кроме того, он теперь частенько пропадал в шатре Шари, очевидно, готовя какую-то новую подлость.

Даже сегодня, сидя под всепрощающими звездами, я не могу понять, почему в тот самый первый раз, когда Нахор бросился на нас в пустыне под Бабеллой, я не убил его, и почему Единый до сих пор не наказал меня за малодушие и слепоту. Не знаю, что он говорил Первенцу, но вскоре тот стал смотреть на меня так, как никогда не смотрел сам господин – с презрением и брезгливостью. Подозреваю, что мерзавец Нахор поведал Первенцу о моей неспособности к любовным утехам. Мальчик находился как раз в том нежном возрасте, когда тайны женских усад кажутся важнее всего на свете, и поэтому моя особенность выглядела в его глазах пугающей и даже позорной.

И тут случилось то, чего никто из нас не мог ожидать. Шари, бесплодная, как пустыня, Шари вдруг понесла! Наш народ возрадовался – как и в тот раз, когда ему было объявлено о предстоящем появлении Первенца. Мне иногда кажется, что нашему народу нужен только повод, чтобы с громкими криками резать овец и устраивать пиры. Хотя за те годы, что я провел рядом с господином, у меня была возможность убедиться, что людям вообще нравится проливать кровь, будь то кровь овцы или другого человека. Мне, дерзкому, кажется, что так угодно Единому. Иначе он создал бы нас другими. И неумомимые спорщики у костров могут дочиста сжечь свои бороды, а вместе с ними и языки, доказывая друг другу ничего не значащие пустяки, но они не догадываются о главном.

Первенец, ни о чем не подозревая, нетерпеливо ожидал появления брата или сестры, Шари сделалась еще более надменной, а господин... В последний раз такое лицо я видел у него в тот день, когда Шари осталась в Мицраме. Время от времени он растерянно огляды-

вался, как будто ожидал ангелов Джуда, чтобы получить от них объяснение случившемуся. Но в этот раз ангелы так и не появились. Шари снова, как и перед рождением Первенца, закрылась в своем шатре, только теперь ей не было нужды притворяться. Нахор – единственный мужчина, которого она, на правах родственника, допускала к себе, – сновал из ее шатра в шатер господина и обратно, одновременно разнося слухи и сплетни по всему нашему стану.

Однажды ночью, когда костры уже погасли, и я, как обычно, улегся у входа в шатер господина, до меня дотронулась чья-то рука. Я поднял голову, и та же рука мгновенно закрыла мне рот, призывая к молчанию. По величине и мягкости ладони я сразу понял, что передо мной женщина. Такое уже случалось не раз. Молодые глупые женщины, привлеченные моим высоким положением слуги господина, иногда приходили ко мне по ночам, надеясь таким образом добиться каких-нибудь выгод для себя или своей семьи. Обычно я прогонял их ударами пастушьего посоха. Но в этот раз обладательница маленькой руки повела себя иначе. С неожиданной для женщины силой она рывком подняла меня на ноги и, храня молчание, потащила подальше от шатров. Только когда мы удалились не менее чем на сотню шагов, и из-за туч вышла луна, я увидел, что за руку меня тянет служанка Хайгайри. Она беспокойно оглянулась и, придвинувшись ко мне так близко, что я различил исходящий от нее легкий запах хны, что-то зашептала мне на ухо.

За те годы, что Хайгайри провела с нами, она так толком и не научилась языку нашего народа. Поэтому я с трудом понял, что ей нужно. Первенцу, по словам Хайгайри, грозила страшная опасность. Теперь, когда Шари сама забеременела, чужой сын ей был не нужен, более того, опасен, потому что наследовал бы господину. Хайгайри была убеждена, что если Шари подарит господину сына, то судьба Первенца будет решена. Она уже видела, как Шари шепталась об этом с Нахором. Но стоило ей войти в шатер, как они отпрянули друг от друга, и в их помертвевших на мгновение глазах отразилась судьба, которую они готовили ее сыну, Первенцу господина.

По словам Хайгайри, лишь я один мог уберечь от беды Первенца, которого, и она знает это точно, люблю как собственного сына. Только Единому и звездам известно, как я растерялся тогда, и растерянность моя была недостойна мужчины. Я чувствовал, что Хайгайри права, что Первенца действительно могут убить, свалив это убийство на дикого зверя или не менее дикие племена, но не понимал, как мне уберечь его. Особенно теперь, когда господин доверил Первенца Нахору. Придвинувшись ко мне еще ближе, Хайгайри горячо зашептала, что знает только один верный способ спасти

Первенца, но не может справиться сама, потому ей нужна помощь. Когда я попросил ее объяснить, чего же она хочет от меня, мне показалось, что я ослышался, не понял того ломаного языка, на котором говорила Хайгайри. Но она снова и снова повторяла одно и то же, и я онемел от ужаса. Мои чувства раздвоились как язык ядовитой змеи — и жалили столь же болезненно и беспощадно.

Я ничего не ответил Хайгайри, но когда она исчезла, долго сидел, глядя на те же звезды, что и сегодня светят у меня над головой, и пытался понять, что же мне делать. Да, я очень привязался к Первенцу и действительно любил его, но господин оставался моим господином, и Шари была его женой, несмотря на все бедствия, которые она нам принесла. Дикое племя, у которого Шари когда-то купила Хайгайри, обладало кое-какими тайными знаниями, и Хайгайри клялась, что сможет приготовить питье, двух-трех капель которого достаточно, чтобы умертвить дитя, зародившееся в чреве Шари. Но поскольку Шари никогда не отпускает от себя служанок, и в особенности ее, Хайгайри, то ей нужен я, чтобы отправиться в пустыню, найти и принести сладкое на вкус растение аггура, необходимое для приготовления зелья.

Звезды уже начали бледнеть, совсем как сейчас, уступая место солнцу, а я все еще сидел, мучаясь и не понимая, как мне поступить. Вспомнились наставления господина, которые он давал Первенцу... Но я всего лишь старый слуга, где мне разобраться в том, какой из путей следует выбрать. Что в этом случае будет путем Любви, а что — путем Страха? Может быть, думалось мне, я все время оказываюсь посвященным в не предназначенные для моего ума дела, и поэтому Единый, которому я надоел своими неловкими поступками, хочет сейчас, чтобы я ушел в пустыню и никогда не возвращался? Но покинуть господина в такой момент было бы проявлением такой страшной неблагодарности, что даже подлый Нахор имел бы право отвернуться от меня.

Когда солнце начало припекать так, что перед моими глазами поплыл красный туман, я понял: есть еще один путь, самый простой. Поскольку Нахор является главным помощником Шари в заговоре против Первенца, то я должен убить его. Вряд ли Шари рискнет в таком деле довериться кому-нибудь еще, кроме этого негодяя. То, что после этого я должен буду умереть от руки своего господина, не волновало меня. Зачем жить, если умрешь, не исполнив своего предназначения?

Но выполнить задуманное оказалось совсем непросто. Нахор-Авилот, словно почувствовав опасность, все время держался около господина, отлично понимая, что в этом случае я не смогу выпустить

его подлую кровь. Ибо нарушить запрет господина прямо у него на глазах значило бы нанести ему несмыслимое оскорбление. Время шло, а у меня так ничего и не получилось. Я уже говорил, что в делах, которые нельзя решить мечом, теряю способность соображать и предсказывать будущее хотя бы на шаг вперед.

Шари, избалованная и надменная Шари, сама помогла мне. Наверное тяжесть первой беременности помутила рассудок Шари, и обычная расчетливость изменила ей. Весь наш стан слышал, как она кричала, когда начались роды. Но кричала она не от боли и не от страха. Я первым прибежал на крики и увидел господина, стоявшего перед ее шатром. Все это время он относился к Шари как к сосуду с драгоценной жидкостью, и теперь эта жидкость могла расплескаться от ее гнева, лишая господина ребенка от любимой женщины. Потому что, несмотря ни на что, господин любил Шари великой любовью. А она требовала от господина невозможного: чтобы он лишил Первенца его права, давая возможность наследовать ее сыну. Мне показалось, что в отчаянии господин может убить и Шари, и ребенка – еще не родившегося, но уже ставшего причиной его горя. Но господин опустил голову и замер, как будто прислушиваясь к чему-то. Странная мысль пришла мне в голову: уж не просит ли господин Единого послать ему дочь? Ведь только появление на свет девочки могло бы избавить господина от необходимости делать ужасный выбор.

Вспоминая те давние времена, я думаю, что именно тогда Единый впервые пожелал, чтобы мой господин выбрал, наконец, один из двух путей принятия Его воли. Но господин колебался, ибо в нем, попеременно побеждая друг друга, уживались и Страх, и Любовь. Он все еще старался понять, что ему делать, когда из шатра Шари раздался крик новорожденного и старая полуслепая служанка, помогавшая в родах, сообщила господину, что Шари принесла мальчика. Господин упал на колени, и я отвернулся, чтобы не видеть его лица.

Наступила тяжелая пора. Единый, недовольный господином, послал нам мор и засуху, и овцы наши сильно ослабели. Но сами мы ослабели еще больше. Чувствуя нашу слабость, соседи, которых мы обычно держали в страхе, подобно нумхат, злобным птицам мертвых, стали нападать на наших пастухов, захватывать пастбища и угонять наши стада. А господин все не мог сделать выбор, и время, по велению Единого, как будто остановилось. Казалось, даже воздух вокруг нас сгустился, сделался липким, как смола ливанского кедра, и все страшнее становилось нам, окружавшим господина. Потерял свою былую наглость подлый Нахор-Авилот, так и не вышла из шатра Шари. Растерянно бродил между нами Первенец, пытаюсь понять,

что происходит. А забытый всеми Второй плакал навзрыд на руках у кормилиц. Я же, бедный слуга, метался, не зная, как помочь господину, вопрошая Единого и не слыша никакого ответа.

На следующий день, в самый разгар полуденной сиесты, когда никому не пришло бы в голову бродить под сжигающими лучами солнца, и даже овцы, сбившись в кучу, искали тени, я пробрался в шатер Первенца. Быстро скрутив ему руки и замотав лицо старой сомлой, я взвалил его на плечи и выскочил из шатра. Первенец был настолько ошеломлен моим появлением, что даже не подумал сопротивляться. Не таясь, решив убить любого, кто постарается помешать мне, никем не замеченный, я выбежал со своей ношей из сонного стана и после некоторого раздумья направился на юг. Там начиналась великая пустыня, и никто не стал бы разыскивать безумцев, решивших углубиться в нее.

Невзирая на палящее солнце, я бежал, пока стан окончательно не скрылся из глаз, и тогда пошел медленнее, с каждым шагом чувствуя, как все тяжелее становится груз на моих плечах. Но сам Первенец был легкий, как новорожденный ягненок. Куда тяжелее был груз ответственности за самовольно принятое решение, за дальнейшую судьбу мальчика, за все, что могло случиться с оставленным мною господином. Не снимая с плеч Первенца, я все шел и шел, и только наступившая безлунная ночь заставила меня остановиться и аккуратно положить его на песок. К тому же запас воды, которую я прихватил с собой и которой время от времени поил Первенца, иссяк. До наступления нового дня нужно было найти источник. Но в этих краях я оказался впервые и не знал, где искать воду. Что ж, решил я тогда, если Единому будет угодно, чтобы мы выжили, то мы ее найдем. А если нет, то я не оставлю Первенца, не дам ему умереть мучительной смертью. У меня хватит мужества исполнить свой долг до конца.

Первенец уже успел оправиться от удивления и страха. Он внимательно смотрел на меня, и мне приятно было видеть, что мои уроки не прошли даром. Он совсем не боялся и ждал, что я скажу. Я устроил ложе из старых пальмовых ветвей и накормил Первенца финиками, которых, в отличие от воды, у нас было много, стараясь за этими мелкими делами укрыться от его вопрошающего взгляда. Но Единый внезапно надоумил меня.

— Ты, — сказал я, не отводя глаз от его пылавшего лица, — только начал проходить науку мужества. Для того чтобы наследовать твоему отцу и встать во главе нашего народа, ты должен многое понять и многое совершить. Потрогай мою ладонь. Она огрубела от меча и посоха. Но для этого мне пришлось пройти через множество испытаний. Только так рука юнца становится рукой воина. Понятно ли я говорю?

– Понятно, – Первенец с сомнением покачал головой, – но значит ли это, что я должен выбрать путь Страха? Потому что это – путь мужчины, а не трусливой овцы... И еще скажи мне, Лутия, если знаешь, для чего Единому рабы? Разве Ему нужно пасти скот? Или носить воду? Не приятнее ли было бы Ему иметь дело с вольными людьми?

– Видишь ли, – сказал я смущенно, – я старый слуга, и не мне вмешиваться в дела моего господина. А тем более в дела Единого. Я учу тебя только самым простым вещам...

– Ты мне лжешь, Лутия! – возмущенно воскликнул Первенец, и я с удовольствием увидел впервые проявленный мальчиком гнев, достойный настоящего мужчины. – То, что ты говоришь, заставляет меня выбрать путь Страха. Я не наказываю тебя только потому, что сам не верю в путь Любви! Но это не умаляет твоей вины. Когда мы вернемся, я скажу отцу, чтобы он примерно наказал тебя за ложь.

Впервые мне пришлось опустить перед ним глаза. Я понял, что Первенец, оказавшийся без отцовской опеки, почувствовал себя моим полноправным господином. И от этого бремя ответственности стало больше, а груз на моих плечах тяжелее.

Солнце уже почти взошло, истаяли далекие звезды, которым я успел надоесть своими жалобами. Но даже сейчас меня охватывает дрожь, стоит только вспомнить тот день. В своем блаженном неведении Первенец не мог и помыслить, что у меня, презренного слуги его отца, хватило бы духу лишить его права первородства. Продлись наш разговор еще немного, и под взглядом Первенца моя решимость растаяла бы, как предраассветный туман под лучами солнца. Еще немного, и я отвел бы его обратно в стан отца. Но Единому было угодно, чтобы случилось иначе. Он послал мне недостающее мужество.

Краем глаза я заметил какое-то движение в темноте и успел вскочить на ноги. Я уже не был так быстр, как прежде, но успел-таки нанести несколько хороших ударов мечом, прежде чем на меня навалились и, набросив аркан на шею, лишили сознания. Но как только оно снова пробудилось во мне, я понял, что крепко скручен и давно уже лежу лицом вниз на холодном, забившем глаза и рот песке. Но не моя судьба волновала меня. Я с ужасом представил себе, что могло случиться с Первенцем, красивым и стройным мальчиком, – и застонал, проклиная свое бессилие. Стон привлек внимание. Чьи-то руки схватили и подняли меня и, к своему удивлению, я увидел сидящего у кем-то разведенного костра Первенца, а вокруг него стояли люди в оборванной одежде пустынных жителей. Не похоже было, чтобы они собирались нанести ему какой-нибудь вред.

Я тут же убедился в своей правоте, потому что Первенец повер-

нулся ко мне и засмеялся. Не буду скрывать, в этот момент ноги отказались повиноваться мне, и я упал на колени, благодаря Единого, не позволившего свершиться страшному злодейству. Но Первенец неверно понял мой порыв. Он улыбнулся еще шире и подал знак, чтобы меня подтащили поближе. Удивительно, но неведомые мне воины тут же исполнили приказание, хотя оно исходило от мальчишки, о первородстве которого эти люди не могли иметь никакого представления.

– Ну что, Лутия, – мстительно спросил Первенец, – не удался твой подлый план? Ты плохой слуга, Лутия. Авилот давно говорил мне об этом.

Тут выдержка изменила ему, и, вскочив на ноги, Первенец закричал лوماющимся голосом: «Ты хотел украсть меня у отца? Молчи, я все знаю! Ты продался женщине, которая лживо называла себя моей матерью и чей сын, последыш, пойдет теперь путем Любви. Ну что ж, пусть будет так! Путь Любви – путь слабых. Но ты успел научить меня мужеству, и потому я избираю путь Страху. В знак этого, перед ликом Единого, я приказываю удавить тебя, ибо так положено поступать с предателями!»

Он снова подал знак, и те же руки ухватили меня покрепче, а шею опять сдавила петля. Я всегда был готов к смерти, но все же почувствовал облегчение, когда в свете костра промелькнула знакомая фигурка, и я узнал Хайгайри, которая что-то кричала на незнакомом мне языке. Петля на шее ослабла, и меня, полуживого, отбросили в сторону. Я поднял голову и успел увидеть, как Хайгайри целует Первенца, а собравшиеся вокруг костра мужчины становятся перед ним на колени. Убедившись, что ему не будет причинено никакого вреда, я позволил себе снова потерять сознание.

Солнце поднялось высоко и уже начинает припекать. Припекать безжалостно, как мои воспоминания. Утренний ветерок разносит вокруг горький запах золы – запах пустых надежд, которыми всегда заканчивается ночное безумство. Этот запах напоминает мне, что бородатые спорщики спят теперь в своих шатрах, значит, я могу вернуться к кострам и, если Единому будет угодно, подкрепиться тем, что осталось после их пиршества. Удел слуги – подбирать объедки, будь то стол господина или его жизнь. И только плохой и глупый слуга самонадеянно пытается занять место рядом с господином. Я был плохим слугой...

Времени уже не остается, видения прошлого настойчиво подводят меня к самому главному, к тому, что хотел бы забыть навсегда. Но разве такое возможно? Я отдал бы правую руку, чтобы Другой не

мучил меня сомнениями – самым страшным оружием памяти. Только кому теперь может понадобиться моя рука, давно уже не державшая меча, слабая и неловкая рука старика?..

Когда против своей воли я оставил Первенца с неблагородным племенем Джухрум и вернулся обратно к господину, ему было не до меня. Великое смятение, как бесноватый нищий, вторглось в наш стан, и поначалу никто не связывал мое отсутствие с исчезновением Первенца. Только ничтожный Нахор-Авилот, опасливо улыбаясь, сказал, что его госпожа желает видеть меня. Я понял, что Шари о чем-то догадывается, и тяжелая ноша вины сделалась еще тяжелее. Я не хотел помогать ей, становиться исполнителем ее воли. Тем более что господин мой, в отчаянии от потери Первенца, одиноко сидел в шатре, и мое сердце разрывалось от жалости и боли.

Я пришел к Шари и сразу понял, что у стервятника не может быть тайн от гиены. Она видела меня насквозь, но я понимал, что самое главное скрыто и от нее; ибо сам не знал, что стал бы делать с Первенцем, если бы не воины неблагородного племени Джухрум. Стоя перед Шари и стараясь спрятать глаза под ее пронзительным взглядом, я вспоминал, как Первенец, благодаря заступничеству Хайгайри, отпустил меня обратно домой.

– Я был неправ, Лутия, – недобро сказал он, глядя себе под ноги, – ты, может быть, и плохой слуга, но ты слуга отца, и не мое дело наказывать тебя. Кроме того, я дам тебе поручение. Отправляйся назад и сообщи отцу, что я, его любимый сын, избрал путь Страха, и что...

Первенец говорил гордо и зло, только избегал смотреть мне в лицо, и я подумал, что не успел воспитать в нем этого достойного мужчины умения. Но упрямо сжатые губы, вскинутые брови, вся осанка говорили о том, что скоро, очень скоро я буду гордиться своим воспитанником. Если, конечно, ему еще раз не придет в голову убить меня, дерзкого.

– Так вот, – Первенец наконец-то превозмог себя и посмотрел мне в глаза, – скажи отцу, что я намерен взять себе жену и что я обещаю продолжить и возвеличить род его так, как было угодно Единому. Я уверен, ты хотел помешать этому, потому и унес меня в пустыню. Но откуда тебе, скудному, знать, кем и как исполнится Его обещание. Теперь у меня есть свой народ! Иди и верно служи моему отцу, своему господину.

Первенец был уверен в своем праве, хотя все неблагородное, но многочисленное племя Джухрум не могло бы противостоять господину; ведь за ним, как стены Бабеллы, возвышался Единый. Но может быть, Первенец знал нечто такое, о чем я не мог и помыслить?

Неблагородное племя Джухрум признало в Первенце своего повелителя, я видел это своими глазами. Может быть, желая спасти его от смерти, я выполнял волю Единого? Но ведь Второй – тоже сын моего господина и наследует ему. Уж не получится ли так, что теперь два народа будут оспаривать друг у друга право на избранность? От этих сложных и страшных мыслей у меня кружилась голова, и я с трудом добрал до нашего стана.

– Ну что, – спросила меня Шари, – куда ты, безбородый, спрятал Первенца? Молчишь? Ты его убил? Врешь! Я знаю, у тебя никогда не поднялась бы на него рука. Скорее ты убил бы господина, чем его Первенца... Хотя ты и без того убил его, сделав то, что сделал... Значит, ты спрятал Первенца в пустыне... Ты думал, что господин обвинит в краже Первенца меня? Ты старый дурак, Лутия!

Я ничего не сказал Шари. Но, видимо, я недостаточно хорошо знал ее и появился перед господином в полной уверенности, что застаю его в том окаменевшем отчаянии, в каком он, по слухам, пребывал с момента исчезновения Первенца. Но господин снова обманул меня. Он сидел у шатра под палящим солнцем и что-то чертил на песке, потом нетерпеливо стирал начерченное и снова чертил.

– Лутия, – сказал мне господин, и я с изумлением увидел, что он улыбается, – ты глупый, но хороший слуга... Или нет, хороший, но глупый! Ты всю жизнь носишься со своим пророческим даром, не понимая и сотой доли того, что Единый счел нужным открыть тебе. Хочешь ты того или нет, но воля Его будет исполнена, как бы тяжело ни приходилось тем, на кого возложено ее исполнение. То, что ты считаешь слабостью, назовут силой, а в том, что тебе сейчас кажется несправедливостью, проявляется высшая мудрость...

Он замолчал, а я следил за неровными бороздками на песке и спрашивал себя, почему ангелы Джуда являются только для того, чтобы передать волю Единого, но никогда – для того, чтобы помочь ее исполнить. Мне казалось, что господин, проводя бороздки и тут же засыпая их песком, пытается стереть что-то из своей жизни, но понимая всю бессмысленность этого занятия, рисует их снова. Жалость пронзила меня как меч, я кинулся в ноги господину и закричал, что готов отвести его к Первенцу и ценой жизни отобрать наследника у неблагородного племени Джухрум.

– Нет, – вскричал господин, – ты все сделал правильно, и не мне менять уже сделанное! – Он помолчал, а потом тихо добавил: – Я жду обещанного мне Знака, понимаешь? Единый обещал великое будущее моему народу, берущему начало от сына моего сына. Знаешь ли ты, Лутия, что это означает? Даже я до конца не понимаю этого. Но Знак... Мы должны ждать Знака!

Обрадованный, я передал господину слова Первенца, и господин только кивал головой, не то соглашаясь, не то удивляясь. Его Первенец выбрал путь Страха? Ну что ж, пусть идет по нему. Но сам господин не должен видеть Первенца в его изгнании. Так повелел Единый, и так и будет. Второй останется рядом, и когда придет время, господин получит все объясняющий Знак. И тогда господину будет легко и радостно исполнить волю Единого, обещавшего величие и избранность Его народу.

— Как ты думаешь, — спросил меня господин, поднявшись на ноги, и небрежно разровнял песок, — какой путь выберет Второй?

Над пустыней уже дрожит раскаленный воздух и рождает морозы и видения. Сейчас, спустя столько лет, я не могу с точностью сказать, сколько прошло времени, прежде чем все успокоилось и народ наш принял Второго взамен пропавшего Первенца. Хотя уже тогда ходили смутные слухи о том, что не Шари была его матерью и что именно она, родив Второго, выгнала Первенца в пустыню. Но наш своенравный народ, народ спорщиков и воинов, почитал моего господина, и что бы ни говорило присвоившее Первенца неблагородное племя Джухрум, оставался верным его руке и воле.

Подлый Нахор необычайно возвысился в ту пору, стал толстым, важным и осмелел настолько, что позволил себе благодарить меня, когда я убил нескольких наглецов, сомневавшихся в праве Второго наследовать господину. Шари тоже стала относиться ко мне по-другому, и когда Второй вошел в возраст, поручила его воспитание мне. Хотя подлый Нахор все время вился вокруг Второго, и я видел, что Второй с интересом прислушивается к его нечистым речам.

Сам господин тоже изменился с рождением Второго. Мне казалось, что ожидание обещанного Единым Знака наполнило господина уверенностью, которой ему так не хватало в последнее время. Стада наши опять стали тучными, а соседи, еще недавно безнаказанно нападавшие на нас, теперь оказывали господину надлежащее почтение. Наступила пора благоденствия. Я часто думал о Первенце, но не позволял себе даже намеком напоминать о нем господину. Несмотря ни на что, я угадывал терзающее его душу глубоко запрятанное страдание. Но мой господин велик, и не мне, дерзкому, судить о делах и чувствах его.

Второй мало походил на Первенца и статью, и духом. Часто посреди наших занятий он опускал руку с мечом и глубоко задумывался. Мне казалось, что владение оружием не доставляет ему той радости, которую я видел у Первенца. Но Второй не был хилым или трусливым, нет! Он постигал науку мужества успешно и настойчиво, но не придавал этому никакого значения, и даже когда на испытании успешно перерубил пополам годовалого барана, только слабо улыб-

нулся и сразу отбросил меч в сторону. Поэтому не нужно было обладать даром пророчества, чтобы понять, какой из путей он выберет, когда господин станет вопрошать его.

Я подхожу в своих воспоминаниях к самому важному и самому страшному, но пусть солнце сожжет меня раньше, чем я отступлюсь от признания моей вины и моей глупости.

Беда, как всегда, пришла неожиданно. Однажды среди ночи господин разбудил меня ударом посоха. И тут же зажал рукой рот.

– Лутия, – прошептал он, – иди за мной, ты единственный, кому я могу довериться.

Мы покинули стан и углубились в долину, где паслись наши овцы. И только когда мы достигли пределов наших владений и, освещаемые следовавшей за нами капризной, окутанной облаками луной, дошли до каменистой земли хетта Афронна, господин заговорил.

– Смотри, Лутия, и запоминай, – господин указал мне на провал в усыпанной крупными валунами почве. – Я купил эту пещеру и заплатил за нее Афронну четыре сотни серебряных шекелей.

На мой вопрос, зачем ему нужна эта пещера, к тому же окруженная негодной для овец землей, господин властно взмахнул рукой, приказывая молчать. Так надо. Господин улыбнулся, но тут же опустил голову.

– Нас ждет множество испытаний, но ты должен поклясться мне, что где бы ты ни был, ты придешь сюда после моей смерти и похоронишь в этой пещере меня и мою жену.

Снова резким, как удар меча, жестом господин остановил мои возражения. Он ждал клятвы. Я склонил голову и принес ему эту горькую клятву.

– Я получил Знак, Лутия, – сказал он, чуть помолчав, и я понял, что нерадостным был этот столь ожидаемый господином Знак. – Единый послал мне его во сне, и я, скудный, не могу понять, зачем Ему понадобилось так испытывать меня.

Господин помедлил и сказал, что в знак верности и послушания Единый повелел ему принести страшную жертву – своего любимого сына.

Мне показалось, что я ослышался. Не мог Единый, которому столь противны человеческие жертвоприношения, потребовать от родоначальника великого народа убить собственного наследника.

– Я сначала тоже так подумал, – сказал мне господин как равный равному, – но потом понял: я должен буду сделать выбор между двумя сыновьями, именно в этом смысл Повеления. Как иначе выбрать между Первенцем и Вторым? Кто наследует мне? Но значит ли это, что принеся в жертву самого любимого, я отдам первородство

тому, кого люблю меньше? Или я оказался недостойным великого дела, и Единый отступился от меня? Почему моя Шари так долго была бесплодна, что потребовалось пойти на хитрость, а теперь... Теперь я не знаю, что делать!

Я не единожды видел отчаяние и горе моего господина, ибо долгое время верно шел за ним, разделяя его судьбу; но никогда еще он не казался мне таким несчастным и растерянным.

— Я сам виновник всех бед, Лутия, — с трудом проговорил господин, — потому что, открою тебе тайну: не дожидаясь Знака, я посещал Первенца...

Видя мое изумление, господин покаянно склонил голову.

— Да, я видел его, и не однажды. Хайгайри тайно сообщила мне о том, где теперь Первенец. Он живет в уважении и почете. Рассказывают, что там, в пустыне, где он ударил по земле ногой, забил родник... Сердце мое рвется между ним и Вторым, которого я люблю более всего на свете. Он — сын моей возлюбленной жены... Но наследовать мне может только один из них. Что мне делать, Лутия?!

Впервые господин обращался ко мне с таким вопросом. Впервые я видел в его глазах не просто отчаяние, но желание, чтобы я понял какую-то его потаенную мысль. Он хотел услышать от меня, его презренного и дерзкого слуги, что-то такое, чего сам не решался произнести вслух. Меня охватило смятение, ибо я понял, что от моего ответа зависело многое. Страх господина передался мне, и я малодушно, как женщина, пожелал оказаться далеко отсюда, чтобы не слышать таких речей господина, не видеть его молящих глаз.

— Разве могу я, несчастный, послушаться Его воли?

Когда господин произнес это, луна, как будто обидевшись, скрылась за тучей, и стало совсем темно. Но мне не нужно было света, чтобы понять, что он чувствует.

— Я не могу не исполнить Знака! Не могу! Только тот, кто полюбил Единого больше себя и детей своих, достоин того, чтобы дать жизнь избранному народу. Я должен выбрать любимого сына и принести его в жертву... Должен! Но я не могу! Что же мне делать?! Ты — мой самый преданный слуга и самый близкий друг, Лутия...

Выглянувшая сквозь тучу луна на мгновение осветила лицо господина, и я снова увидел в его глазах нечто невысказанное. Он приказывал, он просил, он молил меня понять то, что был не в силах произнести. Мне начало казаться, что я догадываюсь, о чем он так страстно просит меня. Я всегда был готов пожертвовать жизнью ради того, чтобы выполнить любое из его приказаний. И теперь было бы недостойно слуги не послушаться господина, даже если это неумодно Единому. Я вспомнил, как давным-давно, в Бабелле, умолял господи-

на принять меня к нему на службу. Может быть, именно для того, чтобы исполнить сейчас самое главное. Наступил тот момент, к которому я шел следом за господином всю свою жизнь. Момент, когда Единый позволяет ему совершить поступок по собственному разумению – и стать подлинно великим.

– Уходи, – неподобающе грубо сказал я моему господину, – уходи и жди две ночи, а потом поднимайся один наверх, на гору, которую пастухи зовут горой Маррай. Я исполню твой приказ и твою просьбу, даже если это будет последним делом в моей жизни.

Господин поднял на меня глаза, но луна окончательно отвернулась от нас, и я мог только догадываться, что выражал его взгляд. Потом господин оставил меня, и я слышал, как он, что-то бормоча себе под нос, осторожно пробирался меж камней. Прошло совсем немного времени, и я остался один неподалеку от купленной моим господином пещеры. Но одиночество мое оказалось недолгим. От входа в пещеру скользнула тень, посыпались мелкие камешки, и в то же мгновение одной рукой я ухватил крадущегося за шею, а другой обнажил меч. Кто бы это ни был, сейчас он поплатится за свое неуместное любопытство.

– Подожди, – прохрипела тень, и, узнав голос проклятого Нахора, я крепче сжал рукоять меча, – подожди, Лутия, ты еще успеешь убить меня. Я здесь не по своей воле... Ослабь хватку, и я расскажу тебе кое-что, а потом ты решишь, что со мной делать...

Бросив мерзкого Нахора на камни, я услышал, как он облегченно перевел дух. Я давно уже перестал удивляться тому, что этому негодяю известны многие тайны, и презирал его за недостойное мужчины умение вынюхивать. Но сейчас я был даже рад, что Нахор подслушал наш разговор с господином. Может быть, Нахор знает что-то такое, что поможет мне исполнить приказ. А потом ничто не помешает мне сделать так, чтобы он не мог воспользоваться услышанным.

– Твой господин – воистину великий человек, – сказал мне Нахор, – но даже ему не под силу выбрать, какого из сыновей принести в жертву Единому. Не удивляйся, я знаю все. Мне известно даже больше, чем ты можешь себе представить. И я хочу поделиться этим знанием с тобой, Лутия. Потому что поодиночке нам не справиться...

Нахор замолчал, и по его прерывистому дыханию я понял, что он боится. Но, похоже, боится не меня. Этот ничтожный червь всегда надеялся на свою хитрость, но теперь надежда его раскололась, как панцирь скорпиона под подошвой сандали. Нахор был напуган так, что даже мне стало не по себе.

– Не следует нам с тобой ссориться, Лутия, – наконец выдохнул он. – Не вздумай убивать меня, когда я расскажу тебе свой план. И уж

тем более не давай волю своему гневу до того момента, пока я не объясню тебе все до конца. Настало время испытаний, и мы должны забыть прежние обиды... Ты знаешь, что случится, если твой господин принесет в жертву любого из своих сыновей?

Свет луны коснулся лица Нахора и тут же брезгливо отпрянул. Я покачал головой, не понимая, что хочет сказать мне этот ничтожный раб. Я всего лишь слуга и воин, мне не по душе разгадывать загадки.

– погоди, Лутия! – заторопился Нахор. – Сейчас я тебе все объясню. Кого бы из своих двоих сыновей ни выбрал господин, это будет означать, что оставшийся ему наследует. Но может ли стать великим народ, начавшийся от нелюбимого сына? А если господин принесет в жертву того, кого любит меньше, то он нарушит волю Единого, и тогда не величие, но бедствия ждут нас. Ты-то не знаешь, а я уже видел, на что способен Единый, когда Он гневается.

Он был прав. Я слышал от господина, что Единый каким-то чудом пощадил Нахора, обрушив свой гнев на сборище других таких же мерзавцев. Даже мне, всегда готовому к смерти, было жутко слушать про огненные струи, падающие с неба и испепеляющие все живое.

– Но есть и третий путь, – сказал я и не узнал своего голоса. – Если верный, но глупый слуга украдет обоих сыновей и лишит господина возможности исполнить обещанное Единому...

– Остановись! – перебил меня Нахор. – Неужели ты, Лутия, думаешь, что способен перехитрить Единого? Не сердись, но даже меня ты не перехитрил. Я слышал, как ты пообещал господину выполнить его приказ. Ты думаешь, что придешь к горе Маррай, посыпая голову пеплом, и вместо сыновей в жертву будет принесен слуга...

– Что ты тогда предлагаешь? – закричал я, и между валунами, как ночные зверьки, замечались вспугнутые мною звуки. – Говори же!

– Тише, – Нахор приблизился ко мне, и я почувствовал его нечистый запах. – Крики могут привлечь сюда того, с кем не следует встречаться ночью... Мы поступим по-другому. Но прежде я должен открыть тебе тайну. Пойми, Лутия, Единому нужно только одно – чтобы твой господин сам решил, кто из сыновей наследует ему. Но поскольку господин колеблется, Единый поставил его перед таким жестоким выбором...

Нахор помедлил и еще ближе придвинулся ко мне.

– Узнай же то, чего не знает твой господин: никакого жертвоприношения не будет! Единый не случайно спас меня от огненного дождя, мне открыто многое... Но страшно даже представить себе, что станет с тобой, если ты поведаешь об этом господину...

– Так чего же ты добиваешься?! – голос мой был столь страшен, что Нахор отпрянул от меня и, споткнувшись, опять упал на камни. – Чего ты ждешь от меня? Говори, но предупреждаю: если ты опять замыслил подлость, если ты хочешь, чтобы я предал своего господина...

– погоди гневаться, Лутия! – всхлипнул Нахор. – Но если ты боишься...

– Я ничего не боюсь! Говори же скорее, потому что у меня всего две ночи, чтобы исполнить невысказанную волю господина. И если ты меня не убедишь, я сделаю то, что считаю нужным.

Я говорил, а сам думал, что теперь уже не так уверен в себе, что проклятый Нахор своими словами как будто украл у меня волю и посеял сомнение в моей душе. Но я знал, как преодолеть любое сомнение. Я решил убить Нахора, и тогда не останется другого пути, кроме выбранного мной: господин, придя к горе Маррай, принесет в жертву Единому не сына, а нерадивого слугу. Но что-то в голосе мерзкого Нахора остановило меня, я поддался его уговорам – и до сих пор не могу сказать, было ли это только моей глупостью или к ней примешивалась трусость.

Мои бородатые соплеменники, мудрецы и спорщики, не знают сомнений в своей правоте, оттого их сон крепок, а совесть чиста даже тогда, когда они глумятся надо мной и бросают в меня липкие косточки фиников. Они считают меня сумасшедшим и не верят ни одному моему слову. Они уверены, что господин давно уже похоронен в той пещере, что там же лежат и Шари, и другие родственники господина. Но это неправда, столь очевидная, что мне давно уже расхотелось разубеждать их. Господин жив, и я, верный слуга его, свидетельствую об этом перед небом и слепящим мои глаза солнцем. Ибо не случилось такого, чтобы не была исполнена клятва, данная мною господину. Я, принесший господину клятву похоронить его в пещере, не видел его мертвого тела. Живы и Первенец, и Второй, и если бы той ночью я не поддавался подлым уговорам Нахора, между ними не было бы вражды.

Той ночью Нахор убедил меня, что господин обязан сделать свой выбор, ибо такова воля Единого. Как бы тяжело ни было господину, он должен оставаться в уверенности, что кровь его любимого сына будет пролита. Только так, в неминувости настоящей крови, рождаются подлинная Любовь и подлинный Страх. Через две ночи я, как и было обещано господину, должен прийти к горе Маррай, где господин вынужден будет сделать выбор и вместе с ним обретет величие, равного которому нет и не будет ни у кого из живущих.

Я хорошо запомнил тот день. Хотя лучше бы Единый, на радость

моим соплеменникам, действительно отнял у меня и память, и рассудок. Гора Маррай, окруженная другими горами, почти сплошь покрытыми оливковыми рощами, была хмурой скалой с крутыми обрывами и огромными камнями, готовыми скатиться в пропасть. На этой горе уже давно стоит великий храм, перед славой которого меркнет слава храмов Бабеллы. Но тогда эта местность была пустынна; пастухи гнали стада мимо горы Маррай, торопясь спуститься вниз, к воде, ожидавшей их в двух днях перехода.

Я сидел на камне над обрывом, и мне хорошо было видно, как мой господин одиноко шагал по тропинке вверх, поднимаясь к условленному месту. Временами его покачивало, и я вскакивал, боясь, что, ослепленный горем, он может упасть с обрыва. Но Единому было угодно, чтобы он исполнил свое предназначение. Иногда, повинуясь прихоти горной тропы, господин надолго исчезал с моих глаз, и мне было слышно, как падали в пропасть камешки под его ногами и как он скорбно бормотал что-то себе под нос.

Я терпеливо ожидал своего господина, но все же когда он возник прямо передо мной, вздрогнул и был вынужден призвать все свое мужество, чтобы остаться на месте. Особенно тяжело было выдерживать его взгляд, как будто молящий о пощаде и одновременно приказывающий исполнить свой долг. Впервые в жизни я чувствовал себя его палачом. Слезы вскипали у меня на глазах, но я взял себя в руки и твердо посмотрел на господина.

— Ты пришел, Лутия? — упавшим голосом спросил господин, и я понял, что больше всего ему хотелось, чтобы я нарушил данное ему обещание и, поднявшись наверх, он не обнаружил бы меня здесь. Мой господин еще не знал, что его верный слуга совершил куда более страшное преступление.

— Ты исполнишь волю Единого, — произнес я, чувствуя, как не удержи́мо дрожит мой голос, — так же, как твой слуга исполнил твою.

Господин побледнел, в ужасе отшатнулся от меня, и я чуть было не бросился к его ногам, чтобы, забыв все обещания, рассказать ему то, что знал. Но не успел. На тропинке за спиной господина появился приведенный мною Второй. Второй был растерян, на белом, как будто покрытом пылью пустыни, лице выделялись красные обкусанные губы. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять: он знает, зачем пришел сюда. И в то же мгновение откуда-то сверху раздался громкий крик. Я ожидал его, но все же затрепетал, увидев стоявшего на большом валуне Первенца. Его лицо было перекошено яростью. И сразу же из-за его плеча вынырнул Нахор. Он замахал мне руками и попытался что-то сказать, но Первенец оттолкнул его так сильно, что Нахор упал с валуна вниз и замер.

– Ну что же, отец, – даже не оглянувшись на Нахора, закричал Первенец, – теперь мы узнаем, кого из нас ты любишь по-настоящему!

Я ужаснулся тому, как Первенец говорил с господином, но тут же сообразил: разозлив отца, он пытается помочь ему исполнить волю Единого. Господин ничего не успел ответить своему Первенцу.

– Молчи, ты не смеешь так говорить с отцом! – раздался ломкий голос Второго. – И если он по великодушию простит твою непочтительность, то я научу тебя чтить отца!

В этот момент я ощутил гордость за Второго. В нем чувствовался воин, и дух его был таким же неукротимым и яростным, как и дух Первенца. Первенец бросил презрительный взгляд на Второго и, не удостоив его ответом, снова обратился к отцу, призывая его исполнить волю Единого так, как положено мужчине, не усомнившись и не дрогнув.

– Ко мне пришел твой человек, называющий себя Авилотом, и все рассказал, – Первенец усмехнулся и коснулся рукой своей молодой черной бороды. – Я готов, отец, если, конечно, готов и ты...

– Я убью тебя! Ты не смеешь! – Второй кинулся ко мне и попытался достать мой меч. Мне стоило немалых сил, не причинив ему боли, заставить отказаться от этого намерения.

– Ты сын служанки моей матери! – кричал Второй, вырываясь из моих объятий. – Ты не смеешь хвастать своим первородством, ибо это первородство раба. И как вырвавшийся на свободу раб, ты не знаешь удержу, пока тебя не отхлещут господским посохом!

– Уж не ты ли будешь указывать мне мое место, последыш? – взревел Первенец и прыгнул с валуна на землю. – Я, избравший путь Страха, сын своего отца и основатель великого народа, уже сейчас отмеченный Единым, пришел сюда, чтобы доказать право на первородство, пролив свою кровь! Но если желаешь, могу пролить и твою, мальчишка!

Первенец рванулся ко Второму, и я уже готов был встать между ними, но тут мой господин взял себя в руки.

– Замолчите! – страшно закричал он. – Замолчите вы оба! Я решил, как поступить!

Я испугался и обрадовался, потому что безудержное отчаяние господина сменилось столь же безудержным гневом. Только в таком гневе господин мог совершить великий поступок. Или попытаться совершить. Я был уверен, что Нахор не соврал мне, ибо не мог допустить, что Единый на самом деле ждет от господина такой кровавой и бессмысленной жертвы. Вспомнив о Нахоре и продолжая удерживать Второго, я обернулся, чтобы посмотреть, жив ли Нахор после падения. Но когда увидел его лицо, вздрогнул и выпустил Второго.

Подлый, трижды подлый Нахор улыбался! И тогда я понял, что стал игрушкой в его руках, что никто не остановит убийство, что каков бы ни был выбор моего господина, в выигрыше останется он, Нахор. Ведь убитый Первенец освободит дорогу Второму, а вместе с ним и Нахору. А убитый Второй явится доказательством любви господина и к нему, и ко всему нашему народу. И тогда не кто иной, как набившийся в родственники Нахор, наследует господину.

Все эти догадки промелькнули в моей голове и, позабыв о Втором, я кинулся к Нахору, чтобы наконец избавить мир от этого негодяя. Но стоило мне повернуться к нему, как кто-то сильно ударил меня сзади по голове. Позже именно рассеченная в этот момент кость на затылке стала поводом для насмешек и заверений в моем безумии. Но безумцы те, которые рассказывают придуманные истории, услышанные от тех, кому их рассказали другие безумцы; и цепочка эта столь длинна, что теряется во времени. У меня нет ни желания, ни сил доказывать им свою правоту. И все же меня, очевидца и участника всех событий, огорчает их глупость и слепота.

Я стар и знаю, что совсем скоро память перестанет досаждать мне. А то, что останется, останется там, где Единому угодно хранить все невысказанное. О, сколько раз приходилось мне выслушивать упреки, ибо потомки Первенца и потомки Второго оспаривали друг у друга право считать себя любимцами господина. А я, дерзкий, ничего не мог им ответить, потому что не знаю, что случилось после того, как я упал. Господин оставил меня там, на горе Маррай, сочтя мертвым, и только спустя время пастухи подобрали и выходили меня. Но я остаюсь верным господину до сих пор, хотя не видел его бесконечное множество лет. И не теряю надежды снова встретиться с ним. Хотя бы для того, чтобы сказать, что понимаю его и знаю, что кого бы он ни выбрал, он совершил великую жертву и стал почти равным Единому. И это самое главное. Стремясь обрести величие и любовь Единого, потомки его так же должны быть готовыми в муках принести в жертву самое дорогое, чтобы подняться туда, где нет Любви и Страха, а есть только граница, за которой кончается человек и начинается Единый...

Солнце уже не жжет, а яростно сечет меня, единственного, кто не укрылся от его жестокости, плетями своих лучей. Но стоит мне закрыть глаза, как я начинаю медленно погружаться в спасительную прохладу ночи и снова рассказываю терпеливым звездам свою историю.

ПОСЛЕ

Я был уверен, что рано или поздно справлюсь с поставленной задачей. И действительно, после долгих мук и сомнений сценарий

был написан. Рита удивленно приподняла брови и бросила косой взгляд на Феликса, не то в сомнении, не то в восхищении качавшего головой.

– Паша, – сказала Рита, – я с самого начала знала, что не зря обратилась к вам.

– Да уж, – пробасил Феликс, – повозиться придется всерьез. Ваша «Мышеловка» будет посильней шекспировской, я думаю.

– Вы угадали, – сказал я, упиваясь ощущением хорошо выполненной задачи, – именно «Гамлет» и натолкнул меня на эту идею. Ну и потом, мне всегда была интересна толпа, ее психология и реакции.

– Толпа... – мечтательно протянула Рита. – Когда-то мы очень продуктивно работали с толпой. Хотя там все просто. Толпе нравится сила, потому что сила порождает страх, а страх... Вы заметили, людям обязательно нужно чего-нибудь или кого-нибудь бояться? От очередных американских горок до террористической атаки. Как вы там в романе написали? Путь Страха? В этом что-то есть, право слово...

– Ну-ну, – Феликс покосился на меня, – не нужно портить сценариста чрезмерными похвалами. Ему еще работать, а он, того и гляди, нос задерет.

Той ночью мне не спалось, и я ворочался, пытаюсь представить себе, во что выльется придуманная мною «проверка на вшивость». Для Гамлета, как известно, «Мышеловка» добром не закончилась... Кошка Алиса сидела на прикроватной тумбочке и задумчиво разглядывала меня своими загадочными египетскими глазами. Смотри, говорил ее взгляд, ты мальчик взрослый, тебе решать. Но не страшно ли, погнавшись за белым кроликом, провалиться в какую-нибудь очередную нелепую дыру? Это только в сказках все заканчивается хорошо, а в жизни... Ох, смотри, не ошибись!

Я смущенно погладил по голове мудрую Алиску, которая что-то недовольно муркнула и мягко прыгнула с тумбочки на пол. Но заснуть мне так и не удалось. Хотелось разбудить жену и все ей рассказать: моя осторожная и предусмотрительная жена наверняка воспротивилась бы этой затее. Но я устыдился собственных мыслей: нечего тут сомневаться, все уже решено! Лег на спину, глубоко вздохнул и приказал себе заснуть...

В Манхэттен я приехал около девяти часов утра, когда еще не сожженный безжалостным летним солнцем Центральный парк был окутан нежной зеленью и прохладой. Медленно прохаживаясь вдоль пруда, я пытался представить себе, что здесь произойдет всего через несколько часов. Дойдя до «Алисы», я остановился и невольно вспомнил ночное предостережение своей Алиски. Да, тут действи-

тельно можно провалиться в такую Страну чудес, что... Имею ли я право участвовать в столь радикальной «проверке на вшивость»? Конечно, я всего лишь написал сценарий, но ведь и инженер, создававший печи для нацистских концлагерей, напрасно считал бы себя невиновным в смерти миллионов...

— Ах, Пашенька, Пашенька... — услышал я знакомый голос.

На скамейке неподалеку от «Алисы» сидела Рита.

— Конечно же, вы, как говаривали в старину, испытываете страшное смятение чувств. И напрасно, дорогой мой, совершенно напрасно.

— А как вы... — начал было я, но Рита многозначительно покачала головой и, как и всегда, угадала все, что я хотел сказать.

— Милый Паша, — учительским тоном продолжила Рита, — тот факт, что вы появились здесь задолго до начала акции, говорит сам за себя. Ну и, конечно, воспаленный взгляд и тени под глазами тоже выдают ваше беспокойство. Вы думаете, что напрасно взялись за такой сценарий, что никакие деньги не стоят того, чтобы подвергать «проверке на вшивость» большую толпу ни в чем не повинных людей... Так ведь? Ну вот, если угодно, я вам объясню кое-что. Подумайте о том, что наша акция — не только проверка, она обладает еще и, скажем так, терапевтическим эффектом. Иными словами, люди, подвергшиеся проверке, выносят из нее для себя что-то важное.

Рита чопорно склонила голову и направилась к аллее, уводящей вглубь парка. Не желая вертеться под ногами, я быстро покинул это место и отправился искать какой-нибудь уже открытый бар, чтобы с помощью пары рюмок успокоить вконец расстроенные нервы.

Когда я снова появился у «Алисы», металлическая конструкция была уже собрана. Это был невысокий помост с двумя ажурными мачтами по краям, на которых висели мощные динамики. Из них лилась легкая музыка. Посреди помоста стоял стол с микрофонами и несколько пластиковых стульев. Кулисы изображала плотная материя-задник, прикрепленная к высокой раме. На ней висел большой, написанный легкомысленными разноцветными буквами плакат: «Начало лета — праздник для детей и их родителей». Феликс с деловым видом сновал по помосту, тянул какие-то провода, то и дело проверял работу усилителей.

— Раз-два... — говорил он по-русски, доверительно склонив голову к микрофону, — Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть... несчастье, вечер — семь...

Эти слова показались мне удивительно знакомыми, но времени вспоминать не было: праздный субботний люд, привлеченный громкой музыкой, уже толпился перед помостом. В ожидании начала

представления капризничали от нетерпения дети... В сценарии я описал возможные варианты развития событий, но теперь, когда до начала оставалось всего несколько минут, с ужасом понял, что предусмотрел далеко не все. Мне снова стало страшно, захотелось уйти, убежать, оказаться непричастным к тому, что готовилось сейчас для ничего не подозревающих зевак. Ну почему, почему я не подумал об этом, когда сочинял свой треклятый сценарий?! Наверное, мне очень хотелось впечатлить Риту. Внезапно я ужасно разозлился на нее. Ведь это Рита своими льстивыми речами породила во мне безумное желание выдать такую идею «проверки на вшивость».

Потоптавшись на месте и с трудом преодолев охватившую меня нерешительность, я отправился за кулисы. Я уже хотел было раздвинуть тяжелую материю задника, чтобы еще раз посмотреть на сцену, но не успел. Потому что совсем рядом, отделенные от меня только этой самой материей, разговаривали двое, и первая же услышанная фраза заставила меня превратиться в соляной столб.

– Главное, не давайте Павлу возможности вмешаться, – торопливо говорил женский голос, и я сразу узнал Риту. – Он, как автор, может обидеться, что мы несколько изменили его сценарий, даже не поставив его в известность.

– Да уж, «несколько», – протянул хорошо знакомый мне бас. – Ох, будет дело... А ты уверена, что эта штука взорвется достаточно убедительно?

– Абсолютно уверена! Резкое повышение радиационного фона гарантировано. Это не очень опасно, тем более, что речь идет о часе – максимум, полутора часах облучения. Ну сколько времени потребуется федералам, чтобы разобраться? Кстати, убежище для нас готово?

– Да, почти собрано. Но там будет тесновато... Мы должны все это писать на видео?

– Нет, зачем же? – Рита сделала паузу, и я почувствовал, как она улыбкулась. – Это сделают и без нас. Только представь себе, какой резонанс вызовет теракт в Центральном парке с использованием «грязной» бомбы. Даже если федералам захочется что-то утаить от широкой общественности, это вряд ли получится: журналистов тут достаточно, я уж позаботилась.

– Бедный Паша! – рассмеялся Феликс. – Хотел устроить проверочку небольшой толпе, а мы взяли и укрупнили масштаб проверки до размеров, по крайней мере, штата... Ладно, кажется, пора начинать.

– Да, – голос Риты вдруг сделался неузнаваемо жестким, – действительно, пора. Начинай – и не забудь о Павле. Чует мое сердце, этот добрый молодец может отчудить что-нибудь неожиданное.

Рита и Феликс отошли от задника, и я услышал, как Феликс

снова хмыкает в микрофон, желая привлечь внимание собравшейся толпы. От ужаса я даже не сразу осознал, что должно случиться. Но постепенно до меня дошло, что Рита с Феликсом вместо того, чтобы использовать мой сценарий, на его основе создали свой, кардинально отличавшийся от того, что предлагал я. Долго размышляя, какой именно проверке следует подвергнуть толпу, я понял, что самым серьезным грехом для большой массы народа, будь то зеваки в Центральном парке или нация в целом, является жадность. По моему замыслу ведущие должны были собрать как можно больше зрителей, что в субботний весенний вечер сделать совсем несложно. Предполагалось, что многие придут целыми семьями, с детьми и собаками. А потом всем желающим станут бесплатно раздавать мягкие игрушки – славных плюшевых козчиков с грустными и добрыми человеческими глазами. Козлики, совсем не похожие на ту дешевую продукцию, которую обычно продают на улицах, будут сделаны по специальному заказу. Несколько тысяч мастерски изготовленных козчиков, почти произведения искусства! При надавливании на животик игрушки должно было раздаваться очень натуральное беканье, поролоновая набивка козлика должна была имитировать настоящие внутренности с пакетиком красной краски вместо сердца... И вот когда толпа вполне оценит даровую игрушку, а детишки, освоившись с новым дружком, доверчиво прижмут его к себе, чтобы унести с собой, ведущий объявит, что в одном из козчиков спрятана бумажка, по предъявлении которой ее владельцу немедленно будут выданы двадцать тысяч долларов наличными.

Перед моим мысленным взором вставали удивленные лица людей, которые пытались решить, стоит ли отнимать у своего ребенка игрушку ради шанса найти там вожаденный билетик. Я видел, как они уговаривают детей, обещая им, что разорванный и выпотрошенный козлик может принести им куда больше подарков. И как потом они, расковыривая «окровавленные» козликовы внутренности, вожаденно ищут заветную бумажку...

Самое, как мне казалось, пикантное заключалось в том, что коэффициент жадности толпы можно было вычислить при помощи самой обычной арифметики: зная общее количество розданных зверюшек, было бы легко подсчитать принесенных в жертву, валявшихся на земле или брошенных в урну козчиков.

В самую последнюю минуту я вдруг понял, что нельзя, просто нечестно подвергать такой подлой проверке тысячи людей, заставляя их терять самоуважение на глазах у собственных детей. Более того, поставив себя на их место, я понял, что и сам бы, наверное, поддался искушению.

Но то, что из этого относительно невинного сценария решили

сделать Рита с Феликсом, это просто... У меня не оставалось времени на рассуждения, перед глазами мелькали образы охваченной паникой беспорядочно мечущейся толпы, потерянных в давке детей и собак. Это уже не «проверка на вшивость», это... И я вдруг с ужасом осознал, кто может быть заказчиком этой акции и зачем она ему нужна. И тут же время опять растянулось. Я уже хотел было выскочить на сцену и, схватив микрофон, предупредить людей, но сообразил, что только сыграю на руку Рите: после такого предупреждения паника начнется без всяких взрывов.

В отчаянии завертев головой, я увидел Феликса, который со своей обычной улыбочкой отходил от бронзового памятника. И сразу понял: бомба там, у сидящей на грибе Алисы. Это и понятно, ведь жертвы взрыва не предусмотрены их сценарием, следовательно, спрятанная между бронзовыми фигурками бомба никого не покалечит; толпа услышит громкий взрыв – и тут же пойдет волна радиации. Не способной нанести серьезного ущерба здоровью, по словам Риты. Ну, или почти не способной...

Всю жизнь я опасался собственной непредсказуемой реакции на смертельную опасность и часто думал о людях, способных мгновенно, без колебаний пожертвовать жизнью, накрыв своим телом готовую взорваться гранату. Я подозревал, что обладаю другим видом мужества, когда воле требуется некоторое время для преодоления сопротивления не желающего подвергаться риску организма. Но сейчас мне казалось настолько важным сорвать готовящуюся акцию, что о своих сомнениях я даже не вспомнил.

Коробка лежала прямо под бронзовым грибом – рядом с белым кроликом. От обычной обувной ее отличала только «веселенькая» черно-желтая маркировка «осторожно: радиоактивно», налепленная свержу. На какую-то долю секунды я замер: что-то меня насторожило. Но размышлять было некогда. Мальчишка, как будто растянувший резинку-время, опять выпустил ее из рук, и оно полетело, нагоняя само себя. Я схватил коробку, прижал ее к груди и помчался напрямом через кусты, только несколько мгновений спустя сообразив, что лучше всего бомбу просто утопить. Но не здесь, не у «Алисы», где толпится народ с детьми, а там, дальше, в большом и глубоком центральном пруду. И тогда, скорее всего, ожидаемого эффекта не получится. Если же бомба взорвется у меня в руках... Нет, об этом лучше не думать! На бегу я прислушался, но так и не смог понять, тикает ли это часовой механизм или стучит мое сердце. На всякий случай я сторонился людных аллей и бежал, бежал не останавливаясь. Далеко за спиной оставалась «Алиса», глуше становились звуки музыки, а меня постепенно охватывало странное веселье.

То ли на меня начала действовать радиация, то ли просто не выдержали исхлестанные вдрызг нервы, но я вдруг ясно увидел описанный мною в романе каменистый склон горы и людей в древних одеждах – статного старика с потерянным взглядом и его побледневших от страха и ярости сыновей. Никогда не мог понять это требование – принести в жертву того сына, который должен продолжить род. А тут вдруг сообразил: отсутствие выбора напрочь перечеркивает ценность и значение жертвы. Только безрассудно и бездумно занеся над сыном нож, можно увидеть, как неторопливо перепрыгивает с камня на камень спасительный козленок. Тогда рука с ножом опускается, не пролив крови, и возносится хвала Тому, кто закалил сердце, не позволив, тем не менее, свершиться убийству. Тогда приходит понимание, что нет ни пути Любви, ни пути Страху. И что глупо было разделять эти понятия, потому что главное – это умение переступить через свою слабость и неверие...

Тут я остановился, как будто с размаху налетел на стену. Торопливо разорвав обертку бомбы, я отбросил крышку и увидел, что в коробке лежит кирпич, а рядом с ним мирно тикает неведомо как вынырнувший из глубины времен обычный советский будильник «Слава». Еще не зная, как ко всему этому относиться, я отбросил ненужную больше коробку и услышал, как всхлипнул раздавленный кирпичом будильник. И дрогнула под ногами земля, и спустя долю секунды меня накрыл тяжелый звук мощного взрыва. Неужели они отвлекли меня пустышкой и взорвали настоящую бомбу?! Но зачем?! Чтобы доказать, что я неправ, что путь Страху есть, что он восторжествует?! Ах я, наивный мальчишка!..

Наступила пауза, долгая томительная пауза, которая оборвалась сверлящей уши сиреной «скорой помощи»...

Я открыл глаза, услышал промчавшуюся по улице «Скорую помощь» и с облегчением понял, что это был только сон. Я лежал в своей постели, а кошка Алиска по-прежнему многозначительно смотрела на меня своими зелеными глазами. Подняв руку, чтобы протереть лицо, я обнаружил какую-то бумажку, крепко зажатую в ладони. Это была записка, написанная изящным, несколько старомодным женским почерком.

«Милый Пашенька! – говорилось в записке. – Вы должны извинить нас за столь жесткую ПВ, жертвой и главным действующим лицом которой вы стали по причинам... Впрочем, через какое-то время вы сами все поймете.

Еще раз прошу простить нас за сыгранную с вами шутку.

С восхищением вашим талантом,

Маргарита»

ЭПИЛОГ

Никогда еще мне не приходилось видеть столь длинных и правдоподобных снов. Все это было странно. Ритино послание окончательно запутывало ситуацию. Я подумал было, что заснул с запиской в руках, но не мог вспомнить никакой бумажки, которую брал бы с собой в постель. Кроме того, текст записки бесспорно связывал сон с реальностью. Необходимо было срочно увидеться с Ритой или Феликсом. Может быть, мне удастся получить хоть какое-нибудь разумное объяснение всему тому, что происходило со мной – во сне или наяву.

Когда я подошел к жилому дому, в котором располагался офис, часы показывали без четверти десять. Понимая, что торопиться уже незачем – лишняя пара минут ничего не изменит, – я, тем не менее, мысленно подгонял лифт, проговаривая про себя свое объяснение Рите.

Ключ почему-то не хотел входить в скважину. Пока я пытался сообразить, тем ли ключом открываю замок, за дверью послышались шаги, щелкнула задвижка, и дверь приоткрылась. Но вместо Риты или Феликса передо мной стоял незнакомый человек. Это был маленький худенький старичок, почти гном, с венчиком легких белых волос вокруг лысины. С недовольным и подозрительным видом гном взглянул на меня и покачал головой. Я оторопело смотрел на него, ничего не понимая. Из-за его спины едко пахло только что подгоревшим маслом и застарелым запахом стариковского жилья. Я перестал что-либо понимать и только недоуменно хлопал глазами.

– Э-э, – проскрипел тем временем старичок, – молодой человек не туда попал? Или вы имеете дело к старому Исааку?

И интонации, и кривая улыбочка старичка показались мне насквозь фальшивыми. Так говорили евреи-ювелиры в советских фильмах с легким антисемитским душком. Да и сам старичок мог оказаться кем угодно. Ведь я уже кое-что знал о возможностях перевоплощения, которыми располагала Рита. От таких мыслей я окончательно растерялся. Вырвавшийся из сна абсурд, кажется, начал догонять меня наяву.

– А-а, скажите, – залепетал я, уже понимая, какой получу ответ, – где Рита? Тут ведь был офис...

– Какой офис? – старичок попытался грозно нахмуриться, но вместо этого соорудил жалобную физиономию. – Что вы мне голову морочите? Никакого офиса тут нет! Здесь частная квартира, и последние двадцать пять лет здесь живу я, Исаак Абрамович Гогенцоллерн. А если вы пришли от этого мерзавца Яшки, так передайте ему, что папа его не простил и не простит! Ну как можно? Его Лея такая замечательная жена, а мой шлемазл связался с этой Рэйчел... Ее ж весь Брайтон знает! Я даже не уверен, что она – наша... Этот негодяй

пользуется тем, что у бедной Леи плохое зрение... Я ему сразу сказал – ноги твоей не будет в моем доме, пока...

– Изя! – донеслось вдруг из недр квартиры, – Изя, с кем ты там так долго разговариваешь?

– Рива, тут пришли от Яши! – старичок вдруг улыбнулся и заговорщицки подмигнул мне. – По-моему, он хочет помириться с женой!

– Ой, – раздалось в ответ, – а кто это пришел?

– А я знаю? – ответил старичок и подмигнул мне еще раз. – Кажется, Яшкин приятель, я его уже где-то видел. Ну что вы стоите на пороге, молодой человек? Заходите уже, раз пришли...

– Нет-нет, – попятился я, чувствуя, что еще немного и абсурд окончательно поглотит меня, – спасибо, но вы перепутали, я не от вашего Яши, не имею чести быть знакомым...

– Да-а? – недоверчиво протянул старичок и вдруг цепко ухватил меня сухой лапкой за край футболки. – Так, значит, вы от него! Я так и думал!

– От кого – от него? Я... я просто дверью ошибся! – попытался оправдаться я, понимая, что как в кроличью нору, проваливаюсь в какую-то нелепую историю.

– Не дурите мне мозги, вы же его адвокат? Так вы ему передайте, – не выпуская моей футболки, мстительно сказал старичок, – что отец все завещал мне, а ему пусть достанутся наши болячки! Он вам, наверное, рассказал, что мы с ним родные! Так не верьте! Сейчас я вам все объясню. Мой папа, чтоб ему там лежалось, был еще тот ходок... Ну, вы меня понимаете. Так вот, какая-то полуграмотная домработница из Узбекистана взяла и родила ему ребенка. Казалось бы, какой пассаж, ну родила и родила. Но моя мама долго не могла забеременеть, и папа даже обрадовался, что у него появился-таки сын. А потом родился я. И у отца получилось вроде как две семьи. Так одну семью ему пришлось скрывать, вы понимаете? Нет, вы не понимаете! Это теперь имей хоть три семьи, хоть десять, кому какое дело? А тогда это было опасно. Тогда все было опасно, молодой человек... В тридцать восьмом папу наконец посадили, и вот вам вопрос: кого им было считать семьей врага народа?

Старичок с хитрецей посмотрел на меня, как будто наслаждаясь моей растерянностью.

– Как вы понимаете, у папы таки хватало проблем в этот момент и без нас. Но он рассудил правильно. Он и так уже был английский шпион, зачем ему еще и аморалка? Так что семьей врага народа он выбрал нас с мамой... Что мы с этого поимели, вы знать не хотите... Правда, ту семью тоже арестовали. Говорят, кто-то настучал. Но своей настоящей семьей папа все-таки считал нас!

А потом, когда все кончилось, когда мама умерла, а я каким-то чудом – нет, этот, с позволения сказать, тутерганеф пришел ко мне и заявил, что наш папа все завещал ему! Мы, говорит, кровные братья. Ну? Как вам это нравится?!

Мне это не нравилось. Мне все это категорически не нравилось. Я попытался высвободить футболку из стариковских рук и объяснить ему, что никакого отношения к его единокровному брату, а равно и к юриспруденции не имею.

– Странно... – старичок наконец-то выпустил из кулачка край моей футболки и озадаченно потер лоб. – Я же вас точно где-то видел...

Он поднял голову, и в его выцветших блекло-голубых глазах было нечто такое, что заставило меня вздрогнуть. Этот комичный крошечный старичок, казалось, хотел о чем-то предупредить меня, заранее с сожалением понимая, что ни к чему его предупреждения не приведут. Я замер было, стараясь разгадать, что скрывается за этим сгустившимся абсурдом, но тут в прихожей за спиной старичка раздались шаги, и я быстро ретировался, понимая, что, оказавшись вовлеченным в беседу с женой Исаака Абрамовича, окончательно растеряю остатки здравого смысла.

Я мчался по длинному коридору к лифту, мысленно заклиная его поскорее приехать, чтобы я мог скрыться от семейства Гогенцоллернов, от их детей и единокровных братьев...

– Молодой человек! – донеслось мне вслед. – Молодой человек, я вспомнил! Вас я никогда не видел, но у моего папы, земля ему пухом, был заместитель... Мой папа был ба-а-альшой человек, у него были и заместители, и секретарши, и курьеры! Так вот, вы похожи на одного его заместителя, как будто родной сын... Правда, у него не было детей, он и не мог их иметь, не про нас будь сказано... Но вот что я вам доложу...

На мое счастье, двери лифта спасительно распахнулись, стоило мне нажать на кнопку. Я влетел в кабину и нажал на кнопку первого этажа, но еще слышал, как к старичку присоединилась жена и прокричала, чтобы я передал их Янкеле, что отец на него почти не сердится, пусть уже приходит, только пусть не берет с собой эту босячку Рэйчел, потому что она тогда лично выдерет ей, мерзавке...

Что мадам Рива выдерет босячке Рэйчел, я так и не узнал: лифт увез меня подальше от беспокойного семейства Гогенцоллернов.

Я стоял на тротуаре залитого солнцем Брайтон-Бич и не мог прийти в себя. Где Рита? Что все это означает? Что все это, черт возьми, означает?! Но делать было нечего, и я неторопливо побрел к остановке автобуса. Ясно было только одно: я снова остался без рабо-

ты, и скорее всего, уже никогда не увижу ни Риту, ни Феликса, ни их помощников. Все кончено, и я даже не знаю, как к этому относиться.

Прошел месяц. Несколько раз я пытался дозвониться до Риты, но механический голос на фоне неведомо откуда взявшейся мелодии, в которой я с трудом опознал пролог к опере «Князь Игорь», сообщал, что набранный мною номер отключен. Я по-прежнему ничего не понимал.

Тем временем давно заржавевшие шестерни судьбы, скрипнув, сдвинулись с привычного места, разошлись, завертели и, набирая обороты, как будто наверстывая упущенное, понесли меня в голубые и розовые дали. На следующий день после исчезновения Риты мне позвонили из одного крупного американского издательства с предложением опубликовать мой роман. Даже подписав контракт и получив крупную сумму денег в качестве аванса, я не мог поверить в случившееся. И только когда небольшой отрывок из романа, переведенный на английский язык, был принят журналом «Нью-Йоркер», я стал более или менее адекватно воспринимать происходящее. А потом напечатанный в новом номере журнала отрывок вызвал столь бурную реакцию читающей публики, что некоторые критики стали прочить роману великое будущее, а его автору чуть ли не Нобелевскую премию. И тогда я почувствовал себя богатым и знаменитым. И начал подозревать, что свою «проверку на вшивость» прошел успешно.

Я пишу эти строки ярким солнечным утром, сидя в шезлонге на веранде своего номера в Ницце, в знаменитом отеле «Негреско». Снизу доносятся крики чаек и загорающих на пляже людей. Я поднимаю голову и, щурясь от солнечных зайчиков, которые игриво посылает мне теплое бирюзовое Средиземное море, надолго задумываюсь. И видится мне, что в той точке, где неуловимо сходятся воды с небесами, появляется, как будто ниоткуда, маленький деревянный самолетик ИЛ-14. Деловито жужжа пропеллерами, он летит прямо на меня, так низко, что мне становится не по себе.

Приблизившись, самолетик, как ни в чем не бывало, делает крутой разворот, плавно снижает скорость и, словно лимузин к подъезду, подлетает прямо к моей веранде. Овальная дверца откидывается, и в проеме появляется маленький мальчик с деревянным автоматом ППШ на груди. А рядом с ним, чуть придерживая ребенка за плечо, стоит крепкий смуглый человек в старой рваной хламиде, с потемневшим от времени мечом у пояса. Его черные горящие глаза на гладком, лишенном растительности лице устремлены на меня, а узкие губы слегка улыбаются. В растерянности я смотрю на них, потом оглядываюсь и вижу в глубине номера только что вышедшую из душа

жену, вытирающую волосы полотенцем, а рядом с ней – внимательно следящую за мной кошку Алиску. И сразу все понимаю. Мне пора. К счастью, я могу взять с собой тех, кого люблю.

Но прежде чем мы втроем сядем в самолетик и никогда больше не увидимся с вами, я должен признаться: не было никакого успеха. Денег и известности роман мне так и не принес. Да и не для того он был написан. Так что и море, и Ницца, в которой я бывал давным-давно, – все это неправда. Я вас обманул для того, чтобы возникла хотя бы иллюзия хэппи-энда, столь необходимая каждому из нас.

На самом деле неунывающий доктор Коц, успевший за месяц открыть новый Центр взамен сгоревшего, снова пригласил меня на работу. Правда, платит он теперь на треть меньше, чем раньше, объясняя снижение зарплаты большими финансовыми потерями. Должно быть, Ритина «проверка на вшивость» ничему его не научила... Да и вообще, мне кажется, что ни одна «проверка на вшивость» не может изменить природу человека, начиная от Адама и заканчивая мной самим. Иначе в этом мире все было бы по-другому.

Впрочем, какое мне дело до этого мира? Я не заслужил покоя, но заслужил другой мир. Будем надеяться, что он окажется действительно другим... Меня ждет мой самолетик, мои герои. И еще в одном признаюсь вам, дамы и господа: мне жаль вас, остающихся. Да, и передайте, пожалуйста, доктору Коцу, что завтра я на работу уже не выйду, хорошо?

Нью-Йорк, июнь-сентябрь, 2016

Валерий Черешня

Женщина. Старость. Смерть

1

О женщине, снимающей чулок,
чей стылый взгляд напоминает осень
усталостью, напоминает просинь
внезапностью, предутренний гудок

великим одиночеством, когда
она мертва для суеты и лени —
покинутое древнее селенье,
погасшая, но теплая звезда.

Прислушиваясь к скорбному чутью,
разматывает нить далекой пряжи,
и плоть ее, оплыв, являет тяжесть,
что клонит к смерти зрелую листву.

Притянутые тенью тишины
и теплотой дыхания ночного
под тесным сводом маленького крова
собрались неприснившиеся сны

и шепчутся на мертвом языке,
чьи звуки принимают за утрату
последних листьев, принимают за накат
негромких волн на медленной реке.

Но постепенно, возвращая ум,
она возобновляет связь событий

.....
.....

Но постепенно, возвращаясь к дню
грядущему, — готова лицемерить,
и степень одиночества измерить
пугаясь, — говорит: «люблю».

2

Женщине, живущей в десяти
метрах, среди старых фотографий,
пожелтевших грамот-эпитафий,
тумбочек таких, что не пройти
в угол к занавешенной кровати,
комнате, как стону об утрате,
запаху старенья и тоски, –
я не посвятил еще строки.

Между тем, знакомей хрестоматий
эта жизнь – заплата на заплате,
правда, – телевизор (чем и жить?);
пенсия за сына или мужа,
крохи за подённый тихий ужас, –
можно бы, пожалуй, свести концы,
но здоровье с каждым годом хуже, –
главное, что незачем сводить.

Эта жизнь настолько бессловесна,
так определенно равновесна, –
тождество себя самой себе.
Вечер. Телевизор блеклой тканью
покрывает скатерть, чай, десерт...
Женщина согрета ожиданьем:
после новостей пойдет концерт.

3

Старушечьи глаза, глядящие упорно,
с дремучей силой, больше, чем любя,
в окно, туда, на молодых животных,
в обнимку убегающих к трамваю,
слепую силу в этом узнавая,
которая и ей готовит отдых.

4

И в этом птичьем облике, и в том,
как незаметно ты вела свой дом,
как тайно чувствовать привыкла и старалась
не обратить внимания судьбы
на тихий обиход твоей семьи,
была видна не то что бы усталость,

а ожидание немислимой беды,
которая, конечно, и прокралась
сквозь бесконечно чуткие посты
твоих навстречу вскинутых ладоней,
и точно ветер, вспыхнувший на кроне,
преобразила всю тебя.

Листы,
когда они трепещут наизнанку
и обращают дерево к себе...

Ты поддалась назойливой судьбе,
которая, как ловкая цыганка,
всё примеряла из своих смертей
тебе на выбор.

И твоя созрела,
и ты рванулась вся навстречу ей.
И дух живой покинул это тело.

5

Что, кроме комнаты, осталось от тебя?
На кухне стол и полочка в уборной,
и вешалка в углу, пылящаяся скорбно,
и всё, что моль не стала есть дотла, —
все эти шляпки, зонтики, боа,
вся дребедень, с такой ненужной силой
хранящая...

Как не подходят стелла и ветла
тебе и слову слишком «могила»:
здесь роза из последних сил цвела
и пахло степью пыльного тепла,
и как-то просто солнце заходило.
Стемнело. Смерть истратилась в слова,
чтоб тяжестью меня не раздавило.

6

Теперь я прихожу к тебе нечасто,
раз-два в году, когда по совпаденью
я окажусь в родных краях, и в настроенье,
и суета глаза мои не застит.

Я прохожу сквозь хор надгробных вскриков,
с сумятицей их бестолковой скорби,

и drobный хохот плещущихся бликов
по плитам сыплет тополь, как из торбы.

Да, да, я прихожу, но вот к тебе ли,
и что такое ты теперь – мне знать бы...
Я прикасаюсь к этой черной стелле
и ничего не чувствую.

На свадьбе
крылатых мошек, вьющихся над стеблем,
присутствую. И я свободен столь же.
Как странно, что растет и в нашем пепле
слепое знание души.

И что нам больше!

Санкт-Петербург

Вера Зубарева

В ожиданье непогод

* * *

Сумятица. В разгаре вьюг фиеста.
Сугробы, как подобья пирамид.
Развинчен свод, и город сорван с места
И в птицу превратиться норовит.
Вращаясь в дисгармониях угрюмых,
Готовит ветер ледяной набег.
Сумятица. И мир темнее в думах,
И ночь светлее, оттого что снег.

* * *

Снег придет в четыре утра,
А до этого будет сниться,
Как несут над землей ветра
Его белую колесницу,
Как плывет он в ней над водой,
Над горами, над лесом блёклым,
Задувая звезду за звездой,
Гравировав их образ по стеклам.
И ничто не задержит его,
Разве только душистая сладость
Елки в детской, где никого,
Кроме памяти не осталось.

ПАМЯТИ ОТЦА

* * *

день взлетает
ночь садится
снежность в облаке таится
и слегка уже седой
город по воде струится
влажных раковин зарницы
между морем и звездой

снов наброски
жизней блёстки
театра темные подмостки
в ожидание непогод
млечный свет на перекрестке
и как точечная роспись
выплывает пешеход

он идет своей дорогой
город снежный
город строгий
прибывает на пути
дерево стройнеет в тоге
светофора свет недолгий
успевает замести

капля стынет и не бьется
он идет
позёмка вьется
пристань с лестницы видней
он идет
она дождется
даже если всё сотрется
в снег на этом полотне

* * *

Сумерек перевес,
Зимних дорог бесприютство.
Хочется вести с небес,
Хочется в небо уткнуться,
Слушать его перезвон,
Плыть по его полю –
Долго, за горизонт,
В вотчину звезд колокольных.
И повторять: «Прости...»,
И зашагать к перекрестку,
И на щеке унести
Снега хрупкую блестку.

* * *

Он явился почти на заре
 Каплей света
 И сказал: «Зима на дворе».
 Только это.
 А привиделось — море во льдах,
 Волны-глыбы,
 Мрамор чаек и пики яхт,
 И хрустальные рыбы.
 А привиделось — всполох искр,
 Рассыпных, отраженных,
 Город рос — ледяной обелиск
 На ожогах,
 Бинтовала его пурга,
 Зло, нелепо,
 Состояли его берега
 Сплошь из пепла.
 Он сказал — зима на дворе.
 Не прибавил ни слова.
 И спросонья никто не прозрел
 Смысл ледовый.
 Падал снег в тишину двора,
 Шелестела газета.
 И осталось земле от вчера
 Только это.

* * *

Под землею ковчег
 Полон траурным смыслом,
 А по ней пишет снег
 О высоком и чистом,
 А над ней тишина,
 Облаков мирозданье,
 Жизнь, что пред-решена,
 И с душою свиданье...

* * *

Вот земля принесла весть, что его нет,
Приползла паучками, траурными бабочками,
Жуками-могильщиками, и в обед
Двигалась за катафалком высохшего одуванчика
Процессия муравьев. Стал накрапывать дождь,
Ветер беспрестанно хлопал дверью, как будто
Кто-то прорывался из облачных толщ,
Что-то искал и вылетал через минуту,
И за этот крамольный побег с высоты
Гром сотрясал ее что есть силы,
И земля набрала в рот воды.
А небо говорило, говорило, говорило...

* * *

Куда ты теперь ведешь свой корабль?
Август уже за бортом, и эмаль
горизонта потрескалась
в каракулях море
чайки плачут моим голосом, и дельфины
качаются на хвостах, выгнув спины,
тычутся в звезды мокрыми носами
парусник неба со спущенными парусами
темная набережная с растрепанными волосами
бьет в корму пустоголовый ветер
несет альбатрос в клюве почту
вскроешь ее и прочтешь о том, что
этот месяц самый грустный на свете.
На случай, если ты не заметил,
близится годовщина твоей смерти.

* * *

Это август. Бабочек ворожба,
В штопках паутин – просветы полдня,
Дерева чуть накренившаяся изба
С налётом иконки Преображения Господня.
Это август. Замирание реки,
Подставившей лицо, будто пляжница, солнцу.
Бликами быстрых снов мальки
В зазеркалье вод разомлевших носятся.

Это август. Воздуха волокно
Из предлетних чаяний, золотистой пыли.
Вот и ты укололся о его веретено,
Вот и ты разглядел над собою крылья...

* * *

Хочется зимы — высокой, чистой,
С кружевом поземки за окном,
С переливом ледянистых смыслов,
Где мерцает лужи окоём.
Хочется зимы высокой, легкой,
Как снежинок неосевших рой,
Как смешение души и вдоха,
Сновидений вольною игрой.
Хочется зимы высокой, светлой,
Чтобы в елях колокольный ритм,
И мечталось, как над ними с ветром
Кто-то всепрощающий парит.

ОТПЕВАНИЕ

10 апреля будет отпевание...

из газет

...И вот она протянула ему руку
И сказала: «Скоро мой день рожденья.
Давай с тобою сегодня играть по слуху.
Я буду флейтой. Слушай мое приближение,
Как слушал ветер когда-то, помнишь? По коже
Воздуха трепет, шелест пустой страницы...»
Он вспоминал и думал о непреложном,
Глядя на реку жизни в своей чернильнице.
«Всё иссякает», — она говорила-пела,
Заворожив часы небывалой речью, —
«Всё, что помимо чернил, остывает с телом...»
Он заглянул в их темень: «Это навечно...»
Неба отливы. Над океаном — заката
Больше, чем вод, пожелавших вместить солнце.
«Я буду флейтой», — пела она из десятого
Круга ли, дня ль, за земною витая околицей.

Он лишь прищурился, слушая музыку: «Ты ли?»
Сумерки глаз. Видней изнутри, чем снаружи.
«Кто это белые снега сметает с крыльев?»
«Тот, Кто пришел душ разобщенность нарушить...»

* * *

Кто-то в сад полночный вышел
И всю ночь сновал по крыше.
Оказалось, это дождь
Очень серенький, невзрачный,
Будто небо то ли плачет,
То ли тает – не поймешь.
Это так весна приходит.
Всё развинчено в природе –
Четкость линий, строгость форм.
И от снега не осталось
Больше тайны. Только талость
На следах, ведущих в дом.
Снов размазаны границы,
И зачем-то снится, снится
Край земли и там звезда.
Как рисунок карандашный,
Бог стирает день вчерашний
И сдувает в «навсегда».

Филадельфия

Елена Малишевская

ЗАБЫТЫЕ СТИХИ

Спрятанные книжных листков между,
Живыми были и часто дышащими.
Теперь же, со склеенными веждами,
В корешках тускнеете выцветших.
К жаждущим свежей озерной ряби
От вялотекущего общего места
Строфой блеснувшей, одной хотя бы,
Извернувшись, выпрыгнуть из контекста!
И живцом, напитавшись первоосновы,
Соскользнуть, впадая в сердечное устье,
За пороги, с течением быстрой крови,
Прямо в чувство.

* * *

– Вам... мятных? – и в один кивок
Ныряет за борт маленький совок,
Потрескивают бусины-стекляшки,
Дрожит зефир – нежнее нимфы ляжки,
И лентой ловко схвачен коробок.

Кренится от ванильных волн
Калиф-халвы слоистый холм,
Бриз на желе, мурашки маршмэллоу,
Испуг суфле и стынет фарш лиловый
В потеках шоколадных смол.

Кулечки с миндалем, как времени расчет,
Где через площадь серый шелк течет.
Не прячьтесь далеко, лакричные тянучки,
И если луч блеснет сквозь эти тучки,
Он в леденцах спасение найдет.

* * *

– где была? не отвечает. ложка бродит в горьком чае,
ворот шелковый на блузке чуть подрагивает пульсом.
воздух комнатный питает лилий цапельную стаю,
за стеклянной мутной стенкой ноги ломкие в коленках.

облетают. пруд в тарелке прорисованный с гребцами,
рядом нож веслом и вилка позабыта вниз зубцами.
где была? скользнет улыбкой в уголке буфетной дверки,
вбок от кобальтовой белки промелькнет и возродится
за посудной вереницей, расслоившись канет в лету.
притворятся, как обычно, равнодушными предметы
за зеркальным пересветом. — где была уже там нету.
станет все таким привычным, как разученные гаммы.
так разглаживают руки скатерть ровными кругами.

* * *

Окно, над которым сыреет венец,
от дуг, загогулин из круга почета,
до плоти прихваченной шторы, колец,
продетых в карниз, измусоленных четок.
Чьи мутно глаза застревали в распорке
отчаянных накрест газетных полос,
и кто лишь мечтал о весенней уборке,
края кисеи зацепив за откос?

У неба ночами испрошены дни,
стекло половинит щиток «отселенка»,
где глубже бездомные прячут огни,
у стока водянойкой раздута коленка.
Кому подоконник теперь как порог,
с которого сухо сползают скрижали?
Плюща уцелевший ютится горшок,
хотя и не боги его обжигали.

* * *

Так память тяжела, как бабушкин сервант.
Из темных ящичков отпущены на волю:
Шинковка грозная и пуд баварской соли,
Задерживавший плату квартирант.

Непримиримость, гордая на вид, —
Бюст мраморный, с прожилками эфедры,
Английский адмирал, державший нос по ветру,
В две дырочки сквознячные сопит.

Тарелок пенятся волнистые края
В колоннах, что едва удерживали руки,
Всего лишь две руки, и все столпы науки –
Энциклопедий синие тома.

Свинцовая судьба неласкового брата
По щедрым завиткам растрескала багет,
И, скованный кукушкой, вдовый след
По гнутому оставлен циферблату.

Раскрыты ящики. А после них – потоп,
Тряпичные везде стекают водопады.
С порядком мировым не зная сладу,
Канаты спутанные парашютных строп.

Киев

Игорь Гельбах

Призрак Алафузова

1

Лопатины вернулись в Петербург из Нью-Йорка во второй половине июня, в самый разгар белых ночей. В тот же день Лопатин отогнал свою «двадцатьчетверку» на профилактику и решил отправиться в университет, где когда-то учился, а позднее защитил диссертацию, на троллейбусе – в метро было душно и тесно. Дни стояли теплые и влажные, в пропитанном запахом бензина воздухе носилась пыль от ремонтируемых дорог, а подземные переходы, небольшие площади и скверы, стадионы и солнечные участки улиц заняты были торгующими самодельными художниками, попрошайками, инвалидами и туристами. Троллейбусы, курсировавшие по Невскому, были переполнены, а люди, как всегда, загорали на пляжах у стен Петропавловской крепости.

Через несколько дней, возвращаясь домой с очередной встречи в университете, Лопатин проехал на своей черной, купленной еще до отъезда в Хадсон, «двадцатьчетверке» по Сенной площади и был поражен не только изобилием неубранного мусора на улицах, но и разнообразием книг в немыслимо ярких обложках на бесчисленных прилавках.

Но это были лишь первые впечатления. Со временем все, что окружало Лопатина, стало наводить его на мысль о возвращении в то прошлое, что никуда не ушло и по-прежнему жило в геометрии сырых камней города, его строениях, шпилях, мостах и текущей под ними водой.

Весть о возвращении Вячеслава Николаевича из Хадсона, разлетевшаяся по городу после встречи со старыми, еще с прежних времен друзьями, произвела, как оказалось, определенное впечатление и на знакомых, волею судеб оказавшихся в центре текущих событий. Разумеется, никто из тех, кому он звонил и с кем встречался в последующие дни, не ждал его возвращения в политику, и вскоре Вячеслав Николаевич получил предложение прочитать курс лекций на факультете социальной психологии вновь открытого Санкт-Петербургского социально-гуманитарного университета – с условием, однако, непре-

менной связи тематики будущего курса с вопросами истории русской литературы. Предложение это исходило от заведовавшего именно этой кафедрой, хорошо известного Лопатину человека, сделано было по телефону и Лопатиным с благодарностью принято.

– Все дело в том, Вячеслав Николаевич, что мы теперь перешли под крыло факультета социальной психологии, так как теологического или, скажем, богословского факультета у нас пока нет, – с некоторой усмешкой, прозвучавшей в слегка захлебывающемся с хрипотцой голосе, пояснил заведующий кафедрой истории русской литературы.

«Интересно, – подумал Лопатин, – в чей же это адрес направлена ирония, в мой ли, или в адрес нынешних властей?»

Когда-то давно имя этого человека указано было в одном из попавших на стол Лопатина списков. В ту пору Вячеславу Николаевичу пришлось заниматься деятельностью полуподпольного кружка, возникшего в университете и распространявшего религиозно-философскую литературу, всевозможные богословские тексты, воспоминания разнообразных церковных деятелей и другие книги, опубликованные эмигрантским издательством «Посев». После завершения обысков, изъятия изданной «Посевом» литературы, допросов и иных следственных мероприятий, состоялся суд, и один из руководителей кружка, осуществлявший связь с эмиссарами «Посева», был посажен, а с остальными проведены были так называемые «профилактические беседы».

Что же до нынешнего заведующего кафедрой истории русской литературы, то он после проведенной с ним «профилактической беседы», подписал бумагу, подтверждавшую его полное раскаяние в антиобщественной деятельности, обещание не заниматься ею впредь и подтверждение ясного понимания того, что несоблюдение данных органам следствия обещаний приведет к возобновлению направленных против него следственных действий.

В дальнейшем бывший подследственный ни в чем предосудительно замечен не был. Известно было, что он вернулся к академической деятельности и продолжил свою работу над диссертацией на официально утвержденную тему, которую он со временем вполне успешно защитил.

На следующий день Лопатин направился во вновь открывшийся университет. Перед выездом он сунул в портфель бутылку виски «Famous Grouse» («Знаменитый рябчик»), приобретенную в Duty Free нью-йоркского аэропорта им. Дж.-Ф. Кеннеди, блок сигарет «Camel» без фильтра, кое-какие сувениры, фотографии, а также журналы и газеты с материалами о пребывании Лопатина в Хадсоне, про-

иллюстрированными черно-белыми фотографиями. Был среди них и выпуск популярной нью-йоркской газеты на русском языке со статьей о всемирном присутствии русской литературы и фотографией, запечатлевшей Лопатина, беседующего с писателем-отшельником в залитом полуденным светом кабинете писательского дома в Вермонте.

По дороге в университет, проходившей по знакомым улицам, Лопатин заметил, что несколько соборов были в строительных лесах, — похоже, велись реставрационные работы. Знал он и то, что заново открылся ряд церквей, привлекавших с каждой новой службой все большее число верующих.

Во дворе университета он припарковался. Поднялся на второй этаж первого корпуса и был принят заведующим кафедрой без задержки, его ждали.

Завкафедрой был грузный мужчина в мятом сером костюме и голубой шелковой рубашке с короткими рукавами, что стало заметно, когда он протянул Лопатину руку. Темные с сединой волосы его были зачесаны назад, на переносице устроились очки в толстой роговой оправе с утопленными за толстыми зеленоватыми стеклами очковых глазками. Они почти не смотрели на собеседника, но иногда вдруг останавливались, словно оглядывая мир вокруг, а затем снова отступали куда-то на задний план. Завкафедрой принадлежал тому же поколению, что и Лопатин, знал о его службе в органах и был хорошо знаком с его публикациями и книгами. Знал он и о том, что в Хадсоне Лопатин прочитал курс, посвященный проблемам истории русской культуры. Наслышан он был и о встречах его с вермонтским отшельником, уже окончательно собравшимся вернуться в Россию, — и это обстоятельство, по его высказанному в самом начале встречи мнению, должно было привлечь дополнительное внимание к лекциям Лопатина.

Тут, возможно, следует отметить, что, хотя сама встреча и беседа с писателем в Вермонте произвели на Вячеслава Николаевича определенное и даже весомое впечатление, отдельные заявления отшельника о будущем России, сама организация жизни в его доме, равно как и полувойенный китель, в который бывал облачен претендовавший на роль пророка писатель, показались Лопатину несколько комичными.

Что же до сегодняшней встречи, то Вячеслав Николаевич быстро оценил степень и информированности, и ожиданий своего петербургского собеседника: тому, естественно, хотелось установить какие-то контакты с Хадсоном, с тем, чтобы в желательном недалеком будущем навестить этот центр изучения русской, советской и теперь

уже постсоветской культуры. Все это было нормально и вполне ожидаемо, и Лопатину внезапно пришли на ум памятные еще со школьных времен строки Крылова: «Ты сер, а я, приятель, сед, / И волчью вашу я давно натуру знаю». Затем он отчего-то вспомнил о том, как закончил свою жизнь генерал Арканов-Архангельский. «Узнаете еще, что такое ‘ликвидационные мероприятия’», – подумал он со злостью, хотя понимал, что гневу его нет никакого рационального оправдания. Да, собственно, гнев его и не имел никакого отношения к сидевшему против него человеку; скорее всего, раздражение вызвано было проблеском памяти о покончившем с собой генерале, с которым у Лопатина были свои счеты. Он кашлянул, усмехнулся и решил не пускаться в прочувствованные беседы с сидевшим против него человеком, а лишь умеренно обнадежить его в плане установления контактов с Хадсоном. По этой причине, рассказывая о своем пребывании в Штатах, Лопатин упомянул имена нескольких хорошо известных специалистов по России и русской культуре из других университетов.

В завершение деловой части беседы Лопатин пообещал заблаговременно предоставить на утверждение кафедры план будущего курса.

– Думаю, что все сотрудники кафедры рады будут познакомиться и пообщаться с вами в спокойной обстановке, еще до начала учебного года, – сказал его собеседник, скорее всего предвкушая возможность возникновения самых непредсказуемых ситуаций в ходе будущей встречи. Однако Лопатин был вовсе не намерен принимать хоть и не озвученное, но уже как бы сделанное предложение стать живой иллюстрацией к ушедшей реальности. «Вам нужно жареное, – думал он, – бывший сотрудник ‘конторы’, рассказывающий байки о диссидентах и их жизни на далеком Западе? Как бы не так! Вот этого вы никогда от меня не получите! История русской литературы – это вам не мешок с овсом», – заключил он мысленно, и фраза эта ему неожиданно понравилась. Ему полегчало, но тут же захотелось выпить, благо дома еще оставалось несколько бутылкок приличной выпивки, а не тех помоев, что продавались чуть не на каждом углу.

Через мгновение сидевший против него заведующий кафедры предложил выпить. Лопатин кивнул, и хозяин кабинета быстро содрал цветной пластик с горлышка стоявшей на столе бутылки. Действовал он споро и решительно, и Лопатину пришлось в голову, что завкафедрой мог бы, пожалуй, легко скрутить шею любому, да хоть и самому знаменитому рябчику. Через мгновение появились на столе лафитники, граненые стаканы, лед, бутылка минеральной воды «Полюстрово», нарезанный на тонкие дольки лимон и закуска – лом-

тики свежего белого хлеба, масло и до прозрачности нарезанная красная рыба. «Готовился», – промелькнуло где-то на периферии сознания Лопатина.

Хозяин кабинета разлил виски в граненые лафитники, налил в стаканы минералку, которую Лопатин терпеть не мог, посмотрел в глаза своему гостю и сказал:

– Рад, сердечно рад, Вячеслав Николаевич, и нашей встрече, и будущему сотрудничеству.

– Взаимно, – ответил Лопатин, и оба выпили.

Затем завкафедрой снова разлил виски по граненым рюмкам, в этот раз чуть ниже, и Лопатин понял, что сидящему напротив него человеку виски пришелся по вкусу. Выпив еще по одной, поменьше, и закулив, собеседники отошли от обсуждения проблем, связанных с работой факультета, к вопросу о сроках окончания ремонта. Медовый, уже привычный Лопатину аромат «Camel» понравился завкафедрой. Оба, казалось, пришли в хорошее расположение духа, и вскоре Лопатин сообщил своему собеседнику, что интересуют его «предельные судьбы русских писателей» а также и то, какое влияние оказали на их судьбы и творчество столкновения с репрессивными органами. При этом, пояснил Лопатин, интересовало его не только, чьи именно судьбы следует считать «предельными», но и что, собственно, делает судьбу русского писателя именно такой? И каковы созидающие ее «фундаментальные узлы» согласно его, Лопатина, терминологии?

Вскоре, в промежутке между двумя глотками, он сообщил заведующему кафедрой, что наиболее подходящей для рассмотрения занимающих его вопросов, связанных с идеей «предельных биографий», является фигура Достоевского, из которого все мы и вся наша жизнь вышли, ибо и в жизни его, и в творчестве интересующие нас отношения и ситуации представлены, пожалуй, с наибольшей яркостью и силой. И если мы хотим понять судьбу и творчество русских писателей и поэтов, творчество и жизнь которых пришлось на уже ушедший в прошлое период тоталитаризма, то, утверждал Лопатин, знание биографии и творчества Ф. М. Достоевского, а также представление об эволюции его взглядов на пути развития российского общества, окажется для нас неоценимым и первостепенным подспорьем.

В ответ завкафедрой высказался в том духе, что подобный подход действительно выглядит весьма правомерным и уместным в свете того, что кафедра русской литературы существует теперь как одна из кафедр факультета социальной психологии, и предложил выпить еще «по чуть-чуть», признавшись с некоторым смущением, что виски у него нет, но есть хорошая, привезенная из Польши водка.

– Были, правда, у Федора Михайловича некоторые предубеждения относительно поляков, – заметил он слегка усмехнувшись.

– И не только поляков, – откликнулся Лопатин.

– Но вот водка «Wyboga» – вполне ничего, – откликнулся его собеседник, который, как оказалось, занимался в свое время происхождением рода Достоевских и московским периодом жизни семьи, в которой вырос писатель.

Вскоре начавшийся под водку разговор коснулся и известных, связанных с детством и юностью писателя, обстоятельств. Разговор шел легко, и, как это часто бывает, собеседники то и дело перебрасывались именами исследователей или соответствующими цитатами, словно еще и еще раз убеждаясь в осведомленности каждого из них с тонкостями, а порой и возможными разночтениями обсуждаемых тем и деталей.

2

Как известно, отец писателя родился в 1788 году в семье униатского священника из Подольской губернии. В 1820 году Михаил Андреевич Достоевский ушел со службы в армии и стал лекарем при женском отделении московской Мариинской больницы для бедных. В том же году тридцатидвухлетний лекарь женился на двадцатилетней дочери купца III гильдии Марии Федоровне Нечаевой, происходившей из семьи, разоренной московским пожаром 1812 года. Мария Федоровна была не чужда поэзии, любила музыку, да и сама была достаточно музыкальна, а ее письма к мужу написаны искренне, живо и темпераментно. Жили Достоевские в квартире при больнице, своей квартиры или дома у семьи лекаря не было. К несчастью, муж и отец семерых детей Марии Федоровны оказался пьяницей, ревнивцем и тираном.

Их второй сын Федор рос болезненным, странным и диковатым ребенком и пережил первый приступ эпилепсии восьми лет отроду. Прошел год, и его потрясла внезапная смерть девочки-однолетки, подружки по детским играм.

С 1831 года семья проводила каждое лето в имении, состоявшем из села Даровое и деревни Черемошня Тульской губернии, приобретенными Михаилом Андреевичем. Мать Федора Достоевского умерла в возрасте тридцати семи лет от чахотки, когда Федору было шестнадцать. За месяц до смерти матери юноша узнал о смерти стрелявшегося на дуэли Пушкина; событие это потрясло его.

После смерти жены, матери его семерых детей, отец Федора Достоевского, сорокадевятiletний лекарь, вышел в отставку и поселился в заложенном и перезаложенном имении. Семья оказалась на

границ разорения, и отец отвез Федора и его брата Михаила, находившихся ранее в одном из лучших московских пансионов, в Петербург, где их приняли в Инженерное училище. Своего отца Федор Достоевский больше никогда не видел. Ему было восемнадцать, когда одним жарким июньским днем крестьяне села Даровое убили отставного штабс-лекаря из-за его безобразий по женской части. Его растерзанное крепостными тело было найдено на дороге из Дарового в Черемошню. Измененное на «Чермашню» название возникло через несколько десятилетий на страницах «Братьев Карамазовых», последнего великого романа писателя. Но до этого многое еще должно было случиться и произойти.

Вот, кстати, свидетельство очевидца времен учебы Достоевского в Инженерном училище, размещавшемся в Михайловском замке: «...Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье – все это на нем казалось какими-то веригами, которые временно он был обязан носить и которые его тяготили. <...> Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперед где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него».

Известно, что в первые проведенные в училище годы Федор Достоевский запойно вчитывался в трагедии Шекспира, Шиллера и Гюго. Этому последовали собственные неудачные драматические опыты – попытки написать «Марию Стюарт», «Бориса Годунова» и, наконец, «Жида Янкеля» по мотивам Н. Гоголя – попытка, скорее всего, вдохновленная чтением «Венецианского купца», по замечанию Лопатина, которое его собеседник воспринял с нескрываемым интересом. Не об этих ли дерзаниях молодости, продолжал Лопатин, писал Достоевский позднее: «Покажите вы <...> русскому школьнику карту звездного неба, о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною».

В августе 1842 года закончивший училище Достоевский зачислен в инженерный корпус с употреблением при чертежной Инженерного департамента. Спустя три года он завершает работу над переводом «Евгении Гранде», опубликованной без указания фамилии переводчика. И, наконец, вышел в свет его первый роман «Бедные люди».

Название это словно подсказано писателю самой судьбой, замечает Лопатин в своей позднее написанной книге: «Всю жизнь будет биться Достоевский с собственными долгами, проигрываться в рулетку, выплачивать долги близких, играть, разоряться, подписывать кабальные договора и снова занимать деньги, те самые тысячи и тысячи рублей, жадной обретенной и нехваткой которых мотивированы многие герои его будущих романов...»

Первым публикациям Достоевского последуют знакомства с известными писателями и критиками, приветствовавшими его приход в литературу. Однако после публикации «Двойника» отношение его первоначальных почитателей к молодому автору переменялось, и вскоре раздражительный, беспокойный и импульсивный характер Федора Достоевского привел его к конфликту с Тургеневым и писателями круга Белинского. Тургенев, в частности, раздражал его барством, утонченностью и, может быть, даже снисходительностью в манере общения.

Наконец примкнул он к «петрашевцам» и вместе с остальными был арестован в конце апреля 1849 года.

Описание этого периода жизни писателя Вячеслав Николаевич завершает следующим замечанием: «Как понятно и узнаваемо! Ведь именно такие талантливые, честные и честолюбивые молодые люди со вздорным характером, а порой и с тяжелой унаследованной болезнью и полным отсутствием средств для реализации их грандиозных замыслов всегда были и, наверное, никогда не переведутся, а будут появляться в самого разного рода семьях в России. И почти с неизбежностью их выстраданные замыслы, поиски и дерзания приведут этих людей к разного рода непримиримым конфликтам с современным им обществом и государством».

3

А пока, слушая рассуждения своего собеседника о причинах размещения Инженерного училища в здании Михайловского замка, выкрашенного в ту пору в розовато-оранжевый с добавлением желтого цвет, Лопатин вдруг осознал, что его охватило давно уже не посещавшее его ощущение естественности; он был дома и толковал с мало знакомым ему человеком о том, что их, в сущности, объединяло, оставив на время позади все то, что разводило их по углам. Говорить о Михайловском замке было естественно и приятно, да и все остальное, о чем они говорили, рисовалось ясно и прозрачно — так, словно говорили они о представленной в музее модели театрального зала с актерами на сцене, что сильнейшим образом отличалось от копошащейся вокруг жизни, которая, конечно же, верил Лопатин, предстанет когда-нибудь взорам будущих исследователей столь же ясно и прозрачно даже и в самых своих трагических узлах.

Следует отметить, однако, что, несмотря на то, что идея проекта была внимательно выслушана заведующим кафедрой и после уточнения некоторых деталей в ходе разговора о молодости писателя безусловно одобрена, некоторая неуверенность и сомнения, связанные с задуманным проектом, у самого Лопатина остались. Ибо не раз

приходила ему на ум тревожная мысль о том, что каждый раз, поместив в центр своего внимания еще одного писателя с его «предельной судьбой», ему, Лопатину, придется сосредоточиться на изучении персональных особенностей той «предельности», что связана была с каждой из избранных фигур. «Не утеряю ли я леса за деревьями? – спрашивал он себя. – Будет ли возникшая к концу чтения курса картина в должной мере объективной? Или же понятие ‘объективности’ есть не что иное, как химера?»

Последняя мысль давно уже беспокоила Лопатина, являясь ему в самых разных обликах, но в это утро, беседуя о проекте с заведующим кафедрой, он на время позабыл о сомнениях, которые его преследовали, и должно быть оттого, что разговор пошел хорошо, настроение его улучшилось.

Между тем подошел неизбежный для каждого затянувшегося разговора момент, когда собеседникам хочется отведать чего-то вроде «севрюжины с хреном» или даже потолковать о конституции, и оттого хозяин кабинета уже было встал и направился к белому холодильнику в углу кабинета за баночкой корнишонов, о которых он вдруг вспомнил, но тут встал и Лопатин, и, сославшись на то, что он сегодня за рулем, сообщил, что должен откланяться, чем собеседник его, как показалось Лопатину, остался вполне доволен. Тот, по-видимому, не забывал, что у него впереди еще немало встреч и кто мог сказать, как они сложатся, сколько еще придется ему выпить сегодня. Да и сам Лопатин был вовсе не против того, чтобы продолжить столь удачно начатый день. Намерение это он собирался осуществить немедленно по возвращении домой.

4

Ольга ждала его и уже накрыла на стол. Внимание его привлекли вареный картофель, масло, сельдь, ветчина, маринованные огурцы, горчица и уже нарезанный бородинский хлеб. Все, как прежде, все возвращалось на круги своя.

Он снял пиджак, накинул на плечи домашний свитер и подошел к столу.

– Ну что ж, Оленька, – сказал он, – все прошло как нельзя лучше. Сейчас расскажу по порядку, – продолжал он, подцепив вилкой ломтик ветчины и тронув его ножом с горчицей на лезвии. – И надо бы что-то налить... Выпьешь со мною?

– Ну раз есть за что, – произнесла она с ноткой надежды в голосе.

Ольга внимательно слушала его рассказ, и в сознании его пронеслось, что время его, по-видимому, пришло. Мечты его о работе в приличном российском университете обретали как будто солидное

под собой основание. И, дабы не спугнуть удачу, он выпил еще пару рюмок того же зелья, с которого начал день, за компанию с женой, которая рада была поддержать его и, пожалуй, даже гордилась им.

На следующее утро Лопатин и Ольга созвонились с дочерью, которая осталась в Хадсоне с тем, чтобы продолжить образование. Убедившись, что у нее все в порядке, Лопатины отправились к себе на дачу.

В свое время, поддавшись первоначально неясному для него порыву, Лопатин приобрел в Старой Руссе двухэтажный дом на набережной неширокой и плавной Порусьи, именуемой Перерытицей в этой своей последней перед слиянием с Полистью части. Оказалось, кстати, что никакой ошибки он не совершил, город этот – древний, со старыми церквями и спокойными набережными, – принадлежал к тому именно типу русских городов, где он чувствовал себя в полной мере своим.

Знал он и то, что во второй половине девятнадцатого века Старая Русса была ближайшим к Петербургу курортом с лечебными минеральными источниками и грязевыми ваннами.

Залогом будущего мира и спокойного отдыха казалось ему и то обстоятельство, что в городе ни у него, ни у Ольги не было близких родственников – они жили в Пскове, куда Лопатины, выбравшись на отдых из Питера, всегда заезжали. Было у дачи в Старой Руссе и еще одно преимущество – удаленность от «конторы», что позволяло Лопатину проводить свободные дни с семьей, не опасаясь внезапных вызовов на работу.

Обычно, покинув «самый умышленный и отвлеченный город в мире», Лопатины доезжали до Новгорода часа за три с небольшим. Там они обедали и часок-другой гуляли по городу, после чего снова садились в машину, зная, что дороги в объезд Ильмень-озера с его чудными берегами осталось всего-то на полтора часа.

Что же до родственников, то они, похоже, примирились с фактом выбора места для дачи в Старой Руссе, более того, со временем пришли к поначалу неожиданному выводу, что Лопатин, давно уже защитивший кандидатскую диссертацию, посвященную творчеству Достоевского, собирается писать книги о нем, а в будущем станет директором давно уже превращенного в музей городского дома писателя. Вячеслав Николаевич даже и не пытался оспорить эту легенду, тем более, что она оправдывала сложившуюся в отношениях с родственниками ситуацию и позволяла Лопатину с женой и дочерью спокойно проводить часть лета, весны и осени в городе, где к аромату нагретых солнцем лип примешивался запах соли. Иногда приезжали они к себе на дачу и зимой.

В Псков они обычно уезжали через неделю после приезда в Старую Руссу, с тем, чтобы погостить у родственников несколько дней. Выезжали туда Лопатины обычно на рассвете, попив чаю.

5

В отсутствие Лопатиных присматривала за домом Татьяна Ивановна, дальняя родственница, сына которой Вячеслав Николаевич спас еще в стародавние времена, в середине восьмидесятых годов, от грозивших тому неприятностей, упрятав в военное училище. Речь шла о превышении им мер «необходимой самообороны» при отражении попытки двух бандитов ограбить дом Татьяны Ивановны, в ту пору – директора большого продовольственного магазина.

Сына Татьяны Ивановны звали Валерой. После окончания школы он устроился на работу в местный таксопарк, работал там механиком и обещал матери поступить учиться после возвращения домой из армии. Сама Татьяна Ивановна, женщина достаточно властная, закончив в свое время торговый техникум, сделала неплохую по ее понятиям карьеру. Мужа своего, в прошлом офицера химических войск, преподававшего химию и военное дело в школе, она любила и уважала. Дом директора магазина был, по ее выражению, «полная чаша», и Валера не спешил его покидать, благо отец поддерживал его намерение сначала отслужить в армии положенное, а потом уж и определяться в жизни. Зарабатывал Валера в таксопарке совсем неплохо, таксисты обычно подкидывали десятку-другую за срочный ремонт, особенно за срочный ремонт на выезде.

Отец ревностно следил и за тем, чтобы Валера не пил и занимался спортом. «На уговоры хоть тренера, хоть кого, не поддавайся, тебе разряд пригодится», – наставлял он сына, отправляя его в Псков на областные соревнования по вольной борьбе спортсменов общества «Трудовые резервы».

Уходил Валера в армию уже разрядником и после года службы в Афганистане прислал домой фото, на котором он щеголял в форме старшины мотострелковой роты. Писал он домой мало и, когда через три года приехал домой, демобилизовавшись после ранения, родители увидели перед собой дочерна загоревшего, жилистого парня, почти мужика, со все теми же светлыми глазами, выгоревшими стрижеными волосами и уже зарубцевавшимся осколочным шрамом на плече. Прибыл он домой с чемоданом в руке и рюкзаком за спиной, набитом подарками для родни.

А года через пол после возвращения Валеры в теплый субботний осенний вечер появились у дома Татьяны Ивановны двое парней, один по виду – кавказец, может быть, армянин. Так оно потом и ока-

залось. Позднее она рассказывала, что парни называли себя сослуживцами Валеры по Кандагару. Служили у Валеры в роте, дружили, объяснили они. Потом Валеру ранило. Перед отъездом он приезжал в часть попрощаться. Договорились встретиться на «гражданке». Рассказывал, в основном, один, русский парень, тот, что выглядел моложе, с южным говором. Второй больше кивал и поддакивал.

Татьяна Ивановна объяснила, что Валера уехал на рыбалку и пригласила их в дом, попить чаю и познакомиться с отцом Валеры. «Мужу моему будет интересно, – сказала, – он ведь тоже воевал, в Корее.» Оставив гостей с мужем, она направилась на кухню поставить чайник на огонь и заварить чай. Уже на кухне ей пришлось в голову, что этих парней на привезенных Валерой фотографиях вроде бы не было. Хотя, конечно, она могла и ошибиться, на фотографиях все были в пилотках и шлемах, с автоматами, у глинобитных стен, во дворах или в тени, под деревьями. Фотографии были цветные, сделанные на пленке, непривычной к южному свету. Оттого были на них зеленоватые пятна, да и лица у солдат были похожи. Валеру его мать выделяла на снимках сразу, по фигуре и чуть приспущенной голове, ну а что до остальных – она не была уверена.

Потом она направилась в комнату и на пороге внезапно ощутила, как ее обхватили чужие сильные руки, одна зажала ей рот, а шеи ее коснулось ледяное лезвие ножа.

– Смотри, сука, подашь голос, зарежу, – сказал стоявший сзади нее человек.

Он перехватил нож в другую руку и опустил его острие вниз, к ее груди. Рот ей заткнули кляпом. Связав руки и ноги, они бросили ее на диван. Потом тот, что был постарше, вытащил кляп изо рта ее связанного мужа и, предупредив того, что жену убьют, если он вздумает кричать, спросил, где Валера. Тот, что помоложе, рылся в это время в ящиках серванта.

– Да вроде ничего здесь нет, – констатировал он.

– В шкафу поищи, среди белья, – посоветовал тот, что постарше. – В спальне ищи, в кровати, под матрасом, все перерой.

Узнав, что Валера на рыбалке, старший потребовал указать место, где хранились все имевшиеся в доме деньги и ценности. Отец Валеры промолчал и тогда тот, что постарше, сильно ударил его под дых.

– Ничего, – сказал тот, что постарше, – постепенно выйдем из тебя дурь. А молчать будешь, начнем жену убивать...

Так оно все, наверное, и было бы, но неожиданно вернувшийся домой Валера увидел через окно, что происходит в доме, и зашиб обоих бандитов найденным в сарае топором. Того, что постарше, он

зарубил насмерть, другой долго валялся в тюремной больнице, потом предстал перед судом и, получив свой «червонец», ушел по этапу.

Следствие установило, что парни были пришлые, из Ростова, служили в Афганистане, недавно демобилизовались, но кое-что за ними уже числилось: торговля наркотиками, ограбление, может быть, убийство, — были они в розыске. Судя по адресам и телефонам в записной книжке убитого, похоже было, что собирались они в Псков. Согласно материалам следствия, в одной части с Валерой они не служили. Сам же он на судебном заседании заявил, что никогда их не видел.

Отвечая на вопрос о том, отчего они оказались в доме у Татьяны Ивановны, покалеченный объяснил на суде, что услышал о ней и ее сыне, вернувшемся из Афганистана, в привокзальном ресторане от случайных собеседников. На вопрос, встречал ли он Валеру ранее, только помотал головой. Официантка из ресторана подтвердила, что видела двоих, сидевших за столиком с местными парнями. Суд не стал подвергать сомнению версию следствия о попытке ограбления. Переворот, учиненный в спальне, был зафиксирован в протоколе милиции, вызванной звонком Валеры, заметка о подвиге которого с фотографией героя в воинской форме появилась в местной газете.

Вопрос о превышении уровня «необходимой самообороны» был поднят защитой, но никакого специального определения в отношении сына Татьяны Ивановны суд не принял. Однако во избежание кривотолков Валерий при содействии Лопатина, в то время еще сотрудника «конторы», отправился в готовившее пограничников военное училище, хотя, вернувшись домой со срочной службы с погонями старшины, ни о каком продолжении военной карьеры не помышлял. Помог Валере в получении необходимых для зачисления в училище справок местный военком с его налаженными контактами с судебными и прокурорскими чинами, на прием к которому отец Валеры пришел вместе с Лопатиным.

В тот период Лопатину пришлось нескольких раз побывать в Старой Руссе, в один из своих приездов в город он и наткнулся на объявление о продаже дома, запавшее ему в душу. Он узнал цену, оценил свои возможности, посоветовался с Татьяной Ивановной и заручился ее поддержкой. Дом на той же набережной, где некогда жил Достоевский, притягивал его.

Хозяева выставленного на продажу дома всю жизнь учительствовали, а выйдя на пенсию, решили переехать в Сочи, где жила вместе со своей семьей их старшая дочь. Собственно, хозяева дома уже уехали, оставив доверенность на продажу и ключи от дома местному нотариусу. Небольшой деревянный двухэтажный дом возведен

был на каменном цоколе. Во дворе росли яблони. Цена его не показалась Лопатиным чрезмерной. Закончились его раздумья в тот день, когда он приехал в город вместе с Ольгой, и они наконец приобрели пустой дом с яблонями во дворе на берегу тихой реки, с тем, чтобы уезжать на время отпусков да и просто на конец недели из Ленинграда и отдыхать в тишине и покое, немислимых в большом городе, который они любили.

6

Мебель для лопатинского дома привезли в Старую Руссу из Ленинграда на грузовике в конце июня, и расставить ее помогал Лопатину сын Татьяны Ивановны, только что приехавший домой на побывку из подмосковного пограничного училища. Помогал он Лопатину и во всем том, что следовало сделать, чтобы начать в доме новую жизнь. Лестницу, ведущую на второй этаж дома, пришлось укрепить, затем пригласили электрика сменить электропроводку, сами перекрасили стены и наклеили обои. Особенно много работы было на кухне и в ванной. Плотник установил финскую, удачно купленную кухню, а водопроводчик обновил краны, раковины и прочую сантехнику. Затем Лопатину и Валере пришлось почистить небольшой, но заросший сад. Всего же на то, чтобы привести и дом, и сад в «нормальное человеческое состояние», как об этом говорила Ольга, ушло чуть более недели, и вот в эти-то дни Лопатин понемногу приглядывался к курсанту пограничного училища.

Что беспокоило его? – Беспокоила его, как он объяснял это себе, профессиональная привычка поиска альтернативных объяснений, желание добиться полной ясности картины, возникшей после реконструкции уже случившихся событий, для того, чтобы избежать какой-либо возможности ошибки. Правда, в этом случае все было как бы ясно. Преступники были остановлены и даже наказаны. Но Лопатина беспокоило совпадение, а именно – столь неожиданное и даже словно своевременное появление сына, уехавшего с подругой на рыбалку в давно облюбованное им место на Ильмень-озере. Что же произошло, отчего он вернулся домой в тот день так рано, не мог понять Лопатин. Как это все можно было объяснить и оправдать? Объяснения Валеры должны были как будто убедить Лопатина, но что-то продолжало его беспокоить.

Несколько раз затевал он разговор о Кандагаре.

– Ну а как там летом? – спросил он однажды во время перерыва на обед, устроенного в комнате с не до конца доведенной побелкой. Перекусывали они залитым подсолнечным маслом салатом из огурцов с нарезанными дольками вареными яйцами, вареной картошкой

и редиской. Нарезал Лопатин и хорошей финской колбасы, сервилата из «заказа», полученного по месту работы. Он открыл две бутылки привезенного в Питер из Финляндии пива «Olvi».

– Ну, так как там летом? – повторил он, отхлебнув пива.

– Летом хорошо там, – откликнулся Валера, – гранаты есть, виноград, сливы сочные. Воздух голубой стоит, дрожит только слегка. Вдали горы. Неплохо, если на килиме под деревом залечь, килим – это ковер, они сами их ткут, – пояснил Валера. – Ну а так-то жарко, даже очень жарко. Машины накаляются. Днем все замирает. Вся жизнь в деревнях останавливается. Ночью, оно, конечно, попрохладнее.

– Ну а мак? – в тон ему спросил Лопатин.

– Ну, мак – красиво, поля растут, цветы, потом клубни вызревают.

– А потом?

– Ну а потом клубни собирают и из семян черную такую хрень выпаривают. Вроде смолы. Ну а дальше – черт его знает, вроде в город продают.

Похоже было, что «дурь» как таковая его не волнует. Валера не курил, но охотно поддержал разговор о банковском кредите, полученном Лопатиным для покупки дома, который после некоторых хлопот был оформлен как кредит, выделяемый для сотрудников государственных органов с целью содействия в приобретении дач или возведении «летних резиденций».

Деньги, подумал Лопатин, его интересуют деньги.

С возвращением же с рыбалки дело, по словам Валеры, обстояло вот как: приехав с подругой на заранее облюбованное место с тем, чтобы провести там ночь в палатке, а может быть, и половить рыбу с утра, он обнаружил, что в том месте на берегу озера, куда вела через лесок узкая заброшенная дорога, уже расположились другие. Был там и знакомый Валерию парень, учившийся с ним когда-то в одной школе, и друзья этого парня. Ничего удивительного в том, что другие люди узнали дорогу к облюбованному им месту, не было, мало ли что могло произойти за те несколько лет, что Валера провел в Кандагаре, но похоже было, что оставаться в этом месте не имело смысла. Компания, уже обживавшая берег, настроена была весело, водки у них было много, а девок с ними было две, обе – продавщицы из продовольственного магазина, где директором была Татьяна Ивановна.

Валеру, по его словам, весь этот расклад никак не устраивал, не понравилась ему и вся расположившаяся на берегу компания. Да и не хотелось ему проводить свободное время в присутствии двух продавщиц из «материнского магазина», как он выразился. Короче говоря, подумал он, что вместо того, чтобы плутать в темноте быстро

опускавшегося вечера в поисках удобного для рыбалки и ночлега места, ему с его девушкой стоило бы вернуться в город и попытаться расположиться на ночь либо у нее, либо в его отческом доме, благо дом был совсем не маленький. Татьяна Ивановна и ее муж со Светою были знакомы и выбор Валеры одобряли.

По возвращении в город оказалось, однако, что в доме у Светки разыгрался скандал с битьем посуды и мебели, скандалили сестра ее с мужем, проживавшие в родительском доме, остальные члены семьи, включая и младшую сестру, пытались их унять. Света как была, так и бросилась в дом, прихватив сумку и скороговоркой шепнув Валере:

– Ты пойми, Валера, сейчас не время...

И Валера, понимая, что вечер не задался, направился домой. В довершение всех бед мотоцикл его с коляской марки «Урал» заглох на подъезде к дому – как видно, пора была чистить карбюратор, и Валере пришлось последние пару сотен метров толкать его по темной липовой аллее. Открыв калитку, он направился к дому с тем, чтобы зажечь во дворе свет, открыть ворота и позвать на помощь отца, но, подойдя к дому поближе и глянув в освещенное окно, увидел, что происходит в гостиной. С секунду он размышлял, как быть, а затем направился в сарай за топором.

7

Что же это со мною, размышлял позднее Лопатин, неужели это фетишизм и любое упоминание о топоре вызывает у меня воспоминание о «Преступлении и наказании»? Сомнения эти никак не разрешились, разве что как-то раз мелькнула у Вячеслава Николаевича мысль, что то, что во времена Достоевского благодаря его таланту и особенному взгляду на мир могло показаться значительным и необыкновенным – взять хотя бы убийство старухи-процентщицы Алены Ивановны и сестры ее Лизаветы, зарубленных Раскольниковым, – в наши дни быть явлением выдающимся и из ряда вон выходящим перестало, превратившись в явление почти что заурядное, сходственное событию, случившемуся в доме Татьяны Ивановны. И нечего себя томить и искать что-либо за подкладкой событий; случилось именно то, что случилось, – и это все, думал он. Что же до причин этой перемены в мотивациях преступников, общественных настроениях и оценках, то, надо сказать, Вячеслав Николаевич провел немало времени, анализируя различные возможные на этот вопрос ответы, и в поисках этих ускользавших от него причин довольно неожиданно для себя вновь углубился в изучение жизни и творчества автора известной ему со студенческих лет книги. Оказалось, что он ничего не забыл с того времени, когда изучал мате-

риалы и источники, использованные при написании диссертации о столкновении и взаимодействии этически-религиозного и правового начала в творчестве Достоевского. Однако то, что случилось в доме у Татьяны Ивановны, к столкновению этих начал, похоже, никакого отношения не имело.

Потом только задумался он о том, что, скорее всего, «бандиты» попали в дом Татьяны Ивановны отнюдь не случайно, и ему пришлось в голову навести кое-какие справки по своей служебной линии. Это, естественно, потребовало времени, каких-то встреч и разговоров с людьми, побывавшими в Кандагаре и готовыми без экивоков ответить на интересующие Лопатина вопросы. Ибо привлекать к себе излишнее внимание Лопатин никак не хотел и не собирался, а «афганская тема» была в те годы вовсе не тем, о чем говорили на каждом углу.

Скорее всего, бывшие афганцы чего-то не поделили, пришел к выводу Лопатин. Может быть, все дело все-таки в опиуме, подумал он и вспомнил поле цветущих маков, увиденное как-то весной в горах недалеко от Тбилиси.

Может быть, они хотели получить от Валеры свою долю, явились к нему домой и, узнав, что его нет, сорвались и решили просто грабануть дом. Тем более, что были в бегах. Но ведь этого мне не узнать, думал он. Никто не будет вешать на себя лишнее. «Да и зачем это мне?» – спросил он у себя. – Допустим, Валера в чем-то замешан, но вел он себя правильно и вышел чистым, даже если и ‘кинул’ их. Хотя я об этом никогда не узнаю. Потому что не хочу, чтобы он сидел, – думал Лопатин. – И, следовательно, никакая истина мне не нужна. В отличие от героев Достоевского и от него самого.»

Со временем появились у Лопатина с Ольгой и новые знакомые из числа жителей Старой Руссы. Их, правда, было не очень много, в основном, из числа местных краеведов и историков, первоначально объяснявших Лопатину и Ольге причину того, что Старая Русса в романе «Братья Карамазовы» представлена как именно Скотопригоньевск, где, в каких стоящих по сию пору домах «жили» герои романа и отчего горожане именуют «домом Грушеньки» двухэтажный белый дом на другом берегу Перерытицы.

Показали Лопатину и место на площади, в прошлом – Торговой, где находился в стародавние времена трактир, куда обычно писатель заглядывал, возвращаясь домой со своих одиноких прогулок. Обо всем этом жители Старой Руссы рассказывали Лопатину с чувством гордости, свойственной обитателям небольших городов, причастных судьбам ярких светил на звездном небе отечественной литературы.

– Ну с ними все понятно, – сказал он как-то раз Ольге, – они ведь вполне русские люди, раздавленные тем простым фактом, что здесь, в их городе жил великий писатель и написал он здесь «Братьев Карамазовых». И оттого хочется им говорить и говорить об этом романе, но от меня-то чего они хотят? Чтобы я их воззрения одобрил? И нес ту же чушь, что и они?

Не скрывал Лопатин и того, что на самом деле интересным кажется ему роман «Преступление и наказание», а вовсе не «Братья Карамазовы».

– Да хоть и сорок тысяч братьев, – признался он однажды Ольге, – а одного студента с топором, Раскольникова, им не превзойти. Там – настоящее безумие, сдвиг, аффект, а в «Братьях» – плохой провинциальный театр. В «Преступлении и наказании» все было найдено впервые, а здесь все затаскано и грязно. Как обед в трактире. Ты вспомни, Оля... А Порфирий-то – это ведь особый блеск.

И Лопатин не без удовольствия зачитал с карточки следующие выписанные им слова: «Порфирий Петрович был по-домашнему, в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях. Это был человек лет тридцати пяти, росту пониже среднего, полный и даже с брюшком, выбритый, без усов и бакенбард, с плотно выстриженными волосами на большой круглой голове, как-то особенно выпукло закругленной на затылке...» – а затем продолжил, вновь обратившись к одной из лежавших на столе карточек: «...Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом. – Как кто убил?... – переговорил он, точно не веря ушам своим, – да вы убили, Родион Романыч! Вы и убили-с... – прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом».

– Кто еще так следователя описал? – продолжал Лопатин, обращаясь к Ольге, – да просто никто. Ну а потом он продиктовал «Игрока» за двадцать дней, женился на стенографистке и убежал в Европу. От долгов. Да еще был эпилептический припадок после шампанского в гостях у родственницы его молодой жены...

– ...И вот там, заграницей, – продолжал Лопатин после паузы, – он играл в рулетку и писал «Идиота». Их первый ребенок умер. А знаешь ли ты, Оля, как он увидел картину Гольбейна «Мертвый Христос»?

И, отыскав нужную карточку, Лопатин прочитал: «Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед ней как бы пораженный... В его взволнованном лице было то испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии».

– Это жена его писала? – спросила Ольга.

– Да кто ж еще, – ответил Лопатин и продолжал, – ты пойми, Оля, он ведь в «Идиоте» и о себе рассказывал, об эпилепсии, о несостоявшейся казни и о своем страхе потерять веру, обо всей этой невозможной и безумной жизни в России, откуда «хриstopодобный» князь Мышкин вернулся в швейцарскую лечебницу окончательно рехнувшись. Ну а сам он ездил с женой Анной Григорьевной по Европе, пил во Флоренции вино со Страховым. Потом родилась дочь Люба. Он проигрывал, отыгрывался и знал, что придется вернуться в Россию. И деньги были на исходе, и домой хотелось. Вот тогда он и начал писать «Бесов», где расписался, так сказать, в политической благонадежности и заодно уж и рассчитался со своим Мефистофелем, как он его сам называл, со Спешневым, за дружбу – а ведь дружили еще с «петрашевских» времен... И повесил на него все, вплоть до соvrращения маленькой девочки. А ведь когда-то на эшафоте рядом стояли. «Мы, – сказал он тогда, – предстанем пред Христом.», а Спешнев ему ответил: «Да, пригоршней праха». Разговор шел по-французски, но он ему этого не забыл. Повесил смерть девочки на него, потому что знал, чем можно тронуть людей, – самоубийством маленькой девочки, слезинкой ребенка... Тем более, что сам пережил это в детстве. Подружку его детских игр, девятилетнюю, изнасиловал больничный повар. Девочка умерла от кровотечения. История эта его преследовала. Он о ней и Тургеневу рассказывал так, словно сам девочку соvrтил; Тургенева он терпеть не мог и все надеялся вывести из себя этого «барина», этакого седого великана, который, в отличие от него, чувствовал себя в Европе как дома. Рассказывал об этом и Страхову и все примерял к себе, смотрел, как другиеотреагируют. И в конце концов повесил эту историю на Ставрогина. Это в психологии «переносом» называется. Мучился, переписывал... Вернулся в Россию, хотел писать «Историю великого грешника», том за томом... и, наконец, взялся за «Братьев Карамазовых». Тут тебе и брат Иван – философ-нигилист, и брат Дмитрий с его долгами и бабами, ну и, наконец, Смердяков, их брат по отцу, своего рода недочеловек, лакей и моральный урод. Да еще и брат Алеша – монах, но без веры, он позднее должен был стать народовольцем-террористом и покушаться на царя... Но это в следующем томе. Ты только представь себе такую фантазию: Иван – в сумасшедшем доме с чертом беседует, Дмитрий бежит из Сибири, с каторги, с помощью террористов, а Алеша кидает бомбу в царя – спасенного, но ценой жизни подростка... Не зря же «Карамазов» фамилия была выбрана, она о Каракозове должна была напоминать... Да это просто сериал какой-то... Санта-Барбара...

– Это о каком же ты Каракозове? Напомни, Слава, – попросила его Ольга, слушавшая его несколько рассеяно. Время научило ее

тому, что Лопатину надо время от времени выговориться. И она готова была его слушать, не отвлекаясь от потока собственных мыслей.

– Да он царя пытался убить, – ответил ей Лопатин и добавил, – господи, да как я это все читал? И отчего? Хотя, как знать, может быть в те времена надо было и через это пройти... Но это ведь какая-то грандиозная потемкинская деревня, а не роман, – продолжал он и, перехватив взгляд Ольги, понял, что наговорил лишнего.

– Ты пойми, Ольга, – пояснил он, – он нашел один тип романа, который, он полагал, будет работать безотказно: криминальный сюжет плюс философия, то есть поиски Бога, – и застирал его до дыр, – уже успокаиваясь, сказал он.

Впрочем, признался Лопатин позднее, кое-что из романа ему крепко запомнилось, – и убитый Григорием Смердяковым отец его, старик-сластолюбивый Федор Павлович, скряга с бутылкой французского коньячка, – тут, он был уверен, дело явно не обошлось без воспоминаний об убиенном штабс-лекаре, но без явления его тени, – запомнились и Грушенька с ее «изгибом», и беспутный Дмитрий, читающий Шиллера, но главное – черт, посещавший Ивана, постепенно сходявшего с ума.

– Вот черта, я думаю, он писал с удовольствием, тот его преследовал и не отпускал, да еще и Смердякова, ну а все остальное, включая еще и разных пованивающих старцев – это через силу, – объяснял он свое видение Ольге, – тут, ты пойми, виден портновский расчет, стежки и строчки, словно пиджак недошитый... Рассчитывал, видно, писать и писать этот роман – томами, без особых остановок... Тут тебе и черт, и Иисус Христос, и судейские, и цыгане, и гулянка в Мокром с мухлюющими в карты поляками, – полный джентльменский набор, как на ковриках с красавицами и лебедями... Мещанская душа! Мещанская душа! Хотя и гений, но душа – мещанская, – заключил он, – всех ненавидел, а в особенности евреев и поляков, этих даже до неприличности, и что об этом сказать в наше время... Да еще и постукивал, наверно... Ну не прямо, а поизысканнее, знаешь ли, как-то иначе...

– Да что ж ты такое говоришь?! – воскликнула Ольга в отчаянии.

– Говорю, оттого что знаю, – уже спокойно сказал Лопатин, – и не такие стучали... Ведь людям жить надо, а в тюрьме стены толстые...

8

Через несколько дней после встречи с заведующим кафедрой, освоившись уже совершенно с иным, непохожим на питерское, течением времени в Старой Руссе, уселся Вячеслав Николаевич за составление справок с датами, цитатами и другими сопровождающими материалами, а также вопросов и комментариев к темам и вопро-

сам, которые собирался осветить в будущем курсе лекций. Позднее материалы эти должны были лечь в основу книги – по крайней мере, так это ему виделось, и он надеялся, что замысел его осуществится в достаточно близком будущем.

После некоторых раздумий он пришел к заключению, что рассказывать о «предельной биографии русского писателя» на примере Достоевского ему придется, хочет он того или нет, не нарушая хронологического порядка, с самого начала, то есть начинать следовало *ab ovo*, что он и сделал. При этом Лопатин не пожалел времени на изложение биографических деталей и разнообразных подробностей об окружении будущего писателя, полагая, что вся особенность и важность принятого им подхода обнаружится в его комментариях, что выветят важнейшие детали на тщательно прописанной им картине.

Начинал Лопатин с хорошо известных и не вызывающих сомнения фактов и утверждений о семье, в которой вырос будущий писатель, и о важнейших событиях его молодости, завершившихся публикацией «Двойника» и последовавшего за этим ареста. Так, делая заметки и выписки, составляя и корректируя планы будущих лекций и просиживая за этими занятиями большую часть дня, провел Лопатин оставшуюся часть лета.

В середине августа, незадолго до начала нового учебного года приснилось Лопатину мерцающее на голубом телеэкране объявление о приближении второго пришествия с точным указанием дня по церковному календарю, места свершения его и часа. Он проснулся, попытался свой сон проанализировать и пришел к заключению, что сон этот, скорее всего, навеян был некоторой тревогой в связи с предстоявшим ему выступлением на кафедре и последующим нелицеприятным обсуждением различных аспектов задуманного им курса.

9

«Ну да, – думал про себя Лопатин, направляясь за рулем своей «двадцатьчетверки» в университет на заседание кафедры, – я ведь не буду рассказывать им, в какое дерьмо вляпался я по молодости, как долго и трудно готовил себе другую дорогу, как поступил в вечернюю аспирантуру и занялся Достоевским, – а кого другого, как не врага, следовало нам, чекистам, знать в лицо и до последней его фразы? Кто бы иначе отпустил меня в аспирантуру, да хоть и вечернюю, но с правом на дополнительные отгулы, с библиотечными днями, краткими отпусками для сдачи экзаменов и тому подобной роскошью?» Особенно приятен был назначенный на пятницу библиотечный день. Начальство, собственно, ничего не имело против пятницы. Понятно было, что так или иначе, а в пятницу людям хотелось выпить, хотя,

если честно, народ был готов пить всю неделю не просыхая, ты им только дай такую возможность. Да и само пребывание в аспирантуре было делом не простым; его, Лопатина, чурались, люди часто просто замолкали при его появлении, что было естественно, что тут поделаешь... Назвался груздем, полезай в кузовок. Пришлось ему стерпеть и то, что научным руководителем его диссертации, написанной в вечерней аспирантуре, был хорошо известный академической и литературно-театральной публике юрист, профессор С. С. Коновалов, время от времени объяснявший опасавшимся Лопатина диссидентским друзьям, что, став научным руководителем аспиранта-сотрудника «конторы», он, С. С. Коновалов, оказался до известной степени «защищен и прикрыт», хотя по сути дела, как об этом в конце концов узнал Лопатин, ни в каком прикрытии он не нуждался. Ну да что ж, вальжный он был мужик, этот Коновалов, позднее – один из столпов демократического движения и известный парламентарий с блестящей репутацией «совести нашего времени», – правда, никогда не сидевший, но ведь «всех-то не пересажает», как говорили его друзья.

Лопатин узнал о его «двойничестве» почти случайно, сопоставив несколько известных только ему деталей и выведая уточняющую информацию у разных, не связанных друг с другом источников. Он, надо признать, был потрясен своим «открытием» и ни с кем не делился, в том числе с Ольгой – она ведь даже представить себе не могла, что такое возможно. Господи, да ведь она – чистая душа, не раз думал он.

10

Подъезжая к недавно сменившему свое имя городу, Лопатин включил радио и внезапно услышал знакомые и почти домашние звуки голоса Михаила Боярского, исполнявшего песню о дрессировщике тигров. Хриплый голос распевал слова из давно ушедшего времени:

Ап, и тигры у ног моих сели...
Ап, и с лестниц в глаза мне глядят...
Ап, и кружатся на карусели...
Ап, и в обруч горящий летят...

Песенку эту Лопатин не то что любил, но она ему запомнилась вместе с хриплым голосом певца, дождем, желтыми листьями и лязгом 31-го трамвая на Садовой, пересекавшего Невский неподалеку от расположенной в полуподвале рюмочной, куда время от времени заходил Лопатин. Случалось это обычно в конце недели. Выйдя из

Большого Дома, он направлялся в сторону Фонтанки и, оставив позади мост и здание цирка Чинизелли, попадал на Итальянскую, откуда шел в сторону Садовой, с которой сворачивал направо, на Невский. Пройдя знакомый подъезд, он сворачивал вправо и, оказавшись на пару ступенек ниже тротуара, приоткрывал тяжелую резную дверь в небольшую уютную рюмочную, где, подойдя к ярко освещенной стойке, заказывал молдавский коньяк с лимоном и маслинами, а потом медленно пил его, глядя на мелькающие за стеклом фигуры пешеходов на постепенно утопающем во мгле Невском проспекте. Место это, рядом со входом в ресторан «Север», пришлось ему по душе. Здесь было хорошо, особенно если Лопатину хотелось «смыть с души» груз дневных впечатлений, так он сам в те времена объяснял себе причины своего появления в этом подвальчике, где иной раз встречались адвокаты, коллекционеры, директора торговых предприятий и люди из управления внутренних дел. Порой заглядывали сюда и старые, еще со времен учебы на юрфаке, товарищи Лопатина. «Ап, и тигры у ног моих сели...», – мысленно напевал Лопатин, направляясь к стойке за коньяком с маслинами и лимоном. И еще – слова эти вспоминал он, когда посещало его осознание того, что стоявшая перед ним задача решена. Был в этих словах еще и азарт, который всегда, кстати говоря, присутствовал во всем, что он делал... Итак, тыходишь к ним, как укротитель, думал Лопатин, поднимаясь по лестнице на второй этаж и напевая про себя слова из услышанной по радио песенки. Впрочем, поправил он себя, какие они тигры? Но свой кусок мяса им нужен... Ну что ж, они получают то, чего так страстно желают. Заодно получают и не совсем того Достоевского, на которого многие, кажется, готовы даже молиться.

11

Обсуждение вопросов, связанных с завершившимися вступительными экзаменами и оценкой уровня подготовки будущих студентов, несколько затянулось, но, наконец, дошла очередь и до Лопатина. Он начал свое выступление словами о том, что искренне рад возможности поделиться с уважаемыми коллегами своими впечатлениями, возникшими еще в период его работы над диссертацией, посвященной вопросу столкновения этически-религиозного и правового начал в романах Достоевского.

Обосновывая правомерность подобного подхода к творческому наследию писателя, Лопатин напомнил своим слушателям о знаменитом юристе Анатолии Федоровиче Кони, который 2 февраля 1881 года, всего через несколько дней после смерти Достоевского, выступил на общем собрании Юридического общества при Петербургском

университете с докладом «Достоевский как криминалист», а позднее написал воспоминания о встречах и беседах с писателем. Следует отметить, продолжал Лопатин, что сам А. Ф. Кони не только поддерживал дружеские отношения с Ф. М. Достоевским, но еще и разделял его концепцию преступления и наказания. Напомнив далее своим слушателям об основных этапах исследования творчества Достоевского с точки зрения юриспруденции, Лопатин сообщил аудитории, что его научным руководителем был известный юрист, замечательный специалист по Достоевскому профессор С. С. Коновалов, заложивший основы современного подхода к наследию этой противоречивой и предельной для русской культуры фигуры писателя и философа. К сожалению, заметил Лопатин, профессора С. С. Коновалова уже нет с нами, но его научный подвиг не перестает вдохновлять новые поколения ученых.

– Как известно, – продолжал Лопатин, – спектр оценок, связанных с разнообразными аспектами жизни и деятельности писателя, а также и с его творчеством, оказался необычайно широк: называли его и пророком, и «жестоким талантом», и «ясновидцем духа», и даже «предтечей массовой культуры». И одна из причин этого явления состоит, скорее всего, в том, что некая «предельность» наблюдается практически во всем, что касается творчества и жизни писателя; взять хотя бы то обстоятельство, что свою литературную деятельность начинал Достоевский как один из представителей самого что ни на есть коммерческого жанра-романа-фельетона, что, однако, не помешало ему написать ряд произведений, навсегда и совершенно бесповоротно отделивших его не только от коллег по указанному жанру, но и от всех остальных писателей ввиду совершенно очевидных особенностей его творчества.

– Что же до жизненного пути Федора Михайловича, – заметил Лопатин, – то он, пожалуй, никак не уступал по драматизму и размаху его лучшим романам. Вспомним хотя бы принадлежащее Достоевскому описание изменения его состояния в ходе эпилептического припадка: «Затем вдруг как бы что-то разверзлось перед ним: необычайный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды; но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам собой и который никакою силой он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил полный мрак».

Обратившись затем к обсуждению кардинальных факторов, резко и драматически повлиявших на всю ситуацию духовного формирования писателя, Лопатин указал на десятилетний разрыв между

двумя периодами его жизни в литературе, разрыв, произошедший в силу известных событий: ареста, суда, имитации казни и замены смертного приговора на восьмилетний срок на каторге, с последующей резолюцией императора, разрешившего провести вторую половину этого срока «рядовым».

«Величайший и подлинно трагический спектакль, в котором Достоевскому довелось принять участие, – писал Лопатин позднее о несостоявшейся казни писателя, – спектакль, о котором сам писатель позднее охотно рассказывал и называл ‘своей Голгофой’...»

«Отметьте, однако, каково самомнение! И какие амбиции! Похоже, что писатель воспринимал содержание Нового Завета как драматический сценарий, который допускает широкие возможности для интерпретаций и даже повторений, и с впечатлением этим он так никогда и не расстался...», – восклицал Лопатин в своих комментариях. Позднее, продолжая свои рассуждения, Лопатин сделал еще несколько важных с его точки зрения замечаний...

Известно, что следы от ношения оков остались на ногах у писателя до конца жизни. Подобным же образом, полагал Лопатин, следы каторжного прошлого так никогда и не изгладились, не исчезли из души и сознания писателя, который не переставал ощущать себя «бывшим каторжником» до конца жизни. Что же до единственно разрешенной для чтения «вечной книги», Евангелия, то тут Лопатин отмечал определенную амбивалентность ее восприятия, отмеченную самим Достоевским. Ибо то, что можно было бы назвать «обретением веры», если и произошло, то не до конца. Не случайно же в 1854 году Достоевский писал Н. Д. Фонвизиной, из чьих рук получил он Евангелие в Тобольске, по дороге на каторгу: «Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных».

Последовавшему за этими утверждениями рассказу о возвращении писателя в Россию предшествовал пассаж из книги Лопатина, опубликованной вскоре после окончания чтения его курса лекций. Вот эти слова: «Провести почти десять лет в Сибири, из них четыре года – кандалным заключенным в остроге, читать и перечитывать одну лишь книгу, Евангелие, сожалеть о том, что чтение других книг невозможно, и выражать готовность сидеть в остроге лет пятнадцать, лишь бы получить разрешение читать литературу...

Провести еще четыре года в армии, жениться после долгого ухаживания на встреченной в глуши привлекательной, но полубезумной и больной чахоткой вдове спившегося чиновника, повергнуть ее в ужас эпилептическим припадком вскоре после венчания, начать воспитывать невзлюбившего его пасынка, и, наконец, вернуться в Россию,

в большую жизнь, которая ушла далеко вперед, и вновь начать не только писать, но и создавать журналы для публикации собственных творений, поставив при этом перед собой задачи самые, на первый взгляд, фантастические, – на такое способны лишь единицы, скорее даже избранные».

Тут, пожалуй, помогло бы сравнение с Архимедом, искавшим точку опоры для того, чтобы перевернуть весь мир, добавил Лопатин, указав одновременно на то, что поскольку в данном случае разговор идет о писателе, то необходимость обретения точки опоры материализовалась в новом звучании его голоса и в появлении нового типа его героев, уместных и естественных при решении новых и совершенно неизвестных дотоле проблем. И вот тут нам следует обратить свое внимание на «Записки из подполья», полагал Лопатин. Именно это произведение означало рождение того писателя, которого мы знаем и чтим, утверждал он.

Одним из следствий обретения писателем нового героя и голоса, продолжал Лопатин, стало осознание возможности возникновения нового типа романа – романа, построенного на основе синтеза криминального сюжета и философской проблематики... При этом и новый тип героя, и его деяния побуждают и принуждают роман как целое к «вращению» вокруг философской оси, ибо переосмыслив свой опыт встречи с каторжно-криминальным миром и положив в основу своих сюжетов преступления и связанные с ними коллизии и драматургию, Достоевский поместил в центр своего писательского мирозерцания утверждение о человеке как прирожденном грешнике и преступнике.

Рассказав об этом, Лопатин вдруг ощутил неведомо как возникшую в атмосфере настороженность. «Не верят, ждут подвоха», – подумал он под едва-едва звучащую в его сознании мелодию песенки «Ап, и тигры у ног моих сели...» – и приступил к изложению центральной части своего доклада.

– Естественно, – продолжал Лопатин, – я должен признать, что и тема моих исследований, и юридическое мое образование, да и весь мой опыт работы следователем, повлияли и на мое отношение к рассматриваемым вопросам, и на сделанные мной выводы, которые я попробую теперь изложить...

Отметив, что то, о чем он собирается рассказать сегодня, есть не что иное как некоторые личные наблюдения о столкновении этически-религиозного и правового начал в романах Достоевского, сложившиеся в период работы над диссертацией, Лопатин указал, что правильнее даже было бы назвать эти наблюдения чем-то вроде шаржа, этакой попыткой запечатлеть характерные черты чьего-то

профиля. В данном же случае, продолжал он, речь идет о прозе Достоевского, или, вернее, о четырех великих его романах, в которых герои сталкиваются с законом в самых разных его проявлениях. Именно поэтому, обращаясь к присутствующим на этой встрече коллегам и вполне понимая, о какой необъятной теме идет речь, он хотел бы все-таки попытаться выделить то главное, отталкиваясь от которого можно было бы обменяться мнениями о некоторых не оставляющих его впечатлениях. Ибо в центре каждого из этих великих романов – уголовное преступление, убийство, но не убийство, скажем, по неосторожности, а убийство с заранее обдуманном намерением, – убийство Шатова в «Бесах», папаша Карамазова в «Братьях Карамазовых», Настасья Филипповна, совершенное Рогожиным в состоянии аффекта, и, наконец, убийство старухи-процентщицы и ее сестры Лизаветы, совершенное Родионом Раскольниковым в состоянии аффекта и с «заранее обдуманном намерением». Вокруг этих центральных для событийной ткани романов убийств группируются другие, порой не менее тяжкие преступления.

Казалось бы, воззрение об изначальной греховности человека широко известно и нет в нем ничего нового, но особенность ситуации с романами Достоевского состоит в том, что произведения эти оставляют у читателя абсолютно неоднозначное впечатление – как о представленных в них ситуациях, так и о мотивациях и поступках вовлеченных персонажей. Более того, многое из написанного и сказанного самим автором, порой демонстративно явным, а порой и завуалированным образом, включает в себя извечные и характерные для него самого *pro et contra*, и именно в этой бесконечно парадоксальной и интригующей читателя «двойственности», как и в ясно ощутимом невротическом возбуждении, заключается вся притягательность этих произведений для ряда поколений читателей. Говоря о характерном невротическом возбуждении, ассоциируемым с чтением романов Достоевского, следует отметить еще и то, что, постоянно провоцируя читательское внимание, автор намеренно обращается к болевым зонам человеческой психики. Вспомним о никому не дающей покоя «слезиночке ребенка», вспомним о снах Раскольникова, о загнанной лошади или укоризненным жесте несчастной совращенной Матрешки.

– Так где же, в какой области психических или психиатрических координат мы обретаемся, когда говорим об этом писателе и его романах? – спрашивает Лопатин и честно пытается ответить на свой же вопрос.

Разбирая увлечение писателя рулеткой, его безумные надежды выиграть и разбогатеть, его отношения с женщинами, Лопатин указывает на мемуары Аполлинарии Сусловой, дополненные воспоми-

нениями других авторов, как на свидетельства свойственных писателю интуитивной пронизательности, мнительности, мазохизму, одержимости и дурного вкуса, смешанного с пошлой сентиментальностью.

– Все вышеуказанное присутствует и в романах Достоевского, – утверждает Лопатин, – в числе персонажей которых выступает либо сам Федор Михайлович в той или иной его ипостаси, либо набор его преломленных отражений. И еще одна своеобразная сторона рассматриваемых текстов связана с используемой писателем манерой подачи материала, порожденной давней его, еще со времен юности, любовью к чтению пьес и неудачными попытками найти себя в драматургии. Воспоминания об этом ушли, очевидно, в литературное подсознание писателя и спустя десятилетия оказали влияние на формирование его повествовательной манеры, трансформировав его романы в чрезвычайно драматические, «квазитеатральные» тексты со сценически выигрышными сюжетами и бесконечными, весьма захватывающими монологами, так что остальные фрагменты текста его романов представляются порой не более чем слегка беллетризованными ремарками. Следует также добавить, – указывает он, – что и «фантастический реализм», и «карнавальность», и многие другие попытки уложить творчество Достоевского в то или иное стилистическое «прокрустово ложе», как, например, «роман-трагедия», неизменно ощущаются как удачные лишь до некоторой степени, ибо вопросы стилистической целостности никогда особенно не волновали этого автора.

– Однако, – и тут Лопатин сделал паузу, – нельзя не признать и того, что большие романы, написанные вслед за «Преступлением и наказанием», теряют стройность и соразмерность из-за наличия вставных и порою просто излишних глав. Причина же возникновения этих излишеств состоит в прогрессирующей одержимости Достоевского вечной загадкой о Боге. Ибо всевозможные *pro et contra*, возникающие, словно черт из табакерки, во всех его романах, происходят, скорее всего, из его, Достоевского, амбивалентного отношения к вопросу о существовании Бога. Будучи, по-видимому, не в состоянии принять формулу *Credo quia absurdum est* («Верую, ибо абсурдно»), Достоевский вел поиски, которые напоминают бесконечные попытки осветить темное место, с тем чтобы понять, как выглядит сама тьма. При этом он никак не желал отказываться от ряби, марева и прочих модальностей собственного видения, что выразилось в присущем ему стремлении запечатлеть целый спектр возможных подходов к рассматриваемому вопросу или ситуации, наделяя этими особенностями авторского видения все новых и новых действующих лиц. Именно это свойство его видения совершенно естественным образом

привело ко все более расщепляющимся сюжетам и усложняющейся архитектонике его романов, органически связанной с его борьбой за сохранение целостности собственной психики, отмеченной определенной вязкостью, присущей, как правило, большим эпилепсией.

Закончив эту тираду, Лопатин ощутил, что атмосфера нейтральной отчужденности в зале изменилась в сторону настороженности и глухой враждебности.

– Потерпите еще несколько минут, пожалуйста, – обратился он к присутствующим, – и я отвечу на все ваши вопросы... Ибо наиболее интересные соображения вам еще только предстоит услышать, – пообещал он.

– Да, это был блеф, но блеф необходимый, и проделал я это ради того, чтобы вся затея не провалилась, – объяснил он Ольге позднее.

12

Обратившись далее к вопросу о болезни писателя, Лопатин привел фрагмент из письма Достоевского от 1872 года доктору С. Д. Яновскому: «Вы один из незабвенных, один из тех, которые резко отозвались в моей жизни... Вы любили меня и возились со мною, с больным душевною болезнию (ведь я теперь сознаю это), до моей поездки в Сибирь, где я вылечился...»

Последняя фраза, по утверждению Лопатина, есть смесь иллюзии и лжи, и если иллюзии в отношении состояния собственного психического присущи почти всем людям, то использование слова «поездка» для описания каторги есть попытка замалчивания правды о подлинной жизни в остроге, попытка завуалировать и забыть об этом травмировавшем его на всю жизнь опыте, нашедшем отражение в «Записках из Мертвого дома», первого в русской литературе описания «нисхождения во ад». Что же до «излечения», продолжает Лопатин, то достоверно известно, что свойственные Достоевскому с детства звуковые галлюцинации, ночные страхи и видения, нервные припадки и, наконец, припадки эпилепсии так никогда и не исчезли. Присутствует в этой фразе и неявная попытка Достоевского списать свои убеждения периода участия в кружке «петрашевцев» на «душевную болезнь».

– Развивая эту тему, я собираюсь показать, – продолжал Лопатин, – что каторга и годы пребывания в Сибири окончательно раздавили возможность укоренения в его душе естественной, впитанной с детства и, если угодно, наивной веры в Бога, погрузив его в непрекращающуюся ситуацию экзистенциального кризиса. Проблема спасения души мучила его, и анализ романа «Идиот» расскажет нам

многое об этой стороне существования писателя. Ибо трагическая судьба «идиота», князя Льва Николаевича Мышкина, складывается из страха окончательно потерять веру и из понимания невозможности обрести ее. Именно этому герою доверил Достоевский рассказ о человеке, ожидающем смертной казни через «расстреливание», рассказ, связанный в романе со швейцарским периодом жизни князя Мышкина, ибо история о человеке, приговоренном к смерти в России, никак не прошла бы российскую цензуру.

Отметим и то, что тема смерти и воскресения вновь возникает в отрывке из «Идиота», связанном с картиной Гольбеина «Мертвый Христос», натурой для которой послужило тело утонувшего рыбака. Следы казни, смерти и начинающегося распада представлены на этой картине с поистине ужасающей силой.

К картине этой и к теме смерти писатель обращается не один раз, что неудивительно, — заметил Лопатин, — известно ведь, что «на смерть, как на Солнце, — во все глаза не глянешь». С гравюрой этой картины писатель никогда не расставался.

— Итак, — суммировал Лопатин, — в целиком написанном за границей романе «Идиот» его автор обратился к решению бесконечно волновавшей его проблемы, созданию образа идеального, хриstopодобного человека и анализу драмы его существования в реальном мире. Роман этот о смерти, о вере, о страхе и ужасе перед жизнью, где красота обречена на гибель. Что же до романа «Бесы», задуманного с оглядкой на события в России и необходимость возвращения домой после нескольких проведенных в Европе лет, то роман этот наводит на мысль о попытке писателя предоставить российским властям доказательство собственной благонадежности. Ибо, при всех его страстных увлечениях и невероятных способностях, Достоевский был, в сущности, слабый человек, подверженный влияниям более сильных натур и склонный к сделкам с собственной совестью. Ярчайший пример этого, — продолжил Лопатин, — и есть история возникновения «Бесов». Сильнейшее желание откреститься от всего, с чем был он когда-то связан и в симпатиях к чему его могли заподозрить, вызвало к жизни роман, в котором совершенно недвусмысленно, решительно и безо всяческих экивоков задуман и представлен сатанинский бал в современной ему России, причем на главную роль Сатаны в романе автор назначил Н. В. Ставрогина, наделив его многими чертами своего друга молодости Н. А. Спешнева. Что и говорить, своеобразная дань признательности старому другу и старой дружбе. Впрочем, можно понять и это, ведь писатель стремился создать образ человека, вплотную подошедшего к «пределу».

— Фигура Ставрогина, — продолжил свою речь Лопатин, — эпи-

центр сложных и запутанных жизненных траекторий вьющихся вокруг него «наших», или «бесов», притом, что одну из основных сюжетно-психологических осей напряжения этого многофигурного романа составляют взаимоотношения Ставрогина и подверженного его влиянию Шатова, наделенного немалым психологическим сходством с автором романа.

Так, в одной из бесед со Ставрогиным Шатов обращается к своему Мефистофелю с вопросом: «Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» Шатов, этот страстно желающий уверовать искатель истины, собирается порвать с «бесами», но, в согласии с логикой истории и романа, становится жертвой циничной попытки Петра Верховенского укрепить единство «бесов» и их «организации» совместно пролитой кровью.

Что же до Ставрогина, рожденного из амальгамы размышлений писателя о Спешневев, этой русской смеси «принца Гарри» и шиллеровского разбойника, то сей воплощающий идею «демонической, полной энергии отрицания личности» персонаж приходит к осознанию исчерпанности своих экспериментов и заканчивает свою жизнь в петле, ибо идеологическая и сюжетная заданность этого «романа-предупреждения» не оставляет «гражданину кантона Ури» никакой иной возможности.

Наметим, наконец, линию рассуждений Лопатина о романах, внутренне-философски между собой связанных, – о «Преступлении и наказании» и «Братьях Карамазовых». Так, если в «Преступлении и наказании», утверждает Лопатин, мы изначально имеем дело с некоей данностью, то есть с преступлением, задуманным и совершенным Раскольниковым, то обращаясь к «Братьям Карамазовым», легко заметить, что в центре этого романа – преступление, вдохновленное Иваном Карамазовым, а осуществленное Григорием Смердяковым, страдающим припадками падучей и кончающим свою жизнь в петле.

– Но ведь все эти строительные элементы мы уже встречали в предыдущих романах этого автора, и звучит все это достаточно знакомо, не правда ли? – спрашивает Лопатин и замечает, что именно эти усложнения позволяют развернуть сюжет таким образом, что «судейским» ничего, собственно, и не остается, как осудить Дмитрия Карамазова за убийство его отца, демонстрируя тем самым возможность «судебной ошибки» и несовершенство процесса судебного следствия.

Рассуждая далее о рождении замысла «Братьев Карамазовых», Лопатин напоминает о том, что романная судьба Дмитрия Карамазова вдохновлена судьбой поручика Ильинского, товарища Достоевского по Омскому острогу. Все это, согласно Лопатину, только подтверждает известную гипотезу, что писателя еще со времен его каторжной жизни не переставали волновать одни и те же вопросы, разрешить которые он пытался в каждом из последующих своих великих романов. И не случайно, пожалуй, так волновали писателя пушкинские строки о «рыцаре бедном»: «Он имел одно виденье, / Непостижное уму, / И глубоко впечатление / В сердце врезалось ему».

Указал Лопатин и на оригинальность построения романа «Преступление и наказание», с его героем, пытающимся поначалу философски обосновать свое право на преступление, затем совершающим его и, наконец, обнаруживающим невозможность продолжения жизни без покаяния. Итак, начав свое повествование с высот философских, автор затем совершает драматическое нисхождение к психологии и жизни души человеческой, к тем самым «клеяким листочкам», которые появятся в «Братьях Карамазовых», написанных полтора десятилетия спустя, – продолжал докладчик, утверждая, что именно в этом произведении писатель как будто достигает своей цели – создать роман, «вращающийся» вокруг философской оси. Однако цена, заплаченная за это, оказалась достаточно высокой, согласно Лопатину, который упоминает определенную перегруженность романа, приводящую не только к утере ощущения цельности, но даже и привкусу фрагментарности, остающейся после прочтения этого последнего большого творения писателя.

Никто, однако, не может утверждать, что усилия писателя были тщетны. Они просто указали на кризис принятой им на вооружение парадигмы. Решение же стоявшей за этим кризисом задачи искали позднее некоторые писатели, отдавшие свои усилия воплощению в жизнь концепции романа-мифа, а также писатели-экзистенциалисты, указывавшие на Достоевского как на своего предтечу.

– ...И мы, как всегда, можем только гадать о том, что произошло бы, окажись все планы писателя реализованы. Например, какого рода роман написал бы Достоевский, если бы ему удалось совершить давно задуманное им путешествие в Палестину, – начал было Лопатин, собираясь порассуждать об, увы, ненаписанном Достоевским романе «Иуда и Христос», но, как это всегда бывает, оказалось, что время, выделенное для его выступления, подошло к концу.

Он увидел, как заведующий кафедрой вскинул руку с часами на запястье и внимательно посмотрел на циферблат, после чего перевел взгляд на Лопатина, а тот, перехватив этот взгляд, решил, что ему,

пожалуй, стоит и сократить доклад, предоставив аудитории возможность додумать самостоятельно.

Приняв это решение, Лопатин взглянул на сидящих перед ним людей и, перевернув несколько страниц в лежавшей перед ним папке с текстом доклада, сказал:

– Полагаю, что сумел донести до вас некоторое общее ощущение того направления, которое я избрал для построения своего курса. Попробую теперь изложить некое предварительное суждение о применимости понятия «предельности» к биографии и творчеству Достоевского... Полагаю, прежде всего, что история жизни и творчества этого писателя в достаточной мере уникальна. Романы его украшают, разумеется, русскую литературу, но, пожалуй, никуда так сильно не ведут, как в сторону философских поисков. Они, я осмелюсь сказать, ничему не учат, а лишь впечатляют и даже потрясают. И это, пожалуй, самый яркий пример такого рода в нашей литературе. Возможно, рассуждая о роли Достоевского в нашей литературе, стоило бы вспомнить то место из его речи о Пушкине, где сказано, что «появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом». Ибо – да, действительно перед нами замечательный писатель, – продолжал он, – написавший, быть может, уникальные и в чем-то непревзойденные в мировой литературе романы. Но не привела ли единственная «сверхценная идея», овладевшая его сознанием, к тому, что можно уподобить неустанному бегству белки в колесе, придав тем самым еще один смысл идее «предельной биографии русского писателя» и истории его взаимодействий с репрессивными органами? Хотел бы повторить и даже подчеркнуть еще раз, что, собравшись здесь и обсуждая творчество этого чрезвычайно одаренного писателя, мы в то же время рассуждаем и о психически больном человеке, творившем в условиях раздавившего его репрессивного режима. И оттого нам следовало бы спросить: не являются ли вся жизнь, творчество и влияние Достоевского на судьбы множества людей примером того, какое пагубное воздействие может оказать один талантливый и, быть может, даже безумно одаренный, но больной человек на судьбу родной ему культуры, породив бесконечно ложный и превратный, но, увы, широко распространенный и с готовностью принятый и подхваченный некоторыми кругами миф о непостижимой «русской ментальности»?

Завершил свое выступление Лопатин при полном молчании участников заседания.

«Опасаются, не засланный ли я казачок, – думал он, – и как им себя вести со мною. Что ж, это довольно естественно, я бы и сам подумал дважды, что говорить такому персонажу, как я.»

Прошло около минуты до того момента, когда, наконец, один из старейших членов кафедры и Ученого совета поднялся со своего стула и сказал:

– Господа, то, что мы сегодня услышали, есть не что иное, как очередная попытка создать «дело Достоевского» и осудить писателя. Попытки осудить его романы и его искания уже предпринимались и в начале нашего века и позднее, в 20-е годы. Но ведь времена комсомольских атак на русскую культуру уже закончились, не так ли? Или это у вас профессиональное? – спросил он у Лопатина, опускаясь на стул.

– Вы имеете в виду мою службу в органах госбезопасности? – поинтересовался Лопатин и, не дождавшись ответа, продолжил, – Видите ли, мое образование и опыт исследовательской работы привели меня к убеждению, что нет ничего более важного, чем объективное и непредвзятое отношение к объекту или предмету исследования. Что же касается моей работы в органах государственной безопасности, то ушел я оттуда по собственному желанию, осознав, что не могу более принимать участие в подобного рода деятельности. Подобным же образом отказался я и от членства в партии. И, кстати говоря, я не собираюсь спрашивать у присутствующих здесь коллег, состоял ли кто-нибудь в рядах той партии, о которой я упомянул. Уверен, однако, что, получи я честный ответ, то нас оказалось бы не так мало... Да, я там работал, но, главное, я никогда не был стукачом, как это называют в народе.

Завершив эту тираду, Лопатин почувствовал определенное изменение настроения в зале. Почувствовал это, очевидно, и заведующий кафедрой, попытавшийся увести разговор в иную, более академическую плоскость.

– Но ведь во время нашей предыдущей встречи вы, Вячеслав Николаевич, заверяли меня, что все мы, так сказать, «вышли из Достоевского», не так ли? Не противоречит ли нарисованная вами картина этому утверждению? – спросил он с иронией, но одновременно и с некоторой растерянностью в голосе.

– Никак нет, я так не думаю, – сказал Лопатин и тут же понял, что ему следует расширить ответ. – Никак не противоречит, и, по-моему, это ясно проявилось сейчас, когда мы не хотим признать, какую мы... – тут Вячеслав Николаевич сделал легкое движение рукой в сторону слушавших его членов кафедры, – повторяю, какую, в сущности, мы ведем двойную и лицемерную игру с историей и судьбой несчастного, раздавленного своим временем человека, который оставил нам совершенно невероятной силы свидетельства именно об этом...

Слова Лопатина не остались без ответа.

Завязалась дискуссия, в ходе которой большинство сотрудников кафедры, похоже, пришло к пониманию того, что Лопатина «голыми руками не возьмешь» и работать с ним придется.

– Вы, Вячеслав Николаевич, похоже, собираетесь осуществить определенного рода эксперимент, – примирительно сказал со своего места заведующий кафедрой, – и, наверное, это будет интересно для всех. Посмотрим, как отнесутся к этому студенты и ваши коллеги по отделению и факультету.

После чего он встал и налил в стакан воды из графина, давая понять, что полагает официальную часть заседания оконченной. «Блины, наверное, ел с медом», – подумал Лопатин, заметив застиранное пятно на его рубашке.

13

Затем сотрудники кафедры были приглашены в смежную комнату, где уже был накрыт стол для приема а ля фуршет. Лопатин последовал за остальными, никак не проявляя внешне ни то, о чем он думал, ни то, что чувствовал. По опыту многолетнего общения с подобной публикой, он знал, что именно здесь, за столом, и будут подведены какие-то итоги сегодняшней встречи, что, собственно, ничего не предрешает и не может предрешить в отношении того, что произойдет в будущем, ибо «нам не дано предугадать...», вспомнил он строку из Тютчева.

Через мгновение один из молодых сотрудников кафедры, с завязанным в узел пучком выющихся волос на затылке и внимательными глазами, подошел к Лопатину и, протянув ему рюмку водки с пирожком на бледной картонной тарелочке, представился и предложил выпить за знакомство, добавив, что был весьма впечатлен книгой Вячеслава Николаевича о его работе в органах госбезопасности. Потом подошли и столпились вокруг еще несколько человек, а вслед за этим произнесено было немало слов, заверений и тостов, включая и традиционное «Будем!»

Прошло еще некоторое время, и над головами людей установился определенный равномерный шум, изредка прерываемый смехом или повизгиванием, и, наконец, к Лопатину подошел раскрасневшийся, с расстегнутым воротом заведующий кафедрой. Он долго и прочувствованно пожимал руку Вячеславу Николаевичу, после чего заявил, что услышал в его докладе немало интересного.

Позднее, когда по завершении неформальной части, Лопатин поехал к себе домой, в сознании его совсем ясно, как в молодые годы, прозвучала утренняя мелодия в сочетании с ощущением того, что он побывал в клетке, и там его приняли за своего.

14

На следующий день Лопатин возвращался в Старую Руссу. До начала учебного года оставалось еще десять дней, а это значило, что теперь можно было посвятить неделю отдыху и даже съездить на пару дней в Псков. Тут Вячеслав Николаевич подумал, что это будет приятно и ему, и Ольге, которая почти все это лето просидела дома.

Утром, перед отъездом, он вспомнил о вчерашнем ночном разговоре с Ольгой.

– Мне Татьяна Ивановна звонила: Валера приехал, – сообщила Ольга, – получил новое назначение, он теперь рядом будет служить, на границе с Эстонией. Зовет нас вечером в гости, счастлива – сын рядом будет... Ты приезжай пораньше, ладно? – попросила Ольга. – Зайдем к ним, поздравим, вот не знаю только, что подарить. Может быть, вина бутылку?

– Ну хорошо, я тут подыщу что-нибудь, – ответил Лопатин. Настроение его вдруг улучшилось, он повеселел и тут же припомнил легкие пушкинские строки:

Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино.

Перед отъездом Лопатин заглянул к знакомому директору магазина на Морской и вышел оттуда с бутылкой настоящего, не контрафактного, двенадцатилетнего французского коньяка. Было утро субботы, магазин полон народу, а на тротуаре перед магазином протянулась очередь за пивом, продававшимся в разлив. Пробираясь через заполнившую тротуар толпу, Лопатин по доносившимся репликам понял, что в очереди толковали о Чечне и телепередаче с обвинениями известного генерала в измене родине. «Уезжать надо, – подумал он, – а то ведь и встретишь кого-то. Главное, до Пушкина доехать, а дальше дорога на Чудово и на Великий Новгород почти свободна.»

Выбравшись из толпы и направляясь к своей «двадцатьчетверке», он вспомнил, как когда-то давно, в один из тех дней, когда они приводили в порядок недавно купленный им дом, спросил у Валеры:

– Так они что, в твоей части служили? – на что Валера только мотнул головой.

– Да нет, – сказал он.

– Ну а откуда они тебя знали?

– Да не знали они меня, Вячеслав Николаевич.

– Да нет, знакомы вы были, Валера, иначе никак не сходитесь, иначе не пришли бы они к тебе домой, – сказал Лопатин, – и в чем-то

ты их, скорее всего, подвел. Да ты не бойся, – продолжал он, – я тебе вреда не желаю, да и никто здесь тебе вреда не желает, ты ведь свой, наш парень, защищал родителей, так ведь? Так. Ну вот, и никто в этом копаться не захотел... А вот попался бы тебе Порфирий Петрович, он бы эту афганскую-то ниточку и потянул....

– Порфирий Петрович? Это какой же? Как фамилия его? – спросил Валера.

– Сие есть тайна великая, – ответил Лопатин, – это, понимаешь, следовательно у Достоевского описан в «Преступлении и наказании», а вот фамилия его не дана вовсе. А ты, вообще-то, «Преступление и наказание» читал?

– Ну да, мы это, вроде, в школе проходили, – ответил Валера, – но я не очень-то помню. А в Афгане не до книг было, – вдруг добавил он.

– Так где ты их встретил? – спросил Лопатин.

– Да в Кабуле, когда отправки ждал. Нас с базы Баграм отправлять должны были, ну, очередь там была на отправку. Ждали. Час езды до Баграма, а мест на транспортниках не хватало. Ну и подвернулись эти двое из Ростова. Доставишь дурь, говорят, мы тебя на борт с артистами посадим, их не досматривают. А когда приедешь, дурь в Ростов отвези. Адрес дали, там с тобой расплатятся, говорят. Они на аэродроме механиками, что ли, были. Рюкзак себе достань, купи подарков и нам отдай. Он отдельно от тебя в самолет пойдет, а тебя досматривать будут на вылете и по приземлению. Прилетишь в Ташкент, пройдешь проверку и иди в буфет. Закажи себе кофе, черный, без молока. Подойдет к тебе мужик и спросит, откуда ты, а ты скажешь: «В Кабуле остановка». Ну вот, он рюкзак твой оставит, а ты его подхватишь и вперед. Ну, я подумал и согласился, домой хотелось улететь. Еще и деньги обещали.

– Ну и что же – получилось? – осведомился Лопатин.

– Ну, в Ташкенте все гладко прошло. Сел я в поезд и доехал до Ростова.

– Ну и, – спросил Лопатин, – что в Ростове случилось?

– Ну, приехал я, нашел на вокзале автоматическую камеру хранения, оставил рюкзак и пошел на базар, договорился с одной теткой, сказал, что приехал невесту свою разыскивать, и расположился у нее в жильцах. Купил все гражданское, переоделся, искупался. Вещи у тетки оставил и пошел по адресу, проверить, как и что там, как ребята учили. Ну, прихожу, а человека этого нет, кто-то его подрезал, говорят, в больничке валяется.

– Кто сказал? – спросил Лопатин.

– Сосед. Ну, я и подумал, стремно все это, взял билет на поезд – и в Питер.

– А дурь? – спросил Лопатин.

– А что дурь? Как отъехали от Ростова, взял я этот блок, раскромсал ножом и спустил в толчок. Даже не знаю – где, темно уже было.

«Вот так вот, – пронеслось у Лопатина, в этой, уже ушедшей вперед жизни. – А я ему французский коньяк везу... но ничего не поделаешь, положение обязывает. Вот его-то и попьем вечером, благо, у Татьяны Ивановны и икра, наверняка, будет, да еще и балык найдется...»

15

Вскоре после окончания чтения своего первого, посвященного Достоевскому, курса Лопатин издал расширенную версию своих лекций в Центре современной литературы, располагавшемся на набережной им. адмирала Макарова. Книга была издана за счет автора тиражом в 250 экземпляров и называлась «Преступление Достоевского». Надо ли говорить о том, сколько настоящего на страстях яда и чернил было пролито и выплеснуто на страницы разнообразных изданий сразу же после публикации этого лопатинского opus'a.

Называли Лопатина и «государственником», и «провокатором», и «литературным инквизитором», и «мимикрирующим либералом», и «поэтом охраны», и просто «отщепенцем», да и много еще чего было сказано и всерьез, и просто потому, что вообще не высказаться, а промолчать было уже никак нельзя, слишком много специалистов и репутаций, выросших на поле исследований, связанных с именем Достоевского, было затронуто, и они, что совершенно естественно, не собирались молчать.

Но несмотря на то, что в который уже раз спрягалось имя Вячеслава Николаевича и так, и этак, все, что произошло, никак не помешало росту его известности, а даже и наоборот, ускорило и развило этот рост виришь, приведя, в конце концов, к началу нового, теперь уже медийного, этапа его карьеры, связанного с выступлением на радио и на одном из популярных каналов телевидения, где наряду с вопросами, связанными с историей и культурой, он время от времени освещал и комментировал события, оказавшиеся в центре внимания общества в программе «На злобу дня».

Через некоторое время Вячеслав Николаевич сменил «двадцатьчетверку» на приличную иномарку, а дом в Старой Руссе продали Лопатины сыну Татьяны Ивановны Валере, служившему на границе с Эстонией и вот уже пару лет женатому на Светлане. В молодой семье появились дети, двойня, и Светлане хотелось растить их в родном, знакомом городе, поближе к матери, сестрам и свекрови, Татьяне Ивановне.

Следующей осенью Лопатины приобрели дачу у одинокого, пожилого и бездетного университетского лектора в Комарово, на берегу Финского залива. Что же до сопровождавших его деятельность на телевидении скандалов, то к ним Вячеслав Николаевич к тому времени уже привык...

16

Завершающую часть книги Лопатин начал с того, что поделился воспоминаниями о первом посещении дома в Кузнечном переулке, где находится последняя снятая писателем квартира. В этот доходный дом недалеко от Пяти Углов семья писателя въехала в октябре 1877 года, вскоре после смерти трехлетнего сына Алеши.

Невысокие потолки и мрачные красноватые обои на стенах, тяжелая темная мебель и самовар на резном столике в столовой впечатляют посетителей музея-квартиры атмосферой тяжелой озабоченности, изматывающих недомоганий, постоянной нехватки денег, имущественных споров и эмоциональных вспышек с примесью сентиментальности, дурного вкуса и истерического напряжения.

Квартира эта в свое время показалась Лопатину идеальным местом действия для ненаписанного писателем романа.

Просыпался Федор Михайлович в первом часу дня, шел в столовую и заваривал себе свежий чай. Днем он был занят издательскими делами, а в шесть вечера семья собиралась за обедом. В своих заметках Анна Григорьевна свидетельствует, что Ф.М. за обедом «пил красное вино, рюмку водки и перед сладким полрюмки коньяку». Так, скорее всего, и было в относительно теплые дни.

Ну а зимой? Что пил писатель зимой, когда дворники, стуча лопатами, разгребали выпавший за ночь белый снег? Марсалу, как об этом писала Ольга Форш в своем романе «Одеты камнем»? Мадеру или херес? Крепкие десертные вина? Или баловался коньячком? Ведь именно этот напиток вдохновил Федора Павловича на следующее признание: «*У Грушеньки, шельмы, есть такой один изгиб тела, он и на ножке у ней отразился, даже в пальчике-мизинчике на левой ножке отозвался...*»

Известно, что на курорте в Эмсе он пил кислое местное вино по рекомендации врача, о чем писал домой Анне Григорьевне, которую не раз, по его признанию, видел он во сне, и тут же страстно допытывался, просил ответить, снится ли он ей?

Итак, за обедом Ф. М., по словам его супруги, «пил красное вино, рюмку водки и перед сладким полрюмки коньяку». После обеда угощал он детей, Любу и Федю, виноградом и фруктами из бумажных пакетов, что приносил с прогулок.

Часов после восьми он отправлялся на свои одинокие вечерние прогулки и, погруженный в раздумья, гулял по городу, никого при этом не замечая.

За свой письменный стол он садился поздно и работал до пяти-шести часов утра.

Отсюда, от Пяти Углов, писатель не раз направлялся во дворец, где в последние годы его полагали возможным воспитателем наследника, или к Е. А. Штакеншнейдер, где однажды в ходе страстного, обращенного к императрице монолога, начал теребить пуговицу на ее блузке.

17

В эти последние годы своей жизни, когда попытки террористов убить царя приобрели серийный характер, Достоевский сблизился с видными деятелями консервативного направления. Тогда же прозвучало и его предупреждение о том, что «социализм полностью уничтожит христианство и цивилизацию. Антихрист придет и на какое-то время победит». Именно в этот период публичные выступления Достоевского с чтением собственных произведений стали чрезвычайно популярны. Иногда он читал стихотворение А. С. Пушкина «Пророк». Слово «пророк» прозвучало и в речи Достоевского о Пушкине, произнесенной незадолго до внезапной смерти писателя.

Произнося пушкинские строки, этот невысокий, сутулый человек, с крупной, хорошо очерченной головой и глубоко посаженными глазами с их обеспокоенным и проницательным взглядом, совершенно преобладал, оказывая магнетическое воздействие на аудиторию.

Продолжал он и свою журналистскую деятельность. Нельзя не признать, что в своей публицистике Достоевский время от времени выходил за грани и пределы нормального, продолжает Лопатин, но появлялись порой в его «Дневнике писателя» и записи трезвого и даже саркастического звучания. Приводит Лопатин и одно довольно известное высказывание писателя: «Вот говорят, что русские — народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они, прежде чем тебя топором зарубить, обязательно перекрестятся». Похоже, замечает Лопатин с сарказмом, что у самого Достоевского в отличие от его персонажей, бывали и даже неоднократно случались моменты просветления. Впрочем, продолжает он, подобная амбивалентность есть не что иное, как ясное указание на пограничное состояние психики писателя.

Еще одной важной составляющей описываемого периода жизни Достоевского является, согласно Лопатину, то обстоятельство, что эпилептические припадки продолжали изводить писателя, о них он

много говорил в последний год своей жизни. Более того, его поведение в этот год, согласно Лопатину, граничило с параноидальным, стоило ему заговорить о попытках поджогов в Петербурге, о покушениях на царя, упомянуть в разговоре с коллегами-литераторами о давешней встрече с Антихристом или рассказать о встречах с ненавистными ему феминистками.

18

Переходя к описанию обстоятельств последних, предельных дней жизни писателя, Лопатин полагает, что кризисное состояние его психики и горловое кровотечение, оказавшееся причиной смерти Достоевского, возникли из-за переживаний писателя в связи с обысками и арестами в соседней квартире, усиленных потрясением от бурного скандала с сестрой, потребовавшей передела наследства покойной тетки. Несколько позднее на это лихорадочное, перевозбужденное состояние психики, полагает Лопатин, наложилось возникшее в сознании писателя бесконечно тяжелое, гнетущее ощущение того, что он, скорее всего, был использован как фигура прикрытия террористом из соседней квартиры, где производила обыски и устроила засаду, а позднее и произвела аресты полиция, обращавшаяся в середине ночи, предшествовавшей скандалу с сестрой, к писателю за необходимыми ей сведениями.

Открывшееся горловое кровотечение и гнетущее ощущение возобновившегося преследования, скорее всего, полагает Лопатин, зародили в перевозбужденной психике писателя предчувствие надвигающейся катастрофы и близкой смерти и, в конечном счете, лишили его возможности дышать и жить.

Уделил Лопатин и некоторое внимание личности террориста Алафузова, три месяца проживавшего в том же доме, где жил со своей семьей Ф. М. Достоевский, более того – в соседней квартире. Настоящее имя террориста было Александр Иванович Баранников. Родился он в 1858 году. Происходил он из Путивля. Его отец служил в русской армии на Кавказе. Мать Алафузова (он же Баранников) была грузинка, встреченная отцом террориста в Грузии.

Принятый в Павловское военное училище, Александр Баранников в 1876 г. имитировал самоубийство, оставив свои вещи на берегу реки, и «ушел в народ». Через пару лет он стал одним из руководителей «Народной воли».

Знай Достоевский об участии своего соседа в убийстве шефа жандармов генерала Мезенцева, в попытках взорвать царский поезд, а также подложить бомбу под мост, по которому проедет царь, он, не колеблясь, признал бы своего соседа Алфузова исчадием ада, утвер-

ждает Лопатин, указывая еще и на то, что именно встречи с соседом, террористом Алафузовым, человеком с чрезвычайно эффектной и, по отзывам знакомых ему женщин, романтической внешности, какими бы случайными или мимолетными эти встречи с Достоевскими не были, в подъезде ли дома, на улице или на лестничной площадке, совершенно естественным для его воображения образом навели писателя на мысль о встречах с Антихристом.

О своих встречах с Антихристом он несколько раз упоминал в последние месяцы своей жизни, и заявления эти запечатлены в имеющей отношение к Достоевскому мемуарной литературе.

А вот, собственно, и ключевая деталь, которую приводит Лопатин в поддержку этой экстравагантной гипотезы: Алафузов, он же Баранников, отличался крайне необычной внешностью. Хорошо знакомая с Баранниковым революционная деятельница, член Исполнительного комитета «Народной воли» В. Н. Фигнер писала в своих воспоминаниях: «...Его красивое матовое лицо, без малейшего румянца, волосы цвета воронова крыла и черные глаза, в которых нельзя было различить зрачка, с первого же взгляда обличали его нерусское происхождение... если кого-нибудь можно бы назвать ангелом мести, так именно его...»

Еще в одном, посвященном Баранникову фрагменте воспоминаний В. И. Фигнер можно прочесть следующие слова: «В 1880 г., когда я была в Одессе, Софья Григорьевна Рубинштейн завлекла меня однажды в театр на оперу своего брата Антона Рубинштейна ‘Демон’. Роль артиста, игравшего Демона-искусителя, склонившегося над Тамарой, как раз подходила бы Баранникову...»

Суммируя все вышесказанное, Лопатин приходит к заключению о том, что смерть Достоевского есть поразительный пример гибели человека, раздавленного плодами работы его воображения и полной утерей инстинкта жизни.

19

Далее, рассуждал Лопатин, мы можем попытаться восстановить какие-то узловые точки, будоражившие сознание человека с открывшимся ночью, во время первого обыска в соседней квартире, горловым кровотоком.

Террористы, неведомо как, но использовавшие его как прикрытие, и полиция, подозревавшая его в возможном соучастии в их преступных намерениях или же в укрывательстве и недонесении, – вот полюса, между которыми металась его мысль. Ведь Алафузов, которого он подозревал в чем-то ужасном, а иногда, ничего о нем не зная, прозревал в нем Антихриста, жил в доме никак не меньше трех месяцев.

Полиция, однако, будет подозревать его, что неизбежно... В чем? Господи, да ведь такое соседство никак не могло произойти случайно... Так будет думать любой полицейский чин. Отчего? Но это в ее природе – подозревать. Он вспомнил своего Порфирия Петровича и подумал: а кто же будет мой Порфирий Петрович? Ощущение рушащегося мира, столь знакомое его героям, росло и ширилось. К тому же, он вдруг ощутил и понял, что полицейский надзор за ним так никогда и не прекращался. Предприятие его жизни, воскресение, задуманное еще в Сибири, в кандалах, было на волоске... Его снова обуял отвратительный, мерзкий, проникающий до костей страх поднадзорного существа, страх, подобный душному, недвижимому и гнилостному воздуху у Пяти Углов. Он был под наблюдением, под надзором, под колпаком; его наблюдали, за ним следили, о нем многое знали, о многом догадывались... может быть... Но ведь и Бог следил, тоже присматривал за ним, он вспомнил глаз в треугольнике, всевидящее око Божие, от которого некуда было уйти... Переживания эти, усиленные воспоминаниями о мимолетных столкновениях с Алафузовым, воспоминание о его улыбке, даже усмешке, невыносимо дьявольской, – теперь-то он это понимал, ибо Алафузов-то, по сути, теперь это было совершенно ясно, преследовал его. Переживания эти подточили и раздавили психику писателя и привели к предчувствию собственной смерти, лишившему его возможности дышать и жить.

Дыхание перехватило, он стоял вместе с другими, все – в светлых холщовых облачениях, на эшафоте, сколоченном на заснеженном Семеновском плацу. Тут же на плацу стояли построенные в каре солдаты, а первые четверо осужденных уже были привязаны к расстрельным столбам. На осужденных глядели дула винтовок расстрельной команды, и сабелька готова была блеснуть, она застыла в морозном с паром от дыхания воздухе. Светлое пятно, блик, коснулось его рукава и сползло на тыльную сторону ладони. Обратившись к Спешневу, что стоял рядом на эшафоте, он сказал с надеждою в голосе: «Мы будем с Христом», и Алафузов – оказалось, это был он, – ему ответил: «Да, пригоршней праха», – и усмехнулся мерзкой своей, невыносимой улыбкой...

Прощаясь с детьми, он убеждал их не терять веры в Бога, даже если они и совершат в своей жизни какое-либо преступление. Не есть ли это ярчайшее выражение комплекса вины, окончательно овладевшего к тому моменту его сознанием? – предполагает Лопатин.

Попробуем теперь ответить на не оставляющий нас вопрос о Порфирии Петровиче, продолжает Лопатин и спрашивает: «Отчего вспоминал о нем умиравший от легочного кровотечения писатель?»

Напомню, что для Лопатина «Преступление и наказание» есть первый и лучший из больших романов писателя. Психологически ясно, писал Лопатин, что в основе романа – намерение писателя понять, что привело его в Сибирь. Присутствуют в тексте романа и указания на то, что «Преступление и наказание» было задумано его автором как попытка доказательства бытия Бога методом «от противного». Однако развитие событийной и психологической ткани романа отодвинуло в сторону изначально заявленный дискурс и привело к тому, что в центре этого полотна с персонажами из современной автору столичной и провинциальной жизни оказалась психологическая дуэль студента Родиона Раскольникова и пристава Порфирия Петровича. Присутствует в этом повествовании и еще один, чрезвычайно важный для понимания романа план, ярко заявленный в следующей фразе: «Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещающая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги». Той самой книги, что четыре каторжных года была единственно доступна писателю.

Обратившись далее к рассмотрению стоящей особняком фигуры Порфирия Петровича, Лопатин утверждает, что Достоевскому удалось создать образ следователя, оставляющий в сознании читателя ощущение чего-то постоянно присутствующего, скользкого и неуловимого.

«Лет 35-ти... Пухлое, круглое и немного курносое лицо его было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. Взгляд этих глаз как-то странно не гармонировал со всею фигурой, имевшею в себе даже что-то бабье, и придавал ей нечто более серьезное, чем с первого взгляда можно было от нее ожидать».

Детали, предоставляемые автором и сопутствующие появлениям Порфирия Петровича, создают убедительное впечатление его комфортабельного, естественного и даже сочувственного сосуществования с подозреваемыми, будь то студент Раскольников или красильщик Миколка. Отношение это основывается на отличном понимании психологических мотивов, определяющих человеческое поведение, и чутком внимании ко всему тому, что происходит вокруг, ибо, замечает Лопатин, все следственные действия пристава в деле об убийстве старухи-процентщицы и ее сестры основаны на том единственном обстоятельстве, что Порфирий Петрович заметил и запомнил статью Раскольникова «О преступлении», опубликованную в малоизвестной газете за два месяца до убийства. Намекает автор и на присущие следователю воображение и проницательность. «...тут дело фантастиче-

ское, мрачное, современное. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце...», – полагает пристав.

Трижды встречается Раскольников с Порфирием Петровичем и каждый раз ощущает себя мышью, попавшей на обед к коту. Мастер неожиданных замечаний, ловушек, намеков, полунамеков и, наконец, издевательской иронии, Порфирий Петрович приводит Раскольникова на грань нервного срыва.

В конце концов пристав подталкивает и вдохновляет Раскольникова на явку с повинной, и исстрадавшийся убийца, получив при содействии Порфирия Петровича всего восемь (вспомним назначенный Достоевскому срок!) вместо двадцати лет каторги, уходит по этапу в Сибирь, куда через год приезжает Соня, вместе с которой он и читал евангельскую историю о воскрешении Лазаря.

Откуда же, спрашивает Лопатин, появляются подобные Порфирию Петровичу следователи? И кого, собственно, они представляют? Ведь пристав наблюдает не только за печатью, но и за людьми вокруг, анализирует их поведение, размышляет об их характерах, и т. д., и т. п., то есть до некоторой степени представляет собой сочетание «чистого разума» и здравого смысла.

Похоже, полагает Лопатин, что образ Порфирия Петровича сложился не только из более чем близкого знакомства Достоевского с судом и следствием, но и из его столкновения и попыток осмыслить методы и практику полицейского надзора, под которым он находился после возвращения из Сибири. И если это так, то тогда почитывающий газетки пристав Порфирий Петрович есть еще и отражение представлений писателя о тех, кто наблюдал за ним, за его жизнью и за тем, что он пишет. Сдается мне, добавляет Лопатин, что Порфирий Петрович – не только гений сыска, но еще и *genius loci* (гений места, т. е. Петербурга, и именно потому обделен фамилией). Эти и другие свои рассуждения о приставе как о фигуре символической Лопатин завершил памятными ему еще со студенческих лет словами Порфирия Петровича с описанием его методов общения с преступником: «Видали бабочку перед свечкой? Ну, так он все будет, все будет около меня, как около свечки, кружиться; свобода не мила станет, станет задумываться, запутываться, сам себя кругом запутает, как в сетях, затревожит себя насмерть!.. и все будет, все будет около меня же круги давать, все суживая да суживая радиус, и – хлоп! Прямо мне в рот и влетит, я его и проглочу-с...»

Такой именно бабочкой и оказался в конце концов писатель Достоевский, раздавленный собственными страхами и воображением, ибо, продолжает Лопатин, развивая свою гипотезу, несмотря на то, что негласное наблюдение за Достоевским было официально пре-

кращено в середине семидесятых годов, Лопатин полагал, что даже и отмененное на бумаге, оно никогда не прекращалось в действительности, хотя бы в силу того, что фигура Достоевского была, и умные люди всегда это понимали, фокальной точкой, тем странным аттрактором, или, если угодно, полюсом интереса, для всякого рода опасных и, следовательно, жизненно важных и интересных для полиции и охранного отделения персонажей.

Далее пускается Лопатин в рассуждения о фигурах «особого значения», наблюдение за которыми позволяет делать важного рода оценки и предсказания, что, в сущности, и оправдывает повышенное внимание к ним соответствующих ведомств.

Следует ли напоминать о том, интересуется Лопатин, что Христос в «Поэме о Великом инквизиторе» молчит, слушая Великого инквизитора, и, покидая темницу, целует его в губы? Не является ли этот поцелуй знаком понимания, молчаливого согласия и конечного признания необходимости существования органов тайного надзора? Этим вопросом завершил Лопатин свое подведение итогов развитию взглядов Достоевского на меру свободы, дозволенной «людям из подполья». «И не является ли именно такое открывшееся Достоевскому понимание свободы той великой тайной, которую унес он с собою в гроб? И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.» Этим свободным переложением слов писателя из его «пушкинской речи» закончил Лопатин свою книгу.

В последней главе ее рассказал Лопатин и о судьбе Алафузова-Баранникова: после ареста и «процесса 20» Александр Иванович Баранников был приговорен не к смертной казни, как он того ждал, а к бессрочной каторге, замененной позднее на 20 лет каторжных работ в Сибири. Через год с небольшим он умер в возрасте 25 лет от скоротечной чахотки в том самом Алексеевском равелине Петропавловской крепости, где за три с половиной десятилетия до него находился в заключении Ф. М. Достоевский.

Михаил Этельзон

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ

«Мы их научим сеять, стрелять оленей,
рыбу ловить, прикармливать птичьи стаи,
после зимы понятно, чей бог сильнее,
а по весне – кто выживет – посчитаем.
Так завещали жить нам отцы и деды:
слабых принять, давая приют и пищу,
знаю – окрепнут и принесут нам беды,
словно стада бизонов – их будут тыщи.
Вижу – коней железных, дома из камня,
вижу – людей по цвету и речи – разных:
белых, как саван, черных, как наша память,
с желтою кожей вижу...
Не вижу с красной.»

Так говорил старейший и все молчали,
трубку курил и долго смотрел на небо,
видя, как гриф-стервятник кружит в печали,
видя за сотни вёсен, хотя был слеп он.
Первым поднялся вождь: «Я тебя услышал...
Завтра зерно отправите бледнолицым,
рыба, бобы и мясо – не будет лишним,
и не забудем дать бородатых птиц им.
Дайте им всё, чем наша земля богата,
шкуры бобров, лисицы и горноста,я,
дайте взамен ножей – серебро и золото,
слово старейших,
предков законы – свято...
Осенью их по скальпам пересчитаем».

НАДЕЖДА

Страна растерзана врагами,
сто лет – грабеж, разбой, война...
сто лет в смертельном урагане –
в крови, но не покорена.
Кто враг, кто друг – не различая,
где меч не рубит – хлещет кнут,
что не захватят англичане,
Бургунцы подлые сожгут.

Безвольны и король, и свита;
 продажны церковь и суды,
 и дева, путь страны предвидя,
 не видит собственной судьбы.
 О Жанна, Францию спасая,
 ждала ли ты таких наград?
 В тюрьме – голодная, нагая –
 готова ли пройти сквозь ад?

Где твой король, когда епископ
 вершит и пытку, и допрос,
 дав обвинения – по списку,
 все доказав – и вкривь, и вкось.
 Не судьи – морды, морды, морды...
 и выбор твой – уже не твой:
 чужим опасна будешь мертвой,
 своим – еще страшней – живой.

Костер над хохотом и лаем,
 где ложь и страх, где смрад и мрак...
 Над темной Францией пылает
 не дева – символ «Жанна Д'арк».
 В толпе мерзавцы и невежды,
 но там же слышатся слова:
 «Еще не умерла Надежда
 и Франция еще жива!»

25. 12. 2016

Какой народ – такой пророк:
 кровавый, мстительный и сирий.
 Не «старший брат» – бандит, браток
 для Грузий, Украин и Сирий.
 Любой провал – большой успех,
 нам растолкует телеящик:
 переиграл давно и всех,
 как в старой сказке, – старый ящер.

Не бог, не черт – «Великий Князь»:
 простой, душевный, – из Болотной,
 под ним Держава поднялась,
 над ним Советские полотна.

Какие планы строит он,
с прищуром вглядываясь в карту,
куда укажет он перстом:
на Минск, Варшаву, Ригу, Тарту?

В его заложниках – страна:
артисты, лекари, солдаты,
и бесконечная война –
могилы, имена и даты.
А на войне, как на войне:
невинных там искать нелепо...
Последний рейс горит в огне –
в огне сожженного Алеппо.

LET IT BE

Снова в глазах туман или давят годы,
если подумать – это одно и то же,
вот и живешь, не зная, куда ты, кто ты,
не ожидая чуда и не итожа.
Снова туман, но ясно в Центральном Парке:
осень – пускай не чудо, но день чудесный.
Даже в глухой стене иногда есть арка –
это ворота в рай, потому и тесно.

Тесно, но мы проходим, сломав устои,
мимо пруда и замка аллеей темной,
будем бродить, молчать и болтать пустое,
не вспоминая, не забывая – помня.
«Strawberry Fields» – дорожка ведет к поляне,
скверик «Imagine» – фото, значки, цветочки...
Все, что осталось после, – гламур и глянecь,
мой «Let it be» и твой «Let it be» –
три точки...

УСКОРЯЕТСЯ ВРЕМЯ

Ускоряется время – пропали часы и минуты,
день за днем с головой накрывают тяжелой волной,
И чего петушился – кого на земле обманул ты?
И себя не обманешь – не выпадет жизни иной.

В лес поглубже уйдешь – на тропе не останется следа,
крикнешь в синее небо – ни звука, ни эха в ответ,
и круги по воде не расходятся с прошлого лета...
словно нет тебя, нет тебя, нет тебя, нет тебя...
Нет.

Дышишь глубже и чаще, и видишь, наверное, дальше,
но размыта картинка и парус чернеет вдали:
ничего он не ищет – ни бури, ни гавани, даже
новых чудных мгновений с Татьяною и Натали.
Всё спокойно и мирно – не бьются ни пульс, ни тарелки,
научился молчать, как китайский болванчик, – кивать..
но когда на часах остановятся ржавые стрелки,
поперхнется кукушка, не в силах уже куковать.

ОТЛИВ

Отлив... вода в залив уходит
и обнажается до дна
всё, что потеряно за годы,
и подноготная видна.
Давно забытые предметы
покрыты илом и песком,
иного времени приметы
напоминают о былом.

Канал, отливом изувечен,
не омывает берега,
как не подумать здесь о вечном
и о секундах свысока.
Качают лебедей и уток
часы загадочной луны –
так отмеряют время суток
тик-таки неземной длины.

Отлив не кончился, но скоро
замрет невольница вода,
и вспять пойдет по приговору –
из ниоткуда в никуда.
Вода вернется и, мгновенно
картину мира оживив,
наполнит берега и вены...
Прилив! – я чувствую –
Прилив!

Ефим Ярошевский

Стихи разных лет

Поэт,
бегущий в полночь к мутному бульвару,
где плачет пароход (без мамы),
где туман...
где всхлипывает март,
где прячется диспансер
(худой рентгенвесны показывает парк),
где холодно,
где соловей издох, попавший в снегопад...
поэт свихнувшийся,
на ледяной скамейке ждущий лета...

* * *

Топили камины, топили печи,
играли в парадных в чёт-нечет,
Сестра говорила: зима лечит,
а брат был – Платон Кречет.

А к ночи, когда леденели ветры
и в мертвой заре коченели ветки,
нашел Назорей свою рыбу в сетке
(и стали роптать предки).

Бежали девчонки, как босоножки,
в балетных па по лунной дорожке.
Стал месяц земле показывать рожки,
считая в серванте вилки и ложки...

Пора было ночи в трубу дунуть.
В углы пауки разбрелись думать...
День голову в петлю успел сунуть,
да ветер – в лицо плюнуть.

* * *

Когда не пишутся
стихи об одиночестве,
о прочности корней, о почвенности,

о непорочности зачатия, о творчестве,
о происках зимы, о крепости,
которую не взять ни в детстве, ни в отрочестве,
стихи о юности, о зодчестве,
об иномчестве, о пророчестве
и о толстовском имени и отчестве...
стихи о бренности, о ревности, о глупости,
о распростертой пропасти и скупости...

О, Господи, подумать только – простыни
менять не надо, надо видеть сны,
от блуда пламенеющие,
дожить до осени, до лета, до весны,
где комнаты стоят, прохладой веющие,
где юноши, уже слегка стареющие,
на бреющем полете тихо реющие,
висящие над пропастью во ржи,
и лица их печальны и нежны...

* * *

В. Ч.

Медленно постигаю твои стихи,
их принимаю почти внутривенно,
пью эти сумерки... Жизнь сокровенна,
дни благодатны и ночи тихи.

Ты ухитрился себя обмакнуть
в горечь и нежность,
в солонку мира...
Не сотворил из мира кумира,
но не сумел его обмануть.

Ветер невинен, и звезды строги.
Не избежать этим летом разлуки.
Падают наземь небесные звуки,
тайно ложась в основание строки...

Жаль, что не спрашиваешь, что же тут я
делаю?
Тешусь дождливой погодой.
Жадно живу на краю бытия,
ем хлеб изгнания,
давась свободой...

КОМФОРТ ЗИМЫ

Барух Спиноза,
сегодня ты мой господин!
Кегли с мороза
и банка любимых сардин.

Угли в камине,
в термосе кубики льда...
Ветер в пустыне.
В кране хмельная вода.

Горсточка пепла.
Бокалы осенней тоски...
Осень окрепла.
Зима заострила виски.

Барух Спиноза,
сегодня ты мой господин.
Руки с мороза.
На свете зима. Я один...
Старая проза. Любимый поэт.
Карамзин.

ПРОГУЛКА ПО ЛЕТНЕМУ САДУ

там Володя идет Гандельсман
по траве он гуляет
летний сад Петербург талисман Томас Манн
этот шторм за окном на него не влияет

там в саду на ветру дрогнут нимфы...
чуть-чуть в стороне
ходит гость иностранный
он ворчит как старик
не по мне (говорит)
не по мне эти новые рифмы
и стих этот странный...

светит лампа в ночи (у лампы есть раб)
жил себе и писал осененный таинственным нимбом
ах открыть бы
открыть бы и мне эту новую прозу с утра б –
и назваться Колумбом!..

там гуляет поэт не пугаясь простуд на ветру
и стихи сочиняет
ветер дует с Невы
ветер шепчет поэту: дай слезы утру
слезы вред причиняют

ветер ходит кругами по нашей стране, у ворот
там поэт выпивает
он читает стихи
он любимое слово на вкус и на ощупь берет –
и стихи убивают...

Так бормочет поэт и толкаются буквы не в лад
так рифмуются
совесть и сирость...
и впивает поэт эту ночь
эту морось и хлад
и вбирает в себя навсегда
этот текст,
эту сырость.

Евгений Шкловский

Рассказы

ДОМИК В ДАХАУ

Я видел там березы, ели, поля, луга и так далее. Чистые речки, тихие озера... Европа!

Климат умеренный, зима мягкая, лето щадящее. Домик в такой местности – самое то. Аккуратненький, как на открытке: красная черепичная крыша, небольшие светлые окна. Камень к камню, дощечка к дощечке. В палисадничке розы, на подоконнике еще какая-нибудь элегантная трогательная растительность. Дороги – блеск! Ровные, гладкие, будто только вчера заасфальтировали. Вообще все вылизано, в лесу палки завалящей не найдешь, так все обихожено. Чистота и порядок. Ordnung, одним словом. Умеют люди жить. Уважают себя и природу. Славно, славно...

Ненависть – слишком сильное чувство, я на такое не способен. Да уже и позади всё, в прошлом. Ко мне не имеет никакого отношения. Прошрое, я имею в виду. Мало ли что было в истории человечества, какие непотребства. И что теперь? Не жить вовсе?

Читали. Фильмы смотрели. И все равно загадка: как такое могло случиться? Как вроде бы обычные нормальные люди могли впасть в такую невообразимую дикость? Это за пределами разума. Вообще – всего, что человечество нажило за долгие века. Взяли и порушили, опрокинули, разбили вдребезги. Опустили поголовно. Причем не только тех, кто угодил в эти жернова. Но даже и тех, кого сия участь миновала и кто приходит в этот мир с верой и надеждой.

И ради чего? Ради собственного возвышения. Ради господства над другими. Ради... Вдруг мозги набекрень. Всей нацией, всем стадом – за истеричным маньяком с клоунскими усиками. За вырожденком, возомнившим себя сверхчеловеком. Нет, сколько ни думай, в голове не уместается. Морок, наваждение, кошмарный сон, массовая шизофрения. Не случайно многие просто не верят в то, что такое действительно было. Ни документы, ни фото, ни кинокадры не убеждают. Если поверить, то как жить? С этим знанием.

Да так и жить... Я вот живу и ничего.

Синьор Примо Леви тоже жил, причем там, где родился и куда вернулся после всего. В том же доме постройки конца идилического девятнадцатого века, в той же квартире, где и родился шестьдесят семь лет назад. Турин, Италия, красивый город, благословенное голубое небо, горы, чудный климат, жизнерадостные общительные люди, вьющиеся виноградные лозы и светлый хмель домашнего вина. Все в итоге у него замечательно устроилось: семья, дети, любимая работа, творчество...

А он-то знал не понаслышке, не из книжек и обличительных документов. Сам из чудом выживших. Везунчик, можно сказать. Другие канули (из 650 итальянских евреев в Аушвице осталось всего двадцать), а ему еще досталось пожить нормально. Кроме своей химии стихи сочинял, воспоминания, где описывал пережитое. Свидетельствовал. Спокойно, без гнева и пристрастия, но с сумрачной неприимиримостью.

Да, было. И все в этой мясорубке участвовали — и палачи, и жертвы. Такая вот чудовищная связка: человек палачествующий, человек страждущий... Не мог освободиться. Может, это и сгубило в конце концов.

Пришел после работы домой, забрал, как обычно, почту у консьержки (всегда было много), поднялся на свой этаж, а через считанные минуты безжизненное тело распростерлось вниз, у основания витой лестницы.

Лестничный пролет втянул его, как удав кролика.

Не прошлое ли настигло внезапно, как коварный удар из-за угла? Задумался на секунду и понял, что всё, достаточно. Что-то в нем взорвалось, как взрывается переполненный густой горячей кровью изношенный сосудик в мозгу или в сердце.

Поначалу я тоже думал, что не смогу. Точней, не захочу. Удивлялся, как людям удастся там... Ну да, комфортно — магазины, машины, дороги, медицина, экология. Никаких эксцессов, процессов, стрессов. Преступности почти нет. Все отлажено, четко, рационально, мирно. Демократия, правосознание, толерантность... Вроде другой мир.

Однако... Представьте себе, к примеру, визит к дантисту — мурашки по коже! Может, его отец или дед в концлагере золотые коронки вырывал у заключенных. Но даже если так? Сын за отца не отвечает, а внук — тем более. И главное, откуда такая уверенность, что в твоей любезной стране дед или отец дантиста не выбивал зубы на допросе? Газовых камер, может, и не было, но и без них погубили людей запредельно. Слова, вроде, как другие, язык другой, а дела...

Чувствует ли что-нибудь земля, когда ее устилают человеческим

прахом? Когда зарывают в нее гекатомбы убиенных. Или она безучастна? Все эти заботливо ухоженные, образцовые, можно сказать, поля, луга, леса и перелески, реки и озера... Ведают ли про людское? И есть ли отзвуки в мире духов? Или все это обычные бредни?

Говорят: пепел стучит в крови. А стучит ли он или все так и растворяется бесследно в воздушных?

Одна знакомая уехала в Гамбург вместе с семьей – с мужем и двумя детьми, мужа пригласили работать, редкий случай, вот уже лет двадцать там, если не больше. Дети шпрехают лучше, чем по-русски. Выучились, работать устроились прилично, по миру ездят. Достаток. Дом – полная чаша, рядом парк и озеро, птички щебечут, травка на газонах аккуратно пострижена. В общем, все тип-топ. Время от времени наведываясь в родной город, она звонит мне и расспрашивает про жизнь, про общих знакомых, про то да сё. И при этом как-то странно похохатывает, непонятно с чего, спросит что-нибудь и тут же нервно – хи-хи... Ощущение, что с ней не все в порядке. С каждым годом больше. Может, и не связано никак с тем самым, только чудится, что не просто так. Будто ей неловко за саму себя, за то, что она там, за то, что ей хорошо (или плохо?). Про свою жизнь если и говорит, то мало и как-то невнятно, подавай ей нашего, здешнего, остренького. И зачем? Заскучала, что ли?

Что с того, что мои бабушка и тетя погибли не в Дахау и не в Бухенвальде, а в минском гетто. Что им не пришлось пройти через те места массовых истязаний и убийств, а прах их в земле Белоруссии, может, где-то в окрестностях Минска или даже в самом Минске. Теперь об этом никто не скажет, земля умеет хранить молчание. Да и какая, в конце концов, разница? Там ли, здесь ли? Та же темная зловещая сила унесла их. Земле безразлично, кто и что творит на ней. Она принимает в себя всех – и жертв, и их мучителей, не разбирая, кто прав, кто виноват. Ее не смутить предсмертными криками и стонами.

Или все-таки где-то вершится суд?

Ответа нет.

Да, я раздумываю о небольшом аккуратном домике с розами в палисадничке. И чтобы непременно в Дахау, – такой милый, ладный коттеджик, светленькие ситцевые занавесочки на окнах, птички мирно чирикают, тишина, покой и умиротворение. Я хочу поселиться именно там. И не потому, что желаю кому-то что-то доказать, а просто... Ходить по этой попидавшей всякое земле, можно сказать, в эпицентре человеческой лютости, словно ничего не происходило.

Словно прошлого нет. Смотреть на деревья, на бегущие по шоссе красивые мощные автомобили, на неторопливо идущих по своим делам прохожих. Поливать цветы. Говорить, пусть и с ужасным акцентом на местном языке и спокойно слушать в ответ гортанные резкие звуки. И оттого, что я буду там жить и ходить, и поливать, и разговаривать, может, земле и всем станет немного легче.

Ничего, я выдюжу.

Было, не было...

УПРЯМАЯ

– Никуда я не поеду, – твердо заявляет она, – останусь здесь.

Она сидит в большом обитом коричневым плюшем кресле, купленном специально для нее. Возле – торшер с желтым абажуром и узкий полированный журнальный столик со стопкой газет. Она много смотрит телевизор, читает, в кресле ей комфортно. Облаченная в бордовый мохеровый халат, она кажется маленькой, меньше, чем на самом деле. На притененном лице морщин почти не заметно, нет, она вовсе еще не старая, в ней еще много интереса к жизни, много энергии, хотя она быстро устает, на тумбочке возле кровати коробка с кучей лекарств.

Уговаривать ее бесполезно, вот уж кто чемпион по упрямству, так это она.

– Но почему?

– Не хочу.

– Ну и глупо. Были бы все вместе. Вместе спокойней.

Она отрицательно машет головой и еще глубже погружается в кресло.

– Ты пойми, всем будет лучше, если ты будешь с нами. Зачем тебе оставаться одной? Ситуация не простая, подонков всегда хватает, сама знаешь.

Знает ли она?

Настойчивый стук или наглый трезвон в дверь... Содрогающееся от ударов ногой дерево. Затаенное молчание или бестолковый, пьяный, разухабистый галдеж...

Пока, правда, это только аляповатые, неряшливые бумажки с темным пятном расплывающихся строчек фломастером – дебильные оскорбительные обвинения, гнусь, от которой к горлу удушливо ползет тошнота. Одну прилепили даже на двери в их подъезд.

Разумеется, на это не стоит обращать внимания, недоумков во все времена хватало. Он уже замечает, что успокаивает не столько ее, сколько себя, потому что все равно она не поедет, а он поедет, и жена, и сын, несмотря на то, что, конечно же, ничего не случится, точно не

случится. Если бы еще не эти навязчивые страхи... откуда-то из под-корки: а вдруг? ну а вдруг?..

— Я за себя не боюсь, — говорит она. — А вы поезжайте, обо мне не думайте.

За себя она, может, и вправду не боится. Отважная женщина — все знают. История про укрощенную собаку стала семейной легендой, это про нее. В памяти туманно всплывает ясный летний день, распахнутое окошко, у которого сгрудились несколько женщин, среди них мальчик лет пяти (это он), все напряженно смотрят во двор, где мама (ага, его мама!) в длинном, не по росту, мужском дождевике цвета хаки и высоких черных резиновых сапогах медленно приближается к огромной лохматой кавказской овчарке. Собака грозная, чуть ли не с теленка, мощные грудь и лапы, желтые клыки — с такой шутики плохи.

Как ее звали? Ну да пускай — Рекс.

Вообще-то пес был довольно миролюбивым, обычно лежал или прогуливался возле своей дощатой будки, проржавевшая тяжелая цепь мирно побрякивала, иногда он басовито ухал, если вдруг что-то не нравилось по ту сторону забора, и все в округе знали, что здесь живет Рекс, лучше его не дразнить.

И вот нате вам: Рекс на свободе, на мохнатой шее бесхозно болтается обрывок цепи, все укрылись в доме, потому что пес явно не в настроении и что вдруг взойдет в его собачий ум — неизвестно. Хозяев нет, а постояльцы для него кто? Гости, чужаки, одним словом. Была даже выдвинута страшная версия про бешенство, что еще больше взволновало и без того сильно напуганных, внезапно оказавшихся в осаде женщин.

Впрочем, особого страха мальчик не испытывал, собак он любил. Всяких. Но особенно крупных. Эрдельтерьеров, боксеров, овчарок, догов... Рекса, правда, побаивался, но не так чтоб очень, хотя подходить к нему близко не решался. К тому же и запрещено было строго-настрого. Смотреть же на него нравилось, он усаживался на крылечке и любовался мощным псом, каждое движение которого было исполнено собачьего достоинства и даже величия. Завораживало буквально все: и как тот зевал, щерился, обнажая огромные клыки, чесал за ухом или облизывал лапы, как смачно чавкал, поглощая корм из белого эмалированного тазика, как шумно встряхивался... Пес тоже на него поглядывал, явно свысока, не принимая, похоже, все-рьез, но и не выказывая никакой неприязни.

Тем не менее испуг и взвинченность женщин — бабушки и теток — передались и мальчугану. Вот уж нежданная угроза мирному дачному существованию, вроде как это не тот самый Рекс, к присутствию

которого все давно привыкли и под защитой которого чувствовали себя вполне комфортно, даже спокойней, чем если бы его не было.

Что делать, никто не знал. Тогда мама облачилась в этот хозяйский мешковатый брезентовый дождевик, напялила черные резиновые сапоги, хотя день был сухим и солнечным, и вышла во двор. В комнате царило напряженное молчание. Рекс же по-прежнему сидел неподалеку от своей будки и, жарко дыша, вывалив толстый красный язык, демонстрировал желтые тигриные клыки. В открытое окно было слышно, как в горле у него глухо клокочет. Рычанием это трудно было назвать – просто низкий прерывистый звук, от которого кровь стыла в жилах. Пугал ли он или просто на волю рвалась его природная свирепость, сказать трудно.

Путаясь в длинных полах шуршащего плаща и спотыкаясь в разбитых, не по размеру сапогах, медленно приближалась к нему мама. Где-то метрах в двух от пристально следящего за ней пса она приостановилась и ласково сказала:

– Слушай, Рекс, ты же хорошая собака. Зачем ты нас пугаешь? Ты же хорошая собака? Ты всегда был послушным псом, все тебя очень любят и ничего плохого никогда тебе не делали. Давай-ка, приятель, я тебя сейчас отведу на место, привяжу, а потом угощу вкусной косточкой, и мы снова станем друзьями. Правда, давай не будем ссориться.

Продолжая скалиться, Рекс чуть склонял голову, как бы вслушиваясь в слова, уши его подрагивали. А мама все приближалась, уже была рядом, уже брала его за ошейник и, усыпляя музыкой ласкового голоса, вела озадаченного пса к будке. Рекс послушно шествовал рядом с ней, и в тот момент было особенно заметно, какой он все-таки громадный.

Но вот – о чудо! – он уже на привязи, а мама, почти не узнаваемая в своем балахоне, победно возвращается в дом, и уже совсем скоро – снова такая же, как всегда, только немного бледная, хотя, возможно, это только теперь, спустя десятилетия, мерещится, что бледная; эпизод маячит перед глазами смутно, как на старой изношенной киноплёнке.

Идея уехать куда-нибудь на несколько дней, пока не улягутся страсти и страхи, не так уж глупа, даже если опасения кажутся немного сумасшедшими и похожи на паранойю, на манию преследования. И тем не менее. Конечно, маньяков и дебилов хватает, массовое помутнение душ и мозгов происходит незаметно, но всегда неожиданно, как стихийное бедствие. Хрен знает, от чего это зависит. Может, от положения звезд, магнитных бурь, наступления нового

зона или всяких закулисных политических игр (впрочем, без них не обходится).

Увы, бывало неоднократно: вчера вроде бы еще вполне нормальные люди вдруг оказывались по разную сторону: одни, наполняясь агрессией, превращались в насильников, другие – в жертв. Жертвы, даже если их немало, как правило, все равно в меньшинстве, разрозненны и уязвимы. А раз ты не уверен, что сможешь противостоять и сопротивляться, то лучше не рисковать, а вовремя исчезнуть, покинуть насиженное место, затеряться в пространстве.

Он знает, что все равно они это сделают, то есть уедут дня на два – на три, а то и на неделю, пока все не уляжется. Но как быть с ней? Не могут же они оставить ее одну.

– Почему нет? Поезжайте! Со мной все будет в порядке.

Завидная невозмутимость. Или это просто равнодушие к уже почти прожитой жизни? А может, все то же бесстрашие, какое она когда-то продемонстрировала с собакой Рексом? Не случайно, наверно, во время войны была переводчицей в разведгруппе, тоже ведь свидетельство. Рассказывала, как однажды остановились в пустой деревне, и вдруг посреди ночи – немецкая речь, совсем близко, растолкали командира, накануне выпившего местного самогона, тот спросонья гаркнул: «Какие еще немцы?..», выхватил пистолет и нетвердым шагом двинулся на голоса. Пока там горланили и вязали его, двое оставшихся, она в том числе, открыли окно и метнулись в лес.

Давно об этом рассказывала, он еще мальцом был, подробности уже не помнились.

Сейчас она неподвижно сидела в большом кресле, как какая-нибудь важная дама, и ясно было, что ее не переупрямить.

И все-таки: чувство собственного достоинства или безразличие к тому, что может случиться? А может, давний стоицизм, с годами все более укреплявшийся, верней даже – фатализм: как будет, так будет? Жизнь позади, что уж тут суетиться? Тем более, когда рушится все, во что ты верил?

Она верила. И в справедливость, и в светлое будущее. Многие верили. Разве можно было подумать, что снова придется прятаться, куда-то бежать, скрываться? А между тем бумажки, расклеенные на стенах домов, заборах и столбах, кликушествуя, призывали к чему? Он видел их своими глазами. И она тоже видела, когда выходила в магазин или просто прогуляться, посидеть на скамеечке.

Как бы там ни было, лучше подстраховаться – история подсказывала: никакие рациональные выкладки здесь не работают. Так он ее убеждал, стараясь не повышать голоса, будто речь шла о чем-то

вполне обыденном и заурядном, внутри, однако, жгло, потому что во всем этом была жуть неправдоподобия и неотвратимости. Вроде темная грозовая туча наползала, тайфун, ураган, торнадо, даже укрывшись от которых ты все равно не застрахован от гибели – завертит и унесет. Но ураган – это естественное, природное, от человека никак не зависящее, не унижающее его. Здесь же совсем иное – грубое, омерзительное, пахнущее кровью...

Когда он начинал думать об этом, в мозгу щелкало и отключалось, как будто это все снится, а он не может проснуться. Вот и сейчас он расхаживал по комнате перед сидящей в глубоком кресле пожилой женщиной и то спокойно, то горячась и нервничая говорил какие-то маловразумительные слова про сложную ситуацию, про помутнение мозгов, про то, что в такие времена лучше держаться вместе... И вообще, они просто поедут на несколько дней в гости.

– В гости? – задумчиво переспросила она и с иронией посмотрела на него.

Этот взгляд он тоже помнил. Тогда у них остановились буквально на пару дней родственники из Минска, пожилая семейная пара, уезжавшая с концами в Америку. Время было хоть и не каннибальское, но все равно не совсем безобидное: те, кто эмигрировал или только собирался эмигрировать, пользовались особым вниманием соответствующих органов. И те, кто с ними близко контактировал (как и с иностранцами), – тоже.

Разумеется, они их приютили, и тот самый легендарный бесстрашный Лазарь, во время войны ставший партизаном и чудом вызволивший своих родителей из минского гетто, седой коренастый дядька, пил чай у них на кухне вместе с тихой, молчаливой женой, рассказывал о перипетиях минского житья-бытья, о всяких пакостях, которые им устраивались при оформлении выездной визы, а он смотрел на него и думал, что этот человек хорошо знал его бабушку и тетю, уничтоженных в том же самом минском гетто.

Лазарь вовсю крыл советскую власть, которая не давала никаких шансов на продвижение его изобретений, а к тем, которые все-таки удавалось запатентовать, примазывались всякие чинуши, так что и заработать почти ничего не удавалось. Его не хотели выпускать, но и работать нормально не давали, так что пришлось потратить уйму сил и нервов, чтобы в конце концов дали разрешение. Теперь их заботой были остававшиеся в Минске сын и дочь; сын работал, дочь училась в институте, но из-за отъезда Лазаря и его жены у них уже начались проблемы, их надо было увозить из страны. Но это чуть позже, когда сами устроятся на новом месте. Лазарь говорил об этом как о решен-

ном, и даже сомнения не возникало, что так все и будет – большой внутренней силой веяло от этого невысокого седовласого человека.

А ведь теперь органы могли заинтересоваться и им тоже. Он только начинал работать в своем НИИ, заканчивал заочную аспирантуру, собирался защищать диссертацию, сын подрастал и вот-вот должен был пойти в школу, – в общем, все вроде нормально, грех жаловаться. Но как могло повернуться теперь, после визита Лазаря, предугадать было трудно; уже одно, что мысли об этом непроизвольно лезли в голову, вызывало легкое подташнивание. И Лазарь, кем он совсем недавно искренне восхищался, уже не казался таким замечательным: они-то ведь оставались и не собирались никуда уезжать.

Об этом он как бы между прочим и сказал матери, когда родственников уже проводили. С вырвавшимся неожиданно раздражением пробурчал, словно те были виноваты перед ними. А разве нет? Разве не подставляли их, пусть и непреднамеренно? Аспирантура, институт, ну и так далее – все могло пойти прахом. Тогда-то он и поймал ее скользнувший по нему чуть насмешливый взгляд: а ты, парень, кажется, сдрейфил, ну да, сдрейфил... Это уязвляло и раззадоривало, он еще что-то говорил горячо и даже зло, как бы обвиняя и оправдываясь одновременно.

– Ты как? – это он спрашивал ее по телефону и мысленно видел в полутемной комнате ее фигуру в глубоком кресле.

– Нормально.

Они всегда так говорили: нормально. И немного обижались, потому что «нормально» – это неизвестно как и вроде даже нежелание поделиться.

– Что делаешь?

– Смотрю телевизор.

– А что там?

– Старый фильм.

– Как называется?

– Не знаю.

– Не скучаешь?

– Почему я должна скучать?

И после недолгой, но ощутимой паузы:

– А вы как там?

Все-таки спросила, значит, не очень обижается. Но ведь сама же не захотела, звали же! Можно, однако, не хотеть, не соглашаться и все равно обижаться. Не раз так бывало.

Упрямство опять же. Характер.

Теперь вокруг них все другое, новое, хотя постепенно, день за днем, час за часом незаметно становится привычным. Тогдашний их отъезд на пару дней за город оказался своего рода репетицией другого отъезда, но уже не за город, а в другую страну, с другим ландшафтом, другим языком, другими проблемами, и не на пару дней, не на неделю, а скорей всего надолго, не исключено — навсегда. Здесь тоже было всякое, настораживающее, даже пугающее, но зато не было паскудных бумажек на столбах и стенах, а главное, не было ощущения унижительной беззащитности.

Они ей звонили, звали приехать к ним, для начала осмотреться, а там бы и определилось как-нибудь. Снова была бы с ними. Вместе же лучше!

Но все повторялось: «Никуда я не поеду...»

Москва

Татьяна Скрундзь

Кукушка

Дом стоял в начале улицы, прямой, как взлетная полоса, возле старого собора, в котором в те годы располагался краеведческий музей. Стены собора были грязно-белыми, купола без крестов. Высокая храмовая колокольня виднелась издалека. Если высунуться на полторса из окна пятого этажа хрущевки, где я жил с бабушкой и родителями, колокольня просматривалась насквозь.

Под окнами пролегал проспект. Он упирался в просторную площадь, ограниченную с одной стороны соборным комплексом, с другой – памятником. За спиной памятника начинался квартал, состоящий сплошь из «сталинок». Это был самый богатый квартал в городе, жили в нем депутаты и градоначальники, и я знал об этом, потому что детсадовская однокашница была одной из них. Девочку звали Майей Малиновой, и сама она была вся, как свое имя, – розовая, тоненькая и заносчивая.

В одном из таких домов на нижнем этаже располагался самый большой в городе гастроном, в масштабах нашего городка сравнимый со столичным «Елисеевским». Иногда под стеклом витрин здесь можно было увидеть деликатесы вроде копченой колбасы. В гастрономе на единственной кассе работала бабушкина приятельница – тетя Шура.

Когда я достиг возраста сознательности, и бабушка стала доверять мне незначительные покупки, касса стала интересовать меня больше всего в этом гастрономе. Она представляла из себя фанерную будку высотой метра в полтора. На фанере закреплено еще высокое стекло с полукруглым окошком для передачи денег. Чтобы купить продукты, нужно сначала назвать их все по очереди, и кассир щелчками пробьет стоимость. Затем из щели в металлическом ящике волшебным образом выползет бумажный язычок с непонятными знаками и цифрами, которые служат кодом для полной женщины в сероватом переднике за прилавком. Она подаст все необходимое после того, как внимательно изучит бумажку.

– Пакет молока, полбуханки черного и батон, – очень ответственно произносил я, вставая на цыпочки и вытягиваясь, как стела, чтобы подать деньги.

В окошке являлось улыбающееся тети Шурино лицо в обрамле-

нии иссиня-белой от седины и тщательно набигудюженной прически. Из густых кудрей торчала пластиковая диадема с резными краями. В гастрономе все продавцы носили такие, но у кассира диадема была выше и узорчатей.

Вместе с чеком тетя Шура иногда вкладывала в мою ладонь конфету. Я тотчас совал сладость за щеку.

Тетя Шура испокон веку дружила с бабушкой. Где они познакомились, неизвестно. Бабушка всю жизнь работала доктором, а тетя Шура была королевой гастронома. Они были ровесницами, или я не умел уловить разницу в возрасте. Они были похожи, особенно в домашней обстановке – в штопанных чулках и цветастых халатах. В карманах халатов у обеих всегда водились сладости.

Но были и различия. Кроме поликлиники, бабушка принимала дома, в своей небольшой комнатке. Больные приходили ежедневно. А в праздники наша квартира была полна гостей – бывшие бабушкины пациенты приносили цветы. Я мог наблюдать оказываемое ей уважение. Верно, она была хорошим врачом.

Тети Шурина профессия вызывала почтение иного рода. Так впечатляет, к примеру, масштаб небоскреба или большая блестящая машина. Обращались к ней всегда почтительно. Как-то раз я наблюдал, как к кассе подходит нестарый мужчина в костюме, тетя Шура выходит к нему навстречу, обменивается с ним какими-то свертками, а потом этот дипломат берет ее за руку и склоняет голову. Не иначе – королева.

Даже фанерная будка выглядела, как трон, с высоким постаментом для стула внутри, чтобы взрослый покупатель, стоя у окошка, таким образом оказывался лицом к лицу с кассиром. Но то взрослый. Я же, задирая свою пятилетнюю голову, видел тетю Шуру снизу вверх на фоне потолка, окрашенного в эпические тона советского декора. На таком фоне ангельские кудри смотрелись легкомысленно, что, впрочем, не умаляло тети Шурино величия. Еще не знакомый в своем возрасте с гордостью, я, тем не менее, испытывал смутное чувство превосходства перед другими покупателями, жавшимися в очереди позади. Правда, бабушка с тетей Шурой вела себя просто. Если я приходил в магазин с нею, она выдвигала меня с деньгами вперед, а с приятельницей здоровалась со сдержанной доброжелательностью. Мне это почему-то нравилось. Какая-то тайна присутствовала между ними.

Дружили они по телефону. Бывало, занимали аппарат часами. Я слышал скорбные интонации в голосе бабушки, а иногда восклицания:

– Ах, что поделать, что поделать!

О чем шла речь, меня не волновало. Волнительным было вот что: каждый раз после таких продолжительных бесед меня посылали

на другой конец улицы с посылкой, будто Красную Шапочку – через весь лес. В «корзинке» могли лежать сушеные грибы, ароматный яблочный пирог, ягоды с нашей дачи. Домой я тоже возвращался с гостинцами – отрез колбасы или куль редких конфет.

Чтобы добраться до адресата, нужно было пройти два квартала, пересечь дорогу с трамвайными рельсами по светофорному переходу, потом пройти еще два квартала и свернуть в полный зелени двор, благоухающий клумбовыми петуньями. Тетя Шура жила в последнем подъезде.

Автомобили и трамваи в то время ходили нечасто. Как многие дети, я говорил «транвай», искренне не понимая, как можно коверкать слово буквой «м». Силясь уразуметь власть грамоты над внутренней сутью языка, я любил следить бег сказочных желто-красных фургончиков из окна своей комнаты. Трамвай казался особенно фантастичным глубокими вечерами, когда прохожие растворялись в оранжевом свете включенных фонарей, будто призраки, и последние автомобили, с высоты похожие на игрушечные машинки из моей коллекции, один за другим разъезжались по своим гаражным ночлежкам. На опустевшей улице, в тишине, как в замершем времени, появлялся он – волшебный дозорный спящего города, светящийся желтым светом и совершенно пустой изнутри. Он скользил по блестящим рельсам и нежно позванивал.

Летом окна в доме держали открытыми, звонок был хорошо слышен. Зимой же из фонарей, точно в беззвучной пантомиме, падал снег. Трамвай плыл по белому полотну, оставляя позади след из двух параллельных прямых. В такой час он казался особенно легким в своем ходе, почти живым, сознающим предназначение свыше и исполняющим его существом. Знать имя существа тогда становилось неважно, достаточно было одного восхищения.

Днем я смотрел на трамвай почти равнодушно. При свете солнца в кабине был вагоновожатый, волшебство исчезало. Кроме того я уже знал – одним таинством мир не ограничивается.

Я отчетливо запомнил то лето, когда впервые оказался у тети Шуры в гостях вместе с бабушкой. Хозяйка провела нас в комнату, где стоял накрытый к чаю стол. Взрослые начали туманный разговор. Я крутился на стуле и поедал зефир.

– Никаких изменений? – спрашивала бабушка.

– Куда там, – отвечала тетя Шура. – Лекарства вроде помогают, после них она спокойней. Сейчас вот спит, вообще она очень много спит.

– А память? – спрашивала бабушка. – В прошлый раз она меня не узнала, а ведь неделя прошла. К тому же целыми днями одна.

– Меня еще узнает. Мне тут порекомендовали одну лечебницу. Но ты ведь заешь, что это такое. Там больные, как сироты, лежат. Я так не смогу.

Бабушка клала свою коричневую морщинистую ладонь на тети Шурину, тоже морщинистую, но бледную, с тонкими пальцами.

– Шура, ей еще нет и восьмидесяти. Организм еще может бороться. А в больнице неплохой уход, я могла бы помочь устроить получше.

– Зоя, нет, не могу. Да я ведь не жалуюсь. Конечно, устаю иногда. Но пусть уж дома, так лучше. А тебе спасибо, районные врачи давно рукой махнули. Вот бы еще к Але вырваться. Внука повидать тоже хочется, ему недавно два годика исполнилось. Аля фотографии присылала.

Тетя Шура улыбалась и смахивала соринки из глаз. Аля – взрослая дочь тети Шуры, она жила в другом городе, и я никогда ее не видел и никак не представлял. Зато я выдумывал себе ее мальчика, как он приезжает и ест зефир, сидя на высоком стуле и болтая, как и я, своими толстыми ногами. Я был страшно худ, но мне отчего-то казалось, что внук королевы гастронома обязательно должен быть упитан и весел. Мне стало смешно; увлекшись, я перестал слушать, а потеряв нить разговора, скоро заскучал. И вот, как раз в ту минуту, когда усидеть на месте сделалось невозможным, из прихожей донесся громкий щелчок, и сразу после него – глухие удары и звуки, каких я прежде никогда не слышал.

Я незаметно сполз со своего места и пробрался в крохотное помещение у входной двери. Там было сумрачно, но из проема, разделяющего прихожую с комнатой, лился слабый дневной свет. Пахло дерматиновой отделкой под красный кирпич. В углу стояла вешалка с грудой одежды. А напротив входной двери, очень высоко, висели старинные часы в форме домика с треугольной крышей. Пришлось задрать голову, чтобы разглядеть их. И я замер, как соляной столп: под коньком крыши домика распахивалось окошко, и оттуда появлялась, говорила («у-у») и тут же вновь пряталась назад крохотная птичка с глазами-бусинками, красным клювом и пестрым оперением. «У-у, у-у, у-у», – повторяла кукушка. «Бом-бом-бом», – вторил невидимый гонг.

Завороженный, я, непоседа, не мог сдвинуться с места, покуда бой не умолк, и дверца не захлопнулась окончательно. Маятник мерно раскачивался туда-сюда, из комнаты по-прежнему доносился негромкий разговор. Они ничего не заметили. Я был один. Но в то же время и не один. Там, в часах, сидела живая (а я не сомневался, что она живая) птица. Я еще немного постоял, но больше ничего не происходило. Ходики тикали, их изящный аристократизм вовлекал в

свой неторопливый, неуклонный ритм. Что-то внутри побрякивало и посвистывало. С ощутимой тяжестью качались на тонких цепочках пудовые гири. Царственными шажками двигались резные стрелки по фарфоровому циферблату. Пожалуй, часы тоже были живыми. Как ночной трамвай, с которым их роднил тонкий механический звук, похожий на шевеление внутренних токов в человеческом организме. Но главное, конечно – кукушка.

Я ждал ее до тех пор, пока бабушка не объявила, что пора уходить.

– Ты, Шура, звони всегда, – сказала она на прощанье. – Если что забудешь, напомню. А у нас скоро засолка, пришлю Юру с баночкой-другой.

– Ну что ты, что ты, – засмущалась тетя Шура.

– Не возражай. Все свое ведь...

Меня посылали к тете Шуре довольно часто. Я никому не рассказывал о кукушке, но в пять лет нетрудно и самому разгадать систему временных координат и постараться приходить к ровному часу. Почти всегда это удавалось.

Матери тети Шуры я никогда не видел. Она не выходила из дальней комнаты, и ее как бы и не существовало. Позже бабушка рассказывала, что похоронив ее, тетя Шура уехала к своей Але. Случилось это в тот же год, когда мне было пять лет.

Но пока тетя Шура жила совсем рядом, и я радовался, что вожу дружбу с таким важным человеком, как королева гастронома. Она встречала меня всегда в простом старушечьем платье, близнеце всех домашних халатов того поколения. Выцветшие незабудки на тщательно отутюженном подоле. Круглый воротничок. Форменную корону тетя Шура дома не надевала, делаясь от этого проще и ближе.

Смущаясь, я отдавал ей сумку с передачей и, весь трепеща, тарачился на часы. За пару месяцев я выучился считать до двенадцати и уже без труда узнавал цифры. Если я приходил чуть раньше полудня, тетя Шура никогда не торопила меня, мы ожидали боя с кукушкой в приятных беседах.

– Как поживает мама, Юрочка?

– Хорошо, – я поглядывал за стрелками.

– А папа?

– Да он на работе, – большая вот-вот встанет вертикально, и...

– Скоро выходной день, если захочешь, приходи ко мне в гости просто так. Когда гулять будешь, например. Забегай всегда, не стесняйся.

– Хорошо.

И когда звучал первый удар, тетя Шура умолкала. Кажется, она

догадывалась о моей тайне, и мы вместе наблюдали за кукушкой. Я – с открытым ртом, тетя Шура с полуулыбкой на тонких губах.

Мы с бабушкой еще как-то очутились здесь вместе. Как и в прошлый раз, взрослые сидели за накрытым столом и вели скучные разговоры. А я то и дело поглядывал в сторону прихожей и немного нервничал. Но вот уже все засобирались, а часы как назло никак не хотели догнать ровный час. Обуваясь перед дверью, я старательно медлил с застежкой на сандалиях, а потом замялся, не желая прощаться.

– Что ты, Юра? – спросила бабушка. – Забыл что?

Тетя Шура всполошилась.

– Кукушка! Юра, ты кукушку ждал?

Я кивнул.

– Зоя, мы же традицию завели. Обращала ли ты внимание на вот эти часы, как они бьют? Давай послушаем, я подведу. Правда, сейчас без десяти час – только один удар.

Она гордо взглянула на ходики и продолжила, уже открывая стеклянную дверку циферблата:

– Это фамильные часы. Произведены были в Германии, еще при кайзере, представь только. Ручная работа. Мне достались, можно сказать, по наследству. Когда-то они висели в лютеранской кирхе. Там на обратной стороне печать осталась – 1880 год.

Бабушка уважительно закивала. Тетя Шура сдвинула длинную стрелку на цифру двенадцать. В нутре часового механизма лязгнуло, стукнуло, весь домик будто содрогнулся, и в миг удара площадкой о гонг распахнулась дверца, и оттуда на секунду выпорхнула моя любимица: «у-у». И вновь зазвучало мерное тиканье.

– И все? – бабушка засмеялась.

А я готов был заплакать от досады. Ну как же так! Тут и впрямь ничего не поймешь, и бабушка наверняка ничего не поняла, потому что сразу сказала:

– Ну все, Юра, пора прощаться.

Видимо, лицо мое выразило настолько глубокое разочарование, что тетя Шура, взглянув на меня, вдруг решительно вступилась за меня и кукушку.

– Подожди, Зоя. Нужно вернуть стрелки на прежнее время, – она подмигнула мне, но я не понял предлагаемого фокуса.

В животе образовалась неприятная тяжесть. Почему время так хитро владеет нами всеми? Я насупился и смотрел в пол, ожидая, когда бабушка распахнет дверь и подтолкнет меня к выходу на лестничную клетку.

– В таких часах все равно нельзя крутить стрелки назад, – продолжала тетя Шура. – Только вперед, и чтобы количество часов отби-

валось полностью. А иначе механизм сломается. Так что, если у вас есть минутка...

Я взглянул на бабушку. Она встала в позу ожидания, а тетя Шура повернулась к часам и начала прокручивать большую стрелку по кругу, останавливаясь всякий раз, когда маленькая, неторопливо следуя за ней, достигала следующей цифры.

Механизм урчал непрерывно, одна из гирь – чего я не замечал до сих пор – ползла вниз, маятник не останавливался, но тиканья было совсем не слышно. Кукушка без устали выпархивала и вновь и вновь повторяла свой тихий призыв. Время идет! – твердила она. – Время бежит! Чучелка, а теперь я отчетливо ее разглядел, действительно была сделана из настоящих перьев, скорее всего, от серого волнистого попугайчика. Бусинки глаз сверкали, отражая – один – голубоватый свет из окна комнаты, другой – электрический желтый, от лампочки в коридоре. Блики придавали ей задорной дикости, но едва кукушка пряталась, как хотелось снова ее увидеть, и она исполняла мое желание раз за разом, удар за ударом. Наконец, все стихло. Тетя Шура установила стрелки на без пяти час, закрыла стеклянную створку и подтянула вверх одну спустившуюся на цепи до самого пола гирю.

– Спасибо, – не помню, произнес ли я это слово вслух или только подумал.

Бабушка заторопилась. Уходя, я еще раз взглянул на часы и еще раз, с благодарностью, на тетю Шуру. И внезапно все понял. Игрушечная пигалица на пружине в окошке деревянного домика отсчитывала время наших жизней – моей, тети Шуриной и бабушкиной, и той неведомой тети Шуриной матери ровно одинаково. И все же ни изящные стрелки, ни маятник, ни сама чучелка не имели никакой силы без того, кто владеет ими. И еще я услышал присутствие чего-то, что выше времени, что имеет власть над ним и над всеми нами. Мне стало страшно и торжественно одновременно.

Тогда я всего этого не мыслил, но чувствовал многое и оттого многое – много больше нынешнего – просто знал. Кукушка была волшебством, и это волшебство не утратило для меня милотой привлекательности до сего дня, и до сих пор во мне вызывают трепет антикварные механические часы с боем; равно и крутобокие трамваи, какие встречаются иногда в старых европейских городках, напоминают мне мирные годы детства.

Когда мы с бабушкой уже выходили из тети Шуриной квартиры, прозвучал-таки еще один удар часового гонга – пробил час пополудни. До конца дня, я помню, во мне светилось какое-то незнакомое раньше счастье, но я был печален. Я знал, что больше не приду сюда. Так и случилось – вскоре тетя Шура оставила наш городок.

Зоя Межирова

СКВОЗЬ ПРЕДВЕЧЕРНЮЮ ПРОХЛАДУ...

Нет уже прошлой жизни,
Как нет сгоревшей дачи под Москвой,
Где так часто бывала в детстве,
Где летом жили бабушка с дедушкой,
Где играла с Валечкой,
Трагически нелепо погибшей в ранней юности,
С которой варили суп из лепестков ромашек
В игрушечных, крохотных кастрюльках,
Примостившись у прогнившей,
В несколько ступенек лестницы,
Ведущей на огромную круглую террасу
Деревянного старого дома,
Сложенного из толстых потемневших бревен,
Так удивительно пахнувших,
Чей запах воскрешал все детали,
Казалось, ускользающие навечно.

Наше самое любимое время – сумерки.
Когда загораются их огни,
Мы садимся на велосипеды
И сквозь предвечернюю прохладу
Едем по дороге к полю,
А потом –
Сворачиваем на лесные тропинки
Между дачами.

Там уже зажглись желтые лампы
В окнах и над дверьми.
Мы едем, переговариваемся, смеемся
И никуда не торопимся.
Наши души уже никогда не забудут
Этих вечерних прогулок.
Я буду их совершать и спустя десятилетия,
Во влажном тяжелом зное летней Вирджинии,
Где нет ароматов леса и поля,
Оставшихся на расстоянии десятков тысяч миль,
На другом полушарии.

Тихая, полуразвалившаяся,
Заросшая сторожка у леса.
Горьковатый запах шишек на участке
От готовящегося перед ужином самовара,
И долгие разговоры почти в темноте
На террасе перед сном.

Валечки уже давно нет
И сгорела наша дача у заросшей сторожки.
Время неминуемо течет.
И все же его нет,
Как нет и разделяющего нас пространства...

* * *

Я увижу снег в горах, где в метелях спит сосна.
Там по склонам снежный прах вьется, кружит до темна.

Тянет вдаль фуникулер тонкую в туманах нить.
И такая тишина, что и слов не обронить.

Темный сруб всегда молчит. Звуками его не тронь.
В нем в камине на дровах весел пляшущий огонь.

У крутых безмолвных гор дни по-прежнему тихи.
Даже в книге на столе чуть заснежены стихи.

Под бесшумный снегопад ярки отсветы огня.
Лыжников цветной наряд все бледней в тумане дня.

Поисковый пес войдет, снегом ветреным пропах.
Он сегодня отыскал потерявшихся в горах.

Шерсть густую отряхнет, цепью тяжкою звеня.
Ляжет мирно у огня, тихо взглянет на меня.

И бесстрашен и суров, знает, – всякий день в горах
У гряды седых вершин потонул, как след, в снегах.

В облаке тепла и сна помнит – гор не покорить.
Ввысь скользит фуникулер, тоньше тающая нить.

От поленьев льется жар, угли тают горячо.
Я уеду в снежный стих, не дописанный еще.

* * *

Как нелегко бесшумно скользить
Вдоль терпкой печали темных лекал.
Да просто ночь свой тайных огонь
Пролила в блистающий дня фиал.

Не исхлестан ливнями и не промок,
Ветвится корнями в сырой земле
Успенье твоё, — чёрный цветок,
Листьями шевелит весь день и во мгле.

ЖИВОПИСЬ КАТИ МОСКОВСКОЙ

Дворик пустынный.
И хмурый задумчивый дом.
Ива поникла
Над старым заросшим прудом.

Дай поброжу
По листве бездорожья аллея.
И по проулкам,
Где призраки странных теней.

Воспоминанья кружатся
Опавшим листом.
Прага взмывает
Высоким Кремлем за мостом.

Ночь соскользнула
По темным полозьям перил.
Ангел под аркой
Перо из крыла уронил.

Света ночного
Мерцающие светляки...

Вьются, поют
В канифоли скрипичной смычки...

Старый подрамник.
Вчерашнего грунта нарост.
Блики мелодий
Под кистью ложатся на холст...

ПАМЯТИ ОТЦА

Приличествуют жалобы тебе ль,
Чья жизнь прошла, казалось бы, в забавах.
Ты был рабом, изгоем, а теперь
Окажешься изгнанником вдобавок...

Александр Межиров

Квартирка на Бродвее,
Почти к нему впритык.
Кругом чужой язык.
Далекий материк.

Он и теперь к России,
Как и тогда приник.
Она ему родник,
И крест, и гнет вериг.

От горестных раздумий
Ходил крутой кадык.
К смиренью попривык.
Мечтатель. Еретик.

На стеллажах открытых
Ряды московских книг.
И Смелякова лик.
Потушенный ночник.

Решеньем невозвратным
Чужбины хриплый рык.
Отступника ярлык.
Изгнания ученик.

Сизтл

Татьяна Ананич

Говорят, секса не было, но не то чтобы рождались боги.
Говорят, партия – рулевой, но не то чтобы докатились дороги
так; и отнюдь не вторая беда, ибо – «лучшие педагоги».
Так говорят. «Миру – мир», но не то чтобы всему миру.
Что-то напоминает тот серп, но не то чтоб совсем уж секиру.
«За четыре года даешь пятилетку», но не то чтобы времени в обрез.
Сын расстрелянного поэта в «Крестах», но не то чтобы за протест.
Что-то напоминает тот молот, но не то чтоб совсем уже крест.
«Ангажированный» спектакль, но не то чтоб полным-полно мест.
Космос покончил с адом, но не то чтобы с «красным уголком»:
вожди на «иконах», мумия «красного» под – не то чтобы – колпаком.
«Отстроим светлое будущее», но не то чтобы до небес.
Эмблема затертая: «СЛАВА КП...» – не то чтобы без «СС».

* * *

Отболев, отстрадав, отлюбя –
не отлюбив, ибо еще помня
«непорочные» те черты,
стоя здесь у провальной черты,
я бросаю на ветер твое имя
во имя
уходящего дня.

И в приношение ревнования
надломлю черствый хлеб из
ячменной своей мўки
(отчаяния перезрелый плод) и из-
опью горькой этой воды –
с горсткой продажной родной земли
вперемешку, с коей в разлуке
я столько же лет, сколь с тобой,
Пречистая, – за тебя.

* * *

Эйлатский камень. Соль. Трава. Песок.
Извилистая каменная дорога.
Пыль на скитальческих сандалях. Рог
пастуха. Лимонно-желтого этрога
полынный сок. Трава. Песок. Йильди...

Щемящее есть что-то в этих далях.
Как будто бы мы здесь на волосок
от, знает Бог чего. — Что мы видали. —
Тому, кто возвращается, тропа
протоптанная некогда, сподручней.
Но что сподручность, коль в ногах ни «па»,
ни правды нет, ни легкости. Все тучней
небо над косматой головой
измученного жаждой пилигрима.
И если мы с тобой идем мысок в мысок —
дойдя до сути, вновь собьемся в «мимо».

* * *

Money, money, money.
Always sunny
In the rich man's world.

Слова из песни группы «ABBA»

Песня из прошлого века «Мани-мани»,
впрочем, — на все времена.
Бездуховность, впрочем, прикрытая платьем «Армани».
«Славься, славься, моя страна», —
доносится из авто эмигранта-таксиста,
что везет опаздывающего семинариста
втридорога. Дама с собачкой. Афродизиак.
Притаившийся в подворотне маньяк
с мученическим лицом Фейербаха —
мыслителя, сына «криминалиста».
В церкви через дорогу — четыре евангелиста
на витражах. Слышится «Фантазия — Баха —
и fuga соль минор».
Проезжающий в дорогом авто мажор
заглушает церковный речитатив рэпом из магнитолы.
Разборки подростков за углом средней школы
на расовой почве, впрочем, — для самоутверждения.
В телевизоре местного паба свои убеждения
декларирует политик — нечто распутное
видится в изгибах его рта.
Говорит он, быть может, что-то путное,
но его не слушает никто ни черта.
Все пьют пиво и заедают тощей таранкой.
Да, в том пабе с прохуdivшейся дранкой,

где внизу намотаны против часовой ветром флаги
всех держав, как рулоны туалетной бумаги.
Бедный поэт с легкомысленной иностранкой
изъясняется на ломаном языке.
«Ничего не найти в этом бардаке!» –
кричит некто с третьего этажа.
Престарелая разодетая в пух и прах госпожа
лебедкой плывет под руку с молодым любовником.
В книжном автографы раздает прозаик,
крутит-вертит новеньким однотомником
(нашумевший бестселлер про кис и заек).
В салоне красавицы наводят себе марафет,
прохудился у них там давно паркет.
Впрочем, речь не о половой теме.
Блондинка под колпаком фена, как в шлеме,
читает «Худеем с умом» с затертою буквою «с» –
Знак заземления. Неподалеку – молнии, как с СС
эмблемы. Осторожно! Череп и кости.
Бедный еврейский художник бросает кости
дрожащей рукой на зеленый репс.
Он застрелится минутою позже,
проигравшись в крэпс.

Лос-Анджелес

Владимир Батшев

Приключения с турецким барабаном

1

...в тот день, когда самолет помчался по бетонке в Танарифе, и мчался, и мчался. И это успокаивало нервы, потому что разбиться на бетонке не страшно – не облака, откуда падать очень больно.

Так вот, самолет побежал по бетонке в Танарифе и обязательно туда бы добежал, потому что Кий задернул шторку круглого отверстия во внешний мир и оказался в уютном внутреннем мире комфортабельного аэроплана, который ныне модно называть аэробусом. Странная аналогия идет от автобуса, но ведь мало у кого всерьез возникнет желание сравнивать небесный быстроход с земным тихоходом. Ну, кто, скажите на милость, спит в городском транспорте? Разве пьяный. Кто, ответьте мне, пожалуйста, образованные современники, пьет в дизельном агрегате алкогольные напитки, и вообще, откуда там лошечные стюарды и длинноногие стюардессы, мечта театральной публики конца шестидесятых годов? Неправильно сравнивать лайнер внеземной с механизмом, бегущим по поверхности.

Но Кий был именно исключением: он не только сравнивал, но и насильно заставлял себя перейти из самолета в автобус, из состояния бодрствования в полупьяное состояние интродукции, потому бег «Боинга» компании «Люфтганза» по бетону полностью соответствовал его представлению о беге автобуса Минского автозавода по шоссе.

Исходя из этого Кий и утверждал незыблемое: самолет прибегит в Танарифе.

На Танарифе Кийа вытолкнула жена, звали ее в мирной жизни обыкновенным именем Леокадия, которую Кий в судорогах ссор неизбежно обзывал «кадкой» или «кадкой с фикусом».

Но жене Леокадии к моменту нашего рассказа настолько надоел полупьяный вид супруга Федора Кайгорода, более известного под псевдонимом Кий, потому что подписывался таким образом – «Кай.Ф.», что означало «Кайгород Федор», отсюда и пошло – Кий да Кий – от жены пошло, не иначе, от нее, гадины, подкольной змеюки.

...вспомнил строчки, что родились, когда уходил в сон, когда самолет резал облака на непропорциональные, а значит и – нерацио-

нальные куски, – впрочем, что означает радио в подобном сравнении, чушь и штамп, родившийся от чтения паскудной советской беллетристики

...когда облака раздавались под его тупым, но острым носом, когда тучи отступали.

Расступались.

Освобождая путь, когда сон наложил подушку на глаза и картинки кинофильмов пропали, когда появились строчки

опять не те, опять не те,
мечтая о которых,
мы молча гладим в темноте
под рев чужих моторов.

2

...что она сочла необходимым (для себя) отдохнуть (от вида его). Благо, Леокадия имела виды на другой вид, честно сказать. На вид в Бергамо. Туда ее приглашал знакомый новый русский маклер, который раньше был дилером, а еще раньше – мелким жуликом и научным сотрудником по совместительству.

Она купила безработному мужу туристическую путевку – лист красивой голубой бумаги, слегка вошеной на ощупь, а на самом деле просто такой сорт бумаги. Самолично купить путевку господин-товарищ Кайгород не мог. Говоря, в переводе с иностранного, – не имел возможности. Киностудия, на которой он трудился рекламным сценаристом, разорилась и потому Кий, не воспринимая наступившее бездельное безденежье как окончательное, все-таки был им травмирован. А как всем известно, подобные травмы лучше всего лечить в путешествиях.

Путешествия заканчивались в рюмочной на углу Измайловского бульвара и Парковой улицы № 9. Здесь в бывшем общественном туалете, слегка перестроенном за счет исчезновения унитазов и писуаров, подавали разбавленный технический спирт, законспирированный под ингушско-балкарский коньяк. К нему полагался и бутерброд с куском вонючей селедки, которая, разумеется, тоже называлась заграничным словом «иваси».

Закусывая пойло продуктом якобы Японского моря, Кий меланхолично оглядывал кафельные стены заведения и неудержимое желание помочиться возникало у него.

Что с нами ни делают привычки и динамические стереотипы!

Но он сдерживался и возвращался по туристической тропе через дебри скверов и бульваров на свою Парковую улицу № 7, где

3

он совсем непонятно почему (для себя) выйдет вместе с пассажирами, закурит, и тут же ядовитый ком поползет к горлу и туман к глазам, зеленый туман заполнит зрачки и автоматически (хотя он и не станок-автомат) Кий своей жесткой клешней схватит спинку мягкой скамейки.

Потом зеленый туман превратится в черный. А черный станет синим, а синий растворится в зажмуренных веках, и он не будет открывать их.

А когда откроет, то обнаружит себя не в воздухе – в уютном кресле, где полагалось бы находиться. А на твердой почве.

– Уже прилетели? – неизвестно к кому обращаясь, спросит он.

Голос будет хриплым, ненатуральным, незнакомым. Он прокашляется.

Стоящий рядом пассажир, судя по одежде – соотечественник, посмотрит на него.

– Прилетели или нет? – настойчивее спросит Кий, крепче хватаясь за спинку.

Соотечественник осторожно ответит:

– Смотря – куда.

Кий удивится.

– Что значит «смотря куда»? – не понимая осторожности в словах и потому воспринимая их как издевательство, заморгает он. – Мы же не в самолете, а на земле.

– Логично, – кивнет осторожный пассажир и почему-то оглянется. – Но пить я вам больше не советую.

– В каком смысле? – еще больше удивится Кий и оторвется от спинки.

Он почувствует себя лучше. Туман рассеется окончательно. В организме забушуют страсти, но животные страсти на то и страсти, чтобы не трогать высокоинтеллектуальные натуры.

– В прямом, – оглянувшись, скажет осторожный. – Нам еще лететь и лететь. А вы – уже...

Кий зажмурится и снова откроет глаза.

Слова собеседника доведут его до полного оупения.

С одной стороны, он будет стоять на земле, а точнее, на полу какого-то аэропорта. С другой – собеседник заявляет, что им еще лететь и лететь.

– Куда лететь? – втянет в себя подбородок Кий, словно боксер, ожидающий удара.

– Куда летели, – дипломатично заметит пассажир.

– А куда вы летели?

– Я летел отдыхать, а куда вы – не знаю, – с доброй улыбкой ответит тот.

Кийу захочется вмазать ему в глаз. Такая улыбка бывает у родителей. Когда они слушают пьяную чушь пришедшего домой подростка – дескать, ну, выпил, ну, болтает ни о чем, не будем его возбуждать, согласимся, пусть отоспится, а утром мы ему устроим...

– Я имею путевку на Танарифе, – погрозит он пальцем осторожному. – Я имею большое желание купаться в океане.

Тот улыбнется еще шире.

– У меня тоже путевка на Танарифе. Я тоже хочу купаться.

– Так что же? – не поймет суровый Кий.

– Будем купаться.

– Когда? – станет напирать Кий, – Скоро?

Осторожный загадочно поведет глазами слева направо и обратно.

– Когда прилетим.

Кий качнет.

Опять этот полет!

Да они не летят. А уже прилетели.

– А разве... – он обведет рукой пространство вокруг себя и неганданный вопрос заставит визави убрать улыбку в кошелек с долларами.

– Нет, – сухо пояснит он. – Это не Танарифе.

– Не Танарифе? – схватит его за локоть Кий. – Здесь не купаются?

Его пальцы оторвутся от локтя, запятого под рубашкой в зеленую полоску.

– Нет, это не Танарифе. Это международный аэропорт Рейн-Майн.

Кий хмыкнет с апломбом человека, уверенного в своей правоте.

– Но Рейн и Майн – реки! – возгласит он.

– Несомненно, – согласится собеседник и посмотрит на часы, висящие вдали. Кий проводит его взгляд своим и убедится, что стрелки показывают какое-то местное время. Стрелки, как справедливо заметил классик, похожи на таракана. Кийа даже передернет.

– А в реках, насколько мне известно, купаются, – с издевкой произнесет он и встанет в позу оратора. Что, съел?

Но осторожный съест и не подавится.

– Естественно, в реках купаются. Но не в реках Рейн и Майн.

Рекламный сценарист расхохочется.

– Это почему же не купаются? Обмелели они, что ли?

На него посмотрят осуждающе.

– В Германии в реках не купаются. Здесь не принято купаться в реках. Здесь принято купаться в бассейнах или в озерах.

Кий уловит фрагмент тирады, так сказать, мизанкадр, срезку фильма.

– В Германии, сказали вы? – он оглянется по сторонам. Потом всмотрится в соседа по самолету. – Вы хотите сказать, что мы находимся сейчас не на Танарифе, а в Европе? Вы пытаетесь меня убедить, что мы с вами в Германии?

– Несомненно, – важно кивнет осторожный.

В подтверждении слов откуда-то раздастся немецкий голос, который сообщит об отлете самолета в Ганновер. Немецкий голос также сообщит, что в Ганновере продолжает функционировать международная выставка ЭКСПО.

Кий не поймет по-немецки, но в этот момент в голове его что-то щелкнет, и возникнет конверт с обратным адресом в городе Франкфурт-на-Майне, который протрезвляющийся Кий с интересом прочтет.

Адрес возникнет перед глазами так ясно, что он даже не удивится. А перечитает и прошепчет:

– Ханауэрландштрассе – и добавит вслух: – Во дворе.

И пойдет между людьми, удивленный и обрадованный неожиданным сообщением.

Среди толпящихся пассажиров и прочих аэровокзальных людей появится просвет, и он двинется к нему, как ледокол к полынье. Навстречу сквозь раздвинувшийся барьер поедет мойщик на своем мокром агрегате, оставляя за собой широкую полосу вымытого пола. Видение ледокола во льду снова мелькнет. Льдины кончатся, и перед ним окажется заграждение. Но уже не барьер – обычные блестящие металлические стойки, связанные длинным белым шнуром.

Кий перешагнет его и войдет к свету.

Позади что-то крикнут, но он не услышит, – свет заманит его. Как бабочку или мотыльков.

Стеклянные двери раздвинутся, он окажется на ветру.

4

О, оказаться на ветру чужого иностранного города!

Это совсем не то, что дома.

Не тот ветер, не тот порыв, не тот запах, да и окружающий пейзаж иной.

Не надо стоять на таком ветру. Да наш герой и не стоит.

Такси! Такси!

Ну, конечно, где нарушения, там и погоня, где погоня – там и такси, скорее, скорее, мчи машина, автомобиль с треугольником в блестящем кружке, мчи меня!

Вези меня, замечательная машина «мерседес» по виражам автостреды. Туда! Куда я приказал водителю, буркнув непонятное слово, которое можно понять как город. А какой город? Да все равно. Лишь

бы ехать. Спасаясь от посталкогольного синдрома, который полицейским пытается нагнать твой сверкающий автомобиль, твое наследие коллег Бенца и Мерседеса, а может, это женское имя – была же в каком-то романе женщина Мерседес, так почему бы и фирме не носить столь романтическое имя? А Бенц... что такое Бенц? – не крути мне бейнцы! – так говорил Боря Шлагбаум по прозвищу Турецкий Барабан, потому что он лабал на геликоне в симфоническом оркестре в Парке культуры имени Максима и отдыха Горького.

Ах, зачем в памяти приходят имена, лица и позы? Что-нибудь из них обязательно материализуется, да-да, неоднократно подобное происходило со мной, да и с вами, любезный читатель.

Так и с нашим героем. Не успел он перевести дух, дыхание, сглотнуть несбывшееся, как водитель с удивительно непонятным – я бы сказал, со знакомым! – выражением лица спросил:

– Так куда везти?

И тут до нашего героя дошло, что направление он крикнул на заграничном для шофера языке и что обращается к нему водитель тоже на иностранном для него – русском, и потому глаза Кия зашарили по панели и лицу водителя.

– В город, Боря, – равнодушно отдуваясь на заднем сиденье, отвечает на вопрос Шлагбаума (по кличке Турецкий Барабан) наш герой.

Боря Шлагбаум окажется за рулем.

– Ты меня помнишь? – удивится шофер, вливая свой автомобиль в поток соплеменных. – А я тебя не знаю.

Кий хмыкнет и похлопает себя по карманам в поисках неизвестно чего.

– Теперь, выходит, не лабаешь на геликоне, водилой подрабатываешь...

Водитель радостно хмыкнет.

– Вспомнил... Когда я берлял... Ты меня где помнишь, в «Ивушке» или в «Метле»? – наводящими вопросами станет извлекать пассажира из отупения водитель.

– В «Метелице» не помню, а в ЦПКиО – было дело.

– Это сколько же лет назад! – обрадуется Турецкий Барабан и подмигнет в зеркальце. – Считай – целую жизнь.

Кий согласен кивнет, поглядывая в окно на автобан.

– Лет тридцать точно, – довольно согласится водитель. – У меня детям почти столько... Ты сюда туристом или по бизнесу?

Кий пожмет плечами, но неожиданно выдавит.

– Жена, гадина, путевку купила... – и переменит тему. – А ты здесь живешь? Всё знаешь, наверно. Пивка бы – поправиться мне...

Водитель кивнет, перехватит баранку левой рукой, наклонится и

достанет из бардачка банку. Пассажир мгновенно заберет ее себе и рванет кольцо от гранаты.

Пена хлынет на новый, но уже помятый пиджак.

– Вытрись, – посоветует водитель. – Тебе куда, кореш?

– Вытрусь, – согласится пассажир, отрываясь от пива и вытирая рот ладонью. – Ханауер, так? Ланд? штрассе. Это далеко?

– Здесь все близко, – успокоит Шлагбаум.

– Знакомый живет. Приглашал в гости... А я проездом.

– Номер дома знаешь?

– Во дворе, – кивнул Кий, доканчивая пиво.

– А номер?

– Хрен его знает.

Кий задумался.

– Вот начинается Ханауерландштрассе, – объявит водитель.

Пассажир заглядится в окно на остановившийся рядом трамвай цвета морской волны.

– Это что?

– Трамваев не видел?

– А почему он такого цвета?

– Что я тебе – Троцкий, все знать?

– А улица длинная?

Водитель посмотрит на него в зеркальце.

– Домов четыреста.

Кий чуть не свиснет, но нависнет над Шлагбаумом.

– Так что же делать-то, а?

– Хрен тебя знает, – равнодушно отзовется шофер. – Расплатиться есть? У меня через двадцать минут конец смены.

Приезжий вытянет из пиджака новенький бумажник и гордо достанет из него купюру в 50 евро.

– Значит, в полицию не поедем.

Водитель равнодушно пожмет плечами, отсчитает сдачу. Кий долго станет рассматривать монету в два ойро.

– Не видал никогда?

– Да ты что (забыл фамилию водителя, помнил что-то, связанное с заграждением, и выдавил первое, что выпрыгнуло из головы – турникет), Турникет?! В Москве монеты ни в одном обменнике не принимают. Подавай им бумажные, – он что-то припомнит и примолкнет. Потом спохватится. – Так что?

Шлагбаум высмотрел свободное место возле продовольственного магазина «Тенгельман» и остановил такси.

– Как фамилия твоего приятеля? – смотря на зеркало, поинтересуется он.

– Пупсер.

– Как?

– Пупсер.

– Виктор? – водитель повернется к нему.

– Виктор. Ты его знаешь?

– Кто его, суку, здесь не знает, – захочет сплюнуть Шлагбаум. Потом подумает и все-таки сплюнет в раскрытое окошко. – У него райзбюро. Не понял? Ну, бюро путешествий. Катает наших еврейцев и козадойчей по Европе. Посмотрите направо – это Пизанская башня, посмотрите налево – это Эйфелева башня, посмотрите прямо – это Эгейское море. Гад, – закончит Шлагбаум нелестные воспоминания. – Ты не куришь? – повернется всем телом к Кийу. – И правильно делаешь, – доставая сигареты, закончит тираду.

От магазина, громко чихнув, отъедет машина, и сразу же на ее место встанет такой же желтый «мерседес», как тот, в котором сидят герои рассказа. Даже шашечки на крыше похожие.

Из такси вылезет шофер с длинным настороженным лицом, махнет Шлагбауму рукой и направится в соседнюю с магазином дверь.

– Точно, – согласится со своими мыслями Шлагбаум и выключит двигатель. – Вылезай, пойдем искать гада Пупсера.

5

Дверь вела в пивную.

Классическая немецкая пивная, которую Кий видал только в телесериалах, встретила неожиданных посетителей прохладой кондиционера и восторженными криками. Крики раздавались со всех сторон.

Народ приветствует своих героев, решил Кий и приосанился. Но немецкий народ не смотрел на вошедших, а во всю болел за любимую «Баварию», которая одолевала голландцев на футбольном поле.

– И здесь, проклятый, – имея в виду телевизор, сообщил Кий спутнику.

– Что? – не расслышал Турникет, оглядываясь.

– Как по-вашему попросить пару пива? – любопытствовал Кий. Бармен приветливо улыбался от стойки.

Турникет рассматривал болельщиков и не находил нужного.

– Цвай бир, битте, – ответит и закивает какому-то знакомцу.

Кий загипноотизированно пойдет к стойке.

– Цвай бир, битте, – произнес он тем деревянным голосом, который прорезается у каждого, кто говорит на незнакомом ему языке.

Бармен что-то спрашивает, и Кий непонимающе смотрит на него. Потом догадается и достанет голубоватую двадцатку. Но тот, держась за кран, повторит фразу.

Кий pokrылся потом, но тут же вспомнил, что существует спаситель, обернулся.

Боря Шлагбаум по прозвищу Турникет сидел за столиком с каким-то элегантным господином. Даже не элегантным, а шикарным, заметил Кий.

– Борис! – крикнет он.

Тот поднял голову, догадался о затруднениях и подошел. Весь вид его выражал одно: зачем ты меня оторвал от важного дела.

– Он что-то спрашивает, а я не понимаю, уж ты извини, – униженно заканючит Кий. Пива хотелось до невозможности.

– Он спрашивает, какого тебе.

– Любого. Но полную кружку.

– Темного или светлого?

– Прозрачного.

– Ячменного или пшеничного?

– Все равно.

Турникет вздохнет, и Кий поймет, что за вздохом слышалось: эх, темнота ты российская, да что вы там у себя в пиве понимаете? – и был абсолютно согласен с тезисом, но пива хотелось сильнее, потому все возражения исчезли.

Турникет что-то заказал симпатичному германцу за стойкой. Тот повернул кран, откуда тонкой струйкой в подставленный высокий бокал потекла божественная влага. Бокал наклонился, и она побежала по его стенке. Вот она наполнила бокал, пена выросла белым конусом, потом конус превратился в ледник, и бокал направился в сторону Кия.

Он взял его в руки и почувствовал влагу. Холод стекла приятно остужал ладони. Он полюбовался бокалом. Бокал вспотел, и пот тихо стекал по стенкам.

– А ты? – задал бесполезный вопрос Кий, заранее зная, что услышит знакомое: я за рулем. Но услышал иное.

– Одну-другую – можно.

– Угощаю! – кивнул Кий, и Турникет тоже оказался с пивом в руках. Но, в отличие от прибывшего из Москвы, житель города на Майне получил свое пиво в пузатенький стаканчик.

С пивом в руках они перебрались за стол к шикарному господину. Кий выпил большой глоток и поставил бокал.

– Это – мой старый знакомый по Москве, – представил Кия водитель. – А это – известный писатель, – он назвал имя, которое тут же вылетело из головы и утонуло в пивной пене.

Они улыбнулись другу другу понимающе, как люди одного производства, пусть и соседних цехов.

Писатель пил белое вино из бокала на длинной ножке и на телевизор не обращал внимания.

– Только здесь бывает это вино, – поясняет он Турникету. – Вы, наверно, знаете Эльтвилле на Рейне. Оно – оттуда.

– Из какого-нибудь вайнгута, – понимающе кивает тот.

– Да, – соглашается сантехник человеческих душ. – Там много вайнгутов.

Кий, не отрываясь, допил свое пиво и почувствовал приятную наполненность в желудке. Голова прояснилась окончательно.

Он посмотрит на соседей, и они покажутся ему близкими друзьями. Рот растянется в улыбке.

– Я хочу вас обоих угостить.

– Не надо, – выставит ладонь писатель. – Я всегда выпиваю только два бокала. Больше – походит на пьянство.

– Закажи один бокал, – согласится Турникет. – Я за рулем.

Мимо них пройдет грудастая бабенка с молодым парнем и скроется за дверью. Кай проводит ее глазами, вздохнет (не про нас такие сокровища!) и повернется к писателю. Тот снова засмеется и сделает глоток из своего многогранника.

– Я в том возрасте, когда сиськи и письки волнуют меня сугубо в литературном плане.

Они улыбнутся. Вздохнут (где они, годы боевые?), и вдруг Кий вспомнит про Пупсера.

– Да он в Россию, к родным погромщикам смотался, – засмеется писатель. – Недели через две приедет. Соберет дань с квартирантов и вернется. Вы не знали? У него в Москве две квартиры остались, он их сдает: одна во Владыкине, другая – в Чертанове. Раз в квартал на автобусе и отправляется на бывшую историческую родину.

6

Пока Кий пьет свое пиво, в его мыслях образ собственной жены растворяется в пивной пене – буквально тонет в ней, лишь шаловливые ручонки взлетают вверх; пусть считает, что жена Леокадия обитает там – далеко, в грязной, в путинской – Москве.

Пусть думает.

Она обитает не там.

Она обитает на улице Сен-Лазар.

Не на вокзале Сен-Лазар, а на улице Сен-Лазар возле станции метро «Рамбуто».

Там,

где Бобур,

он же Центр Помпиду,

где импрессионисты,
где авангард,
где студенческие очереди за книгами в библиотеку,
где зеркальные окна мастерской Оскара Рабина.
Там, в Париже.

Леокадия нежится.

Она в объятиях.

В моих.

Телефонный звонок заставляет разжать объятия и голым подойти к телефону.

Мой напарник-компаньон Марсель, сенегальский стрелок.

– Ты скоро?

– Извини, Марсель, занят.

– Что-то случилось? – равнодушно интересуется лиловый кафр.

Он не подает мантию в притонах Сан-Франциско, а уже подсчитывает, сколько выручит в одиночестве, без меня, за моей спиной в нашей копировальной мастерской, где три копировальных автомата и пять компьютеров, цена работы на которых 2 евро в час. Мастерская (Марсель называет ее – бюро) – во дворе дома, где я живу, – подождет.

Я слышу, как счетчик щелкает в его обрадованной голове.

– Женщина.

– Желаю успеха.

Он вешает трубку, и я поворачиваюсь, чтобы снова упасть в теплые недра русской дамы Леокадии.

7

Я веду Леокадию по Марэ. Ее скудные знания французского не помеха – не за то мы ценим женщин, что они говорят, а за то, что делают.

Чего я не ожидал от славянки из заснеженной Эрефии.

Музей Пикассо. Мимо, дорогая. Все есть в альбомах.

Музей Карнавале. Зайдем, Лео. Я буду называть тебя так. Как вашего знаменитого писателя – Лео Толстый. Он и вправду был толстый? Или это псевдоним?

Толстой.

Ах, Лео, трудно разбираться в кириллице.

А вот и Вогеzy. Надо выпить кофейку.

Свободный столик? Все занято.

Но – мир не без добрых людей, не без удачи – спасительный взмах руки (ах, эти взмахи рук над толпой, над простынями, над миром).

Художник Ч. и его верная подруга Л.

Двойная удача – они русские. Пусть говорят с Леокадией на

своем варварском языке, понять который истинному французу не под силу.

— Два кофе, два мороженных и бокал красного.

— Давно не виделись.

— Не говорите, друзья. Знакомьтесь, ваша соотечественница.

Лица вытягиваются — соотечественников за рубежом лучше не встречать, понимаю и сочувствую, но меня несет от хорошего настроения.

8

У Леокадии в кошельке из шикарной оранжевой кожи (такие кошельки продаются в Москве только в дорогих бутиках, и она купила себе именно такой кошелек) имелся запас слов, выписанный на кусочек картона:

Бонжур

Вернисаж

Мадам

Мерси

Месье

аванс анонс метро randevу бельэтаж визави багаж гараж вагон
ресторан театр музей мармелад конфитюр фуршет оливье крем кафе
круасан омлет тост агент парк тротуар план контролер кондуктор
бульвар такси акустика антракт опера ложа кулиса драма акт про-
грамма инсталляция спектакль бас баритон балкон пьеса натюрморт
пейзаж гравюра жанр импрессионизм мозаика модерн пьеса репертуар
тенор актер актриса комедия экран титры ассортимент баланс бюджет
дефицит партнер премьера тир трамплин трибуна пляж спорт салон
гравюра офорт афиша фреска скульптура эскалатор спорт

Оревуар

Пардон

Сильвупле

Эти слова, привычные по переводной и классической русской литературе, не требовали особого запоминания, они возникали в памяти автоматически, они давно превратились из французских в сугубо русские слова, особенно

салат-оливье,

бульвар,

мармелад,

натюрморт

В глубине души Леокадия считала «мармелад» немецким словом, поскольку помнила из курса пропаганды, который читали в университете, что мармелад появился в Германии во время Первой мировой

войны, и будто немцы изобрели его от голода (такого представить она не могла, не потому что не создавала понятие голода, а потому что мармелад никак не монтировался в мозгу с образами голодных), а эти голодные возникали в памяти из других пропагандных историй –

о блокаде Ленинграда во Вторую мировую войну,
но родители Леокадии сами родились в Ленинграде,
порассказали ей про блокаду много и часто,
чтобы она с усмешкой воспринимала пропагандные сказки,
поскольку помнила –
каждую неделю Сталин присылал Жданову самолет с деликатесами и фруктами;

в подвалах Смольного всю войну находился склад всевозможных сыров,

а в сыре – все витамины, ешь сыр и никакой голод тебе не страшен,
да и людоедов в блокаду появилось много, человеческое мясо мало чем отличается от баранины, пирожки с человечины и котлеты из человечины почти открыто продавались в блокадном городе на Неве.

9

– Как не отличается от баранины?

– Так. Был рассказ – то ли у Шесткова, то ли у Томаса Вульфа, а может, и у Пливье, не помню – попали люди на необитаемый остров, разумеется, есть нечего, кинули жребий – кого есть? съели одного из потерпевших, и мясо напоминало жареную баранину.

– И что?

– Ты слушай, Кий, а потом вопросы задавай. Потом их спасли и один из тех, кто спасся...

– Кто ел баранину-человечину?

– Да, кто ел. Написал рассказ и опубликовал, ну, скажем, в газете «Неделя».

– Кадка, что за газета?

– Кий, ты забыл или не знал! Был такой еженедельник газетного формата – приложение к «Известиям», помнишь?

– «Известия» или приложение? Приложения не помню, хоть убей.

– Убивать не буду, но приложение существовало.

– И что?

– То! Опубликовал. Рассказ. Хороший. Всем понравилось. Но вдруг. Получает редакция письмо. В письме написано: «Вы очень правильно все описали, так все и было, но человеческое мясо напоминает не баранину, а телятину».

10

Как справедливо считала Леокадия, запас слов, выписанный на кусочек картона, поможет ей в Париже, куда она сорвалась после того, как выпроводила из дома мужа.

У нее тоже имелась путевка – она влюбилась в европейскую столицу с первого раза – а сегодня шла по Парижу третий раз, и какое счастье, не одна – рядом Морис, с которым познакомилась два года назад,

и которому сразу же позвонила из отеля,

и который оказался дома (больше всего боялась, что переехал или сменил телефон),

и который пригласил к себе (о чем она мечтала два года – признаемся, Леокадия не лишена романтических иллюзий в отношении Европы),

и с которым (ах, противное слово – который!) она два дня, нет, двое суток, не вылезает из постели,

но как законопослушный российский гражданин (гражданка, пардон) позвонила гиду и сообщила, что пусть группа отправляется на экскурсии без нее...

тем более, что Морис обещал вечером какую-то сногшибательную вечеринку на борту подводной лодки – да-да, Лео, настоящая подводная лодка, мы славно погуляем на ее борту...

11

– ...и вот когда в Париже...

Кий ухватил лишь название города и схватил – снова! – за локоть Шлагбаума.

– Боб! До Парижа далеко?

Тот не повел и глазом.

– Семь часов. На поезде – три с половиной.

– Рванем?

О, любезный читатель, представляю, ты уже себе сочинил – я вижу твои фантазии:

новые друзья мчатся в Париж на такси Шлагбаума,

в Париже встречают Леокадию с любовником Морисом,

между супругами происходит потасовка,

Кий получает в глаз от любимой Кадки и в зубы от любовника любимой жены...

А? Угадал?

Нет, любезные читатели.

Как говорит Мария Васильевна Розанова: жизнь жестче.

Шлагбаум ответил:

– А вкалывать за меня кто будет?

И Кий выпустил пар.

Пар Парижа.

Пар несбывшейся мечты.

Сник. Скис. Выдохнул углекислоту.

– Ты прав.

Длиннолицый шофер, сидящий на самом высоком табурете у стойки, махнет Шлагбауму, потом слезет, подсядет к ним и расскажет, что приехал из Крифтеля, где горит дом, второй день потушить не могут, представляете, друзья, в Крифтеле поговаривают, что придется дом сносить бульдозерами, но он знает, что во всем виноваты сволочи-палестинцы, сукины-дети-палестинцы болтают о независимости и автономии, а сами со своим Арафатом стреляют в спину евреям, и если бы за их спиной не стояли арабские шейхи, то они бы уже давным-давно продались американцам, Арафат помер, но что с того, если палестинцы – сволочи, и недавно стали соседями по дому, можете себе представить, – не иначе, разрабатывают план угона самолета.

Он покажет бармену три пальца, и тот кивнет в знак согласия.

Писатель откажется, сошлется на желудок, на рассказ, который рождается на глазах, и немедленно надо домой, чтобы записать, он не пижон, чтобы как Загреба сидеть в кафе и писать на компьютере бесчисленные варианты, бесчисленные версификации, бесчисленные словесные игры, он не Загреба, он совсем другой.

Длиннолицый подойдет к стойке, снова залезет на свою табуретку, посмотрит вокруг как впередсмотрящий, пока пиво наливается в высокие бокалы, которые бармен наклоняет под пивную струю.

Писатель пожмет руки, пожелает встретиться еще раз, поправит очки в тонкой оправе и растворится среди людей и пивных бокалов.

Кий станет вспоминать, что на студии, где он пишет рекламные сценарии, крадут.

Длиннолицый подойдет с пивом и ответит, что воруют прямо неслыханно, сам он из Гельзенкирхена, там ничего подобного, а здесь, в городе на Майне – просто неслыханно, он как раз разыскивает следы платформы с восемью новыми «мерседесами», исчезнувшей между Франкфурт-Восток и Оффенбахом, которые должен получить его хозяин.

– Совсем новые машины, представляете, друзья? Как корова языком слизала!

Вдруг он замотает головой, посмотрит по сторонам, найдет на стене тараканы стрелки часов, посоветует купить у бармена бутылку «Горбачева», если им хочется еще выпить, потому что сейчас кафе закроют, скажет «будьте здоровы» и исчезнет.

Неожиданно Кий захочет сосисок. Настоящих немецких, а не поддельных московских, сосисок.

Чтоб брызгали соком.

Чтобы на них было приятно смотреть.

Чтобы хрустели на зубах и таяли во рту.

Он облизнулся.

12

Шлагбаум сопит и не смотрит на неизвестного знакомого из прошлой жизни.

Кому интересно показывать знакомство с тем, кого, поставив лицом к стене и руки вверх и на стену, методично обшаривают, вынимают бумажник с документами, листают паспорт, тычут друг другу – нет визы, рассматривают билет, что-то лопочут на германском, подзывают Шлагбаума, спрашивают, тот утвердительно отвечает, хотя мог бы и помолчать, думает Кий, звонят, что-то узнают, смеются, говорят по рации, снова читают документы Кия.

Шлагбаум с шумом выпустит из себя воздух и переведет:

– Твой самолет починили. Через полтора часа отлетает. Мы еще успеем вмазать на дорожку.

Франкфурт-на-Майне

Борис Ильин

ножка болит грибная
то о себе не зная
что шапка ее тяжела

жарко и сыро в лесу
шапку гриба лизну

горечь и маслянистость
видимости зернистость

нежность невинность низкость

* * *

мал человек да долог
голос нечист и тонок
взгляд лишь лучист

это ли отраженье
прошлого отторженье
ныне и здесь?

луч это взвесь без тела
через миры летела
ей они не милы

ей чтобы свет сгустился
чтобы зрачок сократился

а дальше
молчок
молчок

МСК

я проникся этой московскостью
языка неподатливой ковкостью
и пронзительной бледностью вашей
в клетку шуховской башней

слова к слову у вас не приставишь
а уже на дорожку присядешь
и слова эти мягче свинца

деньги паспорт ключи документы
в добрый путь до чужой ойкумены
вот москва тебе вроде и вся

только низкое небо надбровное
как гулянье большое народное
облаков в ледящей тоске

зря и пробовать против движения
чтоб от неба принять поражение
навсегда затеряться в толпе

ДУБОВАЯ РОЩА

здесь легче
проще

здесь запах
как в дубовой роще

ветер серый
хватаящий за бок

стволы облетающий

и в серости
одиночество роста
гадкость:

деревянные чужие
тела
их внушительное уродство

толстая кора скрывающая
уязвимую гладкость

скрывающая родство
и отчество

ДНА

плакать не смей
рыбе плыть в сеть

чего ты рыба
ты молчалива

ты глазом прозрачным
по левую сторону
и по правую

хлеба́ть несолоно
еще поплаваю

так молчит рыба

а сеть дырява
а вода речна

ну что ты право

попробуй держаться дна

* * *

решали и решили
хорошо хоть что живы

а иначе бы решили
то и жизни бы лишили

а так живешь себе поживаешь
как вошь

а хоть и вошь
а лучшего и не пожелаешь:

голодными спать не ляжем
а страх

страх здесь необходим
страх важен

Нью-Йорк

Дмитрий Артис

* * *

Вот она женщина утром,
спящая рядом со мной.
Время не движется будто,
час уже скоро седьмой.

Как относительно мало
света в последние дни.
Первое солнце упало
на уголок простыни.

Ласково и неумело
небо пустило ростки
сквозь обнаженное тело,
грудь ее, шиколотки.

День узнается по свету.
Прямо, как песню из уст,
выучу женщину эту,
знать буду всю наизусть.

* * *

Помню, в детстве еще на бумаге
этот мир я придумывал сам:
бездорожье, церквушка, овраги
и какой-нибудь универсам.

Рисовал, перечеркивал, снова
рисовал – сохранился альбом.
Там почти что везде нарисован
одинаково маленький дом.

Крыша, стены, забор без калитки
и луна в уголке, облака.
Бесприютного детства попытки,
наверняка.

* * *

Поживи я хотя бы еще сорок лет,
изменился бы мир, стал бы мною воспет,

как неспешной печали полуденный сон,
до небесных пределов любви вознесён.

Всякой твари земной в пантеоне богов
я помог бы найти пропитание, кров,

утоляющий жажду безумства глоток
вдохновения, посланный вовремя – в срок.

Обделенному лаской, уставшему ждать
я помог бы, вернув ему добрую мать,

и любого подростка – смешного юнца
наделил бы умом я и дружбой отца.

Я бы каждому, только помашет рукой,
дал работу и денег, в которых покой.

Хочешь – сына себе золотого – точь-в-точь,
как и ты, хочешь самую нежную дочь?

Только вряд ли, с учетом того, что поэт,
проживу я хотя бы еще пару лет.

* * *

Под окнами
асфальтировщик,
национальность не скажу,
дороги выверенный росчерк
ладонью гладит, как жену.

Над бугорками беспокоясь
и всякой трещинке дивясь,
руки его нежнейший поезд
почти нащупывает связь.

Тропинка давняя, дорога –
во снах рождение тепла.
И я, бывало, так же трогал
жену, пока она спала.

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Вячеслав Вс. Иванов (1929-2017)

«И Бог ночует между строк...»*

Вячеслав Всеволодович Иванов, Кома... Полтора года назад мне выпало счастье и честь пять дней разговаривать с ним в Лос-Анджелесе, где он до последних дней своей жизни преподавал в университете. После первого дня он как-то по-детски сказал: «А знаете, мне редко задают такие вопросы, никто не спрашивает меня про меня, все больше про среду и мироздание». И все же, когда в апреле 2017 года фильм «И Бог ночует между строк...», названный мною строкой из его стихотворения, вышел на российском канале «Культура», он написал мне письмо – выделил 4-ю серию, именно ту, где, по его выражению, удалось «сделать общедоступными мои главные мысли». Привожу из этого письма то, что считаю возможным: «Себя самого описывая больше всего в последней части... Из знакомых некоторые призадумались по поводу ужаса эпохи в целом, даже те, чьи жизни явно искажены всем испытанным».

Мы простились с ним на берегу Тихого океана, где он читал голосом Пастернака его стихи и рассказывал о самом счастливом и самом страшном своем дне. Я буду помнить его таким: в профессорском вельветовом пиджаке с заплатами на локтях и элегантном лиловом шарфе, подобранном в тон его женой Светланой. В августе 16-го я поздравила его с днем рождения, и он написал: «Надеемся все-таки приехать весной». Как всегда – в родное Переделкино. Он от нас и не уезжал.

Елена Якович

* * *

Океан я очень люблю. Люблю вообще море даже, но океан особенно люблю. И летал над большими океанами, вот над этим Тихим океаном тоже. В океане есть то, что мы называем ученым термином «турбулентность», то есть непрерывные поводы для каких-то огромных перемещений, сдвигов, потом катастроф. Но для меня как

* Предлагаем читателям НЖ монологи Вячеслава Всеволодовича Иванова, лингвиста, семиотика, антрополога, профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, академика Американской академии искусств и наук, Британской академии, Российской академии наук, составившие документальную кинотетралогию «И Бог ночует между строк...», представленную на 10-м фестивале русскоязычного документального кино в Нью-Йорке – RUSDOCFILMFEST-3W – в октябре 2017 года (реж. Елена Якович, Россия, 2017). Литературная обработка – Е. Якович, 2018. © Е. Якович.

для ученого, занятого древним миром, есть еще новая сторона океана, которая скажется в будущем. Судя по всему, что мы сейчас узнаём благодаря открытиям генетиков, вероятно большая часть истории человечества должна быть понята на дне Мирового океана, куда ушла не одна, наверное, Атлантида, а много цивилизаций. Похоже, что люди из Африки расселялись по другим континентам главным образом вдоль берегов, вдоль побережья. Но потом эти судна затонули. Если бы человечество было занято интересными задачами, а не уничтожением отдельных своих частей, если не всего себя, если бы человечество было умнее, я думаю, сейчас бы кинулись изучать дно океана. Но не очень надеюсь, что я доживу до времени, когда этим займутся... Конечно, займутся.

Я бы вам напомнил стихи Пастернака, первое четверостишие в его замечательном обращении к морю. Он рос недалеко от моря, его привозили как раз к Черному морю родители в детстве. «Приедается все, / Лишь тебе не дано примелькаться. / Дни проходят, / И годы проходят / И тысячи, тысячи лет. / В белой рьяности волн / Прячась / В белую пряность акаций, / Может, ты-то их, / Море, / И сводишь, и сводишь на нет.» Мы имеем здесь дело с каким-то другим пониманием пространства и времени. Я думаю, что этим замечательно море, океан, – мы перестаем быть ограниченными нашими человеческими, животными рамками, начинаем видеть мир в каких-то настоящих, других измерениях.

Вот если я о себе самом думаю, есть ли какой-нибудь вывод? Человеку что-то удастся понять в жизни в большой степени в зависимости от количества и качества трудностей, с которыми он сталкивается. Я жил в таком «замечательном» государстве, которое во многих отношениях резко отличается от того, что в других странах досталось людям, и в той среде, которую я пытаюсь продолжить, понимая, как мало от нее остается к XXI веку.

«Комой» меня назвала мама, потому что я с самого рождения был... шарообразен, скажем так, то есть всегда предпочитал круглую форму. «Я с детства не любил овал...» Как комок снега. Она всегда именно это сравнение приводила. В общем, никак не удавалось отвязаться от этого имени. Потом даже в КГБ, когда они других людей расспрашивали, они обычно говорили обо мне как о Коме. Я очень возмущался. Им уж я никаких прав не давал!

Я помню себя примерно с двух, может быть, с трех лет, хотя есть какие-то кадры в памяти, которые у меня как-то не укладываются даже в эти временные параметры. То есть я начинаю думать, что, может быть, я помню что-то, что не полагается людям помнить – с раннего совсем возраста. Я помню, что я один раз попробовал на даче,

как можно плавать, и чуть было не утонул, но, на счастье, двоюродная сестра была рядом. Я еще несколько раз в жизни тонул. Я имею в виду – не метафорически. Но каждый раз как-то удавалось вынырнуть.

Я помню себя вместе с родителями – в довольно неприятной обстановке. Лето, по-видимому, 1933 года, когда мне три года, мы проводили в таких специальных угодьях НКВД. Отец мой был очень близок с Максимом Горьким, а Горький поддерживал всяческие проекты разного рода перевоспитания преступников. И были такие колонии перевоспитания. В частности, в Горьковской области ими руководил человек, которого я по своему детству помню с уменьшительным именем – Мотя Погребинский. Этот Мотя покончил с собой в апреле 1937 года, написав письмо Сталину, личное письмо, о том, что по вине Сталина он вынужден сейчас заниматься тем, что арестовывает достойных людей. Так вот, представьте, этот Мотя, поскольку он заведовал угодьями НКВД, пригласил моих родителей провести там лето.

Родители брали меня на какие-то званые приемы к Горькому. Это напротив Николиной горы такой дворец, который потом, при Хрущеве, был для приемов иностранцев, и там, по-моему, Твардовский читал Хрущеву свою поэму «Тёркин на том свете»... Меня предупреждали, чтобы я не бегал по второму этажу, потому что там кабинет Горького. И, конечно, я побежал, и помню, что меня вытащили из его ярко освещенного кабинета.

И самого Горького тоже помню. Понимаете, мне три года. Он нас провожает, он стоит у входа в этот огромный дворец, и мне кажется, что он гигантского роста. Рядом с ним горшок, из которого растет, я думаю, фиговое дерево или пальма. И она мне кажется очень маленькой по сравнению с этим огромным худым человеком. Я помню, у него был юбилей, и мы с братом нарисовали ему подарки цветными карандашами. А он нам ответил письмом. Представьте, в переписке Горького есть его письмо моему брату Михаилу и мне. Ничего не понял старик в том, что мы для него изобразили. Я хорошо помню, что я рисовал нашего цепного пса на цепи, а он пишет «какой у тебя получился замечательный дьявол с кренделёчком».

Я родился в Москве, как и мама моя – Тамара Владимировна Иванова. Она стала Ивановой из Кашириной. Урожденная москвичка, хотя ее предки пришли из Новгородской области, они были крепостные крестьяне, получившие свободу. Пришли в лаптях и стали потом владельцами текстильной фабрики. А отец мой, писатель Всеволод Вячеславович Иванов, наоборот, был человек со скитальческой жизнью. Отчасти поэтому Горький его оценил – потому что отец мой тоже прошел через этап такого бродяжничества, как молодой

Горький. Он исходил всю азиатскую часть России, он родом из Западной Сибири.

Я родился в 1929 году, в избе. Настоящая крестьянская изба, которая находилась на 1-й Мещанской, теперешний Проспект Мира. Мой отец как раз в это время написал популярную пьесу, которая помешала его хорошо знать, потому что чаще всего люди помнят только его «Бронепоезд № 1469». И он по тем временам заработал довольно большие деньги. Настолько большие, что мог купить избу и в эту избу въехал с новорожденным сыном, то есть мною, и вообще со всем семейством. У мамы было уже двое детей – моя сестра, старше меня на десять лет, и мой брат, старше меня на три года. Он был результатом маминого кратковременного романа с Бабелем.

Мама была очень красивая, в юности была актрисой театра Мейерхольда. По-видимому, и Мейерхольд так думал. Это не очень понравилось Зинаиде Райх, когда она стала женой Мейерхольда и он ее взял как главную актрису. Об этом смешно рассказывал Шкловский, что Всеволод Эмильевич не мог простить ему статью «90% Райх в театре Мейерхольда». Так или иначе, мама ушла из театра.

В литературный мир она попала еще раньше, потому что у нее был роман с Маяковским. Это время, когда «пригорок Пушкино горбил Акуловой горою», где-то 20-й или 21-й год. Она о Маяковском много рассказывала интересного, но, по-видимому, она для него все-таки была одной из очень многих, и у самой мамы осталось впечатление – я помню, она мне говорила, – что на самом деле Маяковскому нужно было жениться на Лиле Брик и иметь настоящую семью. Вот мамино впечатление от их, ее с Маяковским, не получившегося романа.

Мама стала близкой подругой Бабеля примерно в 1925 году. При этом Бабель не уходил от той семьи, с которой он жил тогда в России. Вообще, по маминым рассказам, он был большой фантазер, выдумщик и обманщик. И мама нашла у него в кармане – знаете, такая стандартная ситуация, которая иногда случается между мужем и женой... – тут, наоборот, была компрометирующая бумажка, записка жене: «Дорогая, как я и говорил, в такой-то день буду буду на охоте, так что ты меня не жди». А охота в этот день – это было его свидание с мамой. Так что она тут заподозрила, что когда он ей рассказывает что-то о том, как они будут жить вместе, то, по-видимому, не всегда точно воспроизводит свои планы... Ну, какими-то урывками он, тем не менее, с ней жил, так что мама решила родить ребенка. Миша родился в 1926 году. Бабель принял другое решение: он согласился уехать со своей женой и дочкой во Францию.

Знакомство мамы с моим отцом состоялось «по вине» – условно скажу – Бабеля, потому что Бабель дружил с отцом. Они очень люби-

ли прозу друг друга, и многие считали, что они – самые талантливые. У Пастернака есть одно письмо тех лет, где он пишет, что «у Всеволода Иванова и Бабеля больше всего огня и гения». Так вот, представьте, эти два «гения с огнем» встретились в Париже, и Бабель сказал: «Всеволод, вот ты возвращаешься, а я еще должен побыть здесь, но есть одна знакомая, которой мне нужно написать». В общем, в Москве папа передал маме письмо от Бабеля, и вот чем все это кончилось.

У отца жизнь была чрезвычайно сложная из-за такой естественной буйности характера, который моя мама пыталась несколько укротить. Но, так или иначе, он был, конечно, человек совершенно неукротимого нрава. Недаром дружил с Есениным, – Есенин был просто близкий друг его и, вместе с тем, причинил много трудностей всей этой семейной паре, потому что вовлек отца в сплошное винопитие. Но это не было главным в жизни. А что было – он, в общем, себя ни в каких отношениях не контролировал. Я вам расскажу одну историю, связанную с вот этой его бесшабашностью. Мама говорила, что она однажды дожидалась позднего возвращения отца. Вроде ее даже просто разбудил шум. Кто-то выбивал дверь в нашей избе. Ключ у отца был, но он, видимо, находился в том состоянии, в котором не пользуются ключами, а скорее выбивают дверь. В сенях лежали сложенные поленья, топили печку. И вот одним из этих поленьев отец выбивал дверь. Сзади стоял писатель Груздев, «Серapiонов брат», бледный. Он шепнул маме: «Тамара, собирайте вещи, за ним сейчас придут». Ну, это было то время, когда-таки приходили, и она отнеслась серьезно. А дальше Груздев стал ей рассказывать. Собрались обычные гости у Горького, писатели разные, другие знатные люди, вхожие в дом. Среди них был Ягода, тогда фактически глава ГПУ. И Ягода говорит моему отцу: «Всеволод Вячеславович, я давно хотел вам сказать, что очень ценю вас как писателя. Позвольте выпить за ваше здоровье!» Отец выбивает у него из рук бокал и говорит: «Я с тобой, палач, чокаться не буду». Это вот то, что слышал Груздев и другие, стоявшие рядом в ужасе. Ну, вы представляете, это уже время террора, да? И – «я с тобой, палач...» Ничего не произошло. То есть Ягода позволил этой истории ничем не кончиться и даже, насколько я знаю, потом приглашал моих родителей к себе на дачу, и они ездили. То есть я бы не хотел сказать, что все поведение отца заключалось в этой фразе, потому что наряду с ней он все-таки совершал, несколько и отчасти под нажимом моей мамы, но совершал и какие-то противоположные поступки, в которых он... ну, во всяком случае, не проявлял такого большого мужества.

Они все тогда, эти вожди, очень хотели подружиться с молодой

литературой, встречались в смешанных компаниях. В частности, с Фрунзе мой отец был очень хорош и выпивал. И вспоминал, что Радек в одной такой компании подошел к отцу и Пильняку и сказал: «Только что умер Фрунзе, вот как это было». И рассказал сюжет со Сталиным, как он настаивал на операции. И Пильняк говорит: «Я об этом напишу повесть». Отец ему говорит: «Не делай этого, лучше этого не касаться». А Пильняк ему отвечает: «Ну что они со мной могут сделать?» Вот это по поводу отцовской бесшабашности, «палач» и так далее... Все-таки у него было ощущение страны, где он живет.

Из избы потом пришлось уехать – шла реконструкция Москвы, причем какие-то избы все равно сохранились, но нашей избы не осталось. Она находилась в районе теперешнего старого Ботанического сада, и возле сада стояла сосисочная, где покупала сосиски наша с братом гувернантка, обучавшая нас французскому языку. Миша любил, чтобы мы на людях разговаривали по-французски. Вот хорошо помню эти походы на французском языке в старый Ботанический сад...

Я довольно рано научился по-настоящему, по-взрослому, стрелять, когда мы переехали из избышки на 1-й Мещанской в дом на улице Фурманова. Первая пятилетка, начало преобразования Москвы – и для писателей был построен дом в Нащокинском переулке, вскоре переименованном в улицу Фурманова. Одним из наших соседей был венгерский писатель-коммунист Мате Залка, вошедший в историю как генерал Лукач, командовавший 12-й Интернациональной бригадой в гражданскую войну в Испании, где он погиб при неясных обстоятельствах. Лукач был забавник, смешной человек, который любил детей. А мне он сказал, что он меня должен обязательно обучить настоящей стрельбе. У него был тир в квартире, я там стрелял, и когда он решил, что я могу уже успешно продемонстрировать свое искусство, то пригласил моих родителей. Представляете, как обомлела моя мама: четырехлетний малый стреляет из взрослого револьвера... Но, вы знаете, у меня эта способность сохранялась. Я потом проверял, воспользовавшись знакомством с одним офицером. Ну, никого не убил за прошедшую жизнь. Не зарекаюсь, но пока не было случая.

Перedelкино в это время строилось, и мы одни из первых заселились. Я в Перedelкино самый ранний житель – с 1935 года. Я заболел, и родители получили указание от врачей, что меня нужно держать на свежем воздухе. Вообще говоря, полагалось меня отправить в санаторий и в гипс там положить, но заменили гипс привязыванием к жесткой доске на кровати, и я два года пролежал в Перedelкине, привязанный. В основном, в лесу на нашем участке... И потом довольно долго родители из-за меня жили на даче. Так что годы перед войной мы были больше в Перedelкине.

Отец в детстве много для меня значил. И он, я думаю, заложил основы всего, чем я потом в жизни занимался. Он был очень способный человек, увлеченный разными науками. Среди того, что он давал мне читать, было много научно-популярных, серьезных книг: английского астрофизика Джинса «Вселенная вокруг нас» и «Звезды и их судьбы», или замечательная книга физика Матвея Бронштейна, друга Ландау, мужа Лидии Корнеевны Чуковской, его расстреляли в 1938 году. «Солнечное вещество» – эта книга называлась, история открытия гелия. Вот книги, которые я читал примерно в семь лет. Отец меня пичкал своей гигантской библиотекой. Увы, во время войны наша дача в Переделкине сгорела вместе с библиотекой, много тысяч книг... А тогда они нагромождались около моей кровати. Так что мое образование несколько особое. У меня не было периода счастливого советского детства – когда люди благодарили Сталина «за наше счастливое детство». Я никого не благодарил, я не ходил в школу, учила мама просто. Прежде всего, писать. Ужасный почерк на всю жизнь остался!

Мама сразу после революции вступила в партию. Потом партию очистили от моей мамы, потому что она была дочка капиталиста. Она мне всегда говорила, что тем самым ее спасли от ареста, потому что кого не вычистили, всех тех, с кем она была в первой ячейке в 1917 году, потом арестовывали. Большинство вернулось с неизжитыми сталинистскими склонностями, потому что в лагере до них гораздо медленнее все доходило. А она все поняла.

И я уверен, что мама поощряла мое раннее понимание нашей действительности. Как-то она нашла около радио, которое стояло у нас в Переделкине в столовой, мою записную книжечку. В ней были по алфавиту разные страны. И короткие записи. «Германия. Диктатор – Гитлер. Министр иностранных дел – Риббентроп.»; «СССР. Диктатура. Диктатор – Сталин. Калинин – фиктивный президент.» И вот мама поступила замечательно. Это был 1937 год. Она меня вывела в сад в Переделкине. Я в это время уже кончил свое лежание и мог ходить на костылях. Казалось бы, она могла начать меня убеждать: нет, не диктатор. И для тех времен это была бы естественная ее реакция. Но она абсолютно не обсуждала со мной содержание. Она только сказала, что нельзя держать эту книжечку у радио. Я изъясил ее и вырвал эту страничку, поскольку она объяснила мне, что это для всех них опасно.

В книге «Литература и революция» Троцкий довольно много пишет о моем отце критического. Но экземпляр с очень такой желательной надписью, как он его ценит как писателя, он подарил лично. И достоверно помню, что был некоторый конфликт. Мама требовала от отца, чтобы он уничтожил эту книгу. Он вообще не зани-

мался уничтожением книг, в частности, подаренных ему разными многочисленными людьми, которые погибли в те годы, но здесь он согласился. Она говорила, что это слишком опасно для всего семейства.

Я интересным образом узнал о троцкистах, которых судили, потому что мне перестали давать газеты. В то время, когда я лежал, я очень много газет читал, потому что отец выписывал. Надо было читать много газет – знаете почему? – потому что в газетах были разные новости. Общая цензура была, но все-таки в некоторых газетах какие-то были человеческие отдушины. Я хорошо помню один вечер у моего отца, когда меня эти взрослые люди стали спрашивать, что я в последнее время узнал из газет, а я им говорю, что Австрия присоединена к гитлеровской Германии. Ни один из присутствующих писателей этого не знал, потому что они читали «Правду», а в «Правде» такого рода опасные новости не печатались.

Итак, довоенное Переделкино... Интересное совмещение места и времени. В 90-е годы, когда открылись частично архивы КГБ, в одном из сборников был напечатан донос. «В доме у поэта Сельвинского состоялось чтение его поэмы о челюскинцах. Присутствовали такие-то и такие-то.» Но подумайте – внимательность наблюдения! «После чтения Всеволод Иванов разговаривал с Пильняком.» Это была их первая встреча после некоторого перерыва, они долго не виделись. То есть это значит, что и за тем, и за другим все время следили. Я думаю, что это уникальность Переделкино тех лет. С одной стороны, довольно много талантливых, замечательных писателей все-таки собраны в одном месте. С другой стороны – облегчает наблюдение.

Кто играет существенную положительную роль в переделкинской жизни – это Чуковский Корней Иванович. Он меня очень любил, мы с ним много имели дела. Он вообще любил всех детей. Меня он обучил английскому языку. Когда стал обучать, сказал: «Я одного уже обучил, и он эмигрировал». Так что он от меня не скрывал, что он совершенно ненавидит этот строй. Он мне с восторгом читал «Испанский дневник» Кольцова, представьте, – это 1938 год! Вообще Чуковский знал, что такое литература, но боялся советской власти. Он мне всегда говорил, что «когда требуют покаяться, я тут же пишу что нужно, письмо в газету и так далее». Но вот многих людей просто спасал.

Были и еще отдельные блестящие люди, которые помогали обсуждениями, поскольку главной формой общения было чтение друг другу. Например, наш сосед Афиногенов – Пастернак его очень ценил. Ну, казалось бы, все разное у них! Афиногенов – как раз один из видных деятелей РАППа и очень такой в разных смыслах советский, партийный. Но при этом он женится на американской коммунистке, которая приехала помогать строить социализм. И у них в

гостях бывает Прокофьев. Мои родители дружили с Кончаловским, художником. То есть на самом деле все-таки какая-то интеллигентная, просвещенная жизнь была.

Помню мамину красоту, ее светскость, как она умеет к себе расположить самых разных людей — не только интеллектуалов типа Федина и Пастернака, но и людей из простого народа, вроде моей няни. А Горькому нужно как-то занять жену своего фаворита. И он для нее придумывает занятие: она — председатель Совета жен писателей. Но что это значит? Это значит, что к ней непрерывным потоком идут разного рода жены советоваться. И до тридцать какого-нибудь шестого года, ну, это смерть Горького, все может быть просто смешно — каждая жалуется на измены, еще что-то, а здесь уже начинаются политические преследования. Она продолжала общаться со многими женами арестованных людей, что далеко не все делали.

Близкий к Ягоде человек по родству жен, один из руководителей РАППа Леопольд Авербах, очень талантливый критик... Мой отец был высокого мнения о нем, говорил, что исключительного ума был человек. Я его очень хорошо помню. Примерно 1935–1936 год, Авербах уже отовсюду изгнан, он мне говорил: «Не обращайтесь на то, что о вас пишут. В нашей стране самое главное — чтобы не расстреляли, все остальное проходит». Мой комментарий: «В нашей стране такого человека, который это знает, расстреляют».

Среди людей, с которыми дружили мой отец и писатель Леонов, было много военных. Почти все они потом погибли. Блюхер отдал моему отцу — буквально за месяцы до своего ареста — без преувеличения шкаф с разными папками биографического свойства. Это значит, что Блюхер достаточно доверял моему отцу.

Очень много людей было арестовано в Переделкине. Многих арестовывали не в Москве, а на дачах, и дачи в нашем поселке сменяли нескольких владельцев. В частности, Пастернак был нашим соседом по Переделкино, а переехал он с дачи на другой улице, где до этого жил. Он жил раньше рядом с дачей Пильняка, они очень дружили. А Пильняк был арестован, и Пастернаку не хотелось там оставаться рядом с вот этим напоминанием об арестованном Пильняке.

И Бабель был на своей даче арестован. Именно в этот момент мои родители отсутствовали. Они пригласили пожить на нашей даче такого журналиста — из старых большевиков — Лазаря Шмидта. Вот я хорошо помню, что этот Шмидт вышел со мной погулять. Как-то, вы знаете, все новости сообщались уже за пределами дома. Все знали, что все записывается. Так он вышел со мной на поляну перед нашей дачей и дачей Пастернака и там мне сказал, что сегодня приезжали за Бабелем и его арестовали.

А когда уже все переменялось в стране, после XX съезда и доклада Хрущева, меня как-то отозвала в сторону замечательная женщина, которая воспитала брата и меня с момента нашего рождения. Няня, деревенская женщина, Мария Егоровна Трунина. И вот эта Мария Егоровна, уроженка села Мартемьяново Тульской области, бывшей губернии, мне отдала несколько книжек Бабеля, которые он ей подарил. И оказалось, что в своем закутке, где у нее стоял сундук с заветными вещами, она хранила все эти годы издания Бабеля. Я потом отдал эти книжки брату Мише.

И вот эта пора 1937 года, когда по ночам прислушивались. К нам тоже однажды в 12 часов ночи въехала машина официальная. Ворота были закрыты, посылали их открыть... Мама, конечно, испытала все что можно в эти секунды. Ну, все были готовы. Оказалось, что приехали из газеты «Известия» сообщить, что отец включен в делегацию, которая должна посетить страны Северной Европы – Финляндию и балтийские, тогда независимые... Но вот все-таки мама набралась страху за несколько минут, пока выяснилось, что из другого министерства приехали.

Реакция страха, ожидания того, что это может случиться с отцом, у мамы, конечно, была. Мы с мамой не раз это обсуждали. Она считала, что она все-таки отцу помогла. И, конечно, его спасало заступничество Горького. Некоторые писатели, как Бабель, были арестованы сразу после смерти Горького. Сзади нашей дачи была дача писателя Зазубрина. Он был арестован сразу, как только умер Горький. Была знаменитая встреча Сталина с писателями на квартире у Горького, когда Сталин сказал: «Вы – инженеры человеческих душ». Потом это без конца повторялось. Представьте, на этой встрече Зазубрин, в присутствии Сталина, специальную речь произнес о том, что в Сибири какие-то идиоты устроили культ Сталина. Это в те годы, а это начало 30-х, была совершенно табуированная тема, никто на эту тему не смел говорить. И Сталин, конечно, запомнил и отомстил, но – только после смерти Горького.

Я вообще считаю, что по целому ряду известных мне симптомов можно быть все-таки почти уверенным, что смерть Горького была насильственная, что его убили по приказанию Сталина.

Комнаты, где Горький умирал, мне показывал потом Иван Николаевич Ракицкий. Вы знаете, вокруг Горького все гораздо удивительнее, чем это может казаться. Вроде «буревестник», да? А на самом деле Горький – крайне интересная личность с определенными мистическими настроениями. Ему нравились очень нестандартные люди. У него несколько человек стали просто членами семьи и всегда с ним жили, он их содержал. Среди них был Иван Николаевич

Ракицкий, в прошлом русский богач. Все свои капиталы он истратил на раскопки скифского золота. Напрасно. Никакого скифского золота он не нашел. С другой стороны, вовремя разделался со своим богатством, не пострадал поэтому от революции. К моменту революции он уже пришел с пустыми руками и с дружбой Горького. А ко мне он был расположен из-за моих занятий историей и географией. Он меня вроде как экзаменовал, остался доволен и потом имел со мной такие отдельные отношения. И вот я приезжаю с родителями и с братом в этот горьковский дом загородный, напротив Николиной Горы. И Иван Николаевич мне говорит: «Ты знаешь, я тебе покажу то, что вообще никто не видит, потому что меня назначили отвечающим за эти комнаты». У него был ключ от комнат, где умирал Алексей Максимович, и мы с ним вдвоем пошли. Это перед самой войной, то есть мне почти двенадцать, в таком довольно раннем возрасте, но он считает меня с каким-то основанием вундеркиндом и явно хочет, чтобы я запомнил это. Вот я вам рассказываю. Лежит большая стопка газет. Он говорит: «Понимаешь, Горький прилетел из Крыма, ему сказали, что это грипп, он не должен никого видеть в Москве. Его увезли на дачу, там уложили и никого не пускали». Я и сам это знаю – просто по родителям, потому что они всегда у него бывали, а в тот раз их не пустили. Но так или иначе, это конец Горького. И вот что мне сказал Иван Николаевич: все газеты Советского Союза, на которые подписывался Горький, печатали в эти дни особым образом. Был один экземпляр, который набирали специально для него. В нем отсутствовало информационное сообщение о состоянии здоровья Горького. А во всем тираже, появлявшемся в тот момент, в течение десяти дней присутствовала информация о его болезни. Потом сообщили, что он умер.

Примерно в 1936 году был построен для писателей дом в Лаврушинском переулке, и нам дают очень хорошую квартиру. Опять часть людей, с которыми мои родители дружат в Переделкине, оказываются нашими соседями. В частности, Федин живет ниже нас этажом, Катаев – этажом выше, Шкловский – четырьмя этажами. Так что жизнь шла таким необычным образом. Всегда днем, часа в два, я слышал какой-то шум – это Шкловский спускался по лестнице. Когда он доходил до нашего, четвертого этажа (он жил на восьмом), то останавливался. Если отца не было, спрашивал меня, потому что я как бы был завхоз, завлит по части библиотеки. Шкловский сам имел огромную библиотеку, но все-таки пользовался отцовской. У них обоих, я думаю, у всего поколения скорость чтения была колоссальная.

Новый год, с 1937 на 1938, мы встречали с моими родителями на Лаврушинском. И пришел к нам Пастернак, который как раз в это время стал нашим соседом не только по даче в Переделкине, но и по

дому. И я видел его первый раз. В 12 часов ночи – буквально – родился его сын Лёня, Пастернак звонил от нас в родильный дом и ему сообщили.

* * *

Вывод, который делаю из своей жизни, постараюсь проиллюстрировать примером из самых больших глубин древности. Я занимаюсь тем временем, когда нашим древним прапрапредкам удалось создать первое настоящее искусство. Это были замечательные животные – лошади, бизоны, изображенные на стенах французских и испанских пещер, в горах, в Пиренеях. Это примерно было 25 тысяч лет назад. Тогда люди уже очень многое умели – например, охру выплавляли из железной руды. То есть они могли бы делать и железное, и стальное оружие, а вот не делали. А охру делали и раскрашивали стены. И я думаю – почему? Раз не делали оружия, а раскрашивали стены, значит, не хотели никого уничтожать? Значит, было какое-то понимание, что человек должен быть обращен к тому, ради чего он живет и зачем он рождается. Но при этом им было очень трудно.

Потом я сталкивался с тем, что великим художникам так же плохо жилось в наш век. Я дружил с великим художником Робертом Рафаиловичем Фальком. И как-то сижу у него в мастерской, он мне говорит: «Простите, сейчас я должен пообедать». Я присутствовал при обеде великого художника. Он съел буквально, в самом прямом смысле слова, три картофелины, закусил черным хлебом... И вот я думаю: как быть? В пещерах жили люди, которые умели рисовать бизонов, хотя было трудно. А потом вот при мне жил великий художник, и жил, в общем, впроголодь. Почти на грани голода. Что нужно для того, чтобы искусство, культура сохранилась? Видимо, нужно, чтобы были вот эти трудности, но они должны быть в меру человеческих сил. Нельзя заставить художника все-таки просто умереть с голоду. Вот тогда уже плохо.

И, вы знаете, мы живем в этом странном мире на этой грани. Может быть, не каждый из нас это чувствует, – я всегда очень чувствую.

Мой отец рассказывал о Сталине, что Сталин, когда они были в хороших отношениях вначале – это значит 1922 год, – требовал от отца, чтобы он ему рассказывал страшные истории про Гражданскую войну. Если истории были совсем ужасные – кишки у человека вынимали, мотали вокруг телеграфного столба и потом живого тащили, – Сталин заливался хохотом. Ему было страшно интересно.

Литература и люди, создававшие историю, были увлечены садизмом.

Это было на правительственной даче под Москвой. Критик Воронский устроил встречу молодых писателей с членами правительства. А молодые писатели — это были мой отец, Федин и Пильняк. Каждому из них сказали, чтобы приготовили по одному рассказу. Мой отец читал рассказ «Дитё», очень страшный. Отец мне говорил, что он стоял у дерева, прислонившись к нему, после чтения, кругом светская публика, он недавно приехал из Сибири, чуждался еще всех. И кто-то подошел к нему и с сильным акцентом сказал: «Вот вам в награду за хороший рассказ». И положил ему две бутылки грузинского вина в карман. И сказал: «Давайте приходите ко мне, поживем у меня конец недели на даче, у меня много грузинского вина». Отец говорил мне, что он — из немногих людей, которые видели Сталина совсем голышом, потому что ходили купаться вместе.

Сталин просто наизусть выучил некоторые куски его прозы. Как-то отец — это уже 1925 год — пришел к Воронскому, который был главный представитель партии в литературе. И Воронский ему говорит: «Заходил Сталин, прочитал корректуру твоей книжки, ему очень нравится, он хочет написать предисловие». Мой отец на это отвечает: «Я очень не люблю предисловий, особенно когда их пишут политические деятели». Через несколько дней (!) он приходит в другой журнал, и ему его друг, издатель, говорит: «Звонил Сталин: ‘Зачем вы печатаете эту вещь Всеволода Иванова? Он сменовеховец!’» Всеволод Иванов за несколько дней стал врагом, да? И больше они много лет не виделись. А потом они встретились у Горького, когда Сталин сказал: «Вы — инженеры человеческих душ». Горький не знал всей этой истории. И он представляет отца Сталину: «Познакомьтесь, Всеволод Иванов». — «А, помню, у вас был хороший сборник рассказов на среднеазиатские темы.» Это вот тот сборник, к которому он хотел писать предисловие, а отец отказался. Горький, не зная об этих тонкостях прошлого, посадил отца моего на почетное место напротив Сталина. И Сталин смотрит на моего отца, который не пьет ничего. Не хочет он в тот день пить. Хочет все хорошо запомнить. А они со Сталиным до этого много вина в разное время вместе выпили. И Сталин говорит: «Всеволод Иванов все себе на уме, все не пьет». Потом проходят какие-то годы — это 1939 — писатели получают орден. Моему отцу дали Трудовое Красное Знамя, что не совсем соответствует такой официальной номенклатуре, потому что он все-таки один из основоположников, ему бы, вроде, полагался главный орден — Ленина. И Фадеев, глава Союза писателей, выпивая с отцом, сказал, что когда дошли до имени Всеволода Иванова в списках — они Сталину показывали списки, кто какие ордена получает, — Сталин сказал: «А, Всеволод Иванов все себе на уме».

Родился мой отец в селе Лебяжьем, а потом его поселок в сталинское время был на территории полигона для первых испытаний ядерного оружия. Поэтому мой отец туда попасть не мог, это была запретная зона. Это север Казахстана, значит, юг Западной Сибири. Село было двуязычное, и отец был двуязычный, и первые вещи писал на русском и казахском языке, который называли киргизским, и население тогда называлось киргизским. У Державина, по-моему, если не у Ломоносова: «Богородица царевна Киргиз-Кайсацкая орды!»...

Я знал совсем немного бабушку со стороны отца. Ирина Семеновна Иванова. Отсюда у меня это ударение на втором слоге – сибирское произношение. Знаете, удивительная внешность. У отца ведь довольно сильные монгольские черты, да и у меня мой брат-художник замечал, что уголки глаз не совсем правильные для европейца. Но у нее была просто настоящая монгольская внешность. И она ее частично передала моему отцу.

Мой дед, Вячеслав Алексеевич Иванов (я назван в его честь), был преподавателем сельского училища. Он выучил у мулл, с которыми он дружил, арабский для чтения Корана и персидский. Сам он был истово верующий православный, монархист, серьезно относившийся к идее России и на эту тему очень ругавшийся с моим отцом. Ну, отец как бы ушел из дома, потому что дома безобразие и пьянствует Вячеслав Алексеевич, но все-таки одна из причин этих распрей была политическая.

Насколько у моего отца его интерес к Индии и буддизму связан с обилием интересов к религии у моего деда, не знаю. Но когда он бродил по дорогам Средней Азии, у него все время маячила цель – Индия. Одна его книга называется «Мы идем в Индию». Отец по дороге давал представления в цирке. «Бен Али-бей, факир, который протыкает себя шпагой.» Я его спрашивал – как это? Он говорит – в основном, трюки. Но какие-то случаются неудачи, и тогда все-таки прокалывается до крови. То есть там реальное острие шпаги есть. Сам писал тексты для своих номеров, был жонглером, специалистом по трюкам. Потом научился типографскому делу и стал типографским рабочим. И это как раз его привело в Красную гвардию, потому что когда произошла революция, его выдвинули в какие-то деятели в Союзе типографских рабочих. Союза факиров в то время не было.

На самом деле он в Гражданскую войну явно участвовал вначале на стороне красных, потом на стороне белых, потом его чуть не расстреляли. Но он, рассказывая об этом, страшно смеялся, мой отец. И в этом нечто есть. Ну, вот я вам сказал про буддизм. Но у него, конечно, ощущение, как вам сказать, невсамделишности того, что с нами происходит в жизни, было очень сильное. Какие-то части био-

графии он ни с кем не обсуждал, включая меня. В частности, колчаковскую. Он действительно работал в типографии Колчака. Между прочим, во главе этой типографии был знаменитый писатель, потом сталинский лауреат, Василий Ян – Янчевецкий, автор «Чингис-хана» и так далее. По-видимому, книги, которые нравились Сталину. Типография, где работал мой отец, уехала вместе с Колчаком и каким-то образом потом оказалась у красных. И в процессе вот этого передвижения был случай, когда на бронепоезд напали партизаны, поэтому все-таки есть маленькая доля вероятия, что отец действительно был в это время на стороне белых, внутри бронепоезда. «Бронепоезд 1469» – знаменитое произведение советской литературы, но не абсолютно исключено, что, может быть, реальный сюжет – противоположен.

С Колчаком они были знакомы. Был сибирский, по-видимому, очень талантливый писатель, чудака, Антон Сорокин, и у этого Антона Сорокина был литературный салон. И вот в этот салон однажды вечером явился Верховный правитель со своей возлюбленной Анной Тимиревой. Сорокин знакомит Колчака с отцом: «Вот это писатель молодой, Иванов, первая вещь его напечатана Горьким». Колчак смотрит на него и говорит: «Да, Горький – талантливый человек. Но возьмем Петроград – повесим. И Блока повесим». Вот это он слышал своими ушами. Так что я думаю, что мы избежали многих приятных возможностей. Вы знаете, у меня усилилось это чувство, я в Америке стал читать газеты, которые издавались тогда, при Колчаке. Впечатление ужасное. Это все-таки было то, что сейчас называют «авторитарное правление». То есть правительство, где все решал один человек. Уже тогда.

В Петроград папа попал по вызову Горького. И надо было поехать хотя бы для спасения жизни. Его ведь все-таки чуть не расстреляли в Сибири. Приехал без нижнего белья, простите за подробности. Доху из медведя носил сверху. Его зовет к себе после первого знакомства Федин, Серапионов брат, и говорит: «Слушай, я видел, что у тебя там ничего нет. У меня есть две пары штанов. Одни я ношу, я тебе подарю вторые». И папа всегда сохранял любовь к Федину, потому что говорил, что как ни относишься потом к Федину, но несомненно, что из двух пар брюк одни он подарил незнакомому, в общем, человеку.

Потом не кто-нибудь, а Дзержинский ему говорит, как он его любит. «Я вам продемонстрирую это в ближайшие дни.» И вот отец мой сидит, работает, зажженная печка. В Петрограде. Звонок в дверь, он открывает, там стоит посыльный из чрезвычайки с большим пакетом для него и запиской от Дзержинского: «Я вам сказал, что покажу

вам, что мы к вам очень хорошо относимся. Посылаю вам все доносы на вас, полученные за последние полгода». Огромное количество! Отец говорил, что он все их бросил в печку, пока этот не ушел. Ну вот это характер, да?

Что еще о нем надо знать... Он написал поразительную книгу «Тайная тайных», собрание новелл о человеческом бессознательном. Его обвинили потом во фрейдизме. Из переписки его с Фединым видно, что сексуальные проблемы огромные были, в смысле бесконечного количества любовниц. То есть это был не просто алкоголизм, а какой-то вид такого богемного почти помешательства. Потому что ну зачем уж столько женщин? Непонятно было. А вот на самом деле литература лучше всего у него в это время. «Тайная тайных» вышла в первом издании в 1927-м, второе издание – в 1929-м. 1929-й – год, когда Сталин окончательно укрепился во власти. И тут его начинают ругать. Романы «Кремль» и «У» – запрещенные тексты. Фадеев ему сказал про «У», что «даже не думай кому-нибудь показать». Политики там нет. Это просто внесоветская литература.

В начале 20-х годов в Петрограде он ходил в Дом искусства на регулярные встречи Серапионовых братьев. Отец – это Брат-Алеут. У них были клички у всех. К ним иногда из Москвы приезжал Пильняк, какая-то шла своя жизнь.

Зощенко, как известно, тоже был Серапионов брат. Из всех Серапионов он признавал как хорошего писателя моего отца, очень жалел, что пропадает этот дар, что Всеволод Иванов в основном пьянствует. Думаю, ему нравилось в отце то, что было чертой времени, – вот этот чтобы не сказать садизм, но изображение всех ужасов Гражданской войны – как они были.

Зощенко – отдельная глава моей жизни. Как-то так вышло, что в 1940 году я был с родителями в писательском доме в Коктебеле. И отец мне говорит: «Вот рядом есть дом отдыха ленинградских писателей, там Зощенко». Я пошел с ним. Зощенко потом вспоминал забавным образом этот наш визит. Я помню, он мне говорит: «Ну, вы тогда уже...» Нет, он со мной на «ты» был. «Ты тогда уже умел командовать своими родителями.» У меня сохранилась интересная книжечка от этого визита. «Дорогому Коле от автора» – и представьте себе, эта книга называется «Рассказы о Ленине». Я потом много раз думал: «Ну зачем он это сделал?»

Зощенко был маленького роста, медленно говоривший человек с очень таким тихим, скромным голосом. Я бы сказал, что он подчеркнуто тихо себя вел. При том, что он был очень знаменит. Это вообще был самый знаменитый русский советский писатель внутри страны. Родители говорили, что когда они вместе ехали на Беломорканал на

печально известном писательском пароходе и публика узнавала, что там Зощенко, то на причалах возникали толпы.

Помню, он как-то звонит и что-то обо мне спрашивает маму. И мама потом мне сказала: «Ты знаешь, Зощенко о тебе говорит, что он в тебе видит что-то такое очень одухотворенное». Я как-то так, смущаясь, что-то мычу. А она мне: «Да, и потом он добавил – даже, может быть, *душевную роскошь*». Я запомнил это соединение слов.

Зощенко не раз встречался с моим братом Мишей, сыном Бабеля. Когда тот бывал в Ленинграде, Зощенко через него присылал моему отцу подарки, в частности, масонскую медаль, на которой написано: «Тебе, Тебе, а не имени Твоему».

Я продолжал любить Зощенко и тоже старался видиться с ним, как только можно. Вы знаете, что было с Зощенко, да? Что он очень тяжело был болен? У него случилось несчастье, как у Гоголя: нервная невозможность восприятия пищи. Представьте: мы встречаемся у наших общих друзей Груздевых в Ленинграде. Он живет в том же доме, он знает, что я приехал, хочет меня видеть, звонит: «Я сейчас побреюсь и приду». Они накрыли на стол, ну, обычный ужин. Это уже время много после гонений на Зощенко. Он умер в 1958-м, значит, это где-то 1954-й. Сыр на столе, я помню. Он кладет кусок сыра к себе на тарелочку, обращается ко мне: «Знаешь, я думаю, что я смогу съесть этот кусок». И в течение потом длинного разговора – час, другой – он время от времени смотрит на этот кусок сыра, и я вижу, что он борется с собой. То есть что-то внутри него не дает ему возможности. В общем, он умер от голода, от изнурения этой болезнью.

Я думаю, что в каком-то смысле в этой болезни все-таки можно обвинить власти. Потому что постановление об Ахматовой и Зощенко было принято в 1946 году, прошел год после войны, еще очень плохое продовольственное положение в стране. А Зощенко и Ахматовой не дали хлебных карточек. Известно, что это было доложено потом Сталину, и Сталин осуждал тех бюрократов, которые это сделали, – не знаю кого, не знаю, какими нехорошими словами он их назвал. В общем, это как бы не входило в замысел Сталина – уморить их голодом.

Зощенко – автор такого потрясающего письма, которое начинается фразой: «Иосиф Виссарионович, вы ошиблись». Я почти уверен, что это единственное письмо такого содержания, которое дошло до Сталина. Зощенко объяснял Сталину, что он ничего не имел в виду против советской власти, когда писал знаменитый рассказ с обезьянкой, который очень разозлил Сталина.

Из тем, которые обсуждались у нас дома за столом, когда Зощенко к нам приехал из Алма-Аты, где он был в эвакуации: он

говорил, что у него там был друг, с которым он часто встречался и выпивал. И представьте, это был Василий Сталин, генерал воздушного флота. Я бы сказал так, что напряженный интерес к текстам Зошенко у Сталина мог возникнуть отчасти поэтому.

Зошенко был, по-моему, совершенно закрытый и ни на что не похожий человек. Когда он приехал тогда из Алма-Аты, он сказал моим родителям, чтобы пришли к нему в номер гостиницы «Москва»: «Что-то хочу вам почитать». И меня тоже позвали. Зошенко нам целиком прочитал всю свою книгу, написанную в Алма-Ате. Она тогда называлась «Книга о разуме». Это «Перед восходом солнца». Я думаю, что он как писатель со временем будет оценен.

Мы ехали хоронить Ахматову в такси, которое взял для нас двоих Иосиф Бродский, и дорога на кладбище в Комарово проходит мимо места, где могила Зошенко. О чем-то мы говорили, и Иосиф подтвердил мое мнение: «Да, конечно, великий писатель».

* * *

У меня несколько людей в жизни есть, которые при мне умирали. Вот так мне «везло». Вот моя бабушка умерла при мне. Я приехал с работы вечером на дачу в Переделкино, сижу около нее. Помню, часов девять вечера. И она мне говорит: «А ты что приехал, чтобы меня видеть?» Ну, я как-то стал выкручиваться, а она: «Нет, я понимаю, чтобы меня видеть». И вот буквально с этими словами умерла.

Еще так, конечно, удивительно: я очень люблю Марселя Пруста. И перечитывал тогда Пруста, главы о его бабушке, которая для него много значила. У меня в это время болела и умирала моя бабушка. Я подумал, что такой интересный пасьянс Некто разложил.

С этой моей бабушкой, маминой мамой, Марией Потаповной Сыромятниковой, у меня были очень близкие отношения. Отчасти это связано было с Переделкино, где мне велели в детстве лежать неподвижно, когда у меня началась длительная история болезни. А у бабушки примерно в это же время нашли тяжелую форму малокровия. Ей нужно было есть сырую печенку, но обязательно тоже лежать на свежем воздухе. И часто она возлежала недалеко от меня на лесной части нашего участка. И бабушка там обычно читала толстый том «Литературного наследства» и делилась со мной впечатлениями. Бабушка была... Я бы сказал так: прирожденная интеллигентная женщина. Но попала по старой русской системе сводничества при браках в купеческую московскую среду – то есть до свадьбы она не знала своего будущего мужа Каширина, маминого отца. И когда она оказалась в компании этих московских капиталистов, ей было скучно и нудно. Как и моей маме. От этой скуки мама в юности ушла в боль-

шевики. Она ходила в Народный университет Шанявского, а потом по ее наущению – и моя тогда не старая бабушка, которая заслушалась лекциями молодого профессора Бориса Ивановича Сыромятникова, историка права. Она влюбилась. Тот тоже ушел от своего семейства. И брак их оказался удачным. Они прожили вместе всю остальную жизнь. Сыромятников был совершенно против большевиков, но, на беду нам всем, воспитал одного хорошего юриста – Вышинского. Вышинский когда-то слушал его лекции. Поэтому когда Вышинский совершил свое восхождение, Сыромятников вдруг тоже стал крупным советским профессором. Он был бурно ненавидевший большевиков человек. Говорил, что он в их метро никогда ездить не будет. Бабушка как-то больше интересовалась перепиской Чайковского и Фон Мекк, так что ей политика была неинтересна...

Моя бабушка была дачной приятельницей матери Фадеева, Антонины Владимировны Кунц. Она – из такой старорежимной революционной интеллигенции, то есть, по представлениям матери Фадеева, существовала некоторая система правил, которая определяет отношения между людьми. Сейчас, когда пишут о Фадееве, обычно говорят, что он каялся по поводу того, что многих арестовали по его наветам. Действительно это так. Я знаю, что, например, в деле ленинградского поэта Спасского есть телеграмма: «Арестовать Спасского. Фадеев». Телеграмма объясняется тем, что он был генеральный секретарь Союза писателей. По некоторым негласным правилам тех лет арест производился с согласия главного партийца, ответственного за данное место. Значит, за любой арест Фадеев отвечал. Но представьте, сейчас говорят, что он из-за этого покончил с собой, – а я возражаю. Вот что я слышал от него, что он сам считал главным своим проступком...

В Переделкине за нашей дачей была дача Зазубриных. Огромная! Я много раз бывал на этой даче, поэтому помню ее. Выпивал там даже с Фадеевым. И была не только дача, но банька и скотный двор. Потому что Зазубрин был настоящий сибирский писатель, он сам руководил строительством. И вот арестовывают настоящего сибирского писателя и его жену... А кто поселится там? Конечно, тот, кого Сталин назначил главным среди писателей после смерти Горького. Это был Фадеев.

Фадеев очень сложно относился к моему отцу. Я их много наблюдал вместе. Ну, во-первых, он – сосед, значит, он часто у нас бывал. До войны они вместе работали в «Красной нови». Точки зрения расходились. Отец, например, мне говорил, что он пытался напечатать платоновский «Котлован» в «Красной нови», но это было, конечно, невозможно. «Невозможно» – это значит, что Фадеев не про-

пустит. А Фадеев очень испугался истории с хроникой «Впрок», потому что Сталин ведь написал всякие страшные вещи на полях. А потом было заседание Политбюро, посвященное повести «Впрок» Андрея Платонова. Всех поразило поведение Сталина. Сталин не сидел, а ходил по комнате и время от времени изрекал что-нибудь, в том числе и матерное, по поводу Платонова. И требовал, чтобы Фадеев написал покаянное письмо, – что вот он, член партии, виноват в том, что пропустил эту вещь, что она была напечатана.

Теперь я перехожу к тому дню, примерно за полтора месяца до того, как Фадеев покончил с собой. Уже состоялся XX съезд. XX съезд – это 25 февраля 1956 года, а Фадеев покончил с собой в начале мая. Значит, это середина марта или что-то в этом роде. Еще снег лежит, я помню, такой голубой, замечательный... «Весна света», по Пришвину. Мы всей семьей пошли гулять. В воротах нас догоняет Фадеев: «Давайте я пойду с вами». Мы идем, разговариваем на разные темы. Ну, из интересных вещей, интересных для того, чтобы понять, что представляет собой Фадеев перед самоубийством... Он вроде уже не у дел. Союзом писателей не руководит. Но остается членом ЦК, то есть он все равно очень крупный большевик. Среди рукописей, которые ему дает издательство, – воспоминания знаменитого пианиста Гольденвейзера о его жизни. И Фадеев с некоторой завистью и восторгом нам говорит: «Вот, какая замечательная книга! У этого великого пианиста, который хорошо знал Толстого, осталось идеалистическое представление о жизни. Ну, конечно, сейчас это напечатать невозможно!»

Мы возвращаемся с прогулки. Фадеев идет вместе с нами. Одним словом, он просидел у нас до поздней ночи. Среди всякого говорения Фадеев ко мне обращается и говорит: «У тебя здесь нет Гоголя? Принеси, пожалуйста, ‘Вия’». Я приношу ему «Вия». Фадеев находит – явно хорошо знает текст, быстро ищет, – сцену, где полет на ведьме. И читает эту сцену – изумительно! Он пьяный, но вполне хорошо читает. Но самое главное, что он читает как бы с точки зрения человека, который вот сейчас сам летит на ведьме. Потом Фадеев говорит: «Меня все время это мучит... Я вам сейчас расскажу».

1932 год. Это начало длительных наездов-возвратов Горького из Италии в Москву. Там уже Муссолини, ему рано или поздно придется уехать насовсем. К его возврату Сталин приготовил ему подарок: постановление ЦК о роспуске РАППа, Российской ассоциации пролетарских писателей. Поскольку Фадеев – один из руководителей, он решает, что должен, как честный большевик, написать письмо в «Правду». Мол, он, Фадеев, был руководителем, но сейчас вот партия признала, что надо закрыть, правильно партия поступает. Он говорит

нам: «Настроение тем не менее ужасное. Приняли такое постановление, напечатали в ‘Правде’ – что с нами сделают? Никто нам не звонит, мы пьем с поэтом Луговским». И вдруг звонок: Ягода, тот самый главный министр всего – ОГПУ, затем НКВД. «Вы давно у меня не были, приезжайте ко мне на дачу.» Они счастливы – ну как, все разрешается, такой большой человек их зовет! Они приехали. Ягода довольно сухо с ними поздоровался. (Я пересказываю почти дословно вам рассказ Фадеева.) И Ягода говорит Фадееву: «Саша, давно не играли вместе в бильярд. Пойдем в бильярдную!» Когда они начинают играть в бильярд, Ягода ему говорит: «Слушай, что ты сделал? Ты же предал своих друзей! Ты же руководил РАППом – как ты мог написать письмо?» Фадеев говорит, что был спектр противоположных чувств, потому что ему это говорит человек, занимающий главный пост в этом страшном министерстве. Он может его просто на месте арестовать! И соглашаться нельзя. И возражать ему опасно. Но Ягода и сам говорит что-то опасное с точки зрения властей, потому что это же постановление ЦК, значит, фактически Сталина. И Фадеев начинает кричать. У Фадеева был громкий голос, я хорошо это помню, на очень высоких нотах он смеялся, этот страшный смех доносился с соседней дачи... Он кричит: «Как вы можете, старый большевик, меня, молодого большевика, упрекать в том, что я сделал?» Ягода очень грубо и резко его обрывает, Фадеев выходит из бильярдной и говорит Луговскому: «Нет, всё, Володя, мы возвращаемся. До свидания». Тут Фадеев впадает в еще больший раздрыг и мучения, потому что, ну, поссорился с главным человеком в КГБ – явно, что это плохо кончится. Что придумал Фадеев? – Он написал письмо, где подробно для ЦК излагает весь разговор – как Ягода позволил себе выступить против Постановления ЦК.

Дальше 1939 год, это юбилей Сталина, Сталину 60 лет. Заседание, где Ворошилов, Калинин, Молотов – самые близкие люди сидят за столом. Кто-то из них спускается в зал к Фадееву и говорит: «Пожалуйста, вы к нам садитесь». Он удивляется, потому что там только вожди, такого уровня люди. К нему подсаживаются: «Мы хотим вам объяснить, почему к вам так относится Иосиф Виссарионович. Он очень высоко вас ценит. Он говорит, что вы – единственный в то время, когда никто не сообщал об этом, дали знать о настроениях Ягоды». Фадеев нам признается: «И тут я должен сказать, что на самом деле я не только написал тогда письмо, а когда я узнал через два-три года, что Ягода арестован, ко мне обратились, и я уже по форме написал, ну, просто донос на него». Вот это он считал главным своим преступлением. Это поразительно, правда? Но я склонен думать, что все-таки он знал немножко больше. То есть он

знал, что на самом деле Ягода не слишком любит Сталина и что существовал, я думаю, вполне реально существовал, проект устранения Сталина. Вот то, что обычно связывают с XVII съездом партии, проблему Кирова, которого метили в главные... А если это так, то это не только личное предательство, но и политическое предательство крупного масштаба, потому что он как бы закладывает всех тех людей, с которыми он мог быть вместе.

Я помню этот день, когда он покончил с собой. Так получилось, что я сидел на даче у того самого окна, которое смотрит в его окно. Расстояние очень маленькое, так что я слышал – как хлопок. Я даже не сразу осознал. Но этот хлопок услышал и Федин. Дача Фебина гораздо дальше, но он тоже слышал. И Федин, и мой отец, оба поняли... Видимо, настолько были напряжены нервы, что было понятно, что надо бежать к Фадееву. И они побежали не сговариваясь. Они оба там пробыли какое-то время, потом вернулись к нам на дачу, – и так мы узнали про самоубийство Фадеева.

* * *

В том кинофильме, который я запомнил из своей жизни, – в последовательности кадров, потому что, может быть, какие-то кадры исчезли... – но в тех кадрах, которые я помню, страха как такового не было. Я склонен думать, что это что-то наследственное. Потому что у моего отца была определенная реакция, которую не раз приходилось наблюдать. Вот он засыпает. Если его разбудить, первое, что он делает, – вскакивает и кричит: «Убью!» И поскольку револьвер под подушкой, то это часто выглядело вполне реалистически. Реакция не испугавшегося человека – наоборот, наступательная.

И у меня страха не было, но было предчувствие того, что может случиться самое плохое. Это у Ахматовой где-то была цитата, эпиграф, из Хемингуэя: «Я уверен, что с нами случится все самое ужасное».

Страх... В те годы, когда шли процессы, мы все это обсуждали. Дело в том, что мой отец туда ходил. Его сделали корреспондентом «Известий» для больших процессов. Внешне изменились многие арестованные. И отец рассказывал, что одним из сильных впечатлений был Алексей Толстой, который так же, как мой отец, был корреспондентом, обязанным присутствовать на этих заседаниях. Когда первый раз их пригласили, – я думаю, что это был процесс Бухарина, весна 1938 года, – сидели обвиняемые за столом. И вот заполняется зал в Доме Союзов. Мой отец вошел немножко раньше, чем Алексей Толстой. И он замечает, что Алексей Толстой входит в зал и прямо направляется к эстраде, где стол со всеми подсудимыми, и на каждого смотрит, как будто он первый раз видит этого человека. И отец

говорит: «Но я же хорошо знаю, что они близко знакомы». Это на самом деле была одна такая тусовка. Вопрос, который тогда, я помню, мы в семействе обсуждали: отчего может быть, что у них изменилась внешность? Действительно, их подвергали пыткам так серьезно. В частности, шел разговор про Крючкова, секретаря Горького. Что-то с ним такое делали, что у него кости стали разжижаться, что-то такое страшное. Но от него требовали таких сильных показаний, он их все дал. Даже на закрытом заседании, где он говорил, что он убил сына Горького. Но мой отец к этому заседанию не был допущен. Корреспондентов никаких, ни советских, ни иностранных, не пускали на заседания, где Ягода и Крючков объясняли, что они настолько любили Надежду Алексеевну Пешкову, невестку Горького, что убили ее мужа. Такая красивая театральная история. Но Сталин почему-то решил, что это нужно в тайне держать.

Вообще, очень мало людей в состоянии перенести любые пытки. Я наводил справки и все-таки познакомился потом с большим количеством людей, которых пытали. Некоторые что-то сделали со своей памятью. Или внушили себе, или память сама себя организует. Им казалось, что они ничего не подписывали. Примеры редкой выносливости есть, но я думаю, что это на тысячу человек – один. Я имею в виду, в частности, Гнедина – он сын Парвуса, привезенный в детстве матерью в Россию. С июня 37-го он заведовал отделом печати МИДа, который тогда назывался НИДом – Наркомат иностранных дел. И я Гнедина хорошо знал. Он мне говорил, что его пытали в первый же день после ареста. Был план, как он думал, ареста министра Литвинова. И его стали пытать. С приема, который Гнедин проводил на службе, его повезли на Лубянку, а там прямо к Берии с вопросом: «Когда вас завербовал Литвинов?» Ну, подробности я опушу. Но то, что он рассказывал про характер пыток, – что-то ужасное. В присутствии Берии. Берия дает указание, его пытаются, он отказывается. Это все происходит в кабинете Берии в первый день ареста. Его спасло то, что очень быстро оказалось: не проходит план ареста Литвинова. Потому что у Сталина все время менялась его внешняя политика. Литвинова сменил Молотов, и начались переговоры с фашистами. И в зависимости от успеха или неуспеха менялась концепция, насколько им нужно было поймать самого Литвинова. Ну и, по-видимому, Литвинов себя вел разумно, это я знаю от его детей. Он засыпал с револьвером под подушкой. Они понимали, что он или их застрелит, или сам застрелится, но не пройдет вариант, что он был шпионом, а тогда он им неинтересен.

Перед войной... Я, пожалуй, вам две истории расскажу, просто чтобы было видно, что происходило, о чем говорили люди в Москве, –

во всяком случае, в нашем кругу. Я хорошо помню этот день в августе 1939 года. Мы выходим с отцом на нашу переделкинскую поляну, как часто мы вместе выходили гулять, и навстречу нам идут близкие друзья Фебина – архитектор Самойлов и его жена. В нашем семействе, поскольку Фебин был сосед и старый друг, всегда говорили, что Фебин окружает себя людьми, которые, как он, очень отрицательно относятся к режиму. Фебин не скрывал того, что он вообще абсолютный антисоветчик. В каком-то смысле ему это даже помогало в его советской карьере, потому что уж если такой антисоветчик все делает, что требуют от него, ему можно доверять. И вот архитектор Самойлов рассказывает нам, что в газетах появилось сообщение, что Риббентроп приехал в Москву. Мы все однозначно поняли, что Сталин заключает соглашение с Гитлером.

И потом еще одна встреча у нас дома. Приходит Алексей Николаевич Толстой. Он рассказывает нам, что вернулся с заседания Верховного Совета. В коридоре Кремля к нему подходит Молотов: «Вы знаете, так утомительно, целый день переговоры с финнами!» Перед началом войны с Финляндией Сталин пытается угрозой их заставить согласиться с его предложением. Речь шла о создании Карело-Финской Советской Социалистической республики, чтобы часть Финляндии входила в Советский Союз. Это результат раздела сфер влияния по Пакту Молотова – Риббентропа. Молотов говорит Толстому: «Понимаете, они не отдают нам Выборг. Но это же наш старинный русский город!» Толстой приходит к нам, и даже он удивлен, потому что такая фразеология не годится для старого партийца, каким реально был Молотов. То есть полная смена ценностей. Потому что никаких русских городов не было еще позавчера, а сегодня уже нужно начинать войну с финнами из-за этого!

Первый день войны, 22 июня, я помню по часам. Я именно в это утро не слышал радио. Обычно я его слушал, а здесь что-то меня отвлекло. Отец пошел куда-то по делам. По дороге его окликнул кто-то из соседей: «Молотов выступает, передают по радио». И отец вернулся. Это где-то около 12 часов дня было. Я должен был пойти к Пастернакам, их позвать – у них радио не было и телефона не было, так что по всем таким делам Борис Леонидович к нам приходил. У них сидел тогдашний ближайший друг Пастернака Фебин, который сказал, что он просит меня передать маме, когда она поедет в Москву, чтобы она позвонила Доре Сергеевне, жене Фебина (он без нее был на даче), и сказала, что Фебин ее заверяет – Москву немцы бомбить не будут. Я помню себя: «Константин Александрович, вы знаете, будут бомбить».

Ну, собственно, первая большая воздушная тревога была 22-го

июля. Для всех, конечно, было потрясение, что все-таки они так легко смогли добраться до Москвы и начать ее бомбить.

Сталин не появился в первые дни. И про его выступление моему отцу рассказала женщина, приехавшая к нам из Радиокомитета. Дело было так. Сталина никто не видел, никто не слышал. Потом им вдруг сказали: «Сейчас будет у вас Сталин». Вошли Сталин с Ворошиловым. Ворошилов был в хорошем настроении и как бы толкал Сталина вперед, а Сталин находился в каком-то разжиженном и небоеспособном состоянии. Ворошилов наливает ему стакан воды: «Пей!» И потом так же повелительно: «Говори!» То есть Сталин просто не мог собраться начать говорить. Ну, потом все-таки это: «К вам обращаюсь я, друзья мои, братья и сестры...» Тоже очень необычный тон для Сталина. По-этому, что бы ни писали сейчас, что бы ни говорили, но факт – он был в психофизиологическом необычном для себя потерянном состоянии.

Отец был в некотором патриотическом угаре. Ко мне приходил приемный сын Паустовского, который хорошо знал немецкий язык и что-то подслушал на своем приемнике по-немецки. Потом зашел отец и я сказал: «Вот, немцы говорят, что они уже заняли такие-то белорусские и украинские города». Отец очень был недоволен, что мы слушали немецкое радио.

Дальше – эвакуация, Чистополь... Меня вывезли из Москвы вместе с братом. Это был вагон детей писателей. Мама ехала вместе с нами. В Чистополе у нее возникла идея, что меня неплохо использовать в качестве того, кто приносит домой судки с положенными нам завтраками, обедами и ужинами. Вот, в основном, в Чистополе я помню свои путешествия с этими судками. Поэтому я знал публику вокруг. В частности, я там познакомился с Муром, сыном Цветаевой, который после ее гибели переехал из Елабуги в Чистополь. Она погибла ведь отчасти потому, что ее не пускали в Чистополь. Но ему сразу, немедленно дали разрешение.

Из всей нашей семьи, по-моему, только няня случайным образом познакомилась с Цветаевой. Они ехали в эвакуацию из Москвы в одном поезде. Поэтому я не знаю, похож ли Мур на Цветаеву, но Мур был... такая личность в самом себе. Когда человек вообразил себя сверхчеловеком. Он так себя вел, с большим презрением ко всем. Ну, почти ко всем. Может быть, для некоторых делал исключение. Может быть, для меня делал исключение...

В Чистополе я с трудом вычерчивал линию фронта, потому что сводки Совинформбюро в тот год, когда армия просто бежала, не отступала, а именно бежала, – сводки были, конечно, искусственные. То есть они не всё называли. Асеев, который тоже приехал в

Чистополь, ворчал: «Что происходит в Москве? Ее бомбят, а в доме, где живут писатели, Пастернака ставят на крышу ловить бомбы. Это все равно как Леонардо да Винчи поставили бы ловить бомбы».

А дальше существенные воспоминания моего отца о страшном дне 16 октября. Он вообще собирался остаться в Москве. И тут мы возвращаемся к загадочным проблемам его биографии — что он на самом деле думал. Ну, про Сталина он все знал, это безусловно, у меня есть на эту тему авторитетные свидетельства — не мои, но других людей, с которыми мой отец оказался вместе на леднике под Ташкентом. И там, на леднике, сказал одному из моих друзей, что Сталин — восточный деспот и ведет себя так, как восточный деспот. Никогда, ни с кем, ни в каких домах и даже в окрестностях нашей дачи он об этом не говорил. То, что он остается, он рассказал Пастернаку, и Пастернак поэтому поставил к нам на дачу сундук с частью того, что ему прислали из эскизов его отца, и там же были некоторые рукописи молодого Пастернака. Это все сгорело, когда горела наша дача...

Но где-то в середине дня 16 октября, когда немцы могли войти в Москву, к нему пришел живший с нами почти на одном этаже в Лаврушинском Катаев с братом Петровым. Они все трое были военные корреспонденты при Совинформбюро. Они ему сказали, что пришли с заданием: им приказано было привести Всеволода Иванова на вокзал, и все они должны были вечером уехать с правительственным поездом. И отец говорил — по-моему, он даже записал у себя в дневнике, — что если бы он не выпил с ними тогда, может быть, все-таки не решился. А тут как-то естественным образом, по-товарищески, поехали. Куда поехали? В здание ЦК. И отец мой записывает, что он беспартийный, а ему дают уничтожать документы, которые надо в этот день уничтожить. Они, трое писателей: Всеволод Иванов, Петров, который Ильф и Петров, и Катаев — уничтожают документы с грифом «Совершенно секретно». А кругом дым, потому что эти же бумаги тут же жгут. Они готовятся к сдаче Москвы. 16 октября.

Правительство бежало в Куйбышев, куда не поехал Сталин. В поезде были члены правительства и иностранные миссии. Я помню, отец рассказывал о сэре Стэффорде Криппсе, английском после, который во время остановок выгуливал на станциях какую-то замечательную породистую собаку. Он ее вывозил в эвакуацию.

7 ноября в Куйбышеве, где мой отец как привезенный корреспондент присутствовал, Ворошилов произнес, а отец мне повторил его слова: «Я вас приветствую во второй временной столице Советского Союза». Никогда ни в каких документах не значилось это выступление. У отца было впечатление, что все кончилось.

* * *

В Ташкенте я начал писать стихи.

Голодное брюхо к учению глухо.
Сегодня на завтрак одна затируха.
Сегодня на завтрак одни тополя,
Ташкентская пыль, и верблюды
Уходят сквозь дымку, плюясь и пыля.
Я их никогда не забуду.

Мы оказались в Ташкенте после долгого и очень неприятного путешествия. Поезд шел медленно. С нами ехали поляки, даже – больше польские женщины. Это было связано с тем, что стали формировать армию Андерса из тех польских офицеров, которые не были в Катыни и, соответственно, уцелели. Среднюю Азию, видимо, выбрали как удобное место, чтобы эту армию собрать. И женщины ехали к своим мужьям.

Когда мы добрались до Ташкента, отец и приехавший с нами поэт Кирсанов пошли к каким-то узбекским чинам. И нам дали на несколько семей помещение Сельскохозяйственного банка. Моя деятельность по судкам и добыванию пищи продолжилась. В Ташкенте пайки раздавали в здании Академии наук. И там я увидел всех тогда великих академиков. Я хорошо помню, как филолог Шишмарев ко мне подходит: «Что вы на меня так смотрите?» А мне было интересно, как выглядят живые академики. Когда меня спустя годы самого произвели в академики, я удивил всех вокруг, сказав, что я их лично знаю с 11 лет. Это были действительно замечательные ученые: Жирмунский, Струве, тот же Шишмарев – все, кого привезли в Ташкент в эвакуацию. Впрочем, Жирмунского прямо из тюрьмы привезли, он, по-моему, третий раз сидел. Его сажали как немца. При том, что он еврей, но он был специалистом по немецким диалектам Поволжья и поэтому его посадили.

Ташкент – это соединение двух городов: европейского, хорошо организованного, и азиатского, очень странного – с глиняными дувалами, с восточным рынком, который невозможно забыть. Там было все, ну, неслыханное изобилие. И это в совершенно голодном городе, с массой совсем голодных детей, приехавших из разных мест, где уже немцы. Мама старалась чем-то помочь, она стала в Наркомпросе каким-то таким неофициальным деятелем, осуществляла контроль над столовыми, складами питания, где просто разговаривалось все то, что давалось для детей, в том числе из Ленинграда, а они просто погибали. Из всей ее длинной жизни она, безусловно, себя реализовала именно в ташкентский период.

В Ташкенте мама посещала такие «сливковые» салоны, где бывали Ахматова и Раневская, — если воспользоваться терминологией Мура, который называл ее «дама-сливки». В самом центре европейского города стоял очень хороший старинный дом, и при нем был замечательный сад. Вот этот сад я хорошо помню, и Алексея Толстого, который там работает садовыми ножницами. Как-то все наше семейство было приглашено к нему на чтение. Это была пьеса, которую Толстой читал нам, предваряя таким предисловием: «Вы знаете, я эту пьесу все время переделываю в зависимости от того, что происходит. Первый раз, когда я ее написал, у меня враги были немцы. Потом я поменял — врагами стали японцы. А сейчас я обратно вернулся, опять немцы». Это во время войны он произносит такую речь!

Среди слушавших был Михоэлс. Могу похвастаться почти дружбой с ним. Он жил со своей женой, Анастасией Потоцкой, Асей, дочерью основательницы знаменитой московской гимназии. Его очень любили женщины, это было всем известно. Все удивлялись, потому что внешность ведь была странная. Михоэлс здорово умел пить. И вот он, сильно поддавши, идет от Толстого рядом со мной и говорит: «Парень! Дай мне в морду!» Он выпил, ему весело, и он хочет померяться силами. А я, естественно, не хочу. Вот вам Ташкент того времени. Много интеллигентов. Многие ненавидят советскую власть. Это, вообще, был тогда город с довольно оживленной духовной и литературной жизнью, которая не умирала. У меня было ощущение все-таки относительной свободы говорения. Писали все, как положено. А говорили — как угодно.

Было такое большое общежитие писателей, и там жили Анна Андреевна Ахматова и Надежда Яковлевна Мандельштам, в одной комнате. И там же был литературный салон, который устроил поэт Уткин. Уткин был на фронте, получил какое-то несерьезное ранение, у него рука была на перевязи довольно долго. Но он подлечился, потом опять попал на фронт и был убит... В этот уткинский салон мама взяла меня и брата, и мы там впервые увидели Ахматову, которая только приехала из Чистополя. Она прочитала стихи, как первый снаряд взорвался в Ленинграде. Еще из того, что там было, я запомнил чтение Уитмена Чуковским. Потом помню там Алексея Николаевича Толстого. Он был перегружен разными чинами и званиями. В частности, он был член комитета по Сталинским премиям. На заседания этого комитета он выезжал в Куйбышев и, вернувшись, рассказывал нам о том, как он слушал Седьмую симфонию Шостаковича. Она получила тогда Сталинскую премию. Это было важно, потому что это было первое признание после «сумбура вместо музыки» и вообще всего ужаса, который навалился на Шостаковича

в 1936 году. И вот прошло пять лет. Толстой пытается нам словами рассказать про Седьмую симфонию, про ее знаменитое начало, которое звучит как болеро... Ну, по такой официальной трактовке (а есть разные трактовки Седьмой симфонии), это немцы на нас нападают или готовятся напасть. А неофициальная заключается в том, что это отражение гораздо более ранних впечатлений Шостаковича от сталинского режима. Ну, музыка, к сожалению или к счастью, не подвержена никаким способам проверки. Но Толстой все это рассказывает, как историю с гитлеровской армией, которая нападает. И он, пораженный, говорит, постукивая по столу: «И вот, вы знаете, там такой звук – тук-тук, не громче».

Потом мой отец был под Вязьмой на фронте. Он и Пастернак участвовали как военные корреспонденты в Курско-Орловском сражении. А когда наши войска наступали в Польше, отец был при армии генерала Цветаева. Это армия, которая вошла в Берлин. Так что он – из первых людей, которые вступили в имперскую канцелярию. Он видел трупы детей Геббельса и обгорелый труп, про который думали, что это труп Гитлера, а потом оказалось, что это один из двойников Гитлера. И дальше происходило опознание. Вот при этом всем он присутствовал. В Берлине он встречался с Жуковым. С Цветаевым они выпивали, дружили, и Цветаев ему сказал, что на фронт он приехал из тюрьмы, где его подвергали китайской пытке. Над ним сутки капала вода. После этого он взял Берлин. Потом, правда, вскоре после германской капитуляции, сердце не выдержало – он умер. То есть сердце ему дало возможность взять Берлин.

* * *

Послевоенные годы в смысле позиции властей были гораздо хуже военных. Военные годы – время, когда государство чуть-чуть более примирительно было настроено к народу. А после войны – опять. Я помню, мама приходит, страшно сказать, с какого-то заседания Совета министров, где ей и Маршаку просто заткнули рот, не дали ничего говорить, когда они хотели обсудить программы помощи малоимущим детям.

В Лаврушинском всё абсолютно развалилось. Несколько писателей были выделены из общей компании. В частности, Леонов стал таким вот «самым главным». Обласканным трижды, напечатанным и увенчанным. В такой степени такого безобразия литература до войны не знала. Все-таки довоенную жизнь в Лаврушинском я воспринимаю, как остаток какой-то бывлой интеллигентности. Вот еще люди относились друг к другу и жили так, что за столом обсуждалась проблематика искусства и культуры и не обсуждалось, за некоторыми

исключениями, как побольше урвать у этого правительства. Что-то и после войны продолжалось. Например, я хорошо помню, Пастернак приходит и читает свои переводы из Бараташвили, и присутствующий Кончаловский со слезами на глазах просит повторить еще раз: «Это синий негустой / Иней над моей плитой, / Это сизый зимний дым / Мглы над именем моим».

Но помню и другое. К нам домой пришел Сельвинский – после встречи с тремя людьми. Это были Маленков, Щербаков и Жданов. Они предъявили ему претензии, что он не так любит Россию, как им представляется нужным, чтобы ее любили. Сельвинский был караим. По-видимому, для их черносотенного сознания все-таки было ужасно, что караим написал стихи о России.

Люблю великий русский стих,
Еще не понятый однако,
И всех учителей своих –
От Пушкина до Пастернака.

Время после войны и вплоть до 1953 года, на мой взгляд, очень черное. Много происходит страшных вещей. И вот этот разгул антисемитской космополитической кампании... Ведь всё, что готовилось, – предполагавшийся в какой-то форме суд над врачами-убийцами, возможные погромы, возможная высылка части еврейского населения из Москвы, – это всё было довольно большой реальностью. Я не буду сейчас говорить, какие можно высказать разные гипотезы, почему этого не случилось и что все-таки повернуло историю в этот момент, но мне кажется, что перед мартом 1953 года мы были в состоянии очень близком к какой-то большой мировой катастрофе. Потому что ведь трудно себе представить, что возобновление, в общем, того, что начал Гитлер, не вызвало бы бурной реакции в мире.

Я вам расскажу об одном из главных людей в деле врачей – двоюродном брате Михоэlsa Мироне Семеновиче Вовси. Сталин использовал их родство, когда было дело врачей: как бы Михоэls посмертно был обвинен в том, что он был не наш человек, ну, как его двоюродный брат Вовси. Он был ведь главный терапевт Красной Армии! Это было написано на дощечке, висевшей на двери его квартиры. Я ходил к нему за каким-то лекарством для моей няни. И вот я помню это впечатление: конец войны, я подхожу и вижу эту дощечку – с этим все-таки чудовищным продолжением. Вы подумайте, ведь его заковывают в кандалы через несколько лет после этого! Он как врач-убийца сидел в кандалах – буквально. Я его видел в последний раз около 1960 года – коротко перед его смертью. Он недолго прожил после выхода...

Вы знаете, так удивительно: поскольку он меня знал, то как-то оставил, когда пришел к одному старому профессору, у которого я был в гостях. А Мирон Семенович пришел его посмотреть. И у меня удивительное впечатление на всю жизнь – вот этот старинный осмотр врача. Он своим ухом прислонился к этому старому человеку и всю эту морщинистую кожу обследовал – что он там только ни слышал! Это было что-то поразительное, совершенно ни на что не похожее действо.

Как ни удивительно, но мы знали довольно мелкие подробности той кремлевской хроники, которая потом становилась все более запретной. Пришел к нам Михаил Чиаурели, грузинский кинодеятель. Отец меня, как всегда, позвал к себе в кабинет. Чиаурели нам рассказывает, как он ездил к Сталину обсуждать проект будущего фильма. И он нам поведал многие детали удивительных ночных попоек. Если вы входили в узкий круг, вы за это платили: нужно было обязательно ехать к Сталину на дачу, когда он обедал. Он обедал около полуночи. Значит, краткая такая сценка. Сталин говорит: «Ну, теперь пора закусить». Дает сигнал. Входит повар или тот, кому велено, с крепко закрытой сверху кастрюлей. Сталин подходит, проверяет, хорошо ли лежит крышка, сам ее снимает. И сам разливает суп. Себе не наливает, наливает всем остальным. Садится и говорит: «Ну, пожалуйста, кушайте». И напряженно смотрит – нет ли каких признаков отравления. Он боялся мгновенного действия яда. И то же – с вином. Он сам обязательно открывает закупоренную бутылку, наливает другим, наливает себе, выпивает до дна и бокал навьючивает сверху на горлышко бутылки, так что вы не можете ничего бросить в бокал – бокал перевернут, и не можете ничего бросить в бутылку, потому что бутылка прикрыта. То есть потенциально он все время думает, что кто-то пришел его отравить. Причем приглашены, кроме вождей, какие-то специальные люди. Вот Чиаурели. Или Милован Джилас, югославский партизан и партийный деятель, который приехал с приветом от Тито. Джилас был поражен, насколько вульгарны и убоги темы шуток, о чем они все болтают. Он их всех спаивает и обязательно напоит. У Молотова была справка от врача, это я не придумываю, что у него язва желудка, и он имел право мало пить. Точно знаю, что жена Жданова добивалась такого же разрешения для мужа. Нет, Сталин настаивал. То есть в каком-то смысле Сталин управлял здоровьем своих основных подставных лиц.

В день смерти Сталина я помню, что я пошел в магазин, где торговали грузинским вином. Нужно было отметить радостное сообщение о кончине вождя и учителя. Сплошная линия крытых грузовиков стояла по всей ширине улицы Горького. Было столько этих машин, что они как-то заезжали на тротуар и было довольно трудно идти. Город готовился уже к кошмару этих похорон.

* * *

Конечно, это было ужасное тоталитарное государство, но с какими-то очень важными щелями. Это было слово моего друга, поэта Давида Самойлова. Он говорил, что в нашем обществе самое главное – это щели. Нужно понять, через какую щель ты все-таки можешь как-то пролезть и что-то сделать.

В связи с этим я часто думаю о нейропсихологе Давиденкове и о его книге. Название страшное: «Эволюционно-генетические проблемы в психоневрологии». Эта книга по своему содержанию абсолютно невозможна для советской науки. А вышла из печати в 1946 году.

Давиденков изучал результаты работ наших ученых, сосланных царским правительством. Правительство было плохое, поэтому оно их сослало. Не такое плохое, как потом, потому что разрешили ссыльным антропологам заниматься народами, куда их сослали. То есть несколько народовольцев получили возможность дать описание туземной религии чукчей и эскимосов. А он решил через полвека предложить объяснение. Все общество – имеются в виду чукчи, эскимосы, конец XIX века, – охвачено тем, что на ученом языке называется «пандемия страха». Мы возвращаемся к нашей теме. Пандемия – это значит эпидемия, которая охватывает всех. Пандемия страха – это ужасная вещь, потому что отдельный человек не понимает, чего он боится. Он боится того, что рядом все боятся. Как быть? Общество, чтобы избавиться от пандемии страха, вводит систему ритуалов, систему обрядов. То есть массу заведомо бессмысленных действий, которые нужны, чтобы человек перестал ощущать страх. «Вот я сейчас пройду по этой лестнице, где будет четное число ступенек, и дальше мне нечего бояться.» Проблема пандемии страха, собственно, должна быть главной темой для работы, изданной в 1946 году. Конечно, сам Давиденков понимал, что именно он описывал, но интересно, что кругом люди сделали вид, что все в порядке.

...В университет я поступил в 1946-м. Самое мрачное время! Я присутствовал при страшных злодействах – изгнание евреев из университета и так далее. Такая странная вещь. С другой стороны, это безумие последних лет Сталина на моей судьбе сказалось самым оптимистическим образом, вопреки моим ожиданиям. Вдруг Сталин заинтересовался языкознанием, и мой замечательный профессор, у которого я учился санскриту и сравнительной грамматике... Много лет потом это оставалось моей специальностью, и здесь, в Лос-Анджелесе, я тоже преподавал сравнительную грамматику индоевропейских языков. Это специальность моего учителя, профессора Михаила Николаевича Петерсона, его бог знает в чем обвиняли, но он продолжал преподавать. Хотя я хорошо помню: рано утром я выни-

маю газету и вижу там статью, где, между прочим, его называют фашистом. Просто потому, что он цитировал какого-то немецкого ученого, печатавшегося в Германии в те годы. И вот – «фашист». Я потом иду на урок и думаю: что он нам скажет, как себя будет вести? – Вошел обычной своей молодцеватой походкой, стал читать санскритский текст – как ни в чем не бывало! И вся наша эта специальность состоялась потому, что он, по-моему, не спрашивая ни у кого, вешал от руки написанные объявления: «Желающие заниматься санскритом собираются такого-то числа в такой-то комнате у профессора Петерсона».

И вот оказалось, что, поскольку Сталин заинтересовался языкознанием, все разрешено, и Петерсон потребовал, чтобы троих, кто у него учился санскриту, прикрепили к нему как аспирантов. Потом, когда он заболел, я стал за него читать курсы. И поскольку я был такой ставший известным молодой ученый, меня всячески выдвигал главный человек в языкознании академик Виктор Владимирович Виноградов, который сам три раза отсидел и все на свете испытал. Вообще, почти гениальный ученый, но как человек себя потом очень плохо показавший. И политически тоже. То есть вполне им продавшийся.

Представьте, этот Виноградов был совершенно не у дел, его шельмовали в газетах – в тот момент, когда Сталин вмешался в языкознание. И дальше, Виноградов мне рассказывал, его вызвали в ЦК к Маленкову. А Маленков сказал, что есть такая идея – ему поручить языкознание. Идея заключалась в том, чтобы в каждой области был один проверенный человек. Причем совершенно неважно, что он на самом деле думает. Виноградов был антисоветчик, остроумный, не скрывающий, что он любит рассказывать анекдоты против власти, – но это им было совершенно все равно. Важно, что он исполняет их задачи, а они за это на него вешают все эти титулы. Значит, он будет академик, директор Института языкознания, секретарь Отделения литературы и языка АН СССР, главный редактор журнала «Вопросы языкознания» (где он меня назначил заместителем). В общем, начало было такое шумное. Потом с таким же шумом меня изгнали из университета.

1958 год. Пастернака исключают из Союза писателей. Корнелий Зелинский выступает: «Пастернака надо выгнать из страны, Ивановым должно заняться КГБ». Но КГБ отказалось заниматься мной, и университет сам должен был расправиться. Меня вызывал к себе ректор, очень хороший математик и хороший человек, Иван Георгиевич Петровский. При нем было достроено новое здание МГУ. Вы знаете, в этом гигантском здании он сидит – маленький человечек, старенький. Когда я вошел, он сидел за огромным столом. Он встает,

ему не хочется там оставаться, он со мной садится у какого-то маленького, туалетного почти столика и говорит мне, чтобы я написал ему покаянное письмо, что я готов пересмотреть свои взгляды на «Доктора Живаго». Я отказываюсь. Он говорит: «Вы понимаете, ни один человек ничего не может сделать, какой бы пост он ни занимал».

Из этого времени я больше всего запомнил лицо моей мамы, когда я ей рассказывал об ученом совете, на котором заставили открыто голосовать за мое исключение, – в том числе моих хороших профессоров. И никто из них не поднял руки в защиту, надо сказать. Ну, знаете как: такой кэгэбэшник ходил между рядов, и когда он остановился перед очень пожилым профессором, у которого я много занимался, он на него в упор посмотрел... И я понял, что тот, бедняга, сейчас подпишет роковой текст. Вот это лицо старого профессора и очень подавленные тоской глаза моей мамы, когда я все ей рассказывал, – я до сих пор вспоминаю.

Какова была ситуация в стране, в культуре, в науке, когда мы – я имею в виду себя и своих товарищей, коллег по Тартуско-московской школе семиотики и вообще по этому времени, – заявили о себе? Как мы смотрели на ближайшую историю? – Мне всегда казалось важным, что начало XX века было очень успешным в России. И то, что дальше наука добилась огромных успехов, было частью этого общего движения, которое затормозили из-за сталинского террора. Просто физически многие самые выдающиеся люди были уничтожены.

Из старшего поколения для нас всех много значил Бахтин, который дожил до этого времени каким-то чудом. У него была очень серьезная болезнь костей, костного мозга. Он потерял ногу во время ссылки в Среднюю Азию. Сослали его за участие в ленинградских подпольных христианских философских кружках. Потом он отбыл свои годы, когда ему нельзя было жить в Москве, в Саранске, читал там лекции в институте. Внутри Архипелага ГУЛаг был Дубравлаг с центром в Саранске. Поскольку это территория лагерей, то не было смысла не пускать туда, поэтому можно было Бахтину там жить. Кругом сплошные ссылки. Так вот, Бахтин, которого я очень любил и у которого бывал много, когда он уже мог жить под Москвой, был человек из давнего прошлого. Его книжка о Достоевском – это самый конец 20-х годов. Но Бахтин был из породы тех гуманитариев, которые пытаются все понять по-новому. В Англии есть его центр. По данным этого центра, о Бахтине написано больше книг и журнальных статей, чем о ком бы то ни было в гуманитарных науках в XX веке. То есть если говорить о мировой науке, то для всего мира Бахтин – первое лицо.

Так вот, было такое движение во всех областях культуры, обо-

рвавшееся. И мы, наше поколение, которое могло начать как-то активно действовать уже с середины 50-х годов, – мы существенной задачей считали возрождение старого. Вернуть имена многих замечательных людей, напечатать их неизданные работы. Их огромное количество! Например, классическая работа Выготского «Мышление и речь», переведенная сейчас на разные языки, была напечатана сразу же, в год его смерти, в 1934-м, а следующая публикация – 56-й год. Вот двадцать пять лет между – это время трагического молчания. То есть целая культура, русская культура XX века, была обречена на молчание. Я принес Шкловскому «Психологию искусства» Выготского. Это книга, которая Выготским написана в начале 20-х годов, а мне удалось ее издать в начале 60-х. Шкловский сказал: «Такое впечатление, что это обломки затонувшей культуры».

Мне, как и Лотману, как и другим, кто был в Тартуской школе, хотелось понять, что мы можем сказать о современном искусстве глазами науки или что можем сказать о современной науке глазами искусства. Я именно в этой связи хочу упомянуть о Пастернаке. Этот последний наш серьезный разговор с ним. Хотя мы соседи – забор в забор, но у Пастернака никаких телефонов никогда не было, поэтому между нашими дачами связь осуществлялась с помощью переписки. И вот в один из дней апреля 1960 года я получаю от него записку, его младший сын мне приносит. «Кома, если у вас есть время, зайдите ко мне, я вас не задержу.» Я очень удивился, потому что Пастернак по утрам занимался своей литературной работой и не делал просто никаких исключений, отсылал всех, кто к нему приходил. Я понял – что-то случилось, пошел. Случилось грустное. Я поднялся к нему на второй этаж этой большой дачи. Он лежал на диване, которого раньше не было, это рабочий кабинет наверху. Он мне сказал, что заболел, давно чувствует боли, но никому и даже родным не говорил, потому что боялся, что ему не дадут окончить пьесу «Слепая красавица», которую он хотел дописать. Но дописал только часть. Дает мне рукопись, просит, чтобы я ее занес для перепечатки Ольге Всеволодовне Ивинской. Он говорит, что поскольку знает, что тяжело болен и ничего не сулит хорошего ему будущее, он должен выполнить определенные вещи, которые задумал. К этим вещам относится разговор со мной о науке и искусстве. Имеется в виду его собственное искусство. Он очень озабочен таким вопросом: в какой мере то, чем он занят, его стихи и его проза (он уже получил свою Нобелевскую премию за «Живаго»), – в какой мере они связаны вообще с культурой века? Насколько современное искусство и то, что сам Пастернак делает, можно понять как связующее науку и искусство? Да, можно. Он сам пришел к выводу, что какой-то общий принцип лежит в основе всех

его работ в искусстве, в поэзии и прозе, и в современной научной картине мира. Он считал, что мы не видим, не понимаем, не знаем, принципиально не знаем то, что можно назвать действительностью или реальностью. Нам этот внешний мир недоступен. Он от нас закрыт. Но он от нас закрыт занавесом, а этот занавес колыхнется, колеблется. И на самом деле, то общее, что есть у искусства XX века с наукой XX века, — это колыхание занавеса.

Здесь он действительно близок к философии физики. Потому что Нильс Бор, создатель квантовой механики, настаивал на том, что человек, воспринимающий природу, или человек, воспринимающий приборы, которые что-то сообщают о природе, — этот человек сам при этом очень сильно искажает то, что он воспринимает. Мы не умеем воспринимать действительность, как она есть. Мы воспринимаем действительность, искаженную нами в тот момент, когда мы ее воспринимаем. И Пастернак полагал, что его поэзия, его проза заняты точной задачей, просто на другом материале. Вот это было содержание разговора, который он считал нужным закончить в отведенное для него время. Жить ему оставалось месяц.

* * *

Из разных людей, которые на меня оказали большое влияние, я хочу сказать о Колмогорове. Я познакомился с ним на защите диссертации моего друга, который был его студентом. Потом вместе ходили в «Прагу», отмечали. Математики свято соблюдали такой ритуал. Там был академик Александров, который тогда сказал: «Я здесь отмечал свой первый математический результат». По-моему, это было в 1916 году.

Колмогоров — великий человек, в частности потому, что наметил очень рано, когда чем будет заниматься. И у него записано, что в каком-то позднем возрасте заниматься он будет стиховедением. И вот, дойдя до своего приблизительно шестидесятилетия, он счел, что уже достаточно много сделал в математике, и теперь можно вернуться к стиховедению, которым он когда-то начал заниматься под влиянием Андрея Белого. Но потом, конечно, все это прервалось, потому что были советские годы, когда ничем подобным никому не приходило в голову заниматься. И снова возникло в шестидесятые — время такого нашего общего раскрепощения после 1956-го, после XX съезда. Мы с Колмогоровым вместе занимались вопросами истории русского стиха. Например, обсуждением некоторых стихов Державина — действительно ли в них есть переключки с Маяковским? У Державина есть такие стихи по поводу солнца: «Умей подражать ты ему, лей свет в тьму». Ну чем не Маяковский?

И Колмогоров читает цикл лекций, и потом у него работал маленький кружок, всего несколько человек, в том числе Наташа, нынешняя вдова Солженицына. Я помню ее еще студенткой Колмогорова, она занималась вот этой статистикой стиха.

Это была попытка описать русскую поэзию в основном через использование довольно строгой математики. Причем возникают возможности найти такие формы стиха, которые не употреблялись раньше. Оказывается, здесь наука помогает искусству. Например, Андрей Белый установил с помощью своих статистических изысканий, что у Пушкина очень мало встречается строк – встречаются, но мало! – таких, как «и кланялся непринужденно». «Кланялся непринужденно» – это все четырехстопный ямб, но в нем пропущены два ударения, которые могут быть между «кланялся» и «непринужденно». Очень много безударных слогов, что отвечает структуре русского языка.

Я, отчасти, успел по телефону обсудить это с Бродским перед самой его гибелью. Я сказал ему, что в последних его сборниках много стихотворений, в которых вот эти безударные промежутки занимают все больше места. Это последний разговор наш – и очень близко к его смерти. Он очень боялся операции. Ему казалось, что она все-таки для него страшна, и он не уверен, что это нужно. И вместе с тем говорил, что он ходить почти не может, что дойдет до конца квартала – и ему уже невыносимо. В общем, как-то метался. Врачи, вероятно, зря... Вы знаете, здесь в Штатах это принято; они вам дают подписывать всякие страшные бумаги, что вы не будете иметь претензий. Он подписал бумагу, а сам продолжает думать, что на самом деле он имеет претензии. Умирать не хотел.

* * *

В некоторых отношениях XX век ужасен, потому что он показал, как далеко может зайти уничтожение одной части человечества другой. Мой опыт понимания русской истории, того, что произошло с русской интеллигенцией в двадцатом столетии, вот этот опыт погубленных поколений... Когда я был уже достаточно зрелым, из сталинских лагерей стали возвращаться люди. Я от многих старался узнать подробности – что они испытали и каким образом смогли потом продолжать жить, не потеряли интереса и вкуса к жизни. Я получил не только опыт моих собственных знакомых, которые вернулись из лагерей, но я получил и опыт моего отца, большая часть друзей и товарищей которого ниоткуда не вернулась. Пожалуй, этот двойной опыт был очень важен. Ниоткуда не вернулись – это значит, что я понимал худшую часть всего этого. То, что на самом деле грозит: унижения, расправа, пытки, смерть. Всё. Я много сил положил на изучение био-

графии великого экономиста Кондратьева, который предсказал все мировые кризисы. Он, по существу, перевернул науку об истории мировой экономики. Он погибал в политическом лагере, куда его засунул Сталин. Напечатаны кусками письма Сталина заместителю Ягоды Агранову, где Сталин пишет, как нужно пытать Кондратьева и чего от него добиваться. А знаете – чего? Чтобы он сказал, что его поддерживал Калинин. Калинин, который оставался до самой смерти представителем крестьянства в правительстве, был президентом. Вы представляете ужас этой страны, где реальный главный диктатор пишет одному из главных полицейских, как тот должен получить компрометирующие материалы на фиктивного президента?

Я довольно хорошо знал Шаламова. Я заочно познакомился с ним очень давно, потому что мне Пастернак как-то показал стихи, полученные от одного ссыльного, и сказал, что вот, человек ждет откликов, почитайте и пометьте, на что мне обратить внимание. И переписка Пастернака с Шаламовым началась в этот момент. Он был близким другом Надежды Яковлевны Мандельштам. Я у нее часто бывал, и мы там разговаривали. И вы знаете, я с ним спорил! Я ему говорил: «Вот вы настойчиво утверждаете, что человек в лагере обязательно надламывается, что и физически, и психически через это нельзя пройти безопасным образом. А как же вы сами? – говорил я ему. – Вы столько написали о лагере, это все – настоящее искусство». Он отвечал: «Нет, и со мной тоже все не в порядке». Умирал он ужасным образом. К нему действительно вернулись эти ужасы лагеря, он был в такой богадельне, в доме для престарелых, а ему пришлось в голову, что он опять попал в лагерь. Когда ему принесли постельное белье, он его спрятал, потому что боялся, что потом отнимут. То есть его безумные мысли о лагере продолжали его преследовать. В этом – один из больших расколов между ним и Солженицыным. Я обсуждал с Солженицыным «Архипелаг ГУЛАг», и он мне тогда рассказывал, что он думал пригласить Шаламова написать самую позднюю часть «ГУЛАга». Шаламов отказался, потому что общая концепция была другая. Концепция Шаламова более пессимистическая; он был уверен, что очень важно понять: этот опыт насквозь отрицательный. Ему казалось, что Солженицын, если хотите, – чересчур оптимист.

Я думаю, что наш исторический русский опыт позволяет оценить эту гигантскую проблему. Мы внутри истории страны, которая в основном испытывала отрицательные эмоции, и правильно. Мы жертвы крепостного права, разного рода опричнины, гэтэушности и так далее. Зачем? Почему? Я думаю, это потому, что мы должны оценить размеры бедствия. Не нужно скрывать страшного. Не нужно скрывать того, что большинство людей надламывается, что большин-

ству людей непереносимы пытки. Не только в таком, буквальном, смысле, но пытки как испытания... Ведь часто бывало в той России, что человек, может быть, сам мало страдает, но страдает так много его близких! И наш русский опыт требует того, чтобы мы все это рассказали. Мы должны навязать другим странам и поколениям итоги нашего опыта – почему нельзя позволить попрание человеческих чувств и все те безобразия и ужасы, которые принес с собой XX век.

Страшный век. Достаточно вспомнить о Германии Гитлера и России 1937 года, когда свирепствовал Сталин. Но, тем не менее, я думаю, что, в конечном счете, если хотите, это даже оправдывается, но только при том условии, что мы, Россия, найдем в себе силы и способности об этом вразумительно рассказать. Так, чтобы люди не подвергались соблазну просто плюнуть на все и бежать... Россия должна сделать это, должна добиться осмысления – внутреннего для себя и осмысления для других – своего уникального и страшного исторического опыта. Россия должна это сделать. И пока она очень медленно к этому движется. К сожалению, движется путем повторения, попадая опять в некоторые западни, которые когда-то ей были расставлены.

То, что маячит впереди, в XXI веке, отвечает формулировке великого французского антрополога Леви-Стросса: «XXI век будет веком гуманитарных наук, или его не будет». Если есть какое-то верховное начало в этой огромной Вселенной, где столько всяких галактик, где, возможно, существуют более успешные цивилизации, то смешно думать, что отдельные судьбы, отдельные подробности жизни кого-то из нас могут заинтересовать это высшее начало. Поэтому мне кажется, что обращаться со своими мелкими делами – мелкими в самом разном смысле, касающимися отдельных стран и так далее, – вряд ли имеет смысл. Думаю, что бессмысленно молиться. Хотя я несколько раз в жизни молился.

Как идея верховного разума соотносена с моим или любого другого человека возрастом? Мне говорил Капица-старший, Петр Леонидович, Нобелевский лауреат, что у него к восьмидесяти годам сформировалось мнение, что все-таки то, что он как ученый делает, – это описание огромной системы, которая плод деятельности чего-то разумного. Он считал, что к этому выводу, грубо говоря – к концу жизни, приходит очень много ученых. И с Сахаровым мы на эту тему беседовали. Он был большой сторонник антропоцентризма: человек заложен в структуре Вселенной. Вопрос: если это так, если действительно Вселенная предполагает, что в ней возможно образование таких твердых тел, как мы с вами, которые наделены мозгом с его гигантскими возможностями, допускаем ли мы, что история может повернуться отрицательным образом, что мы все погибнем? Вдруг

какой-нибудь другой проект продвинут больше, чем наш. Здесь мы очень много чепухи делаем, а там, допустим, все благополучно. И может быть, закроют этот проект. Пока не нашли ни одной конкурирующей с нами системы, цивилизации, – возможно, их и нет. А если их нет, то все-таки эту нашу не тронут, вот я так думаю. Поэтому, хотя я так настаиваю на том, чтобы все люди понимали – в ближайшее время может погибнуть все человечество, – но все-таки, по общим соображениям, скорее допустят нас дальше грешить, вопреки тому, что нужно верховному разуму.

* * *

Самый счастливый день моей жизни случился однажды в Сухуми, где мы с моей женой Светланой отдыхали вместе с ее родителями Раисой Орловой и Львом Копелевым. И в это же время там оказались Сахаров с женой Боннэр. И я вам на прощание прочту свои стихи «Сахаров в Сухуми». Сахаров идет с Боннэр (это она мне рассказывала), ночь, луна светит. Он ей говорит: «Ты знаешь, Люсь, есть нечто замечательное, о чем я часто думаю». Она впадает в лирический тон: «Да, Андрей, что же это?» Его ответ – в начале моего стихотворения, он относится к тому, с чего начинается современная картина мира, вот этот самый антропный принцип, создающий Вселенную для человека. Реликтовое излучение дошло до нас от первых минут, когда возникла Вселенная. Это стихотворение обращено к Андрею Дмитриевичу Сахарову.

Реликтовое излучение
Обдумываете у берега.
Быть может, в этом излечение
Эпохи, чья болезнь – истерика.
Сквозь Вас доходит свет реликтовый,
А мир ершится да щетинится,
Как лес раздетый эвкалиптовый,
Топорщащийся у гостиницы.

Лос-Анджелес

«Священное право творить свободно»

Прогрессивные литераторы о съездах советских писателей

Второй съезд Союза советских писателей состоялся в декабре 1954 года. Как писала советская пресса, «На съезде обсуждался доклад А. Суркова 'О состоянии и задачах советской литературы' и содоклады: К. Симонова – 'Советская художественная проза', С. Вургуна – 'Советская поэзия', А. Корнейчука – 'Советская драматургия', С. Герасимова – 'Советская кинодраматургия', Б. Полевого – 'Советская литература для детей и юношества'; доклады: Б. Рюрикова – 'Основные проблемы советской литературной критики', П. Антокольского, М. Ауэзова и М. Рыльского – 'Художественные переводы литератур народов СССР', Н. Тихонова – 'Современная прогрессивная литература мира', Л. Леонова – 'Об изменениях в Уставе Союза советских писателей'». «Участники съезда высоко оценили лучшие традиции советской литературы – традиции коммунистической партийности, интернационализма и дружбы народов, советского патриотизма, подвергли критике недостатки, бытующие в литературе». «Выражая мысли и чувства участников съезда, М. Шолохов заявил: 'О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которому мы служим своим искусством.'»

Радиостанция «Свобода» (в те годы – «Освобождение») сразу после съезда Союза советских писателей начала обсуждение его работы в передаче «Писатели в мундирах и бушлатах». Впоследствии выдержки из передач радиостанции были изданы в виде небольшой брошюры мизерным тиражом. Сегодня мы предлагаем читателям НЖ текст этой брошюры. Материалы находятся в личном архиве Ю. Сандулова. Публикуются с разрешения радио «Свобода».

Радиостанция «Освобождение» была создана Американским комитетом по освобождению народов Советского Союза от большевизма (American Committee for Liberation from Bolshevism, первоначально – American Committee for Freedom for the Peoples of the USSR). «Освобождение» начало вещание 1 марта 1953 года. С того же года начинается расширение вещания и на других языках народов СССР. Радиостанция «Освобождение» позднее была переименована в радиостанцию «Свобода».

Юрий Сандулов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй съезд Союза советских писателей заседал в Кремле с 15-го по 26-е декабря 1954 г. Он собрался только через 20 лет после первого съезда. На нем присутствовали вожди коммунистической партии и советского правительства. О созыве съезда объявили прошлой весной; это сообщение вызвало большие надежды. В первые месяцы после смерти Сталина в советской печати появились статьи, намекающие на ослабление партийного контроля над литературой. Казалось, что выход в свет в мае 1954 г. повести лауреата сталинской премии Ильи Эренбурга «Оттепель» был символичным: сталинский ледниковый период кончился и настанет весна свободы культуры в СССР.

Но съезд не оправдал этих надежд. Сначала сообщали, что съезд должен был открыться в сентябре, но его дважды откладывали. Когда он наконец открылся, признаки весны заметить было трудно. Наоборот, партийные надзиратели пригрозили тем советским писателям, которые требовали искренности в литературе. Суровая коммунистическая доктрина искусства для партии повторялась всеми ораторами. Она была вкратце изложена Алексеем Сурковым: «Литература тесно связана с политикой и подчиняется последней».

Но несмотря на все усилия советского правительства задушить свободную мысль, свободный голос все-таки прозвучал на съезде писателей. Этим голосом была Радиостанция «Освобождение», передачи которой в СССР идут круглые сутки на семнадцати языках народов Советского Союза*.

Радиостанция «Освобождение», поддерживаемая Американским комитетом освобождения от большевизма, — это свободный голос бывших советских солдат и граждан, в настоящее время находящихся на Западе. Волны девяти передатчиков радиостанции «Освобождение» — 25 метров, 31, 41, 49 и 75 — проникают через советские глушительные станции, расположенные на территории от Лейпцига в Германии до Сибири. Письма из Советского Союза и показания советских солдат и офицеров, которые недавно ушли на Запад, доказывают, что голос радиостанции «Освобождение» доходит не только до советских оккупационных сил в Восточной Европе, но также до Москвы, Ленинграда, Харькова, Одессы, Тбилиси и других советских городов, равно как и до таких мест принудительного труда, как Коми АССР.

Радиостанция «Освобождение» начала обсуждение Съезда

* Русском, украинском, белорусском, грузинском, армянском, азербайджанском (тюркском), татарском, узбекском, казахском, киргизском, туркменском, осетинском, адыгей-кабардинском, карачай-балкарском, чечено-ингушском, аварском и кумыкском. (PO)

советских писателей 4-го июля 1954 года передачей «Писатели в мундирах и бушлатах». Эта передача была обзором подавления искусств диктатурой со времени первого съезда писателей в 1934 г. Продолжая эту тему, передачи радиостанции «Освобождение» воспроизводили страницы известных советских писателей, чьи книги в настоящее время находятся под запретом. Другие передачи обсуждали развитие советской литературы после смерти Сталина.

Во время съезда писателей радиостанция «Освобождение» передавала текущий комментарий о происшествиях в Москве. Советские слушатели слышали лозунги радиостанции накануне съезда: «Возрождение нашей литературы возможно только при полной духовной свободе, при полной свободе слова, печати и совести».

Кроме комментариев сотрудников радиостанции «Освобождение» по поводу съезда, радиостанция передавала также специальные обращения к участникам съезда таких авторов, как Эптон Синклер, Джон Дос Пассос, Александра Толстая, Джеймс Т. Фаррелл, Торнтон Уайлдер, Игорь Гузенко и Макс Истмэн, а также обращение Американского комитета свободы культуры, говорящего от имени 300 американских писателей и ученых.

Знаем ли мы, что наши передачи доходят и имеют какой-либо эффект в Советском Союзе? Да — знаем. На 24-й странице можно найти доказательство того, что наши передачи участниками съезда писателей были услышаны, и это заставило советских вождей разразиться бранью по адресу авторов передач и радиостанции «Освобождение» во время заключительной сессии того же съезда.

Последующие страницы представляют собой отрывки из передач радиостанции «Освобождение», обращенных к съезду советских писателей. Я считаю, что они освещают не только истинное значение съезда писателей, но и цели и облик радиостанции «Освобождение».

Хаулэнд Сарджент

*Председатель Американского комитета
освобождения от большевизма*

ГОВОРIT РАДИОСТАНЦИЯ «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

Первая передача радиостанции «Освобождение» из серии «К съезду писателей» была озаглавлена «Писатели в мундирах и бушлатах». Эта передача подводила итог истории советской литературы от времени предыдущего съезда в 1934 году.

Двадцать лет назад, несмотря на нажим диктатуры, у нас еще существовали различные литературные группы и объединения: кон-

структивисты, «Перевал», «Левый фронт», «Октябрь», «На посту», «Молодая гвардия»... – всех не перечесать. Наряду с группой, называвшей себя «Российской ассоциацией пролетарских писателей», существовал «Всероссийский союз писателей»... Каждая литературная группировка, хотя и в тесных рамках, еще сохраняла свое лицо. Партийная диктатура, конечно, и тогда стремилась оказывать, остричь, обкарнать, оболванить литературу...

Двадцать лет между первым и вторым писательскими съездами и были периодом стрижки литературы. В августе тридцать четвертого года вместо прежних разнообразных литературных группировок был создан единый Союз писателей... Те писатели, которые пытались сохранить свое лицо и свои литературные вкусы, подверглись репрессиям. В тридцать шестом году, полтора года спустя после первого съезда писателей, начался погром в литературе. По нашим подсчетам, в тридцать шестом – тридцать восьмом годах были расстреляны, погибли в тюрьмах и лагерях, пропали без вести триста двадцать девять писателей. В их числе – семь членов правления Союза писателей, избранных на первом съезде: Михаил Кольцов, Иван Катаев, Владимир Киршон, Борис Пильняк, Бруно Ясенский, Андрей Александрович, Паоло Яшвили. Походы против литературы с тех пор повторяются из года в год: в сороковом году – «дело Авдеенко»; в сорок шестом году – разгром редакций журналов «Звезда» и «Ленинград», «дело Зощенко и Ахматовой»; в сорок седьмом – сорок восьмом годах – чистка так называемых «космополитов»... Чистки – не одна, так другая, – продолжают и поныне. На днях в казенных газетах были объявлены «вредными и порочными» роман Веры Пановой «Времена года», стихотворение Бориса Пастернака «Свадьба», пьеса Платонова «Поряdochные люди», наконец, даже роман Ильи Эренбурга «Оттепель».

В одной из последующих передач той же серии радиостанция «Освобождение» избрала своей темой статью в «Правде». «Правда» писала: «Пора монологов миновала, настает время диалога». Вот текст передачи радиостанции «Освобождение»:

На днях мы сообщали, что Нобелевская премия за выдающиеся достижения в области художественной литературы в этом году присуждена Эрнесту Хемингуэю, автору романов «Прощай, оружие», «Фиеста», «Иметь и не иметь», известных читателям и у нас в стране. Теперь в шведской печати появились подробности, связанные с присуждением Нобелевской премии. Шведская Академия наук обсуждала несколько кандидатов на Нобелевскую премию. В числе кандидатов

были также три русских писателя – Михаил Александрович Шолохов, Борис Константинович Зайцев и Марк Александрович Алданов.

Все мы знакомы с творчеством Шолохова. Но книги Бориса Зайцева и Марка Алданова у нас в стране неизвестны: диктатура наложила на них запрет. Каждому из нас, однако, понятно, что Зайцев и Алданов не зря были кандидатами на Нобелевскую премию: их книги переведены на многие языки и получили признание во всем мире.

Борис Константинович Зайцев – один из ближайших друзей Чехова, Горького, Бунина – живет сейчас в Париже. Почти каждый год он выпускает новую книгу. И каждая его книга – событие в русской литературе. Так, нынешним летом Издательство имени Чехова в Нью-Йорке выпустило новую книгу Бориса Зайцева – литературную биографию Чехова. В прошлом году в том же издательстве вышла книга Бориса Зайцева «Древо жизни». В позапрошлом году вышло две книги Зайцева – «В пути» и «Тишина». Во всей русской литературе сейчас, может быть, нет такого мастера пейзажа, каким является Борис Зайцев. Его описания природы отличаются тонкостью, лиричностью, любовью к родной русской земле.

Так же плодотворно работает и Марк Алданов. В этом году он выпустил книгу «Ульмская ночь». В прошлом году Издательство имени Чехова выпустило его двухтомный роман «Живи, как хочешь». На днях в «Новом Журнале» началась печатанием повесть Алданова «Бред». Произведения Алданова, как правило, проблемны, касаются самых острых вопросов современности. Так, герой романа «Живи, как хочешь» Виктор Яценко работает в Организации Объединенных Наций, и это дает писателю возможность развернуть широкую панораму. Повесть «Бред» показывает нам послевоенный Берлин.

Борис Зайцев и Марк Алданов, разумеется, не единственные русские писатели за рубежом. В Париже живет и успешно работает Алексей Михайлович Ремизов. В Париже живет поэт Георгий Иванов, имя которого стоит в одном ряду с Блоком, Гумилевым. Успешно работают многие молодые советские писатели, оставшиеся на Западе после войны.

В глазах всего мира русскую литературу сейчас представляет не только Михаил Шолохов, но не меньше – Борис Зайцев и Марк Алданов. Можно ли считать поэтому, что на предстоящем писательском съезде в Москве русская литература будет представлена так, как она должна быть представлена? Нет. На этом спектакле мы услышим только партийный монолог. Вспомним, что первого мая прошлого года – вскоре после смерти Сталина – «Правда» писала: «Пора монологов миновала, настает время диалога». Правильные слова! Беда

лишь в том, что это — только слова. При диктатуре возможен только монолог, а диалог, живой разговор о проблемах жизни и литературы станет возможным только в условиях свободы.

Передачи радиостанции «Освобождение» начинаются призывом к советским вооруженным силам. Вот что советские солдаты, матросы и офицеры слышали накануне съезда писателей:

Товарищи солдаты, матросы и офицеры! Завтра в Кремле начинается съезд писателей. Достаточно посмотреть на список казенных докладчиков, чтобы понять положение нашей литературы. Той литературы, которая еще не так давно жила напряженной творческой жизнью. Той литературы, которая волновала и не перестает волновать сердца во всем мире. А кого волнует теперешняя советская литература? Недаром у нас в армии книги теперешних писателей называют 'художественными политзанятиями'. Возьмем, к примеру, романы Вадима Собко, в которых тот пишет о нашей оккупационной армии. Кто из вас нашел в них хотя бы намек на правду? Что общего имеют эти книги с действительным положением в Восточной Германии? Ничего! С другой стороны, как только наш писатель рискнет серьезно затронуть жизненную тему, так сразу же получает по шапке. Вспомним хотя бы историю с романом 'Времена года' Веры Пановой. Вот почему наши лучшие писатели, как Паустовский и покойный Пришвин, или предпочитают описывать природу, или занимаются переводами, как Борис Пастернак. Вот почему у нас в армии и в народе предпочитают Толстого, Тургенева, Пушкина, Чехова, Лескова. Вот почему в наших театрах на постановках классических пьес всегда полно, а на современных пьесах пусто.

Товарищи солдаты, матросы и офицеры! Все это доказывает, что литературе нужны не съезды и конференции и, конечно, не директивы и постановления ЦеКа... Воскресение нашей литературы возможно только при полной духовной свободе, при полной свободе слова, печати, совести.

Радиостанция «Освобождение» также напомнила советским слушателям о кровавой годовщине:

Один из докладчиков на этом съезде будет украинский писатель Александр Корнейчук. Напомним Корнейчуку и другим украинским писателям, находящимся на съезде, что открытие Второго Всесоюзного съезда писателей почти день в день совпадает с одной датой, важной для украинской литературы. Ровно двадцать лет назад —

четырнадцатого декабря тридцать четвертого года – трибунал под председательством Ульриха приговорил к расстрелу двадцать восемь украинских писателей и деятелей украинской культуры.

Вот их имена:

Влызко Олекса – молодой украинский поэт, девятьсот восьмого года рождения. В «Литературной энциклопедии», изданной Коммунистической академией в двадцать девятом году, во втором томе говорится, что «в поэзии Влызко, отличающейся революционным оптимизмом, преобладает ‘гражданская лирика’». Книги Влызко – «За всех скажу» и «Поэзии» – были широко известны на Украине.

Косынка Григорий – другой украинский писатель, который был четырнадцатого декабря тридцать четвертого года приговорен к расстрелу. В «Литературной энциклопедии» в пятом томе сказано: «Косынка Григорий – один из первых украинских послеоктябрьских беллетристов. Родился на Киевщине в бедной крестьянской семье. С детства служил батраком в помещичьих имениях и на сахарном заводе». «Косынка, – говорит далее «Литературная энциклопедия», – один из сильных лирических пейзажистов в ряду украинских современных писателей.»

В тот же день – четырнадцатого декабря тридцать четвертого года – вместе с Влызко Олексой и Григорием Косынкой были приговорены к расстрелу еще двадцать шесть украинских писателей и деятелей украинской культуры: Крушельницкий Иван; Крушельницкий Тарас; Сказинский Роман; Лебединець Михайло; Шевченко Роман; Сидоров Петро; Фальковский Дмитро; Оксамит Михайло; Щербина Олександр; Терещенко Иван; Буревий Кость; Дмитриев Евген; Богданович Адам; Бутузов Порфирий; Бутузов Иван; Пятница Володимир; Полевой Доминик; Хоптяр Иван; Борецкий Петро; Лукьянов-Светозаров Лерни; Пивненко Кость; Матяш Сергей; Лященко Олександр; Блаченко Яков; Карабут Анатолий; Скрыпа-Козловский Григор.

Все эти двадцать восемь украинских писателей были приговорены к расстрелу четырнадцатого декабря тридцать четвертого года – и расстреляны. Теперь, пятнадцатого декабря пятьдесят четвертого года открылся Второй Всесоюзный съезд писателей. Открытие съезда, таким образом, совпало с годовщиной расстрела двадцати восьми украинских писателей. Этот черный день украинской литературы не будет отмечен на казенном съезде. Но его отмечают в своих сердцах наши люди, кому дороги судьбы нашей литературы.

В течение всего времени съезда радиостанция «Освобождение» ежедневно обсуждала события в Москве. Вот передача, рассказывающая вкратце о событиях в советской литературе после смерти Сталина:

Летом пятьдесят третьего года, после долгого молчания, многие из наших писателей и критиков начали высказываться более откровенно... Начали появляться комедии и критические статьи... Например, Померанцев объявил, что искренность в литературе необходима. Его поддержали другие. И, наконец, прошлой весной была опубликована повесть Эренбурга под многозначительным заглавием «Оттепель». Длинная, суровая сталинская зима миновала. Теперь жизнь будет легче, свободнее – таков был смысл повести. Дело не в том, действовал ли Эренбург по собственной инициативе или по приказу партии. Дело в том, что Сурков атаковал «Оттепель» в своей речи на Съезде писателей. Речь Суркова без сомнения была одобрена Центральным Комитетом партии. Другими словами, он говорил от имени коллективного руководства. И Сурков сказал, что «Литература тесно связана с политикой и подчинена последней».

ГОЛОСА ЭМИГРАНТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Со времени установления коммунистической диктатуры целый ряд писателей и деятелей искусства во главе с лауреатом Нобелевской премии Иваном Буниным покинули Советский Союз, чтобы иметь возможность свободно работать. Не будь коммунистического нажима, не подлежит сомнению, что эти люди занимали бы почетные места на литературном Парнасе у себя на родине. Радиостанция «Освобождение» предоставила многим из них возможность непосредственно обратиться к участникам Съезда советских писателей.

АЛЕКСАНДРА ТОЛСТАЯ, дочь и биограф Льва Толстого:

(А. Л. Толстая – младшая дочь Льва Николаевича Толстого. Она – автор нескольких книг, из которых последняя озаглавлена «Отец». Это – биографический очерк о Толстом. Александра Львовна – основательница и председатель «Толстовского Фонда», организации, помогающей во многих странах людям, уходящим в свободный мир от коммунистической диктатуры.)

Узнав о съезде литераторов в Москве, мне хотелось бы, как дочери Льва Толстого, отметить это событие, поделившись с вами некоторыми моими мыслями.

Немного осталось в живых современников Толстого. Во время моей молодости один отец оставался жив из старых классических русских писателей, и появились уже так называемые молодые писатели: Горький, Андреев, Чехов, Куприн, которых отец знал и к которым относился с любовью и большим вниманием.

Литература была одним из главных интересов нашей жизни. И сейчас, поскольку возможно, я слежу за литературой в Советском Союзе.

Но в мое время писатели и поэты были гораздо счастливее: пусть что угодно рассказывают вам советские пропагандисты про рабство и репрессии во время царского режима, про строгость тогдашней правительственной цензуры – это были детские игрушки по сравнению с тем, что мы видим теперь.

То, что делается с литературой в Советской России, нельзя даже назвать цензурой. Это – полное порабощение и подчинение литературного творчества...

Правда, и тогда некоторые религиозно-философские сочинения Толстого подвергались цензуре. Так, «Не могу молчать» – статья отца, написанная им против смертной казни, – была запрещена. Но что получилось? Статья эта распространялась в сотнях тысячах экземпляров и облетела не только Россию, но и весь мир. Статью эту читали все русские люди, а сам автор – Толстой – не только не был арестован, он даже не был выслан из пределов России. А пусть попробует кто-либо из советских граждан написать такую статью – не против советского правительства, а статью принципиального характера, осуждающую смертную казнь, – и, в лучшем случае, злополучный автор окажется в концентрационном лагере!

Советские пропагандисты часто указывают на то, что литература в старое время была лишь для привилегированных классов и не доходила до крестьянских и рабочих масс.

На самом же деле многие издательства, как, например, «Посредник», основанный друзьями Толстого и с его участием, выпустил художественные произведения Толстого, Тургенева, Аксакова, Гаршина и других. Эти книжечки продавались по одной и полторы копейки в миллионах экземпляров. Полное собрание Пушкина или Лермонтова продавались в то время за один рубль...

Знакомясь с произведениями советских писателей и поэтов, мы между строк стараемся проникнуть в подлинные переживания поэта, ухватить его собственные мысли и чувства, выбрав их из-под мусора ложной, убивающей душу, бездарной и вредной пропаганды. И часто, особенно во время войны, до нас доходили эти искры подлинного творчества русских писателей и поэтов...

Мы, живущие в свободном мире (я говорю не только о русской эмиграции, но и о народах Запада), хорошо знаем о том нажиме, который делается на искусство вообще и на литературу в частности коммунистической властью.

Мы знаем, что в Советской России говорить свободно нельзя. Верить во что хочешь – нельзя. Творить – нельзя. Писать, о чем хочешь и как хочешь, – нельзя... Что можно? Восхвалять власть, которую тебе хочется предать анафеме?

А на самом деле, в чем же смысл и цель нашей жизни?

Я отвечу вам словами Толстого. Он говорил: «Смысл и цель нашей жизни в исполнении воли Того, Кто послал нас в жизнь. А какова Его воля? Воля Его – в служении, в любви к людям».

Каждому из нас – глупому, умному, безграмотному или образованному – дана возможность творить. И в этом творчестве и заключается цель и радость нашей жизни.

В чем же творчество? Во всем – отвечу я вам. В воспитании нашего ребенка, в посадке и взращивании пшеницы или деревьев, в научном изобретении, которое служит на благо человечества, в сочинении или в исполнении музыкального произведения, в рисовании картины или портрета, в поэзии, литературе. Все это будет творчество. Вопрос о том, что вы вкладываете в вашу деятельность? Живое, творческое – или злое, разрушающее начало? Вы можете вдунуть в своего ребенка искру добра, научить его только хорошему, дать ему пример своей жизнью; вы можете разрушить душу ребенка своей жестокостью, развращенностью, лживостью.

Литература – одна из самых сильных форм творчества. Литература может возбуждать самые низменные, грязные, жестокие чувства и мысли в человеке, или она может поднимать людей, облагораживать их, возбуждать новые, глубокие мысли. Толстой говорил: «Литература должна, как призма, вбирать в себя лучи света, пробуждать лучшее, что есть в людях».

Но лишь Божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.

Так сказал Пушкин. Без этих полетов мысли и чувства невозможно настоящее творчество в искусстве, в литературе.

Орлы эти в России. Крылья у них завязаны. Всему бывает конец. Придет конец и коммунистическому рабству. Расправят свои могучие крылья наши русские писатели и поэты и снова вознесут русскую литературу на ту высоту, на которой она всегда стояла.

БОРИС ЗАЙЦЕВ:

(Борис Константинович Зайцев – большой русский писатель, которого в нашей стране читали и любили еще до Первой мировой войны.)

Приветствую вас, собратия, с открытием съезда. В двадцать втором году, когда сам я был председателем Московского союза, таких съездов еще не устраивали. С тех пор прошло много времени. Мы

оказались с вами в разных мирах. У вас – родина, великий наш народ, молодость, сила. Этого у нас нет. Но у нас есть свобода. Мы пишем о чем хотим. У нас, здешних русских писателей, тесная жизнь, но широкая воля. У вас может быть достаток, богатство, но неволя.

От души желаю вам, чтобы на съезде сделан был хоть первый шаг к воле – без этого в нашем деле нельзя.

Поэтому, дай Бог, чтобы те из вас, кому дан талант, могли спокойно, без принуждения выращивать его.

ИВАН МАЙСТРЕНКО, украинский критик:

Советская драматургия мертва, потому что предназначенная ей роль ни ей, ни какому другому искусству не подходит. Советская драматургия отнюдь не руководствуется драматургическими законами, наоборот – она пренебрегает ими. От зрителя требуют, чтобы он сочувствовал сильному в его борьбе против слабого, а не слабому, который борется с сильнейшим. Но никакой зритель так реагировать не может, и потому задача советских писателей невыполнима.

Пускай кто-нибудь из них попробует показать все сильного секретаря партийного комитета иначе, чем «положительным героем». В советском драматическом искусстве отрицательным, преступным типом стал рядовой гражданин, который борется за свои естественные человеческие права, а героями этого искусства стали все сильные партийные держиморды и надсмотрщики. И если борьба этого рядового, маленького человека приводит его в руки палача, то наши симпатии, по замыслу партийных заказчиков, должны принадлежать палачу, а не жертве. Но советский зритель к палачам испытывает не симпатию, а презрение и ненависть. Что же удивительного в том, что советское драматическое искусство остается для него холодным, как надгробный камень?

Советских писателей, которые съехались на свой Второй съезд, по-прежнему вынуждают воспевать в своих произведениях силу советской бюрократии и замалчивать трагедию ее жертв.

ИВАН ЕЛАГИН:

(Иван Венедиктович Елагин родился в 1918 году во Владивостоке. До войны учился в Советском Союзе. Оставшись на Западе после войны, Елагин выпустил в Германии в 1947 г. свою первую книгу лирических стихов «По дороге оттуда». Год спустя вышла его следующая книга – «Ты, мое столетие». Третья книга стихов Ивана Елагина была выпущена Издательством им. Чехова в Нью-Йорке в 1953 году.)

Пятьдесят, сто лет назад еще жили многие великие русские писатели. Никакому сановному бюрократу в то время не приходило в

голову устраивать писательский съезд, давать писателям директивы, требовать обмена опытом и натаскивать писателя на массовое производство положительных героев. Русских писателей объединял тогда не союз, не съезды, а совесть. И русская литература по праву называлась совестью нашего народа.

Диктатура посягает на все, в том числе и на совесть писателя. Для этого и устраиваются писательские съезды и конференции с их чиновничьей скукой, не имеющей отношения к искусству. Будем надеяться, что Второй съезд советских писателей будет и последним. Наш народ, покончив с диктатурой, вернет писателю его священное право творить свободно, в сосредоточенном одиночестве, наедине со своей совестью.

ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГЛИНКА, участник Первого съезда советских писателей 1934 года:

Трагическое положение художника в стране диктатуры знакомо мне по собственному моему тяжкому опыту...

Я и все литераторы свободного мира, сколько-нибудь осознавшие обстановку, в которой вы находитесь, безошибочно определяем рубцы вашего изуродованного цензурой текста. И высоко ценим мужество тех, кто все же сумел коснуться запретных плодов истины. И тех, кто после критической травли в угоду властям предпочел уйти в молчание.

Сейчас среди участников Второго съезда советских писателей есть немало людей, которые четко помнят историю борьбы лучших представителей нашей литературы за неотъемлемое право писателя мыслить и воспринимать действительность по-своему.

Где они, эти наиболее яркие и сильные писатели? Почему их нет на теперешнем съезде писателей? Где Александр Константинович Воронский? Где Исаак Бабель, Борис Пильняк, Дмитрий Горбов, Артем Веселый и все другие защитники свободного слова?

Слуги тоталитарного строя физически уничтожили этих людей. Но книги их есть во всех библиотеках свободного мира, и они свидетельствуют о героической борьбе с поработителями писательской совести: «Пролетарских писателей надо учить умению не слушать никаких ‘социальных заказов’. Ведь только перестав прислушиваться к ним, только уйдя слухом в себя, только творя за свой собственный страх и риск, только сам ‘высокомерно’ неся ответственность за свои падения и подъемы, может любой художник наиболее честно, глубоко и правдиво выполнить подлинный заказ, который дается ему его эпохой.» Эти слова остаются в силе и по сейчас. Они взяты из книги Дмитрия Горбова «Поиски Галатеи», выпущенной издательством «Федерация» в двадцать восьмом году.

Возможно ли подобное выступление на сегодняшнем съезде советских писателей? Очевидно, нет. И все же мы невольно надеемся, что через сплошные похвалы и благодарения по адресу партийных бюрократов прорвутся, как было это и на Первом съезде, голоса тех, кто скажет о задушенной свободе творчества и о роли писателя, который должен нести огромную ответственность за свои произведения совсем не перед партией и правительством, но прежде всего перед своим народом и перед общечеловеческой культурой.

ВЛАДИМИР ГЛЫБИННЫЙ, бывший член оргкомитета Союза советских писателей:

Я принадлежу к тому поколению, которое начинало свой литературный путь еще в конце двадцатых годов... Я еще помню существование ряда литературных организаций, как «Перевал», Объединение крестьянских писателей, РАПП, Федерация Объединений советских писателей и другие; в Белоруссии – «Маладняк», «Полымя», «Узвышша», «Проблеск», «Литературная Коммуна», «БелАПП» и другие; на Украине – «Плуг», «Ваплите» и другие. Мы тогда зачитывались яркими, сочными рассказами Бабеля, Олеши. Статьи и книга «Искусство видеть мир» Александра Воронского являлись для нас подлинной школой эстетики. Поэты открыто поклонялись Пастернаку. Все мы ненавидели авербаховско-рапповскую дубинку, с которой связывали понятие о партийном вмешательстве в литературные дела.

Но в тридцать втором году партия прибегает к очередному маневру. Ликвидируются все существующие литературные объединения одним росчерком пера – апрельским постановлением тридцать второго года. Все писатели, без различия творческих направлений, оказались в одном литературном колхозе. Оказались обязанными следовать единственному разрешенному стилю социалистического реализма. За этим последовали массовые аресты, обескровившие многие литературы национальных республик. Сегодня, после казавшегося кратковременного послабления идеологического давления после смерти Сталина, вы переживаете опять период нового, еще более ужасного давления партии. Кампания травли ряда писателей, поднятая Гладковым, Сурковым, Симоновым и другими по указке партии, предвещает новый длительный период еще более жестокого порабощения литературы. Но мы радуемся, что к голосу партийных погонщиков типа Ермилова и Сурковых настоящие писатели не присоединили своего голоса. Леонов, Катаев, Федин, Твардовский и другие молчат. Партии не удалось заполучить их поддержку. В этом таится величайшее поражение и морально-политический урон партии. Промолчать, когда партия нуждается в одобрении и поддержке, – уже является

самоотверженным поступком. Молчание Леоновых, Катаевых, Твардовских и многих других красноречиво.

Трибуна съезда писателей может явиться до некоторой степени возможностью высказать наболевшее и накопившее. Не пропустите этой возможности, выскажите здесь то, чем томится уже давно весь советский народ, выразите его неутолимую жажду свободы и искренних человеческих отношений. И тогда вы действительно оправдаете возложенные на вас надежды.

ВЯЧЕСЛАВ ЗАВАЛИШИН:

(Вячеслав Завалишин окончил в 1939 году филологический факультет Ленинградского университета. Работал у академика Орлова. В ближайшее время в Нью-Йорке выходит на английском языке его «История советской литературы».)

Товарищи писатели! У нас есть «соцреализм», но у нас мало искренних книг, у нас нет настоящей литературы. Вы знаете кто виноват: партия.

«Я – тюрьма собственных мыслей и пленник величайших сомнений, о которых я не могу сказать ни одному критику», – так говорит советский писатель Нарастаев, герой запрещенной новеллы Николая Тихонова «Вечный транзит».

Вам больше, чем кому другому, понятно: диктатура и искренность – несовместимы.

Так чего же ожидать от второго съезда писателей? Какую пользу принесет съезд нашему народу, родине, культуре?

Нам нужен не принцип партийности, а свобода слова, которой нет и не может быть, пока существует партконтроль над литературой. Выход один – где только можно, как только можно сопротивляйтесь агитационному сужению творчества!

ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ, грузинский писатель:

Литература не только по приказу, но и «по рецепту» не может развиваться.

В советских условиях «социальный заказ» не может помочь творчеству писателя, ибо «заказ» понимается советскими властями, как право вмешательства в творчество писателя. Дни и ночи мы слышим призыв: «Создать образ советского человека». Но призывающие к этому забывают или хотят забыть, что советский человек – это или русский, или украинец, или грузин, или армянин, или человек какой-либо другой национальности. Советская система – явление временное и преходящее, культура же идет из глубины народной, а не из той или другой системы. Один и тот же народ проходит разные социаль-

ные строи. Один строй сменяется другим – а народ остается тем же, в этом основа всякой культуры. Народ – это неповторимое, индивидуальное единство. Такова и его культура. Но оба они в то же время универсальны. С какой точки зрения? Всякий народ – один из аспектов «целого» человечества, в этом его аспекте светится «целое». Поэтому один народ бывает созвучен с другим, созвучен как часть «целого». Сегодня же я повторяю эти слова специально для вас, писателей Грузии. Сохраните живые корни Грузии, ее глубокий язык, ее универсальную мифологию, ее героические подвиги, кристальный стиль ее жизни. Схватите эти корни – и у вас вырастут орлиные крылья. А орлы любят свободу и ее добиваются.

ИГОРЬ ГУЗЕНКО, автор романа «Падение Титана»:

Писатели, поэты и критики! Есть в мире идеалы, ради которых люди готовы идти на смерть. Мечта о свободе и справедливости не уничтожена в России. Оглянитесь вокруг, отомкните силой своего воображения двери тюрем и лагерей – и вы увидите, что вы живете среди миллионов людей, которые ежедневно принимают жестокие мучения и часто смерть, до конца оставаясь верными великой мечте освобождения.

Будьте достойными современниками этих мучеников!

Было время, когда Лев Толстой поднял голос против правительства в защиту сотни студентов, высланных из Петербурга. Вы же молчите, когда не просто выселяются, а физически уничтожаются не сотни, а миллионы наших братьев и сестер. Некоторые из вас ответят, что условия сейчас другие, что, мол, против пулеметов не пойдешь. Но есть выход. Есть в руках писателей, поэтов и критиков острое оружие – сатира, аллегория, намек. Честный писатель должен использовать это оружие до конца. Советский читатель расшифрует сатиру, увидит между строк самую замаскированную аллегорию и намек, поймет, оценит и скажет: «Этот писатель честный человек, он с нами».

И когда придет время расплаты с маленькими и хрущевыми, народ спросит каждого писателя: где ты был, когда мы истекали кровью, голодали, жили в страхе за судьбу наших детей и родных? Где ты был в то время? Жирел ли ты на партийных хлебах или болел за нас душой, поддерживал нашу надежду на освобождение?

Ответить вам придется, писатели! Готовьтесь к этому дню не с подлой хитростью лизоблюдов, придумывая формальные вылазки и увертки, готовьтесь к нему вашим творчеством – творчеством честных выразителей затаенных дум народа.

На вашем съезде в Москве вас заставят говорить ложь, клевету, будут учить искусству продажи души и тела. Сумейте обойти цензу-

ру, сумеите обратиться с трибуны съезда через голову правительства к нашему народу.

ГОЛОСА АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Радиостанция «Освобождение» также ознакомляла своих советских слушателей с мнениями американских писателей по поводу Съезда советских писателей. Вот некоторые из переданных обращений:

АМЕРИКАНСКИЙ КОМИТЕТ СВОБОДЫ КУЛЬТУРЫ*

Мы, американские писатели, ученые, работники искусства, шлем братский привет тем нашим товарищам в Советском Союзе, которые, страдая в условиях интеллектуального террора, невиданного в истории, все же не теряют своей воли к борьбе за достоинство и свободу человеческого духа. Мы являемся противниками всяких преград, мешающих свободе культурного общения; мы ненавидим всякие формы цензуры, которая душит искусство и литературу. Мы знаем, что навязывание искусству какой бы то ни было политической идеологии – отвратительно, оно ведет к уничтожению всякого творческого усилия. Мы обнажаем сегодня головы перед всеми нашими товарищами в Советском Союзе – писателями, учеными, работниками искусства, – которые погибли или еще томятся в лагерях как мученики борьбы за интеллектуальную и духовную свободу. Мы убеждены, что их страдания не напрасны. Гитлеровская диктатура над искусством и мыслью была сокрушена. Фашистский режим в Италии потерпел поражение. Мы убеждены, что нынешней партийной тирании, удушающей всякое индивидуальное творческое усилие в Советском Союзе, уготована та же участь, какая постигла всех других врагов интеллектуальной, духовной свободы. Мы убеждены, что народ, давший миру Пушкина, Толстого, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Чехова, добьется возрождения своей великой культуры, когда на смену теперешней тоталитарной диктатуре придет свободное правительство, когда народный гений будет освобожден.

ЭПТОН СИНКЛЕР:

(Произведения американского писателя Эптона Синклера, широко известны

* Это объединение насчитывает триста членов – писателей, ученых и артистов. Председателем Комитета состоит Джеймс Т. Фаррелл. Среди членов находятся Томас Харт Бентон, Уиттекер Чемберс, Джон Дос Пассос, Герман Дж. Мюллер, Аллэн Невинс, Уильям И. Николс, Дж. Роберт Оппэнхаймер, Гарри А. Оверстрит, Кэтрин Анна Портер, Джордж Н. Шустер, Эптон Синклер, Джон Стейнбек, Роберт Пенн Уоррен, Торнтон Уайлдер. (РО)

и у нас в стране. В начале тридцатых годов Гослитиздат выпустил одиннадцатитомное собрание сочинений Синклера, куда вошли такие его романы, как «Джимми Хиггинс», «Джунгли», «Искатель правды», «Сто процентов», «Испытания любви», «Ад». Партийная диктатура допускала распространение книг Синклера в нашей стране, надеясь удержать известного писателя на своей стороне. Но Синклер, увидев, к чему режим диктатуры ведет нашу страну, стал противником диктатуры. Теперь диктатура наложила запрет на книги Эптона Синклера, – последние его произведения остаются неизвестными у нас в стране.)

На протяжении шестидесяти лет, будучи профессиональным писателем, я всегда писал и пишу так, как мне угодно, и никакое правительство, никакая власть никогда не указывала мне, как и о чем писать. Может ли советский писатель сказать о себе то же самое? Позвольте мне сказать вам, что для деятеля культуры свобода стоит превыше всего, без нее не может быть никакого прогресса, никакой надежды.

ТОРНТОН УАЙЛДЕР, писатель и драматург:

(Т. Уайлдер автор пьесы «Наш городок». Он лауреат Пулитцеровской премии.)

Западный мир вырос и созрел в какой-то мере благодаря произведениям великих русских художников слова. С нетерпением ждем дня, когда современные русские писатели и композиторы смогут творить в условиях свободы и снова будут обогащать нас своей мудростью и гением.

ДЖЕЙМС ТОМАС ФАРРЕЛЛ:

(Произведения американского писателя Джеймса Томаса Фаррелла известны далеко за пределами Америки: его иногда называют «американским Золя». Фаррелл родился в девятьсот четвертом году и в начале тридцатых годов, будучи еще молодым писателем, создал трилогию – серию романов из жизни рабочих Чикаго.)

Современная литература выросла и расцвела в атмосфере свободы, а не диктатуры. Великие писатели всех стран писали не по веляниям партийных резолюций, а потому, что у них была потребность свободного самовыражения. Потаенные и глубочайшие устремления человека направлены к тому, чтобы быть свободным, искать свои пути и свободно строить свою жизнь. Назначение писателя – питать, выявлять и выражать эти человеческие потребности. Я убежден, что такая потребность – как затаенное желание – имеется и у писателей Советского Союза. Я приветствую в них эти стремления. И надеюсь, что придет день, когда писателям не надо будет обсуждать резолюции политических партий, когда никакие границы не будут мешать им обращаться ко всему миру. Мой голос идет из свободного мира с

надеждой на то, что будет день, когда осуществится писательская солидарность – единение в правде. Писатель знает, какова его роль. Она в том, чтобы дать голос правдивым чувствам его сердца, выражать правду о себе самом и об окружающем – так, как он это видит и чувствует. Но только свобода от партийного – политического и полицейского – гнета позволит писателю выполнить эту роль.

МАКС ИСТМЕН:

(Макс Истмен – прозаик, романист и поэт; написанные им стихи и поэмы составляют четыре тома. Ему сейчас семьдесят один год; в последние десятилетия его жизнь и творчество были тесно связаны с нашей страной. Близкий друг Джона Рида, автора книги «Десять дней, которые потрясли мир», Макс Истмен жил в нашей стране еще при Ленине. Он был лично знаком с Лениным, и это он – в книге под заглавием «После смерти Ленина», вышедшей в 1925 году, – впервые опубликовал известное «Завещание Ленина».

Истмен настолько хорошо изучил русский язык, что не только переводит на английский стихи Пушкина, но и сам написал несколько стихотворений по-русски. В Москве и Ленинграде он дружил со многими писателями. Макс Истмен на собственном опыте убедился, что диктатура, подавляя творческую свободу писателя, губит литературу в самом корне. Он написал знаменитую книгу – «Писатели в мундирах», которая произвела сильное впечатление на американскую и мировую общественность. В этой книге Истмен, в частности, рассказывает, как партийные критики травили таких писателей, как Евгений Замятин, Борис Пильняк и Исаак Бабель.)

Я не знаю, что выразить – восхищение или сочувствие? Пожалуй, у меня больше сочувствия, нежели вражды, по отношению к тем писателям, которые склонились перед чудовищной тиранией. Перед тиранией над искусством и словом, созданной в России под именем социализма. Тирании такого рода не видывала вся история человечества – только очень мужественные и сильные духом люди могут ей противостоять. Поэтому я выражаю сочувствие как тем, которые сознательно отказались от своего первородства за чечевичную похлебку и пошли на службу полицейскому государству, так и тем, в сердца которых зараза проникла настолько глубоко, что они не ведают, что творят. Но столь же велико и мое восхищение теми, которые, сохраняя ясность разума и сердца, живут в твердом убеждении, что наступит день, когда свободный дух опять заговорит по-русски, обращаясь ко всему миру.

Во времена Николая Первого цензура была настолько сурова, что когда печаталось первое издание знаменитой «Поваренной книги» Молоховца, цензор вычеркнул оттуда слова «вольный дух», хотя в данном случае эти слова означали всего-навсего теплый воздух

в уже прогоревшей печке. Несмотря на такую цензуру, свободный дух не умирал в царской России, и люди свободного духа высказывали свои мысли, создавали величайшие произведения, вошедшие в сокровищницу мировой литературы. Но в Советском Союзе сегодня не только вычеркивают слова, не только заглушают проявления духа, но и убивают самих людей. Передо мною список, в нем перечислены тридцать писателей, которые либо были ликвидированы, либо погибли в лагерях с того времени, как – в тридцать четвертом году – вышла моя книга «Писатели в мундирах», где я описывал начало партийной инквизиции над литературой и искусством. При таком положении вещей невозможно никакое проявление свободного человеческого духа. Возможна только надежда. Нам, живущим в свободном мире, вы, советские писатели, представляетесь как бы теми каторжниками, к которым – после восстания декабристов – обращался Пушкин в своем «Послании в Сибирь». И мне думается, что обращаясь сегодня к советским писателям, я лучше всего выражу свои чувства, если прочитаю эти непревзойденные строки Пушкина:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.

Несчастьем верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа
И братья меч вам отдадут.

ДЖОН ДОС ПАССОС:

(Произведения американского писателя Джона Дос Пассоса широко известны у нас в стране. В начале тридцатых годов Гослитиздат выпустил его романы: «Манхаттан», «Сорок вторая параллель», «Тысяча девятьсот девят-

надцатый». В Камерном театре в Москве была поставлена его пьеса «Вершины счастья». Джон Дос Пассос приезжал в Москву, жил на даче под Ленинградом, подружился со многими нашими писателями. Николай Асеев – в стихотворении, напечатанном в журнале «Молодая гвардия», номер первый за 32-й год, – говорил, что ДосПассос – «наш парень в американской оправе». Партийная диктатура из всех сил старалась привлечь и удержать талантливого писателя на своей стороне. Но Джон Дос Пассос, увидев своими глазами, куда ведет режим диктатуры, в середине 30-х годов стал противником диктатуры. Теперь диктатура наложила запрет на книги Джона Дос Пассоса. Последние его произведения у нас в стране неизвестны.)

Пока классики русской литературы – Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский – остаются на полках библиотек, люди в Советском Союзе никогда не будут полностью прикрыты от вторжения со стороны Республики общечеловеческой литературы. Русские классики всегда будут открывать для людей окна в настоящую жизнь. Надо надеяться, что советские писатели – точно так же, как писатели Западной Германии после гитлеровского кошмара, – тоже увидят свет, когда и для них кончится долгая ночь духовного гнета. И когда они выйдут на волю, они найдут друзей, которые будут приветствовать их освобождение.

РЕАКЦИЯ КРЕМЛЯ

В своей заключительной речи на съезде Алексей Сурков, первый секретарь Союза советских писателей, услужливо снабдил нас доказательством не только того, что свободные голоса эмигрантских писателей были слышны в Советском Союзе во время съезда, но и того, что эти голоса звучали с такой силой и убедительностью, что советские вожди были вынуждены перейти в контрнаступление. Слова Суркова подчеркивали беспокойство советских вождей:

«Не молчат и враги нашей страны и нашей литературы. По случаю съезда был вытащен из ящика с литературным мусором белоэмигрант Борис Зайцев, который прошамкал у белогвардейского микрофона слова ядовитой бессильной злобы».

Последние слова – явный намек на обращения радиостанции «Освобождение», единственной радиостанции, передавшей съезду слова Бориса Зайцева, которого хозяева советских писателей считают «литературным мусором», но которого Стокгольмское жюри считало одним из ведущих кандидатов на получение Нобелевской премии в 1954 году.

Сурков также атаковал Джеймса Т. Фаррелла и Американский Комитет свободы культуры, чьи обращения были переданы радиостанцией «Освобождение».

Публикация – Ю. Сандулов

ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ЛИТЕРАТУРА

Андрей Красильников

Есть у революции начало... и есть у революции конец

В ноябре 2017 года на конференции в Москве ведущие российские историки подводили итоги празднования событий столетней давности. Приглашенный ими на встречу американский политолог Стивен Коэн задал неожиданный вопрос: какую дату считать окончанием русской революции? Ответы были самые разные. К единому мнению так и не пришли, а некоторые, вспоминая известную песню их молодости, и вовсе отшучивались словами поэта Юрия Каменецкого: «Есть у революции начало, нет у революции конца».

Смею утверждать: Великая русская революция, как и все подобные исторические катаклизмы, имеет ярко выраженные хронологические границы. Она началась с массовых стачек и демонстраций 23 февраля (8 марта) 1917 года (примечательно, что оба эти дня в России теперь нерабочие, правда, по другим поводам) и завершилась... Здесь корректней пока будет поставить многоточие и вспомнить ключевые моменты того этапа, который традиционно именуется Февральской революцией.

Первым ее итогом стал Акт об отречении Николая Второго в форме телеграммы начальнику штаба. Уже из одного этого видно, что ни о какой юридической чистоте совершаемого никто тогда и не помышлял. Потом задним числом эту телеграмму назовут манифестом, но сам государь, казалось, сделал всё, чтобы действия его не носили легитимного характера. Чего стоит одна только формулировка: «Не желая расстаться с любимым сыном Нашим, Мы передаем наследие Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на Престол Государства Российского».

Император мог заблуждаться относительно права «сложить с себя верховную власть». Но он не мог не знать закона о престолонаследии. Видимо, нарушая его, он посылал сигнал о вынужденном подчинении революционному насилию. Собственно говоря, главный

отличительный признак любой революции – поспание существующих законов. В противном случае это не революция, а обычная реформа.

Как ни странно, дальнейший ход событий пошел по правилам, установленным Актом об отречении. Этот документ имел и своеобразную нормативную часть: «Заповедуем Брату Нашему править делами государства в полном и нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу».

Михаил Александрович в спонтанном нормотворчестве продвинулся еще дальше. Он фактически в двух фразах установил новый основной закон государства. «Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего благо Родины нашей, принял я твердое решение в том случае воспринять Верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, чрез представителей своих в Учредительном собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созданное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа».

Слагаемые этой псевдоконституции таковы:

1. Образ правления и новые основные законы принимаются Учредительным собранием.
2. Учредительное собрание избирается в возможно короткий срок всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием гражданами Державы Российской.
3. До созыва Учредительного собрания всей полнотою власти обладает Временное правительство, возникшее по почину Государственной Думы.

Итак, образ правления принимается Учредительным собранием. Но что оно может учредить в монархическом государстве? Только республику. Отсюда и необходимость новых основных законов. Своих представителей избирают не подданные Российской империи, а граждане Державы Российской. Уже из этих двух норм ясно, куда покатилося колесо, которое очень скоро обнаружит свой истинный цвет – красный.

Однако при этом вся полнота власти переходит к Временному правительству – этакому коллективному самодержцу образца 1904

года, ибо уже Первая русская революция законные полномочия венценосца значительно сократила. В итоге возник некий политический феномен, который можно определить как абсолютистская демократия.

Формальным источником такой государственной модели стал Акт Михаила Романова от 3 марта 1917 года. Но несомненная нелегитимность этого документа даже не обсуждалась, а сам он был беспрекословно принят не только революционными вождями, но и консервативным Правительствующим Сенатом. С этого момента ничего в России уже не было де-юре. Только де-факто.

Тем временем общество терпеливо ждало Учредительного собрания как логического и правового конца бесконечной череды полного произвола. Смену правительств, установление Директории, преждевременное провозглашение республики и даже октябрьский переворот оно переносило относительно спокойно, пребывая в полной уверенности, что всему временному рано или поздно наступит конец, а впервые избранные невиданно демократичным способом депутаты придадут государственному устройству необходимую законность.

Подготовку к выборам Временное правительство начало еще в марте, образовав Особое совещание для выработки положения о них. Но фактически этот орган, включавший представителей различных партий, в том числе большевиков, приступил к работе лишь через два месяца.

Неторопливость разработчиков выборных правил дорого обошлась России. Длительные споры о возрастном цензе, правах военнослужащих, нарезке округов и т. п., хотя и позволили создать самое демократичное в истории выборное законодательство, привели к переносу первоначальной даты голосования с 17 сентября на 12 ноября. Совершенно очевидно, что при ее сохранении судьба и Учредительного собрания, и всей страны была бы иной. Но Особое совещание представило плод своих трудов из 238 статей лишь за полмесяца до предполагаемого дня волеизъявления, и на составление списков избирателей времени уже не оставалось.

По иронии судьбы, проводить выборы, назначенные четвертым Временным правительством, довелось следующему за ним. Тому, что сформировал II Съезд Советов рабочих и солдатских депутатов из членов большевистской партии после противоправного низложения предыдущего кабинета.

Большевики торопились с вооруженным восстанием в надежде, взяв власть, получить больше мандатов. Но мудрый народ отказал им в поддержке, отдав лишь 24% голосов. Это был ярко выраженный вотум недоверия самозваному правительству. Остаться у руля с

таким показателем на самых демократичных в мире всеобщих выборах было бы противоестественным, и русское общество успокаивало себя неизбежностью скорых перемен.

Но Россию, как известно, «аршином общим не измерить». Из-за затянувшихся выборов (12 ноября голосование прошло лишь в половине округов) созыв Учредительного собрания пришлось отложить до конца святок и назначить его открытие на 5 января 1918 года. Накануне «Известия» опубликовали принятую Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (последние влились во ВЦИК после октябрьского переворота) «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Именно этот документ правительство Ленина предложило народным представителям в качестве первого конституционного акта Свободной России, провозглашавшего ее Республикой Советов.

Зачитал декларацию председатель ВЦИК Яков Свердлов, узурпировавший право старейшего по возрасту депутата Сергея Швецова вести заседание. Однако Собрание после выборов председателя и секретаря (обе должности достались эсерам: лидеру партии Виктору Чернову и юристу Марку Вишняку) вошло в свою колею и с четырех часов дня почти до полуночи обсуждало повестку дня. Вот чем закончилось это обсуждение (цитирую стенограмму):

«...имеются два взаимно исключающие друг друга предложения. Одно — поставить в порядке дня сегодняшнего заседания вопрос о власти, а другое предложение, внесенное фракцией с.-р., — поставить на первом плане вопрос о мерах к скорейшему окончанию войны, затем об основных положениях, устанавливающих передачу земли в руки народа, и, в-третьих, провозглашение формы государственного устройства России, затем вопрос о государственном регулировании промышленности и мерах борьбы с безработицей, затем об охране Учредительного собрания и неприкосновенности членов его, затем обращение к народу и могущие встретиться текущие дела. (*Голос слева:* Вы неправильно формулировали первое предложение. Первое предложение: поставить на обсуждение декларацию ЦИК, а не вопрос только о власти. Декларацию ЦИК в целом.) Поставить на обсуждение декларацию ЦИК? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы поставить сейчас на очередь декларацию ЦИК в целом, покорнейше прошу подняться. (*Баллотировка. Производится подсчет.*) Теперь покорнейше прошу встать тех, кто стоит за принятие порядка дня первого заседания, предлагаемого фракцией с.-р.: первое — вопроса о мире, затем о земле, о формах государственного устройства и т. д., — я не буду повторять всего, — покорнейше прошу тех подняться.

(*Баллотировка.*) За постановку на обсуждение в первый день декларации ЦИК – 146, за порядок, предложенный фракцией партии с.-р., – 237».

Первый раунд большевики проиграли. Но не так, как это любят преподносить их сторонники. Собрание не отвергло одиозную декларацию, а всего лишь поставило вопрос о форме государственного устройства третьим, а не первым пунктом повестки дня. Вот поясняющий этот фрагмент из выступления эсера Евгения Тимофеева: «...хочу исправить маленькую ошибку, которая вкралась, очевидно невольно, в речи предыдущих ораторов. Фракция партии с.-р. не возражала против обсуждения декларации ЦИК Советов вообще, – она не находила и не находит возможным эту декларацию обсуждать теперь, в этот торжественный день и торжественный час, когда нужны не декларации и слова, а дело».

В самом начале первого в заседании был объявлен перерыв. Когда депутаты вернулись, они не обнаружили в зале фракции большевиков и левых эсеров. Работа продолжилась в час ночи без политических дезертиров. Однако порядок обсуждения вопросов тут же был нарушен заявлением депутата от меньшевиков Матвея Скобелева. Он поведал о расстреле мирной демонстрации в поддержку Учредительного собрания, произошедшем днем в Петрограде. Немалое время ушло на выяснение подробностей и принятие резолюции.

К первому пункту повестки удалось приступить далеко за полночь. Собрание заслушало доклад Евгения Тимофеева о мерах к ускорению мира и постановило, в частности: «Выражая от имени народов России сожаление, что начатые без предварительного соглашения с союзными демократиями переговоры с Германией получили характер переговоров о сепаратном мире, Учредительное собрание, именем народов Российской демократической республики, продолжая установившееся перемирие, принимает дальнейшее ведение переговоров с воюющими с нами державами на себя, дабы, защищая интересы России, добиваться, в согласии с волей народа, всеобщего демократического мира».

Сегодня неплохо бы напомнить некоторым правительствам, что их предшественники отвергли протянутую им руку первого демократического органа России. Ведь после такого постановления они должны были объявить делегацию Совнаркома нелегитимной и потребовать прибытия в Брест-Литовск других переговорщиков. Поняв, что продолжают проигрывать, большевики послали на трибуну Федора Раскольникова, огласившего декларацию своей партии:

«Громадное большинство трудовой России – рабочие, крестьяне,

солдаты – предъявили Учредительному собранию требование признать завоевания Великой Октябрьской революции – советские декреты о земле, мире, о рабочем контроле – и прежде всего признать власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, выполняя волю громадного большинства трудящихся классов России, предложил Учредительному собранию признать для себя обязательной эту волю. Большинство Учредительного собрания, однако, в согласии с притязаниями буржуазии, отвергло это предложение, бросив вызов всей трудящейся России.

В Учредительном собрании получила большинство партия правых с.-р., партия Керенского, Авксентьева, Чернова. Эта партия, называющая себя социалистической и революционной, руководит борьбой буржуазных элементов против рабочей и крестьянской революции и является на деле партией буржуазной и контрреволюционной.

Учредительное собрание в его нынешнем составе явилось результатом того соотношения сил, которое сложилось до Великой Октябрьской революции. Нынешнее контрреволюционное большинство Учредительного собрания, избранное по устаревшим партийным спискам, выражает вчерашний день революции и пытается встать поперек дороги рабочему и крестьянскому движению.

Прения в течение целого дня показали воочию, что партия правых с.-р., как и при Керенском, кормит народ посулами, на словах обещает ему всё и вся, но на деле решила бороться против рабочих, крестьянских и солдатских Советов, против социалистических мер, против перехода земель и всего инвентаря без выкупа крестьянам, против национализации банков, против аннулирования государственных долгов.

Не желая ни минуты прикрывать преступлений врагов народа, мы заявляем, что покидаем это Учредительное собрание с тем, чтобы передать Советской власти окончательное решение вопроса об отношении к контрреволюционной части Учредительного собрания».

Из этой целиком пропагандистской декларации (где уже сквозят словечки «контрреволюционный», «буржуазные элементы», «враги народа») видно, что с первых своих шагов советская власть опиралась исключительно на сфабрикованную ею самой ложь. К сожалению, мифы эти продолжает воспроизводить и современная историография.

О том, насколько «буржуазной» и «контрреволюционной» была партия социалистов-революционеров и как она «решила бороться против социалистических мер», смешно даже говорить. Достаточно заглянуть в воспоминания о том дне ее лидера Виктора Чернова, председательствовавшего в Таврическом дворце:

«Я заявляю о переходе к следующему пункту порядка дня: о земле. В это время кто-то сбоку трогает меня за рукав: ‘так что надо кончать – есть такое распоряжение народного комиссара’...

Я оглядываюсь: бритый матрос, за ним – его товарищи. ‘Какого народного комиссара?’ – ‘Распоряжение. Словом, тут оставаться больше нельзя. Караул устал. И сейчас будет потушено электричество’.

‘Члены Учредительного собрания тоже устали, но не могут отдыхать, пока не выполнили возложенного на них народом поручения: решить вопрос о мире, земле и государственном устройстве.’

И, не давая страже времени опомниться, я перехожу к оглашению главных пунктов ‘основного закона о земле’. О докладах, о длинных речах, о дебатах больше нечего и думать: с кем дебатировать? Мы остались одни. Нужны не разглагольствования, а решения. По моему предложению Учредительное собрание голосует. Шесть основных пунктов давно выработанной нашей фракцией новой земельной конституции приняты. Все земельные угодья государства обращены безвозмездно во всенародное достояние на началах равенства общегражданских прав в деле их трудового использования...

Под аккомпанемент продолжительных криков: ‘Пора кончать! Довольно! Очистить здание! Сейчас гасим электричество!’ – решается судьба остальных пунктов законопроекта о земле, детализирующих применение общих принципов в разных сферах землевладения и землепользования. Их разработка поручена комиссии из представителей всех фракций, на партийной основе.

На случай, если погаснет электричество, спешим запастись свечами. Кому-то удастся, несмотря на ночь, раздобыть их немного. Еще надо успеть во что бы то ни стало решить вопрос о форме правления: иначе большевики завтра же не постесняются объявить, что ‘учредивцы’ оставили открытой дверь для возврата монархии. Удастся благополучно справиться и с этим вопросом. Провозглашена федеративная связь отдельных народов демократической республики с сохранением за ними их национального суверенитета.

Всё это – под аккомпанемент вызывающих восклицаний вооруженной стражи, у которой чешутся руки. По заранее принятому решению наша фракция не поддается ни на какие провокации и не входит ни в какие пререкания. Молчать и довести до конца свое дело.

Из окон глядит туманное, сумрачное утро. Я объявляю перерыв заседания – до 12 час. дня».

Приведенный небольшой отрывок разоблачает не только вранье о контрреволюционной позиции эсеров, но и давнишний фейк о разгоне Учредительного собрания матросом Анатолием Железняковым.

Да, он действительно пытался помешать работе депутатов, но безуспешно.

А вот как отразился этот эпизод в стенограмме:

«Председатель (читает): Право собственности на землю в пределах Российской республики отныне и навсегда отменяется...

Гражданин матрос: Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому караул устал. *(Голоса: Нам не нужно караула.)*

Председатель: Какую инструкцию? От кого?

Гражданин матрос: Я являюсь начальником охраны Таврического дворца, имею инструкцию от комиссара.

Председатель: Все члены Учредительного собрания также очень устали, но никакая усталость не может прервать оглашения того земельного закона, которого ждет Россия. *(Страшный шум. Крики: Довольно, довольно!)* Учредительное собрание может разойтись лишь в том случае, если будет употреблена сила! *(Шум.)* Вы заявляете это. *(Голоса: Долой Чернова!)*

Начальник охраны (неслышно): Я прошу покинуть зал заседания.

Председатель. Кто просит слова по этому, неожиданно ворвавшемуся в наше заседание вопросу? От фракции украинцев просит слова для внеочередного заявления...»

Беспристрастная стенографическая запись, фиксировавшая даже реплики клакеров, также подтверждает комическую, а не героическую роль пресловутого матроса.

Зачем же понадобилось преувеличивать его значение?

Как и предполагало небольшевистское большинство, работать им не дали. Но закрыл Учредительное собрание не Анатолий Железняков со своим караулом, а Николай Ленин со своими комиссарами. Полуфольклорный «матрос Железняк» призван был символизировать при этом необходимую в пропагандистских целях «народную волю».

Что успело сделать Учредительное собрание за двенадцать часов работы, а что нет?

Закон о земле из десяти пунктов принял. Формально он должен был заменить знаменитый советский Декрет о земле, в котором, к слову, не раз подчеркивался его временный, до решений Учредительного собрания, характер.

Народные избранники постановили «избрать из своего состава полномочную делегацию для ведения переговоров с представителями союзных держав и для вручения им обращения о совместном выяснении условий скорейшего окончания войны, равно как и для осуществления решения Учредительного собрания по вопросу о мир-

ных переговорах с державами, ведущими против нас войну. Данная делегация имеет под руководством Учредительного собрания немедленно приступить к исполнению возложенных на нее обязанностей».

Не успели при этом сделать два следующих шага: утвердить персональный состав делегации и ее руководителя, а также лишить полномочий совнаркомовских назначенцев.

Но главное и роковое их упущение состояло в другом. Поскольку Акт Михаила Романова от 3 марта передавал Временному правительству всю полноту государственной власти до Учредительного собрания, первым делом надо было принять его полномочия на себя, а само Временное правительство в связи с началом своей работы распустить.

Существуют серьезные разночтения и насчет постановления о государственном устройстве России. Виктор Чернов и Марк Вишняк в своих мемуарах назовут его принятым, в современных источниках есть даже текст этого куцега документа («Именем народов, государство Российское составляющих, Всероссийское Учредительное собрание постановляет: Государство Российское провозглашается Российской Демократической Федеративной Республикой, объединяющей в неразрывном союзе народы и области, в установленных федеральной конституцией пределах, суверенные»), но стенограмма баллотировки по нему не зафиксировала, и можно предположить, что в нервной обстановке, нагнетаемой «уставшим караулом», его попросту не успели поставить на голосование. А ведь Учредительное собрание созывалось именно для «установления образа правления и новых основных законов». Вовсе не по вопросам землепользования и мирных переговоров.

Однако ни одно из решений долгожданного, выстраданного многовековым ходом российской истории органа практического развития не получило. Собравшиеся в обстановке начавшегося государственного террора депутаты не нашли силы вернуть события в правовое русло. Впоследствии Марк Вишняк напишет: «Если Октябрь расценивать как легкомысленную или безумную авантюру, ликвидация Учредительного собрания была не чем иным, как преднамеренным преступлением».

Сегодня можно твердо утверждать, что Великая русская революция на нем и закончилась. После 6 (19) января 1918 года всё происходило уже не по логике революционного развития, а в рамках окончательно утвердившейся диктатуры. Впрочем, ее вожди того и не скрывали, называя новый государственный строй диктатурой пролетариата, по существу, террором, чинимым незначительной в численном отношении социальной группой над всем остальным населением страны.

Поскольку диктатура утвердилась надолго, «легкомысленная авантюра» из банального государственного переворота превратилась в массовом сознании в ту самую «Великую Октябрьскую революцию», о которой поведал членам Учредительного собрания Федор Раскольников.

И в этом есть своя логика. Большевики последовательно свергли оба мало-мальски легитимные порождения революции и утвердили при этом не только новый политический, но и небывалый до того социальный строй, оказавший существенное влияние на ход мировой истории.

Поэтому в отечественной истории следует отличать Великую русскую революцию (февраль 1917 – январь 1918), недолгую, но яркую, с калейдоскопом событий, обилием противоречий, нелепых ошибок и несбывшихся надежд, – от эпохи диктатуры ее узурпаторов, основанной на терроре и физическом уничтожении значительной части собственного населения.

Москва

Ара Мусаян

Искусство и неистовство

I

Попытаться понять, проникнуться как можно глубже идеей, что человек – это не *продолжение*, а *переворот*, не эволюция, а революция, не жизнь, а – *дух*, от слова «дыхание», но уже не как средство поддержания жизни, а как «углекислый газ» выдоха: *продукт* (остаток, осадок, след...), – то, что остается после нас – памятник.

Неистовство, или – фабрика истины...

Как, *какой ценой* можно заслужить, как смогли удостоиться Корбьер, Лотреамон – *исключения* из школьных учебников, хрестоматий?..

Христианство, как болезнь у устрицы, – порождает в теле общества жемчужину *искусства*... Не как *роскошь*, а как нечто, что со временем призвано стать всеобщим достоянием.

Искусство – то, что не встречается в природе: палитра художника, литеры на бумаге, литавры...

Иоганн Себастьян Бах – внесший в мир «успокоительной» (от слова «реквием») церковной музыки живительный пульс «рок-н-ролла»...

Доступное – неинтересно: лишь плотина, возведенная перед нами невидимой рукой, способна накопить напор – до излияния (бурного), что лишь и «интересно».

Укорительно ли, завистливо – иные отмечали, что Толстой позволял себе писать «пиша»!

«Хороший роман»... А не лучше ли нам *хорошего вина*, раз *отборное* определено не по карману?

А между книгами «хороших» авторов и первоклассных, то бишь *классиков*, как ни странно, нет разницы в цене – *не в цене разница*.

Литература не несет *материальных* последствий: не землетрясение, не война, не революция...

Леонтьев: «Без этих Толстых можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека».

Толстой – «отшельник», слишком поздно решившийся на «шаг» и с катастрофической быстротой достигший своей цели.

Удивительно ли, что величайший из поэтов – Гомер – был слеп? Не отвлекали от дел любовные интриги.

Жизнь – что пионерский костер: каждое новое поколение – новая партия дров для продления праздника...

Музыка, литература, живопись...

Музыка – утешение либо потеха: песни, пляски – досужее времяпрепровождение.

Литература – веселье ума: радость, к которой прибавляется щепоть мудрости.

Живопись... Что-то от воспоминания, сновидения, порой кошмара (Гойя) – ни *литературного* выигрыша в «мудрости», ни *музыкального* – экстаза... Художники – нарциссы: в центре живописи, как в самовлюбленности, – глаз.

Со «временем» – понятием времени – связывают ущерб, старение, дряхление, а забывают, что в этом же измерении протекают и все жизненные, животворные процессы: цветение, оплодотворение, созревание...

Литература: перед тем как написать, останавливаемся на минутку над выбором слова, а еще лучше – ждем, пока само не намекнет о себе нам.

Долго зревший вопрос: *как и почему* Гегель усматривал в чтении газет свою «утреннюю *молитву*»?

Русское «заходи, посидим». Как перевести:

- заходи, у меня есть два стула;
- заходи, поговорим (предварительно устроившись комфортно в креслах);
- заходи, перекусим (подразумевается – сидя за столом)?

Пишу мало, чтоб не было повода всего меня не читать.

Трагическая маска Гегеля: тот, кто *вы(м)учился* долго выдерживать взгляд Истины (с намерением – благом – чем-то с нами, Прометей! – поделиться).

Как слуга *логично* – о, Гегель! – оборачивается *хозяином хозяина* (без которого «хозяин» пропащ), так и самец – отчужденная частица самки, с придатком – точно грыжа! – «адамова ребра» (негатив матки), неминуемо и вопреки чьей бы то ни было злой или доброй воле, становится хозяином, и вскоре – палачом...

Платон был философ – и какой! – а не знал, в чем, собственно, *суть* философии; Государства – знал, Прекрасного, Блага и даже Сущего – знал, а вот ни одним из своих пятидесяти «разговоров» не удостоил собственную дисциплину – разве что аллегорично изобразив ее в «мифе о пещере».

Так ребенок – ходит и не знает, что такое «ходьба» (взрослые – знают, и даже *беготню...*).

Философия – то, «не ведая чего», можно провести жизнь в инвалидной коляске.

Он не верил даже самым близким друзьям – исключая такую возможность: *дышать* и – дыша – не лгать.

Фр. *âme* – душа, и рус. – *яма* (по-японски – *гора*).

На прогулке – шаг, как на гимнастическом ковре, никуда далеко – ни в стороны, ни вперед не «забегая».

Сосредоточенность на вертикали тела – продлевающей ось Земли.

Думал ли я дожить до дней, когда буду спокойно сидеть в автобусе рядом со стоящей – правда, еще довольно крепкой, не пожилой персоной!..

Любовь – то, чем богаты «нищие духом».

Созвучие англ. *after* и рус. *завтра* – за-утро, за *предел* сего дня, как в лат. *утрировании* – «перешагивании меры», англ. *outer*, нем. *ausser*...

То же с «сорок» – столь далеким фонетически от значимого числа (четыре + ноль), что невольно хочется видеть его как про-

изводное от англ. *sorrow*, нем. *Sorge* и – соответственно, сорокадневного траурного срока.

В слове «создавать» присутствует приставка со-, как во французском *co(n)-struction* – строительство.

С кем же это мы созидаем, строим?

Или *c* – кирпичами, камнем, щебнем?..

Русский Золотой век, Возрождение, Афины...

Моцарт, Шуберт – русский Серебряный.

Острова тут и там вулканизма духа, на фоне *выветренного*, как ледником, – пейзажа истории.

Бесконечность прямой (кривой) времен, и – *α/ω* письмен...

Древнее Древнего Рима, Месопотамии, Египта – *молодые* Альпийские горы.

II

Продлил сегодня прогулку до бассейна – конец февраля, теплынь; хотел было провести двух моих землячек – лоховин, по-армянски, *пиат*...

Ни следа от моих майских, душистых, – лишь на месте одной какое-то новое деревце, а где была вторая – уже сплошной асфальт.

И снова повеяло зимой...

Первые деревья в цвету – и уже вспоминается осень, ущерб, листопад...

Парки – наши городские, современные – что библейский рай, но без плодовых деревьев (однажды на этом уже поймались)...

Возраст и – воздух: чем больше один, тем тяжелее переносится недостаток другого: июль – 23,5°C, и уже одышка.

На даче – спускаясь со второго этажа, впервые за столько лет *застать на себе* взгляд «Девушки с жемчужной сережкой» – приклотой кнопками (цветная репродукция) к ширме умывальни.

Единственное зрелище, в котором ничего не меняется от близорукости, – облака, как в сегодняшнем летнем небе Вандеи.

Утром на пляже...
Прохлада.
Синева.

Аристократический тембр голоса у женщины – несколько неожиданный в этих краях, – бранящей чьих-то (своих?) детей, с чуточку утрированной рассерженностью в тоне, – за то, что, играя в мяч, они будто мешают и обсыпают песком соседей на пляже...

«Никто тут никому не мешает» – мелькнуло и, при первом случае (раскаты грома где-то высоко в небе), *оглянувшись*:

вся вишь – отточенный профиль – короткая модная стрижка, подозреваю, *она* – из местной пролеткультской прослойки: библиотекарша или преподавательница, расположившаяся в раскладном кресле метрах в пяти-шести от нас, с развернутым чтивом в руках и парой в раскрученных до максимума половинках купального лифчика – точно рукава мужской рубахи в знойный день – персей...

Не дожидаясь первых – в тот день так и не выпавших капель, – жена подала сигнал отбоя.

Яблоня «шампанская» (сразу, еще при первом «знакомстве» в этом моем *втором* после Абхазии эдемском саду вспомнилась *гудаятская* – такая же душистая, неизвестно какими судьбами сюда занесенная...), которую ищу сегодня утром в глубине сада (куда так далеко не заходил еще с прошлого, а то и позапрошлого лета) и в упор не вижу, и *угадываю* вдруг под «саваном» плюща и мха, успевшим покрыть ее с головой за эти два-три года, – свалившуюся набок и уже не поднимающуюся, – и что-то «траурное» мелькнуло в этом зрелище *навиего дерева* (даже не животного).

Дальнее, но возможно-таки *дельное*, – созвучие между англ. *but*, арм. *байц* и рус. *бац*: все было тихо-спокойно, и – б-бац!..

Чистый горизонт, ни облака в небе, и *вдруг*...

С «катастрофически» *страшным* шумом, треском и грохотом рухнувшая сегодня утром, около 11 ч. (безветрие, чистое небо), одна из двух главных («коренных») ветвей второй нашей яблони...

Так же катастрофически – *мелькнуло вдруг*, – но под тяжестью не плодов, а времен, рухнула западная, одна из двух ветвей древней армянской нации.

Есть ли шансы на выживания – возрождения второй, «неповрежденной» ветви столь ветхого дерева?..

Голуби в оконных проемах сервисных помещений, выходящих в глухой двор гостиницы, как в некую вольеру под открытым небом, – взлетающие вдруг на крышу, слетающие так же неожиданно вниз, к сородичу, который – словно бильярдный шар – тут же *отлетает* в соседнюю нишу, на кровельный скат, карниз... Вечно что-то находят поклевать у себя под ногами – каких-то микронасекомых или ветром заносимые крохи чего-то съестного. Болезненно реагируют на наше присутствие в непосредственной близости, с шумом вспархивают, а когда мы оставили на минуту-две распахнутыми обе оконные створки, один бандит влетел и демонстративно вылетел, – пришлось, несмотря на жару, держать окна едва приоткрытыми, а уходя – наглухо закрывать.

Самый рядовой француз – как в этой рабочей харчевне Сен-Мексан-л'Эколь (колыбель французского протестантизма) – выше духом – *свободой духа* – любого, увы! российского чиновника – со времен Фонвизина и до недавнего; вспоминается премьер Косыгин, самый шекспировский – в гамлетовском смысле – член хрущевского Политбюро, не знающий, *как* – во время (первого?) своего визита за границу – и *что* сказать в микрофон, нагло протягиваемый ему иностранным журналистом.

Портрет жены Моне на смертном одре –

(составить список таких – *отдельно стоящих* – произведений искусства: «Шагреновая кожа», того же Моне – «Сорока»; «Детство» Аполлинера, найденное сегодня вывешенным среди всякой поэтической всячины – на улицах Сель-сюр-Бель).

Животные (напротив меня присевшая на спинке скамейки ворона) тоже живут «не хлебом единым»: насытившись, не сразу погружаются в сон; возможно, задумываются о будущем строительстве гнезда, – но, в сию минуту, поведение птицы напоминает скорее *любопытство* – нечто «человеческое», чуть ли не *философское*...

Сытость – то, что позволяет расширить горизонт за пределы того, что у нас непосредственно под носом (подносом) – *еда*.

Человек – умом богатое двуногое *животное*.

Отталкивающий – *отпугивающий* эффект от бушующего («расстроенного» – говорят французы) моря;

Манящий – осторожно! как пение сирен – от моря спокойного, гладкого (с обнадеживающим на горизонте видом мыса).

Черные в непогоду, черные под солнцем, черные утром, черные вечером, черные при приливе, черные при отливе – воды Ла-Манша в Кайе. Черные, каким я не помню само Черное море.

Голыш – от слова «галька», а пишется через «о»... Соблазнительная схожесть гладких *камешков* – от слова «ком»? – с голизной человеческого тела (мужского, женского – неважно).

Едва успел обзавестись – после двухлетней «диеты» – сотовым телефоном с аппаратом, – по пляжу вдоль набережной мне навстречу *здоровая* (во всех смыслах слова), немолодая (моих лет) женщина, тянущая за собой, можно сказать, *волоочащая* – по голышам – пустую детскую коляску...

Прелесть – слушать музыку «на лоне природы», под аккомпанемент птичьего щебета, лая соседских собак (которым, очевидно, непривычны вокализы из опер, ораторий...), эпизодического гула проезжих легковых и грузовых машин...

Ваш любимый цветок – *мак*, а когда вдруг появляется в саду – уже почти сорняк.

Браслеты, колье, ожерелья...
Украшения или – для *укрощения*?

Самосокращение «короткого» – в «кратком» (а то и – в «крутом»?). А с «крóткого» («крóткой») начинается уже совсем другая история... где дело не в сокращении, а в *укрощении*.

Напалм негро-американской «музыки» по всему неамериканскому в мире: как по любовной вчерашней (поздней ночью) *chanson française* – особенно в женских исполнениях (Паташу «Le bleu de tes yeux», Дамия...), где слышится *чувство* – а что может быть прекрасней нежного безумия любви!

А сегодня объявили кончину Чэка Берри...

Любая смерть – даже самая «безобидная», а тем более, когда сами к ней рвемся, – есть *самоубийство*.

В какой-то момент, порой в глубоком сне, мозг подсказывает сердцу: остановись!

Необходимость – благотворность? – зла...

Как дьявол, выглядывающий из-за угла (в средневековой живописи), так и – кто этого не замечал – везде у импрессионистов, тут и там – дымящие трубы, железнодорожные мосты, паровозы (уже у Тёрнера).

Искусство *временно* (своевременно) закрывает (вынуждено) глаза на «зло» – адские условия работы на чадающих фабриках и заводах – предвестниках, однако, «светлого будущего», во имя которого человечество, в лице пролетариата, приносит себя, как Христос, – самому себе в жертву.

Из этой «терпимости» импрессионистов к злу, смутно понимаемому как *необходимому*, искусство вскоре переходит на позиции «ускорителя», катализатора процесса, в лице *футуристов* и их логических преемников – «соцреалистов», пока в силу такой же железной *логики* не доходит до полного изжития из нормальной сферы бытия не только искусства, но и какой-либо вообще «культуры», и вспоминается хохма с револьвером Геббельса.

Слушая (после вчерашнего чтения Рильке) начало *Седьмой* Малера, – с некоторой досадой нахожу в этом, правда несколько переспелом, опусе композитора точный «аналог» немецкоязычных литератур тех времен – с их вечными графинями, санаториями, Швейцариями и Австро-Венгриями, флаконами, надушенными платками – каблуками шаркающими унтер-офицерами...

О, как все это далеко от современных с ними – Кафки, Пиранделло, Звево!..

«Вавилонская принцесса» Вольтера... Сто лет после лица и оставивших тогда равнодушным «Кандида», «Задига», зачитываюсь одним из последних «философских рассказов», чуточку менее откровенно «дидактическим», и где – точь-в-точь, как в «Орландо» Вирджинии Вульф, – впервые смешаны эпохи, религии, страны... в некоей эпопее-экспромте в сотню от силы страниц – с поразительным в них видением устойчивого в преходящем и, следовательно, прозрением того, что еще будет двести лет спустя: Междуречье, Европа, Россия, Китай...

Самоубийство: избежать чего-то, что страшней смерти: бесчестия или, точнее, – намека, что надо и «честь знать»...

Не знаю ничего более «документального» про Штаты, чем «Америка», первый роман Кафки.

Такое же отсутствие «логики» – как у Иеронима Босха.

Такие же прыжки с одной «полки» на другую: с обыденного здравого смысла – в мир сновидений, где, как известно, нет *ничего невозможного*.

Макс Брод об «Америке» (Кафка в беседах с ним называл свой роман «Без вести пропавший»):

«Кафка прекратил работу над романом самым неожиданным образом. Произведение осталось незавершенным». И – все.

Первое в истории литературы «goad movie», или, скорее, *road story*, – сорок лет до Керуака.

Чаплин, Казан...

Авантюра, в ходе (но можно было бы написать и «в процессе») которой Кафка находит свой истый тон и стиль, и поэтому здесь именно путешествие и должно было прерваться, здесь – поставлена точка и перевернута страница: цель достигнута, и ничего другого от дальнейшей работы ожидать не могло. Оставалось начать что-то новое – чем и станет «Процесс»...

Стр. 256 моего карманного (французского – в переводе Виалатта) издания, гл. VII «Убежища», где четко проглядывает – для того, кому известны последующие два романа Кафки, – этот ключевой момент обретения стиля или авторского самоутверждения...

Преследуемый сознанием, что, сколько ты ни ищи истину, правду, справедливость, всегда найдутся люди, адвокаты, аргументы и контраргументы, способные сбить с толку наивное и невинное создание или, коллективно, – униженных и оскорбленных, – на этой странице автор впервые сталкивается с понятием «бесконечности» и, стало быть, тщетности подобных поисков, исков, надежд и ожиданий – будь то в личном или коллективном плане (в «Америке» участь рабочего класса составляет одну из центральных тем): именно в ней, в процессе написания этой *интереснейшей*, но еще не совершенно оригинальной вещи (тень Вальзера парит над всем романом), *именно на этой странице* –

«Сейчас придем, – повторял Деламарш, поднимаясь по ступенькам, но его обещание никак не хотело сбываться, лестничные марши тянулись один за другим, только неприметно меняли направление. Один раз Карл даже остановился – не от усталости вообще-то, но в отчаянии от *лестничной бесконечности*», –

преодолевается «дурная бесконечность», и на наших глазах кристаллизуется эстетическая форма, которая станет авторским грифом Кафки.

Потому и твержу всем, кому не лень меня слушать: «Процесс» у Кафки – вовсе не судебный, а *творческий*, и искусство – о, Тито-

релли! – то *единственное* пространство, котел, зелье, варево, в котором разрешаются и преодолеваются жизненные противоречия, поражения, беды...

Предлагаю – в качестве курьеза – начало «Америки» и следом – начало «Ассистента» Вальзера:

«Когда шестнадцатилетний Карл Россман, отправленный опечаленными родителями в Америку из-за того, что некая служанка соблазнила юношу и родила от него ребенка, медленно вплывал на корабле в нью-йоркскую гавань, статуя Свободы, которую он завидел еще издали, внезапно предстала перед ним как бы залитая ярким солнцем. Ее рука с мечом была по-прежнему поднята, фигуру ее овеивал вольный ветер.

– Какая высокая! – сказал он себе, меж тем как все более густой поток носильщиков, тянувшийся мимо, мало-помалу, хотя он вовсе не думал пока выходить, вынес его к самому борту. Молодой человек, с которым Карл немного познакомился во время плавания, сказал ему мимоходом:

– Ну, вы все еще не решаетесь сойти?

– Я готов, – сказал Карл, улыбнувшись ему, и с вызовом, так как был сильным парнем, вскинул на плечо свой чемодан. Но, взглянув на своего знакомого, который, помахивая тростью, уже смешался с толпой других пассажиров, он растерялся, вспомнив, что забыл в каюте свой зонт.»

«Однажды часов около восьми утра некий молодой человек поднялся по ступенькам чистенького, с виду нарядного особняка. Шел дождь. ‘Чудно, ей-богу, – думал молодой человек, – у меня зонтик.’ Дело в том, что в прежние годы зонтиков у него не водилось. Одну руку ему оттягивал коричневый саквояж из самых дешевых, – видимо, юноша был прямо с дороги. На уровне его глаз красовалась эмалированная табличка с надписью: К. ТОБЛЕР. ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО. Молодой человек помедлил, точно решил напоследок обдумать еще некоторые мелочи, затем надавил кнопку электрического звонка, после чего какая-то особа, с виду служанка, открыла ему.

– Я новый сотрудник, – сказал Йозеф (так звали молодого человека).

Служанка впустила его в дом и показала, как пройти в контору:

– Хозяин сейчас будет.

Йозеф спустился по деревянной лестнице, предназначенной, казалось, скорее для кур, чем для людей, и без колебаний вошел в техническое бюро. Немного погодя дверь отворилась. По уверенным шагам и по манере открывать дверь гость сразу догадался, что это

хозяин. А вид пришедшего лишь окончательно подтвердил догадку: действительно, перед ним был не кто иной, как сам Тоблер, глава фирмы, г-н инженер Тоблер. Он изрядно удивился и, похоже, был рассержен, да, в самом деле рассержен.

– Почему, собственно, – воскликнул он, грозно глядя на Йозефа, – вы явились сегодня?! Вам же назначено только на среду...»

Роже Вадим – тот, кто не знал, гений он или так себе, киношник, и, в неопределенности, предпочитал предаваться жизненному – женщинам, лодкам, солнцу...

Чтение (сегодня Лукиан – «Жизнь, любовь, расценки и искусство наложниц»): гигиена духа, как прогулка, езда на велосипеде, – не обязательно прок, как в молодости.

«ФИЛИНА. – Все присутствующие осыпали меня похвалами; один Дифил, лежа на спине, смотрел в потолок во время всего моего танца, пока не пришлось остановиться от усталости.

МАТЬ. – А правда ли, что ты целовалась с Ламприасом, что ты покинула ложе и подошла к нему целоваться?.. Что значит это молчание? Вот тебе на!..

ФИЛИНА. – Но, мама, я хотела отплатить Дифилу за то, что он ухаживал за Таис.

МАТЬ. – Потому ли ты не захотела с ним лежать и пела всю ночь, а он рыдал и сокрушался? Ой, доченька, доченька! Ты забываешь, что мы бедны; ты что, забыла подарки, которые мы получили от Дифила? Как мы провели бы зиму в прошлом году, не будь Афродиты, заславшей нам этого щедрого молодого человека!..»

Ганс Цендер – композитор-дирижер (автор совершенно неслыханных аранжировок «Лебединой песни» Шуберта): «Никакое исполнение не может претендовать быть ‘аутентичным’, понимаемым как исполнение, которое мог иметь в мыслях композитор; и чем дальше мы во времени от его эпохи, тем *дальше* должна заходить свобода исполнителя, вплоть до использования отсутствующих в партитуре инструментов. ‘Аутентичное’ исполнение невозможно без творческого подхода к делу, в некоторой степени – соавторства».

Как Мелюзина моментами «ускользает змеей» от мужа, так и любая/ой в супружестве за чужестранцем моментами куда-то «исчезает», оставляя в сердце супруга *холодный след*.

Мендельсон, столкнувшись случайно с легендой (в пересказе Гёте?), мог заключить о еврейском происхождении принцессы

(Лузиньяны, ведущие свое начало от «матушки Лусине», владели титулом «королей Армении, Кипра и *Иерусалима*») и, в пыле отождествления, написать увертюру; однако у оставшегося до конца холостым Феликса дело не дойдет до оперы.

Мелюзина, Мелизанда... Что-то мелодическое слышится в имени, и тем более понятен интерес композиторов к легенде: Мендельсон, Дебюсси, Форе, Шёнберг, Сибелиус...

Народные танцы в классической музыке: ностальгия воспитанника консерватории по народной жизни, удалству, веселью... но и «впитанное» от школы отращивание к ее дикости.

Удивительное – поразительное – сходство ибсеновского «Пер Гюнта» с гоголевскими «Хуторами»: смесь самого самобытного, из недр веков добытого *фольклора* – с современными тогда стандартами *беллетристики*.

Есть что-то *бабелевское* у Гоголя в стиле (читая «Главу из исторического романа» и вспоминая «Вечера»).

Анг. *kiss* – и арм. *к'сел* – мазать, тереть...

Хочется применить слово «намедни», а кто мне подскажет, куда ставится ударение?

III

Трудность чтения Малькольма де Шазалья, проводившего, в плане художественного слова, философский принцип *единства* всего существующего: в каждом тексте, порой всего в две-три строки, отразить все этапы мирового развития, от первичной звездной «пыли» до человеческого сознания.

«Наивный» реализм цветов у Аристотеля, их субъективизация Декартом и реабилитация – ре-объективизация Гегелем. У нашего автора: «Желтый – самый мощный из цветовых растворителей. Желтый способен растворять все другие цвета, даже самый неподатливый, черный, из которого он создает коричневый».

Сын англоязычного острова Маврикия, потомок обосновавшихся еще при Наполеоне французов; сохранивший, как сокровище, родной язык, а в середине прошлого века поразивший весь цвет французской интеллигенции своим «Чувством пластичности».

Нечитаемо (до конца... в один присест) и – «непереводимо» (чуть ли не триста плотных страниц – порядка трех тысяч коротеньких, короче моих, – «миниатюр»)...

«Эстетическое», или этимологически, «чувственное»: отнюдь не *обманчивое* (как у Декарта – хотя кто станет отрицать, что глаз представляет нам землю плоской, солнце – кружащимся вокруг нас и железнодорожную платформу – от нас уплывающей), – как начинал догадываться Кант, уже понимание, *уже* знание, но знание «интуитивное», непосредственное, без всей этой (*бесконечной*, как только даем ей начаться) серии предпосылок, выводов, умозаключений, с помощью которых неискушенный ум до чего-то таки, как археолог до скелетов и оснований зданий, докапывается, а *искусство* – куда отныне перекочевало понятие «эстетики» – составляет сегодня самое средоточие «истины» – единственной, которая *жизненно* (не только умственно) нас может интересовать.

«Ко-личество» – читай: «со-личество» – со-присутствие с *лицезрящими* нас – бог весть какими – «единичными образованиями», «качество» же (лат. *qual*, заложенное Бёме в основании своей философской системы) – от слова «как» (*кал* – на греческом, армянском) – сводит все эти будто самостоятельные «индивидуальности» к безличной *кашице* – жижке, интересующей разве что наш аппетит: «какой» – это, в первую очередь, «не *плохой* ли – тухлый, ядовитый»?..

И как наука начинается со *страха* (огонь, гром и молния...), а философия – с «ничто», так и первое «качественное» восприятие начинается с *дурного* – запаха, вкуса, ощущения,

а чувство прекрасного – соответственно, с *худого* – откуда и «художество»...

Дело жизни «простых смертных» – всех тех, в ком мы себя в упор не узнаем, это строить – власть имущим сначала, а в перспективе нам всем – человеческие условия существования: дворцы – царские, потом пионерские; прокладывать дороги, разбивать сады, парки, скверы, развивать всевозможные сети сообщения – все самое насущное и призванное долго служить, в отличие от «изящных» искусств, строящихся на «песке» наиболее доступных (недорогих) и хрупких материалов: бумага, холст, бронза (которую можно в любой момент сплавить на колокол или пушку)...

Мое «русское писание» – *переводы* с «идиотического» – *идиоматического* «родного» моего языка на устоявшийся (в стране, чуть не написал – *в стороне*...) – русский.

Для Хайдеггера, великого Этимолога перед Всевышним, *быть* –

это *обитать* (иметь кров) – в «умеренном» климате Европы это не так просто.

Хайдеггер в совершенстве владел родным немецким, древнегреческим, латынью, но, видимо, обошел своим любопытством *армянский*, где «быть» – это «иметь радость» (довольство, удовольствие...); не может «радость» ограничиваться стенами дома, будь то и царский дворец.

Радость возврата домой (Одиссея), но и радость – *отправления*.

Есть ли у «детища» уменьшительное, пусть даже без ласкательного: когда в книге от силы сотня-полторы (и то – неплотных) страниц?

Связывают музыку Вагнера – *революционную*, по сравнению со всей предшествующей, одни – с влиянием Берлиоза, другие – Листа...

Читая полвека после учебы в лицее – Гюго «Спящего Вооза», строфу – спасибо тебе, Фабрис! – на которую особенно намекал уже Флобер:

L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle
Les anges y volaient sans doute obscurément
Car on voyait passer dans la nuit, par moment
Quelque chose de bleu qui paraissait une aile

*И ночь была – как ночь таинственного брака;
Летающих ангелов в ней узнавался след:
Казалось иногда – голубоватый свет,
Похожий на крыло, выскальзывал из мрака.*

– и другие такие же «революционные» – *доселе неслыханные* стихи (разве что у Шекспира, Данте или Гомера) – в особенности, из «Созерцаний» –

Et l'on voit tressaillir, épars dans les ramées
Le vague arrachement des tremblantes fumées

– хочется видеть в них подлинный источник этой новой, «переломной» музыки – без ритма, без мелодии – предвещающей Шёнберга и др.

...Я все расшевелил и без пафоса ни позы
Высокопарный стих бросил черным псам прозы

Тональность в музыке, или ее *качественность*; атональность – «демократизация» – и переход от Моцартов, Бахов, Бетховенов к безличной – безразличной – *количественности* «современной музыки».

Доверю – доверяют? Лист и – Вагнер.

Музыка – лучи света в ночи – последняя часть незаконченной *Девятой* Брукнера – в пучке льющегося в окно лунного света.

Спросонья 7 ноября 2017: «История, революции, перевороты – совершаются преимущественно ночью... но наутро ночь не сменяется днем, а длится – годы, десятилетия, иной раз века».

Не очень удачное русское «государство» – слишком длинное (по сравнению с западными «штатами») для обозначения чего-то, что просто стоит (с ударением на конечный слог, хотя и стóит тоже – миллионных жертв на алтаре гоббсовского – о, Платон современности! – Левиафана), да и подразумевающее некоего – «государя»!..

«Счастье», отныне это – не чугун, не сталь, словом, не материя, а *энергия*; не в плотности, а в воздушности, в чем и, думаю, весь интерес воздушных же, как мои, – миниатюр.

Пруст (из *Le Temps retrouvé*): «На самом деле, читатель, читая, выступает не иначе, как читателем самого себя. Произведение представляет собой лишь некоего рода оптический инструмент, даруемый автором, дабы позволить ему узреть о себе то, что без этой книги он мог бы и не узнать».

Библиотека: мебель, без которой комната не совсем уютна, комфортна, обитаема...

Даже еще не владея английским, в Калипсо *особо* воспринималась фонетика «липс».

«Высокий» – тот, что высится, висит – *провисает* над нами?

Лишь год спустя после первого знакомства с Кайё и его побережьем доходит, почему его называют *Опаловым*: сегодня, 1-го ноября, День всех святых, – солнце и, идя по гальке вдоль берега (убрали на зиму дощатую дорожку), захватывала эта прозрачность голубизны вод – без каких-либо зеленоватых или иных включений, и

долго не удавалось найти имя этому впервые здесь встречаемому оттенку моря – чаще всего серого, порой чернильного, и вспомнился, наконец, – *опал*.

Видимо, редчайшее морское зрелище; иначе, как объяснить присуждение – присвоение названия этому отрезку – от Бухты Соммы до бельгийской границы?

Лазурный – на юге, Опаловый – здесь.

Несравненно легче дышится («свободнее») – теперь, когда развеялись редкие отдыхающие (не забывая наших собственных школяров), а тут еще дождь – ни духа людского на протяжении четырех километров прогулки.

А уже в шесть – тьма крошечная, лишь светятся неоны казино: MACHINES A SOUS – JACK POT.

IV

Умереть – просто так, ни про что, – не попытавшись даже пасть *героической смертью* в какой-нибудь войне – за Болгарию или что-нибудь такое!.. «*В сердце страны*», Дж. М. Кутси (*Coetzee*).

Прощать и – *упрощать* жизнь – себе и окружению.

Не забывать аспект *смешения* в изначальном хаосе, запутанности всего со всем, и – конечного выхода из «лабиринта» чистенького, как стеклышко? – Тезея-человека.

Как только мысли требуется более одного-двух предложений (двадцать слов) – язык начинает коснеть, изменять – *путается*, и нужна удесятеренная мобилизация всех умственных и жизненных ресурсов.

В пьянстве люди ищут забвения от неудавшейся жизни, в писательстве – *круче* (а вот не короче...) – от самого *существования*.

Искусство – не мастерство, а то, что «вкусно»: момент «потребления» *опережает* момент творчества (автор предлагает, публика – располагает).

Архитектура: *красота* повседневности, не требующая к себе особого внимания, – в отличие от чтения и даже более «пассивного» – кино или музыки.

Царица искусств... свысока нас (муравьев на тротуарах) разглядывающая.

На балконе – «мешающее обстоятельство» луны, полной и – *ослепительней уличного освещения* (рассвет).

Говорят: «Мы – жители одной планеты, общей колыбели человечества», а еще в древности некто особенно внимательный отмечал, что «невозможно войти дважды в одну и ту же реку»...

Где я сейчас? – Восемь утра; по ту сторону Атлантики – час ночи; я встаю, они – ложатся. Можно ли утверждать, что парижане и ньюйоркцы – жители «одного мира»?

Прекрасной может быть бабочка, но может ли быть прекрасной *гусеница* – в глазах коллекционера бабочек?

Говорим на одном языке, пишем – каждый на *своем*.

Искусство – это когда вы попали (волею случая), как *Маленький принц*, на крохотную планетку и, чтоб чем-то себя занять, *рисуете* – одну, вторую овечку, потом еще животных, растения, цветы – и все то, чего нет и не может быть на такой крошечной территории, разве что благодаря вам и *полету* – о, Сент-Экзюпери! – вашей самоотверженной фантазии.

У поэта (для детей) попал на глубокие (для детей):

Avec des comme
С помощью «будто»,
Avec des si
С помощью «если»,
Naissent des fleurs
Рождаются розы
De poésie
Поэзии
(*Michel Beau*)

Хочу подвести итог моему отношению к *стихам* и прихожу к выводу или, скорее, осознаю («вспоминаю»), как поправил бы меня философ), что никогда их не любил (как Понж – из-за их слишком нескрываемой «сфабрикованности»)...

Упала окончательно в моих глазах вся наша «западная» лирика – со дня, когда попало на глаза первое *хайку*.

Страх философии: невзначай узнать что-то, что поставит под вопрос все наше существование.

Главное в книге – чтоб она у нас была – под боком, на полке, под рукой...

Литература – умение переносить мысль на бумагу... *Искусство чертежника?*

Не каждому дано – довести «нить» до читателя, не оборвав на полпути, – от сознания до ручки и от начала до конца – фразы, периода, строфы...

Житель Вены – венец (во множественном – венцы)?.. Тут-то корректоры и оправдывают свое назначение, ставя куда надо *ударения*.

Не знаю, есть ли что-либо от *собственно* искусства – в «искусстве фотографии», но есть в искусстве, несомненно, что-то из того, что вплотную сближает фотографию с искусством: момент неповторимости, подмечаемый и налету схватываемый (предвосхищаемый?) – того, что воочию перед нами может *случиться*, – как кролик в шляпе фокусника.

Счастье зачастую длится всего *час*.

Подобно засыпанию землей покойника – постепенный затор сосудов, проходов, путей – словом, *засыпание*...

Есть ли объективные, физиологические – *космологические* – причины тому, как, например (из разных опер), Поль Валери, а ближе к нам – Амели Нотомб – заставляли себя просыпаться в четыре ночи, и почему самые пронзительные прозрения будят меня самого близко к четырем?

Ошибка в выборе слова – трубит, как фальшивая нота.

Если бы жизнь была так уж «бесценна», стали бы индусы – древнейшее из племен на земле – так страшиться перевоплощений!..

Тишина – в том далекого детства *доме*, где еще не было ни телевизора, ни даже радио: тишина, которую можно было «резать ножом», – как говорят французы.

Фейерверк... В который раз *осеняет*, что это, пожалуй, самое «светское» – *нерелигиозное* культовое действо, где человек впервые демонстрирует – воочию и во всеуслышание – свое над всем и вся *Превосходительство*.

Изначально у автора *волевой* подход к литературе, он не любит – *боготворит* ее, а потому никогда она *его* не будет, несмотря ни на какие, казалось бы, к человеку несомненные знаки расположения.

Как асимптотическое *ничто* кончика иглы горного пика – не-приметное исчезновение из памяти моментов текущей актуальности...

Все то *вечно* – что не исчезает перед нами *буквально* на глазах...

Писательство как избавление от чего-то, от чего чешется/зудит, – или от тяжести (но не в груди – на руках и плечах, как у грузчика).

Парадокс: с каждым шагом, чем выше в гору – тем *легче*.

Что-то *красное* сквозь зелень (машина) – *ранящее* глаз и что-то еще в груди...

Что может значить напевание себе – спросонья – *колыбельной*...
Осень – сезон убыли всего, расставаний, последних прощаний...

Святослав Рихтер – последние аккорды сонаты Листа (Карнеги-холл, 1965)...

Париж

Игорь Рейф

Русский Айзек Азимов

В конце 2017 г. из Иерусалима пришла горестная весть: не стало замечательного русского писателя Рафаила Нудельмана (1931–2017), основателя и первого редактора журнала «22», научного обозревателя израильской газеты «Вести», выдающегося популяризатора науки, автора научно-фантастических и научно-популярных книг, а кроме того, тончайшего переводчика Станислава Лема, а также Меира Шалева, Авраама Иошуа, Шмуэля Агнона и других современных израильских классиков.

Когда достигаешь известного возраста, поневоле утрачиваешь непосредственность чувства. Помните, как у Пушкина: «Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему...» И потому сообщение об уходе кого-нибудь из твоих сверстников не вызывает часто ничего, кроме сокрушенного вздоха: что делать, жизнь конечна, и с этим волей-неволей приходится мириться. Да ведь и сам невольно присоединишься к так называемому большинству, как изящно выражаются в подобных случаях англичане.

Однако весть о смерти Рафаила Нудельмана, или Рафы, как звали его близкие, вызвала у меня неподдельную боль. Странно: ведь в жизни мы с ним ни разу не встречались – только письма, только строки прочитанных его книг и статей. Да и не такой регулярной, если на то пошло, была наша переписка – бывали годы, когда ни одного письма. Но таким пленительным обаянием были исполнены эти немногие, драгоценные для меня его письма, что я вдруг почувствовал: эта потеря для меня невосполнима.

Обычно на человека, который дожил до преклонных лет, смотрят как на отжившего. А если к тому же это человек пишущий, то как на испившегося. Но взгляните на страницы последней, неоконченной книги Нудельмана «Homo Sapiens Ciliaris» («Человек ресничатый»), посвященной удивительным и многообразным функциям, выполняемым мельчайшими ресничками в недрах нашего организма, главы из которой печатались в 2017 г. в журнале «Наука и жизнь», и вы увидите, какой юношеской свежестью дышит каждая его строка, сколько здесь легкого, ненавязчивого юмора, которые сделали бы

честь любому тридцатилетнему. А ведь он до самых последних дней тащил на себе еще и неподъемный воз постоянной рубрики «4-е измерение» в еженедельном приложении «Окна» к израильской газете «Вести», большая часть материалов которой написана им самим. И с какой же щедростью выплескивал он на ее страницы всё, что успевал почерпнуть из зарубежной научной периодики.

А чего стоит хотя бы один его цикл «Одиноки ли мы во Вселенной», публиковавшийся из номера в номер на протяжении целого года и читаемый словно бы на одном дыхании. Какая захватывающая картина достижений научной мысли развернута здесь перед читателем! Невольно приходит на память другая, 40-летней давности, книга знаменитого американского популяризатора науки Айзека Азимова «Вселенная. От плоской Земли до квазара». Та же увлекательность изложения и тот же блеск в подаче сложнейшего материала. Между прочим, я так и числил его про себя русским Айзеком Азимовым.

Но вот назвать знаменитым этот цикл, как и другие аналогичные публикации Нудельмана («науч-поп», как он их называл), пожалуй, никак нельзя, поскольку большая их часть, недооцененная ни публикой, ни критикой, а может, и не встретившая своего, жадного до подобной литературы читателя, так и осталась похороненной в старых подшивках этого израильского еженедельника, который даже не представлен в интернете. Что делать, не был Рафаил пробивным человеком и по-настоящему обретал себя лишь за пишущей машинкой либо клавиатурой компьютера. В жизни же был до крайности деликатен, да и не хотел, вероятно, растрачиваться на так называемое паблисити, на всю эту окололитературную суетню, о которой с грустью заметил когда-то Наум Коржавин: «Но жалко тратить время / На это ремесло». А если и был известен широкой публике, то в первую очередь книгой «Загадки, тайны и коды Библии» да еще своими переводами. Когда-то, в стародавние времена, именно он первым познакомил советского читателя с творчеством Станислава Лема, а в последние десятилетия – вместе с женой и своей верной соратницей Аллой Фурман – перевел на русский язык почти всего Меира Шалева и других современных израильских беллетристов-классиков. И вот тут, безо всяких со своей стороны усилий, обрел, наконец, заслуженную популярность.

Как сказал в своем прощальном слове главный редактор московского издательства «Книжники» Борох Горин, со смертью Нудельмана «русская словесность понесла невосполнимую утрату, Израиль потерял своего истинного посла в мир русской литературы». А их с Фурман переводы с иврита назвал конгениальными: «Львиная доля фантастического, оглушительного успеха Шалева в русском переводе – это заслуга Нудельмана и Фурман».

Но вернусь к его письмам, ради которых я, собственно, и взялся за перо. Ведь как бы ни были они отрывочны и не всегда логически между собою связаны, но всё же они дают представление о характере и человеческом стиле их автора, которое не восполнишь никакими превосходными эпитетами. А поскольку наша переписка была диалогична, то не избежать и мне каким-то краешком в ней засветиться. И здесь не обойтись без некоторых оговорок.

Читатель, вероятно, легко заметит, что наша переписка по большей части комплиментарна. Ну, что касается моего отношения к Рафаилу, то тут объяснения излишни: я всегда смотрел на него снизу вверх, что хорошо видно хотя бы из предшествующего текста. Но и он был ко мне явно благорасположен. По заслугам ли сия честь, судить не берусь, хотя сдается, что порою не всегда. Просто он был слишком щедр к своим собратьям по перу. Особенно это касается моей написанной в соавторстве с двумя московскими специалистами-экологами книги «Перед главным вызовом цивилизации. 'Русский' взгляд на проблему», с главами которой, по мере их написания, я его знакомил. Теперь, по прошествии лет, хорошо вижу, насколько эта книга была еще несовершенна и что выданные им авансы мне только еще предстояло заслужить. Хотелось бы верить, что в конце концов мне это удалось и что продолжившая ту же линию двенадцать лет спустя наша новая книга «Биосфера и цивилизация: в тисках глобального кризиса» действительно заслуживает тех похвал, которые он расточал мне когда-то.

Но увы, этой книги Рафаил уже не прочтет, хотя руку к ее публикации приложил, будучи рецензентом английского издания («The Biosphere and Civilization: In the Throes of a Global Crisis»). И потому моей заветной мечтой сразу по выходе книги было презентовать ему свой первый авторский экземпляр с благодарственным дружеским автографом. Но Бог судил иное... И вот теперь мне не остается ничего другого, кроме как предварить эту книгу короткой английской надписью: «Dedicated to the memory of the remarkable Russian writer and advocate of popular science Rafail Nudelman». Посвящение, на которое он никогда уже не откликнется.

Игорь Рейф, Франкфурт-на-Майне

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

26.05.2005

Спасибо, Игорь, первая глава очень хороша. Огромный материал изложен прозрачно, просто и впечатляюще. Вторая, на мой взгляд, слишком идеологизирована. Общечеловеческая проблема экологического кризиса явно подминается под определенное, наперед заданное

(антиглобалистское, анти-«атлантическое», антирыночное – ненужное зачеркнуть) социально-политическое видение. Если это и есть «русский взгляд», то он односторонний, а следовательно искажает проблему, а следовательно деформирует решение. Надеюсь, однако, что я ошибаюсь. Пришлите, пожалуйста, две следующие главы, если не затруднит. Буду благодарен. В любом случае, Вами работа сделана, повторю, впечатляюще. Это я говорю с удовольствием, как коллега коллеге. Всего хорошего, Р.

П.С. Чем Вы, кстати, еще занимаетесь, что пишете, что делаете во Франкфурте, если позволено будет спросить?

27.05.2005

Игорь, я не из вежливости спросил о Ваших работах. В последнее время я, кроме науч-поп рубрик в газете и переводов с иврита на русский (вот и сейчас мы с женой приехали в Гармиш¹, чтобы переводить без помехи очередной роман), взялся еще на старости лет помогать Э. Кузнецову издавать большой толстый русский журнал в Израиле «Нота Бене». Выходит он раз в два месяца на 250 страницах чуть увеличенного квадратного формата, в очень красивой вдумчивой обложке, все говорят, и пока нам удастся удержать планку. Прочитав первые главы Вашей книги, я подумал – может, Вы тоже наш автор, а по нынешнему ответу Вашему убедился, что это вполне может состояться. Во всяком случае, меня, как зама, заинтриговали все три названные Вами работы, причем в том же порядке, в котором Вы их назвали. Выготским у нас живо интересуются, в Израиле есть еще его ученики. Может, мы сумеем сговориться с Вами о каком-то из этих очерков, напечатать его в нашем журнале как своего рода пред-рекламу для книги в целом². То же, я подумал, можно сделать с кусками из Вашей экологической [книги], если Вы не будете возражать.

К сожалению, у нас во Франкфурте нет авторов, у которых Вы могли бы посмотреть наш журнал; в Мюнхене несколько, в Ганновере и Кёльне по одному. Кстати, а есть во Франкфурте интересные русские авторы вообще?

С наилучшими пожеланиями, Р.

1. Гармиш-Партенкирхен – курортное место в Баварии.

2. Речь идет о моей готовившейся к печати книге «Мысль и судьба психолога Выготского».

01.06.2005

<...> Спасибо. Прочел неотрывно. Тот момент, когда Выготский (с Вашей помощью), а точнее – «эгоцентрическая речь» – переходит

в речь внутреннюю¹, действительно вызывает мурашки по коже. Как говорит еврейский анекдот, «во-первых, это красиво». Но во-вторых, это гениально. Ощущается – это гениально. И как многое гениальное – просто. Это уже Ваша заслуга.

Действительно, сложно следить за спорами психологов, Вы правильно сказали. Я как раз сейчас вечерами читаю (успеваю по странице-полстраницы в раз) книгу Плоткина об эволюционной психологии. Психология – трудный для меня предмет. Из-за зыбкости понятий, словаря, методов. Не биология, не физика с астрофизикой. Тем не менее, я считаю, что в основном Вам удалось сделать эту – главную – часть статьи понятной, при честном напряжении, конечно. Но кто сказал, что науч-поп должен быть как овсяная каша?

Два мелких замечания. Вначале я ждал – и не дождался, – что Вы, говоря об отличии провинции и – из-за этого – ее более благоприятном духовном климате, упомянете и Витебск с Бахтиным. Но это мелочь (может быть, даже вредная – отвлекающая внимание в никуда). Вторая мысль, родившаяся при чтении Ваших «псевдонедоумённых» риторических вопросов в связи с бешеной производительностью этого гения, была моя давняя загадка: не кажется ли Вам, что гений – это еще и какое-то особое течение времени? Естественно, ускоренное. Шаблонный пример – Галуа, но ведь история науки знает десятки таких «галуёв». Меня когда-то потряс рассказ Макса Планка о трех днях, когда он, уже найдя формулу, обобщающую оба предельных случая черного излучения с помощью некой «с неба взятой» постоянной, ходил и мучительно, физически мучительно думал, что она означает; за эти три дня родилась теория квантованности энергии. У Эйнштейна за год родились три работы. Все эти гении вырастали за несколько лет из вполне средних одуванчиков, никто не был гением с детства. Не течет ли время (мысли) для них иначе?

И, наконец, критика. Сударь, Вы, на мой взгляд, слишком «олитературили» свою работу. Ее биографическая (начальная) часть и небольшое заключение того же рода, на мой (глубоко субъективный, разумеется) взгляд, уступают «научной» части. В научной – прозрачность, увлекательность, яркость и целомудренная «жест-кость», т. е. ничего лишнего, всё работает «на дело»; в «литературе» много риторики, восклицаний, «ахов» и т. п., проще говоря – шаблонов.

Последнее. Нет, журнал Кузнецова, боюсь, не потянет эту статью – именно из-за того, что в ней составляет лучшее, т. е. из-за науки. И не потому, будто «слишком сложно», а просто – «не по профилю». Пришлите мне, если можно, две другие – я бы очень хотел, чтобы что-нибудь Ваше было у нас напечатано. Только не посылайте

все в одном аттачменте – мой маленький компьютер будет год это принимать; лучше по порции в день, если Вам не трудно.

С искренними наилучшими пожеланиями. Рафаил.

1. Согласно Выготскому, наше мышление возникает на базе так называемой эгоцентрической речи ребенка, постепенно эволюционирующей до непронизносимой внутренней речи взрослого.

30.06.2005

Рафаил, если Вы еще в Гармише, сообщите, пожалуйста, когда Вы собираетесь отчалить. Хотелось бы пообщаться с Вами напоследок по телефону, пока это дешевое удовольствие. А кого, между прочим, Вы там переводите?

Игорь.

02.07.2005

Мы планируем пробыть здесь до сентября, если власти продлят нам визу еще на месяц. Переводим мы с женой книгу израильского писателя Иошуа под названием «Молхо». Толстая, трудная. Это вторая книга Иошуа, которую мы переводим, раньше вышел роман «Путешествие на край тысячелетия». По окончании должны сесть за перевод книги другого израильского писателя, Меира Шалева, «Как несколько дней». Это будет четвертая книга Шалева, которую мы переведем, раньше вышел «Эсав», в ближайшие месяцы выходит «В доме своем в пустыне», а в будущем году обещают издать также «Русский роман». Пока Алла будет готовить словарь для перевода, я должен заняться работой над переводом с английского книги о знаменитом еврейском мистике Нахмане Брацлавском¹. Таковы дела и планы. Далее следует: если Бог соизволит. Будьте здоровы, давайте продолжать общаться. К сожалению, должен Вам сообщить, что мой главный редактор (Э. Кузнецов), как он мне сообщил как раз вчера, не увлекся идеей опубликовать предложенные мной главы Вашей книги об экологии – его утомило обилие цифр и фактов и не возбудила общая картина.

Рафаил.

1. Нахман Брацлавский (1772–1810) – основатель брацлавского хасидизма.

03.07.2005

По мере выхода рад буду презентовать другие наши переводы. «Эсав» и другие вещи Шалева – замечательная литература, независимо от перевода. Первая книга Иошуа, которую мы перевели, тоже в

своем роде замечательная, но у нас ее нет – издатель дал нам аж 5 экземпляров. Насчет Вашей публикации в нашем журнале – мне очень жаль, и я остаюсь при своем мнении, что материал собран и подан там замечательно (идей не касаюсь), но мой редактор убедил меня тем, что он – тот самый «рядовой читатель». Вот его последний ответ мне, после моих уговоров:

«...В тех или иных вариациях я всё – или почти – это когда-то где-то читал. Наверное, надо быть очень в теме, чтобы усмотреть тут что-то новое. Читая, прислушивался к себе, чтобы уловить – интересно мне или так себе. Увы, так себе. Апокалипсис, который неумолимо наползает на человечество и неостановим утопией насчет того, чтобы это человечество уговорить жить иначе. Единственное чувство – эгоистическое: я до этих ужасов – в их крайнем проявлении – не доживу. Слава Господи! Но апокалипсис, рисуемый автором, лишен драматизма, засушен цифирью, а потому среднего читателя не потрясает, а утомляет...»

А я не понял, что не читал последнюю главу, – думал, Вы мне уже всё прислали. Пришлите, пожалуйста.

С наилучшими пожеланиями. Р.

12.10.2005

Дорогой Рафаил!

Давно уже прочел Ваши «Библейские тайны, коды и т. д.»¹, но всё хотел совместить это письмо с получением своей книги², которую хотел бы Вам выслать, да так и не дождался. Я знал от третьих лиц, что один из моих соавторов мне ее давным-давно отправил, и, соответственно, думал со дня на день увидеть ее в своем почтовом ящике. И вот получаю электронное письмо, где говорится, что два моих экземпляра всё еще загорают в Москве и ждут там своей отправки. Причина – в ВИНИТИ, где тот работает, сломалась машина, которая проставляет цену на отправляемой корреспонденции, и ее только на следующей неделе должны починить. Ну что, плакать или смеяться?

Между прочим, я так долго занимаюсь «устройством» своей в глаза не виденной книги (помните, у Довлатова в «Ремесле» первая часть называется «Невидимая книга»), что она мне на днях приснилась. Помню, меня особенно огорчило во сне то, что она карманного формата. А в Израиле она, между прочим, уже продается. Правда, цена отнюдь не смешная – что-то около 26 шек., и я не знаю, будет ли кто покупать за такую цену, по сути, кота в мешке. Но в Москве цена пока божеская – 100 р.

Но вернусь к «Библейским тайнам». Читал неотрывно, иногда до трех ночи, и поражаюсь тому, как глубоко Вы освоили этот материал, как будто ничем другим в жизни не занимались. Но должен заметить,

что порой материал не стоит, с моей точки зрения, Вашего пера. Это в первую очередь относится к библейским кодам, а также главе о Великовском³. Ей-богу, не понимаю, почему Вы так в него влюблены. Но «Кто написал Тору» и «Ковчег завета» – это великолепно, и будь моя воля, я безусловно вынес бы их вперед. Не знаю, может быть Вам такое сведение покажется странным, но читая историю проникновения в авторство библейских текстов, я невольно вспоминал «Астрономию» Азимова, тоже ведь демонстрирующую мощь человеческого интеллекта, восстанавливающего грандиозную картину мироздания по каким-то ничтожным «артефактам».

Поделится своими впечатлениями с племянником в Канаде (он филолог, и любимый его конек – библейские сюжеты в мировой литературе) и с удивлением узнал, что Фридман⁴, например, не только еще жив, но и сравнительно молод, и что он находится с ним в активной переписке. А напоследок у меня к Вам вопрос, на который заведомо не рассчитываю получить ответа: почему так много опечаток? К счастью, они такого сорта, что не мешают при чтении, но ведь у книги есть корректор (на котором в последнее время часто экономят). Так за что же она там получает деньги? Все-таки, Рафаил, пришлите мне свой почтовый адрес, потому что на днях здесь открывается книжная ярмарка, в которой «Инфра-М» принимает участие и книгу наверняка привезет. Так что несколько экземпляров я надеюсь у них выцуганить.

Всего доброго. Игорь

1. Полное название «Загадки, тайны и коды Библии». Изд-во Феникс (Россия), 2005.

2. Речь идет о книге «Перед главным вызовом цивилизации».

3. Великовский Иммануил (1895–1979), американский врач и психоаналитик, создатель спекулятивных теорий в области истории, геологии, астрономии; автор «ревизионистской хронологии», согласно которой многие значительные события древней истории, включая библейскую, были обусловлены катаклизмами в Солнечной системе, изменениями характеристик вращения Земли и т. д.

4. Фридман Ричард (1946), выдающийся американский ученый-библеист, автор книги «Как создавалась Библия» («Who Wrote the Bible?», 1987).

12.10.2005

Дорогой Игорь! Большое спасибо. Мой почтовый – R. Nudelman, Kadish Luz str. 14 ap.70, Jerusalem 96920, Israel

Насчет опечаток, право, не знаю, что Вам сказать. Вообще-то я человек грамотный, но когда пишу свой науч-поп для газеты, так поджат временем, что наверняка допускаю массу опечаток. К ним добавляются опечатки газеты, а так как я собирал книгу из старых газетных

материалов, опять же в «поджатом» состоянии, то так эта «Сумма технологии» вся и собралась. Я книгу не перечитывал – изданная, она мне не интересна, к тому же – скучно повторять – куча дел (срочно чищу наш с Аллой летний перевод романа Иошуа, снова сел за рубрики, перевожу книгу о Нахмане Брацлавском с английского и вдобавок собираю вторую книгу очерков для того же «Феникса», хотя не знаю, издадут ли; кроме того, я ведь еще должен помогать Кузнецову в журнале, тоже отнимает кучу времени).

Ни в Великовского, ни в «коды Библии» я, разумеется, не «влюблен», это географическая аберрация, напротив – раздражен в высшей степени и жажду свести счеты и прочистить людям головы, особенно насчет «кодов» и Дроснина¹, пользующихся безумным доверием массы (я еще не поместил в книгу свое пространное интервью с нашим Рипсом² – чудовищные претензии!) – тем более что вал этой псевдонауки поднимается все выше (см. «Код да Винчи» Брауна³). И будет конечно, подниматься, несмотря на все наши усилия – о причинах чего стоило бы поговорить отдельно. Но вот ирония судьбы: мой издатель из «Феникса» пишет, что успеху моей книги (они уже выпустили второй тираж и из него ушло около 2000 экз.) способствовало – что бы Вы думали? – разумеется, всеобщее помешательство на Брауне (который всё украл из 10-летней давности книги «Святая кровь, святой Грааль»).

Как Ваши дела, как здоровье? Я что-то с возвращения никак не могу войти в норму, что сильно мешает. Ну, ладно. Пока. Всего Вам наилучшего. Ваш Р.

1. Дроснин Майкл, американский журналист, автор сенсационных бестселлеров «Библийские коды» («Bible Code») и «Библийские коды II: Обратный отсчет» («The Bible Code II: The Countdown», 2002), в которых обосновываются якобы закодированные в Торе пророчества относительно убийства Авраама Линкольна, Джона Кеннеди, Ицхака Рабина и др. По книгам Дроснина был снят приобретший необыкновенную популярность документальный фильм «Библийский код».

2. Рипс Илья — израильский математик, приобретший широкую известность как соавтор статьи об информации, якобы закодированной в Библии.

3. «Код да Винчи» — приключенческий роман американского писателя Дэна Брауна («The Da Vinci Code», 2003) и снятый по нему одноименный детективный триллер, вызвавшие нездоровый ажиотаж в связи с использованием в них историко-религиозной символики и атрибутики.

27.10. 2013

Здравствуйте, Рафаил!

Не удивляйтесь, пожалуйста, этому запоздалому отклику, но вот

только теперь дошли руки до Вашей «Вселенной»¹, которая была сложена у меня аккуратной стопкой на дне секретера с ощущением, что «это от меня не уйдет». И, тем не менее, почти ушло, если бы я не спохватился. Но хотя отклик и запоздалый, однако для Вас, я думаю, все равно актуальный. А впечатление, которое произвела на меня эта вещь, огромное, последний раз такое же, наверное, осталось от книги Айзека Азимова. И как здорово удалось Вам выстроить этот сложнейший материал, который читается на одном дыхании, как какой-нибудь искусно закрученный детектив. И теперь меня, естественно, интересует, удалось ли Вам выпустить это отдельной книгой? Я, конечно, человек отсталый, мог кое-что и проморгать, а потому решил задать соответствующий поиск в интернете. Но, к моему удивлению, результат оказался нулевым. А ведь есть в Москве Фонд Дмитрия Зимина «Династия»², который поддерживает подобные издания, будучи озабочен пропагандой фундаментальных научных знаний. Его сайт в интернете так и называется: «Элементы». Загляните туда, если он Вам незнаком.

Ну, а что касается меня, то вопрос, поставленный в заголовке Вашей работы, я для себя давно решил. Занятия глобальной экологией не способствуют оптимистическому взгляду на будущее. И сдаётся мне, что наша цивилизация, как, по-видимому, и любая другая, изначально обречена. И этот уже просматриваемый ее конец заложен в ней самой. С этим трудно примириться, еще сложнее это переварить, но я уже, кажется, переварил. Хотя не так давно на что-то еще надеялся, к кому-то взывал, пытался привлечь внимание и т. д. Но понял: всё бесполезно. И ничего не остается, как жить иллюзией.

У Наума Коржавина есть на эту тему хорошее стихотворение, написанное – трудно представить – еще в докосмическую и в доэкологическую эру:

Мы всюду – бредя взглядом женским,
Ища строку иль строя дом,
Живем над пропастью вселенской,
На тонкой корочке живем.
Гордимся прочностью железной,
А между тем в любой из дней,
Как легкий мячик в черной бездне,
Летит Земля, и мы на ней.
Но все пределы эти помня,
Своих забыть нам не дано.
И берег тверд, Земля огромна,
А жизнь серьезна всё равно.

Над чем Вы сейчас работаете? Продолжаете ли свою рубрику в «4-м измерении» (давно я уже не держал в руках эту газету)? Как здоровье?

Искренне Ваш Игорь

1. Речь идет о серии очерков «Одиноки ли мы во Вселенной?», публиковавшихся на протяжении 2005 г. в еженедельнике «Окна».

2. Российский некоммерческий фонд «Династия», основанный Д. Б. Зиминым в 2001 году. Свою благотворительную и просветительскую деятельность на территории России фонд Зимина вынужден был прекратить в 2015 г. после того, как правительство РФ объявило его «иностранным агентом». Фонд был преобразован в Zimin Foundation и в этом качестве продолжает свою просветительскую благотворительную работу.

29.10.2013

Доброе утро, Игорь,

Я понял, я посмотрю. Но я полагаю (не глядя), что именно в «Элементах» подобные статьи уже есть, и не одна.

Вы не ответили, что у Вас нового, чем занимаетесь. А вот я, послушный мальчик, честно обо всем Вам доложил.

Не пришлете ли мне свой почтовый адрес? Я бы с удовольствием послал Вам парочку своих книжечек.

А что до экологии, то я с Вами глубоко согласен: человечество себя угробит. Путь к выживанию, по-видимому, один, и он извилист, миллион ежеминутных поворотов, да еще поди нащупай, думать надо, а путей к самоуничтожению множество, и все соблазнительно прямые, потому что у каждого в конце — очередная победа над Врагом.

Остаются две возможности — либо продолжать играть в мяч, либо продолжать делать свое маленькое дело.

Так продолжим, пока можем!

Ваш Р.

29.10.2013

А что Вы хотите прислать, Рафаил? Если что-то из Вашего, то с удовольствием. А если переводное, то нет. Я в последнее время охладил к чтению художественной литературы, предпочитаю нон-фикшн, а если перечитываю, то что-то из знакомого, старого. Наверное, знание возраста.

Писать о себе — касаться большой темы. Увы, я уже год как ничего не пишу. Переделывать, исправлять старое — на это меня еще хватает, а на новое уже нет.

Ну, а из опубликованного могу назвать две статьи. Одна уже

напечатана в начале этого года в «Вопросах литературы» – «Писатель на все времена» (о Юрии Трифонове). Другая только что принята в журнале «Звезда» – «‘Золотой теленок’, ‘Мастер и Маргарита’: типология массового мышления в тоталитарном обществе». Да вот еще готовится к выходу в издательстве «Росспэн» сборник «Каждый выбирает для себя...» о генерале Григоренко. Пять лет я искал для него спонсора и в конце прошлого года наконец нашел.

Мой адрес:

Heinrich-Luebke-Str. 32

60488 Frankfurt am Main

01.12. 2013

Дорогой Рафаил,

книга Ваша получена, большое спасибо. Пришла она, надо сказать, очень кстати, поскольку я оказался без чтива, и заранее предвкушаю удовольствие, которое от нее получу. Хотя «без чтива» – это не совсем точно. Потому что вслед за Вашим циклом «Одиноки ли мы во Вселенной» извлек со дна шкафа толстенную пачку страниц «4-го измерения», присланных мне тогда же, т. е. почти десять лет назад, нашими знакомыми из Иерусалима и всё дожидавшихся своего часа. Некоторые из этих материалов, как я вижу, вошли в Вашу книгу¹. Особенно интересна, даже вне конкуренции, оказалась «Жизнь и судьба Y-хромосомы». И снова я примерил ее к «Элементам» и пришел к выводу, что она вполне достойна этого сайта. И пускай среди его авторов люди со степенями и высокими званиями, написать так, как Вы, – доступно, увлекательно и прозрачно, – мало кто из них сумеет. Дело ведь не только в профессиональном багаже, но и в свежем взгляде на предмет, которого так часто не хватает профессионалам. Мне вспоминается в связи с этим случай 70-летней давности, когда замечательный, но, увы, уничтоженный в 38-м году физик Матвей Бронштейн сочинял по заказу детской редакции «Ленгиза» популярную книгу об истории открытия гелия. При этом в сноске он упомянул, что впервые гелий был обнаружен в спектре Солнца. Когда Маршак это увидел, то даже подскокил с места. «Как, – вскричал он в негодовании, – ваш элемент был впервые обнаружен на Солнце, а вы упоминаете об этом в сноске!» Так, с подачи Маршака, родилось название книги «Солнечное вещество», а с ним и ключ к ее художественной стилистике.

Поздравляю Вас и Аллу с Ханукой.

Всего доброго. Игорь

1. Рафаил Нудельман. Тайные ходы природы. (Как гены-заики и другие чудеса ДНК определяют пути эволюции). – М.: Ломоносовъ, 2013.

31.12.2013

Дорогой Игорь, добрый день.

Я прочел Вашу статью о Трифонове, и она мне понравилась. Прежде всего она мне понравилась (как ни странно Вам, быть может, покажется) своим собственным «сюжетом». Она «читается», то есть втягивает в себя с первых слов и увлекает, как какой-нибудь хороший рассказ. Даже не замечаешь поначалу, что это «критика», «литературоведение», «статья о». Растет портрет человека. Ну, потом, конечно, остываешь и начинаешь вычитывать «смыслы». Для меня они сгустились в последних страницах, где у Вас начался разговор о «понимающем гуманизме» и где эта Ваша мысль вдруг вернула мою к началу статьи, к Чехову. И тогда вся Ваша статья вдруг проявилась для меня в своей целостности – этакий ажурный мост, переброшенный между двумя этими родственными вершинами. И мне вдруг почему-то показалось, что Чехов и Ваш Трифонов родственны еще и в том, что оба очень, в сущности, чужды русской литературе и даже, подумалось мне, – русскому сознанию. Есть, подумалось мне в завершение навеянных Вами размышлений, такие писатели, которые «присвоены» русской литературой, тогда как на самом деле они противостоят тому, что в русской литературе, от Достоевского и до того же Твардовского, традиционно считается гуманизмом.

Спасибо за Ваши теплые поздравления с Новым годом и желаю Вам и Вашим близким всего самого доброго в Новом году.

ПС. Заодно прочел Вашу «трилогию» и кое-что о самом Игоре Рейфе. ГУГЛ – он теперь все знает, ни скрыть, ни скрыться. Будьте здоровы и не торопитесь покупать велосипед для памятника¹.

ППС. Пряники на елку получили тоже, улыбались. Отдельное спасибо. Р.

1. Намек на мою шуточную «Автобиографию на фоне переломов», связанных с падением с велосипеда. Заканчивалась она следующими словами: «Зато знаю теперь, что написать в своем завещании: попрошу вместо памятника извять на моей плите велосипед в натуральную величину. И такого памятника не будет больше ни у кого».

23.01.2016

Ну, слава богу, Рафаил. Теперь и я могу вздохнуть с облегчением, потому что до сих пор чувствовал себя неловко из-за того, что втянул Вас в эту странно затянувшуюся историю¹. Значит, они все-таки поняли наконец, с кем имеют дело. Между прочим, Вы, по моему, зря заранее отказались от гонорара. А что касается научно-популярных книг для внучки, то Вам, наверное, неизвестно, что у

них в журнале есть очень неплохой раздел, «Ума палата», специально для детей школьного возраста, который даже я читаю с удовольствием. Так что если бы они выслали ей подборку хотя бы за прошлый год, это было бы для нее весьма занимательным чтением. А как это получилось, что Вы отдельно, а дети отдельно?

Всего Вам доброго. Привет Алле.

Ваш Игорь

1. Речь идет о публикации в журнале «Наука и жизнь» глав из неоконченной книги Нудельмана «Homo Sapiens Ciliaris» («Человек ресничатый»), где я выступал в роли «литературного посредника».

22.01.2016

Дорогой Игорь,

хочу поблагодарить Вас: сегодня я получил верстку первой главы «Ресничек», которая появится в февральском номере «НиЖ» и откроет публикацию всего отрывка (кажется, в 2-3 последующих номерах). Не считая самих ресничек, главная заслуга в появлении этой публикации принадлежит Вам, за что разрешите выразить глубокую и так далее (приятное вписать). Поразительно бережная, умная (профессиональная) и, что меня особенно порадовало, не очень большая редактура (я вообще-то «работай», но в вопросах доведения мелочей, вроде вычитки верстки или редактуры и т. п. – жуткий лентяй, и для меня чем меньше работы этого рода, тем приятней). Ну вот, а я пока работаю дальше, хотя медленно, – отвлекают текущие рубрики, а вот сейчас – присланная из «Книжников» редактура нашего с Аллой перевода большого романа Агнона¹ (вот тут редактура была огромная, потому что редактор тщательно писала красным: «Здесь не нужны кавычки», «Лучше заменить ‘т. е.’ на ‘то есть’», «Дон Кихот пишется без дефиса» и так далее, всего 400 с лишним страниц). Вот и сижу. Ну, а кроме того – неизбежные в нашем молодом возрасте визиты к врачам, которые (визиты) растягиваются, как правило, на несколько часов. В общем, как писал Горький, «жили Иванычи в окружении обстоятельств».

А что у Вас? Как здоровье, как дела с переводом? Что делаете кроме? Пишите, буду очень рад. Мои искренние наилучшие пожелания Вам с супругой – здоровья прежде всего и всего прочего хорошего – в приложение.

Ваш Р.

1. Агнон Шмуэль Йосеф (1887–1970) – израильский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1966).

Лилия Бельская

«Я не в изгнание, я — в послание»

В своей долгой, трудной, многоликой жизни Нина Николаевна Берберова (1901–1993) немало испытала и пережила: эмиграцию из Советской России в 1922 году, скитания по разным странам и житейскую неустроенность, немецкую оккупацию в Париже, три брака, переезд в США, длительное литературное непризнание. Она дожила до 92 лет, приобрела всемирную известность и посетила уже перестроенный СССР («Хочу увидеть то, что оставила в юности.», «Мой успех в России — это чудо.»). Именно ей и принадлежит изречение об изгнании и послании русской эмиграции, ставшее девизом Зарубежной России: «Мы не в изгнание, мы — в послание».

Американский филолог-русист Омри Ронен, знавший Нину Николаевну 30 лет, отзывался о ней так: «Хороша в ней была вечная молодость, вечная любовь к новому в науке, в искусстве и в жизни...», отмечая тем самым ее удивительную жажду жизни и тягу к современности, к духу времени. А советские поэты-шестидесятники, познакомившись с Берберовой, увидели в ней «одинокую умницу» (Е. Евтушенко) и «мисс Серебряный век» (А. Вознесенский). Она же сама основными свойствами своей натуры считала «одиначество» и «неуступчивость».

Нина Берберова написала несколько романов и повестей, биографические книги о Чайковском и Закревской-Будберг и мемуары «Курсив мой», в которых рассказала историю своей жизни, подчеркнув, что главной ее задачей было познать саму себя и достичь «внутреннего равновесия»: «Не нашлось никого, на кого я смогла бы опереться, мне нужно было самой найти свою жизнь и ее значение». В молодости она представляла себя то «бедным Лазарем», то Товием, следующим за Ангелом (поэтом В. Ходасевичем, ее первым мужем); потом осознала свою человеческую и творческую независимость. Из «трагической колыбели» она выросла в «не-серьезную зрелость», в «эпос», в котором «имеет право быть юмор»: «Я любила минуту жизни больше славы».

Свой творческий путь Нина начинала со стихов и продолжала сочинять их всю жизнь, понимая при этом, что они уступают не только ахматовским и Цветаевским, но даже текстам Одоевцевой и «моло-

дой полутатарочки Беллы» (Ахмадулиной). И, безусловно, признавала превосходство Ходасевича, но не могла отказаться от поэзии, которую любила больше всего. На какое-то время, после развода с Ходасевичем, Нина Николаевна переключилась на прозу (30-е годы), но снова вернулась к стихописанию во время Второй мировой войны. А в 80-е годы, собрав лучшие свои поэтические произведения за 60 лет (более 80) и распределив их по трем периодам (1921–1933, 1942–1962 и 1965–1983), издала сборник «Стихи, 1921–1983» (Нью-Йорк, 1984).

В ранних стихотворных опытах начинающая поэтесса рисует повседневный быт (тазы и кувшины, теплый кран, дымная печка; мытьё головы, подметание пола «уродливой метлой», зимнее катание на санях, семейный ужин), пользуясь обиходным словарем и поэтическими штампами: «ночь безветренная», «светлый праздник», «робкая подруга», «волнение сердца», «необычайные речи», «упоительный задор», «таинственный и чудный дар». И одновременно пробует вставлять необычные «штрихи»: «Жизнь моя, берёзовая, / И за то благодарю»; «И вот смотрю: в дуге под бубенцами / По-новому шевелится земля, / И тряские, пустынные поля / Бегут ко мне шуршащими краями» (1921).

В середине 20-х годов «в чужом краю, в изгнании далеко» в душе Нины Берберовой борются два противоположных чувства: ностальгия по России и желание забыть родину. В памяти оживает «милый образ» матери, атмосфера светской жизни начала XX века. И неожиданно после ослепительного блистания балов и зеркал вспоминаются – «Смерть Льва Толстого, Бейлис, Дума / И карта с флагами на ней», Первая мировая война («От ваших сказок и рассказов...», 1925).

Порой припоминаются конкретные, личные даты – дождливый летний день в Петербурге, печальная утрата, плач и смятение: «Пять лет тому! Куда ушли года / Невозвратимой юности и жара?» («7 августа 1921 года», 1926). На вопрос «Ты помнишь ли Россию?» автор отвечает: «Я помню, помню... Я из тех, / В ком память змием шевелится...» – и просит: «Наденьте годы на меня, / Нетленной памяти вериги!» И описывает родительский дом и знакомый погост, школьные мечты о дружбе, о воле; чтение книг и мысли о «страшных двух концах» великих русских поэтов и их убийцах; разговоры у осеннего костра. Летит по всей темной России «всероссийский гость» – ветер, «неотвратимый, неминуемый», донося «скрип надмогильного венка», и кладбищенские фиалки и гвоздики нам дороже и милее «сицилианских роз» и «альпийской лилии» («Вечная память», 1927).

В то же время в «Лирической поэме» (1924–1926) поэтесса пытается забыть «20-й год, пожары, казни, недород», «набитые теплушки»,

«отчий дом в огне» и уверяет себя, что не скучает по «дыму отчизны». Теперь она живет «на берегу зеленой Сены», дышит вольным воздухом и отказывается от «бесплодной тоски» по родине. Лишь однажды ей приснился сентиментальный сон о дороге, размытой дождями, о пыльных колесах, о тишине над полями ржи. Ее посещают иные видения – сотворение мира и человека, его радостное, свободное существование «в лоне рая» без соблазнов и падений. Таким Адамом ощущает себя лирический герой:

Я не ишу земных путей,
Я не в изгнание, я – в посланье,
Легко мне жить среди людей.

Он верит, умирая, что возвратится в свой «древний Дом», к дверям которого подчас приникает уже сейчас, «чтоб уцелеть, чтоб пережить». Так, вера, «что не во сне, а наяву я родиною рай зову», помогает забыть «дальний дом, забытый кров, среди темнеющих снегов российский грубоватый ужин».

А в реальности эмигрантка живет не в раю, а в «городе большом» и живописует его весьма реалистично: «грохочет город шумный», с буйными площадями, барами и базарами, с суетой, зноем и «траурным дождем», с «семицветными фонтанами» и фонарями, с благоразумными буржуа, с бродягами в «плащах, изношенных до дыр», и с «человечьим стоном». Иногда она именует этот «дикий мир в искусственных огнях» по-блоковски «страшным миром» («Сложить у ног твоих...», 1926). И тогда спасение можно обрести лишь в одной любви. Это «тайна тайн», «непроходящая радость», «беззаконная вольность».

Останови часы, и ветер станет в трубах,
И в тучах остановится звезда.
Приблизь сияющие губы,
Сдержи летящие года.

«Восьмистишия», 1927

Однако летят годы, и исчезает вера в любовь, и рыдает душа от «вечного скитанья» (1930, 1932). Сердце же, что «обветшало от гибелей и обид», продолжает жить. Кажется, «оно не хочет ничего» и не любит никого («Наше сердце», 1933).

Так закончился первый этап стихотворства Берберовой, для которого характерны классическая метрика – преимущественно ямбы, особенно четырехстопный («души ямбический полет»); пере-

крестная рифмовка (АБАБ), традиционные рифмы – точные и однородные (встречи-речи, смотрю-благодарю, задор-узор, танцуют-целуют) с редкими вкраплениями усеченных (недавно-славной, нищий-жилище, мало-подвалах) и многочисленные избитые рифменные пары (тень-день, глаза-гроза, семья-время, мука-рука, человека-века, кровь-любовь, Бога-тревога, судьбе-тебе). Можно сказать, что стихам 1-го раздела свойственны лексические клише и шаблонные поэтизмы: «Во мраке спит высокий берег, / А море синее внизу»; «На последнее признание, / Милый друг, не отвечай»; «сердце реяло, как птица»; «от молодости нашей ни тени, ни следа»; «изнемогая и любя», «узкая рука» и «бледнеющие руки»; «сон благоразумный» и «небывалый сон», «светлый взор».

Лишь изредка промелькнули оригинальные образные крупницы, вроде аллитераций («билась буря о борты», «смерти, скуки, суеты») или приложений («листья-всеера», «рукава-окорока»); метафор («медлил сад предаться полному покою», «кошунственно не раз пройдет гроза») или сравнений («Как лодка – бедному веслу, / Как гению – толпа, / Как нагруженному ослу / Гористая тропа», – быть может, отзвук блоковского «Соловьинного сада»). О своих стихах 20-30-х годов Нина Берберова была невысокого мнения и впоследствии говорила, что «хорошо сделала», не издав тогда стихотворного сборника.

Пройдет почти десятилетие, и приобретенный за эти годы прозаический опыт (три романа и биография Чайковского) преобразит берберовскую поэзию. Если прежде в ней преобладали автобиографические мотивы и лирические переживания, то теперь появляются новые темы и сюжеты, связанные с размышлениями об исторических путях России и Европы, о мировых войнах, о судьбе русской эмиграции. Так, в стихотворении «Шекспиру» (1942) автор от шекспировской Англии переходит к российской истории (Куликово поле, окно в Европу, битва с Наполеоном, пытки в 18-м году и «варвар в усах и орденах») и проводит аналогии между страсбургским гением, писавшим об ужасных убийствах своих персонажей, и сегодняшними кровавыми побоищами: «Мы все в крови. Вода в крови, земля в крови и воздух в крови». А в финале – мольба к Шекспиру прийти и «скорей закончить этот путь кровавый». Не правда ли, наивно и фантастично!

Любопытно, что и собственные впечатления перерастают в общие рассуждения с философским уклоном. Посетив Италию и увидев Памир и Гольфстрим, поэтесса думает о «вещей силе» человеческого сознания и пылающем разуме, о природной стихии и ее символике, предлагая и России всмотреться в теплое морское течение, «грозный ход» которого несет свободу, и возродиться «из тьмы времен» («Карибское море», 1956).

Изменилось и восприятие разлуки: из любовной и личной, «горестной и трудной», она превратилась во всеобщую и беспредельную, похожую на «страшную сказку» и «долгую песню», в которых нет конца и нет встреч, на «скрежет полночных ночных поездов» и «грохот по сердцу – колес». Разлука проявляется не только в отъезде за море, но и в исчезновениях в тюрьмах, в Бухенвальде и Равенсбрюке, и в осаде столицы, окруженной кольцом, где «били из пушек по памятникам и дворцам» и где жили старики – родители автора, погибшие во время блокады («Разлука», 1945). Упоминание о фашистских лагерях («В глухих ледниках Бухенвальда, / В тифозном огне Равенсбрука») не случайно. Нина Николаевна долго не верила в «окончательное решение еврейского вопроса», находилась во власти иллюзий относительно «нового немецкого порядка», но узнав о массовом уничтожении евреев, возненавидела Гитлера не меньше, чем Сталина. При немецкой оккупации Парижа она не напечатала ни строчки.

Печальными были и думы о русской эмиграции. О старом поэте, просящем подаяние и готовом читать стихи и рассказывать о своей молодости (имелся в виду Г. Иванов и цитировались его строки – «Последний поэт России»); о письмах З. Гиппиус и вылетевшей из коробки оранжевой бабочке: «Как будто камень отвалила / У входа в гроб давно глубоко спящей» («Памяти З. Н. Гиппиус»), о поколении старших эмигрантов на пороге старости и смерти: «Мы на очереди» – «не в далекое путешествие, а в ближайшее ничто» («Пора спать», 1959). А в своих воспоминаниях Берберова видит себя беззаботной девочкой с густой косой, порхающей, как стрекоза, гуляющей с подругой по аллее («Две девочки», «Стрекоза»). Увы! Взрослая девочка преобразилась и носит «чугунные узы» (не отсюда ли – «чугунная женщина»? – «Есть нити, есть сети...», 1961). Она относит себя к «тихому сообществу недоуспевших», молчащих и шепчущих, в отличие от «дохохотавших» и «доплясавших»: «мы не удались, как не удалось многое» – мировая история и вся вселенная («Я остаюсь», 1959).

Переселившись в США в 1950 году, став американской гражданкой, преподавателем университета, и подводя предварительные итоги своей жизни, Нина Берберова обращается к поколению младших эмигрантов как к сиротам, не знающим дедов и потерявшим отцов, и горюет, что для них, «родинок России», та стала чужбиной. Но и здесь, в эмиграции, они «никем не признанные, не богатые, не славные», и им предстоит дожить до XXI века и увидеть «закат кровавый», как она наблюдала рассвет. Тем не менее поэтесса благодарна молодым собратьям по перу, что они ее еще не забыли. И провозглашает свое выстраданное убеждение, свой символ веры: «Я никогда не

молюсь, / Я никого не боюсь, / Я ни о чем не плачу» («Передачи на ту сторону», 1961).

В этом, втором, разделе (40–50-е годы) меняется и содержание, и форма («Не отрывайте формы от содержания») – не за счет усложнения и обогащения метафоричности, а за счет более простых тропов – эпитетов и сравнений, самобытных и многоступенчатых: «Я остаюсь с недосказавшими, / С недопевшими, с недоигравшими, / С недописавшими», «Оковы ношу, как запястья, / И тернии – как тиару», «‘Сердитые’ и молодые, / Бородатые, ‘битые’ и смешные, / Редкие, / Как синие алмазы, / Как черные жемчужины».

Преобразования в берберовской лирике связаны с употреблением разнообразных стилистических фигур, придающих речи новые экспрессивные окраски. Это различные виды повторов: удвоение слов и строк («Весна, весна, опять и вновь весна», «Уже поздно. Поздно. Очень поздно», «Три ведьмы шепчут, шепчут и прядут»), анафора («Они теперь нас больше не покинут, / Они ото всего нас оградят», «Наперекор всему, / Наперекор желанью моему, / Наперекор и вашим, и моим голосованиям»), многосоюзие (и... и... и...; или... иль... или... иль...). Среди других фигур широко употребительны параллелизмы («Секрет прополз в воображенье, / Секрет прокрался в сладкий сон», «Моя любовь укрыться хочет... / Моя любовь боится ночи») и т. п. Встречаются и инверсии («Последний России поэт», «И новой эры возникало / Неотвратимое начало»), и антитезы («Дом далеко, / А рай почти что рядом», «...мы примирились со своей судьбой, / А вы продолжайте бодрым маршем / Шагать повзводно, козыряя старшим»). Наряду с лексическими и синтаксическими повторами немало и звуковых (аллитерации и ассонансы): «В лучистый день, в лазурное сегодня», «Часы к ночи в столовой стали», «тот разговор, тот римский сад», «среди стихов, среди забытых слов», «забыть об этом безобразии», «о прошлом поговорит», «вдруг, раскрыв оранжевые крылья»; «Опять разбить? Зарыть? Закинуть за три моря?».

Особенно разительные перемены произошли в стихосложении: почти полный отказ от стиховых традиций XIX века и переход к стиху века XX – белому, вольному (неравносложному), тоническому и свободному (аметрическому). Берберова пришла к убеждению, что традиционные метры устарели, что мир жаждет «четырёхсложного молчания» и что «у русской поэзии нет будущего», если она не освоит современный стих. И сама стала пользоваться дольником, и ударником, и верлибром.

Если хотите знать с научной точностью,
Кто мы такие,

Нынче вечером взгляните на звездочку
 (В энциклопедическом словаре),
 И там вы найдете подстрочное примечание
 О бессрочных нас.

«Пора спать»

Выработав свой индивидуальный поэтический стиль и почувствовав себя настоящим стихотворцем, Н. Берберова решает упоминать в стихах о своих предшественниках («Он у Блока сидел в передней, / У Волошина спал в саду») и использовать скрытое цитирование («Читатель, я тогда моложе...», «У самого синего моря / Жил старик со своею старухой»). Включенное в новый контекст «чужое слово» переосмысливается («Гремят кандалы слаще звуков Моцарта» – вместо «слова слаще звуков Моцарта»); тючевские «слезы людские» оказываются рядом с «шепотом влюбленных» и смертельными болезнями. В стихотворении «Кассандра» (1959) с помощью блоковских цитат из «Незнакомки» изображена, очевидно, А. Ахматова (так назвал ее Мандельштам) – «шляпа с траурными перьями», «узкая рука в кольцах», «синие очи».

Где-то она теперь, богиня и пророчица,
 Осмеянная и забытая?
 И кому и какими древними поверьями
 Еще веют ее упругие шелка?

С юных лет Нина Берберова преклонялась перед А. Блоком, считала его великим русским поэтом, а впоследствии написала и опубликовала книгу «Александр Блок и его время. Биография» (1991).

Уже в США, выйдя замуж за американского музыканта, Нина Николаевна задумывается о возможности возвращения во Францию или в Россию: «Кассир спросил: Туда и обратно? / Только туда. В путь безвозвратный. / Не возвращаются никогда / Туда, откуда гонит беда». Ее лирическая героиня сомневается, она в смятении.

И приближался к окошку друг:
 – Хотела бы ты вернуться обратно?
 Куда? Мне некуда. Всё – безвозвратно.
 И только в памяти свист голосов:
 Адресов, адресов, адресов, адресов.

«Кассир спросил...», 1956

Такая концовка очевидно перекликается с «Ленинградом» (1930)

О. Мандельштам: «Петербург! У меня еще есть адреса, / По которым найду мертвецов голоса». Это стихотворение, как и «Кассандра», воплощает в себе особенности берберовского зрелого почерка: четырехдольник, анафора, словесные повторы, кольцевая рифма, аллитерация и видоизмененные, переосмысленные цитаты.

Следом за стихами о прошлом поэтесса помещает «Стихи о настоящем» – об опасности ядерной войны, после которой останется один пепел, а люди не признают и не слышат своих пророков, и поэты тоже ждут и дрожат от страха (1973). И вслед звучит «Детская песенка о птицах» (1974) – взрослое трагическое раздумье о целой эпохе, которая длится не сто, а тысячу лет: соловей не на ветке, а в клетке; ласточка не над облаками, а в помойной яме; жаворонок не в небе, а запеченный в тесте; наконец, гений – на лесоповале, ибо Сталин послал его туда. Четыре раза повторяется рефрен: «Через тысячу лет – / Разницы нет». И финал: «Мы всё это вместе сложили / И тысячу лет прожили».

И снова поворот, на этот раз от общественно-исторических событий – к своей личности и судьбе в цикле «Ветренная Геба» (11 стихотворений, 1975–1979), возможно, созданном по аналогии с циклом Пастернака «Тема с вариациями» (1918). Берберова выбирает в качестве темы лирику Тютчева, о чем свидетельствует заглавие и первые строки: «Я проливаю кубок громкий / Из туч и молний на авось». Автор, явившись без приглашения на пир богов, узнает «громокипящий их секрет»: «бессмертья нет». Так начинается диалог с тютчевскими текстами и их осовременивание в авторском исполнении: «...лучше быть знакомой Зевса, / Чем из толпы смотреть парад, / Как я была не рада Маркусу, / Не будет рад мне самиздат».

Когда лирическая героиня отправляется кормить Зевесова орла (№ 2), то сравнивает его с ласточками Фета и Ходасевича и своим жаворонком и убеждается, что от «тютчевского века» у орла остались подбитое крыло, схожий с «причитаньем клеток» и глаза «без мысли и огня». Она просит читателей не расшифровывать строчки: «Прочтите их. Они – мои. / И вам не надо ставить точки / На эти взвизгнувшие i», явно посмеиваясь над своими поэтическими претензиями и отмечая ассонанс в третьей от конца строке (четыре ударных «и»).

Поэтесса и в дальнейшем ссылается на Тютчева: «Учу язык глухонемых», чтобы разговаривать с демонами и понимать их (ср. «демоны глухонемые ведут беседу меж собой»), предсказания зарниц заменяется языком громов («зарницы огневые» и громы – тютчевские образы). Если у Тютчева «ропщет мыслящий тростник», то у Берберовой тростник научился смирению – ведь ему уже сто лет и

нет у него ни души, ни моря, да и ропщет нынче лишь «мыслящий лопух». Переиначивается и обывляется тютчевский зачин «Тени сизые смешались»: не «смесились», а «сместились», и вокруг не «сумрак зыбкий, дальний гул», не «в воздухе ночном час тоски невыразимой», а книги в ящике, платья в чемодане и «рифмованная строка». И все-таки, хотя и в сниженной тональности, слышатся отзвуки пантеизма Тютчева – «Всё во мне, и я во всём», и мысли о смерти: «вряд ли очень много мы отсюда унесём» (ср. «дай вкусить уничтоженья»). Если у Тютчева «вещая душа» бьется «на пороге как бы двойного бытия» и готова припасть к ногам Христа, но «болезненно-греховная», не находит успокоения на земле, и человек ощущает себя покинутым, особенно по ночам, когда бездна обнажена «со всеми страхами и мглами», то и у Берберовой: «...живём, как можем, кое-как»; «Покинуты на нас самих, / И как бывает ночью страшно нам!» (ср. «Вот отчего нам ночь страшна!»).

А вот с тютчевским призывом «Молчи, скрывайся и таи / И чувства, и мечты свои» и сентенцией «Мысль изреченная есть ложь» поэтесса категорически не согласна: «Не смей молчать. Тайть не сметь», «Молчанью оправданья нет». Она обращается и к прозаикам, и к поэтам: «Все слезы выжми на огласку», «Вселенную оповести» не одой, а «бредом, криком и свободой».

Последние стихотворения цикла являются отступлением от остальных вариаций. Во-первых, они адресованы русскому поэту-эмигранту Н. Моршену, во-вторых, в них слышны не только тютчевские, а и пушкинские отголоски («возвышающие обманы», «тьмы низких истин»); в-третьих, упоминаются разные литературные персонажи (король Лир, дядя Том, тургеневская Лукерья) и зодиакальные знаки Скорпиона и Льва. И всё это завершается насмешливой строфой:

(Я сочиняю оттого,
Что мне полезны упражненья,
И нет приятней ничего
Американского общенья.)

В конце цикла автор, беседуя с Н. Моршениным, снова возвращается к стихам Тютчева, варьируя их: «...блажен, / Кто посетил сей мир в те сроки, / Когда он цел, но не совсем», и хочет, как «ветренная Геба», лить «бессмертья чашу» на своего собеседника, признавая, однако, что это «риторические бредни» (ср. у Пушкина «прозаические бредни») и «стоп ямбических вино». Так постепенно на наших глазах драматическое начало (нет бессмертья и рая, обветшал «тютчевский

миф», страшно жить, но нельзя молчать) перетекает в ироническое завершение (бредни про чашу бессмертия). Не случайно упомянуты и ямбические стопы – почти весь цикл написан четырехстопным ямбом (любимым размером Тютчева), несмотря на то, что в зрелые годы Берберова настаивала на том, что пора расстаться с ямбами, так как они однообразны. На самом же деле, это суждение ошибочно и ямбические ритмы многообразны, индивидуальны и неисчерпаемы (утверждали В. Жирмунский, К. Тарановский, М. Гаспаров, В. Холшевников и др.).

Надо отметить, что лирика Берберовой (в том числе и этот цикл) сдержанна и скупа на открытые, автобиографические признания, которые подчас «прикрываются» посвящением реальному лицу («Памяти З. Н. Гиппиус») или конкретными датами, не известными читателям («7 августа 1921 года»), выдуманными ситуациями («Кассир спросил...») или «чужими словами»: «Пусть ваши ведают потомки / (Своих иметь не довелось)» – ср. «Да ведают потомки православных...» у Пушкина («Ветреная Геба»).

Опробовав переложение классической поэзии (на примере Тютчева) на новый лад, Берберова сочиняет то «Памяти Державина», то «Из Байрона», то «макаронические» тексты с латинскими вставками, а то и придумывает «свой» язык – «Переводы с берберского» (1976), выстраивая стихи на основе одинаковых синтаксических структур: если ты – одно, я – другое, но связанное с тобой (тростник – рыбак, крючок – рыба, море – лодка, дождь – земля, солнце – туман; «Если ты месяц, я – туча и бегу по тебе»). Вывод: «Кем бы ты ни была, я иду в поединок с тобой и побеждаю тебя». Аналогично построено и второе стихотворение этого мини-цикла «Давай посидим с тобой, как два леопарда»:

Давай посидим с тобой, как два леопарда,
Давай полежим с тобой, как два борца,
Давай постоим с тобой, как два аиста,
Давай полетим с тобой, как два орла...

Перед нами сгущенный вариант позднего берберовского стиля, основанного на синтаксических фигурах и лексических повторах, на употреблении «чистых» верлибров. Заметим, что раньше, осваивая верлибр не без опоры на европейские образцы, поэтесса все же допускала в них и метрические строчки, и рифмы, и равноударность. В ее лирике этого периода мы наблюдаем тяготение к циклизации. После «Ветреной Гебы» и «Переводов с берберского» написан цикл «Берлинский зоопарк» (четыре стихотворения, 1977). Его зачин как

будто обещает описание животных в зоопарке в сопоставлении с людьми (объятия двух ящериц напоминают пожаття рук, зебра и леопард намекают на чересполосицу в нашей жизни). Но дальше зоопарк оказывается человеческим «трагическим садом», в котором живут инвалиды Второй мировой войны (кто с палкой, кто в коляске), напевающие «немецкую песенку» о ранении под Орлом 33 года назад. Эта цифра влечет за собой странное сближение с былинным Ильей Муромцем, как и парадоксальное перечисление: «Протезы у меня американские, / Челюсти швейцарские, / Слуховой аппарат – французский, / А стеклянный глаз – английский. // Но память у меня русская: / Голубой сугроб, / Да чужой сапог...» Еще более странный текст с начальными строками «Как лицо без носа, / Так нация без столицы» и изображением разбомбленного неведомого города («Не задавайте вопроса, / Ответа не предвидится») и саркастическим финалом («Морген фри, / Нос утри, / Отстрелили две ноздри!»).

В четвертом стихотворении описано возвращение немецких солдат из русского плена в страну Шиллера и Гёте. Кому – парад, кому – Сталинград, а «кому – в грудь снаряд»; кто-то погиб, кто-то вернулся домой, а кто-то «жизни не рад с разорванной грудью». Но и в этой драматической теме не обошлось без издевки: «Поди, воскресни, как воскрес твой Бог, / А хочешь – тресни, как старый горшок». Быть может, прав был Омри Ронен, когда он, высоко оценивая берберовскую поэзию в целом («незабываемые стихи»), определял политические ее вещи как «слабые».

Для завершения своей книги поэтесса выбрала, наверное, самое пронзительное и бескомпромиссное стихотворение «Предсмертный диалог» (1983), носящее богоборческий характер. Дело в том, что к религии она относилась как к «идолопоклонничеству и бессовестному обману» (О. Ронен). Отталкиваясь от мотива Достоевского и Цветаевой о возвращении билета на жизнь Богу («Пора – пора – пора / Творцу вернуть билет!»), автор ставит вопрос: Можно ли вернуть Господу билет с поклоном, если в мире произошло столько кошмарных катастроф, за которые ответственны все?

Но если, правда, Аушвиц был,
И был ГУЛаг и Хиросима,
Не говори: пройдемте мимо!
Не говори: я всё забыл!
Не притворяйся: ты там был!

А раз всё это было, то некому возвращать билет, ибо Бога нет и нет бессмертия. Так она подводила итог исканий своей метушейся

души. По воспоминаниям друзей, смерти Нина Николаевна не боялась, но очень любила жизнь и мечтала дожить до ста лет. Кстати, она послужила прототипом героини, «любительницы жизни», в одном из романов В. Набокова. А ее муж В. Ходасевич, посвящая ей стихи («В те беспросветные года, / Своим единым появлением / Мне мир откроешь прежний, наш»), как-то сказал: «Тебя нельзя разрушить, ты можешь только умереть!»

Прожив в эмиграции 70 лет, Нина Николаевна Берберова сумела сохранить прекрасный русский литературный язык, творила на нем, переводила с него и на него, и главной темой ее творчества были судьбы русских эмигрантов. Она сотрудничала в русских газетах и журналах (от «Последних новостей» до «Русской мысли» и «Нового Журнала») и редактировала русские издания (альманахи «Содружество», «Мосты»), доказывая, что любовь к России, русскому языку и культуре никогда не исчезала из ее сердца, хотя иногда начинало казаться, что чужая земля стала родной («А мне чужбина – родина»). Несмотря на все испытания, препятствия и беды, выпавшие на ее долю и пережитые ею, «всё-таки эта судьба выглядит триумфальной» (Д. Быков). Всю свою жизнь Нина Берберова подтверждала – и подтвердила свое юношеское кредо: «Я не в изгнание, я – в послание».

Март 2017

КНИГА И СУДЬБА

Наталья Червинская

Записки читателя

Сейчас в Нью-Йорке стали появляться на улицах полочки, на которых жители оставляют осиротевшие книжки. Во время дождя их заботливо прикрывают клеенкой. Возьми книжку, принеси книжку. Самодельные общественные библиотечки, бесплатно. Даже и в нашем доме есть в подвальной прачечной библиотека томов на двести. Пока полотенца крутятся в сушилке, можно почитать немного. Экклезиаст, например. И я стала притаскивать в мешках и коробках ненужные книжки и ставить на окрестные полочки. Бери – не хочу.

Ненужные книжки. Раньше бы и в голову не пришло, что есть такая вещь: ненужная книжка.

Теперь вижу – от них пыль, они занимают место, шрифт слепой, страницы серые. И тяжелые они, эти книжки, в поездку с собой не возьмешь.

А главное, страницы не светятся. В темноте читать совершенно невозможно.

Уж не говоря о том, что книга – она как порционное блюдо в столовке. Вот тебе котлета, рядом пюре, ложку подливки поверх плеснули и все. А на экране – гуляешь по буфету. Можно с чужой тарелки подцепить, можно приснившегося киселя похлебать. Страниц и границ нету, а без границ нету и формы. Роль и контроль автора исчезают. Вот читатель заметил какое-нибудь заимствование и уже проверяет – откуда, где, что. Автор-то надеялся на скрытую цитату, которая в подсознании читателя слабо прозвенит павловским звоночком, вызывая желательную эмоцию. Но читатель уже резво бежит в сторону, и какие там эмоции – он все даты и обстоятельства узнал, а про сюжет и усилия автора уже и забыл. Это еще повезет, если он вернется, не останется там, в первоисточнике цитаты. Контекст теперь врывается в текст, перебивает.

А книжки – как они строго и авторитарно держали нас в границах своих картонных, дерматиновых переплетов, разрешая отвлечься разве что на иллюстрации. А книги девятнадцатого и восемнадцатого века, которые в кожаных переплетах с золотым тиснением – те и выпороть могли. А уж те, которые отшельниками в темной келье вручную переписывались и иллюстрировались, в которых страницы

расцвечены – не зря это иллюминацией называется, страницы вспыхивают, как салют – те книги открывали помолвившись и перекрестившись.

А машинописные листочки нашей молодости? Без переплетов, без даты, часто без авторства, они строго держали нас не только в пределах текста, но и в пределах времени и места: «За ночь прочтешь, завтра утром отдашь и никуда не выноси!»

Мы с друзьями теперь жалеем все старое, потрепанное и употребленное. Мы идентифицируемся. Рука не поднимается ни кошку старую усыпить, ни старые книжки выкинуть. А ведь мы рассеяны по всему свету, и книжки на нашем языке никому не нужны; ни соседям, ни наследникам.

Но ведь по некоторой инертности характера и вследствие особенностей воспитания почти все в моей жизни связано с книгами. Много лет пыталась себя убедить, что можно писать в книжках, подчеркивать и комментировать. Но так никогда и не решилась, потому что в детстве это было строго запрещено: варварское обращение с книгами. А ведь это не варварское обращение, даже наоборот. Называется красивым словом: маргиналии.

Попробую теперь написать эти запоздалые маргиналии, вспомнить свою жизнь на полях прочитанных книг.

Никакой документальной достоверности мои записи не имеют. Все факты не проверены, могут быть перевернаны. Мнения все мои, если совпадают с общепринятыми, то по чистой случайности. Все цитаты привожу в том виде, пусть и искаженном, в котором помнила их всю жизнь.

Вот она лежит передо мной, бедолага, – как странно ее видеть здесь, в Нью-Йорке, в двадцать первом веке! «Радуга-Дуга», Детгиз, 1947 год, составитель И. Карнаухова, рисунки А. Якобсон. Когда-то патристически красная, выцветшая до бледной морковности. На обложке – рушники и кокошник.

У меня нет никакого другого имущества, сохранившегося с тех лет. Что еще сохранилось с сорок восьмого года, кроме книги «Радуга-Дуга»?

Это моя самая первая книга. Мне ее подарил Владимир Захарович Масс, соавтор отца.

Смутно помню, что он учился с Шагалом в Витебске, потом работал с Маяковским, потом с Эрдманом они написали сценарий фильма «Веселые ребята».

Сталин сказал: «Хорошее кино! Посмотрел – как будто в отпус-

ке побывал!» – и услал Эрдмана в тот самый Енисейск, где и сам сиживал, а Масса – в Тобольск. Дело в том, что от избытка талантов они еще сочиняли песни и басенки. За эти басенки их и арестовали.

После ссылки Масс начал работать с моим отцом. Отец выжил во время войны, хотя провел часть войны в агитационной бригаде, а часть – в штрафном батальоне. Ему повезло, его почти смертельно ранили и демобилизовали, поэтому я родилась. Мне, значит, тоже повезло.

По собственному желанию и для души Масс больше ничего не писал. Зато он рисовал гуашью. Он был художник-любитель, подражал Матиссу. И подарил мне мою первую книжку.

Тогда подаренную книжку обычно надписывали в углу титульного листа, наискосок. «Дорогой Наташе от дяди Володи», например. Но на этой книжке дарственной надписи нет. Что удивительно, нет никаких каляк-маляк, пятен и клякс. Ни одной, упаси боже, загнутой или порванной страницы. Отец работал в молодости наборщиком в одесской типографии. Нам запрещалось класть книгу лицом, то есть открытыми страницами, вниз – от этого портится переплет, корешок ломается. Загнуть уголок страницы было немыслимо, все равно что в приличном обществе в два пальца высморкаться. Все это называлось «варварское обращение с книгами».

Все священные заповеди интеллигентности я потом преднамеренно нарушала, но всякий раз, нарушив, осознавала святотатство.

«Радуга-дуга» написана витиеватым языком, с резьбой и филигранью, языком державно-патриотическим. Все прилагательные следуют за существительными, как будто шлейф торжественно несут: яблочки наливные висят на веточках золотых с листочками серебряными. Коровки-буренушки деточкам малым молочка дают, баранчик в садике травушку жует. Сплошь засахаренные архаизмы: амбаришко, колечушки, толоконце, веретёшко. Подавай голосок на колхозный на дворок.

Какие там слова! У кота на морозе усы позакуржавели.

Сказки страшные, особенно страшен некий Верлиока. Так и не знаю до сих пор, кто он такой, – леший, колдун? Имени достаточно. Один из персонажей, сопутствующих этому Верлиоке, – веревочка. Просто веревочка. Вьется рядом с Верлиокой на манер ужа или гадюки.

Страницы с длинными сказками подозрительно свежие, нетронутые. Страницы с частушками, поговорками, скороговорками и загадками – более ветхие. По этой книжке я училась читать и не всё осилила. Наизусть я помню картинки, маленькие, кружевные, раски-

данные по тексту двухцветные литографии, черные с красным. И большие цветные литографии на всю страницу. Тогда, в четыре года, картинки эти не удовлетворяли. Детям ведь на самом-то деле хочется предельного реализма, чтобы все было прорисовано, чтоб много раз рассматривать, разглядывать, жевать. Помню ощущение несытости изображением, какой-то его обманности, как у сахарной ваты.

Тем не менее, эти картинки у меня в подсознании. Кривая улыбка Емели узнаваема, как улыбка Моны Лизы. И шука неискренне улыбается ему в ответ. Ульки в люльке. Медведь с украденной Машей в корзинке: «Не садись на пенек, не ешь пирожок!»

Это тот самый медведь, который позже с Татьяной: она бежит, медведь вослед, и сил уже бежать ей нет.

Художница Александра Якобсон была ученицей Петрова-Водкина и Филонова. А страшные сказки – не просто так сказки, а в пересказе ученого этнографа Карнауховой.

Евгений Шварц, который всегда говорит о женщинах с сочувствием и состраданием и часто с восхищением, вот что говорит про Карнаухову: «...белое и огромное лицо Карнауховой, с недобрыми черными глазами, кубастая ее фигура... если бы у Карнауховой был хозяин, то на вопрос ‘не кусается ли ваша Ирина Валериановна?’ он честно должен был бы предупредить: ‘Да, да, осторожнее, не надо ее гладить.’».

Шварц пишет, что она была общественница. И выступала на собраниях «сливочным голосом». Подавай голосок на колхозный на дворок.

Шварц хвалит ее за то, что вроде бы вела себя порядочно с ленинградскими блокадными детьми, когда эвакуировались они с детдомом Литфонда в Пермскую область.

Это происходило лет за пять до моей «Радуги-Дуги».

Рисунок на последней странице – туманное, смазанное, кружевное, вроде привидения: Дрема. «Ходит Сон у окон, бродит Дрема возле дома...»

Многие дети не любят ложиться спать, боятся. Мне темнота, тайны, подземелья мерещились. Потом эти подземелья заселились: черная курица, городок в табакерке, гномы, дети подземелья...

И почему, скажите, могло быть ребенку в те времена не страшно, а радостно и беззаботно?

Об этом – о страхе ребенка, отосланного в постель, оставшегося наедине с ночью, – замечательно написано в той книге, которую я читаю сейчас. Она в бестелесном, электронном виде, да еще и в переводе с французского на английский, лишенная не только картинок, но

и почти лишенная этим переводом первоначальных красот стиля. А также лишена она фабулы, завязки и развязки, конфликта и сюжета, и даже внятного изложения последовательности событий.

Вполне вероятно, что это последняя в моей жизни книга, которую я прочту с изумлением. Вряд ли мне еще удастся поразиться.

И ведь не в первый раз я читаю «В поисках утраченного времени». Пробовала, скучно было, претенциозно казалось. Видимо, недостаточно было у меня раньше утраченного времени, чтобы оценить. Время у Пруста обтекает персонажи и события, как у Вермеера – свет. Как Вермеер пишет не лицо, не платье, не кувшин, а свет, мерцающий на этом лице, отражающийся в кувшине, тонущий в складках ковра, – так у Пруста время обтекает все описываемое, замирает надолго на цветке боярышника и пролетает, не упоминая, целые эпохи, – и вдруг любовь, только что приносившая герою такие мучения, уже превратилась в полуистлевшее воспоминание, только и дорогое тем, что шелковая подкладка рукавчика Одетты оказывается того же цвета, что и боярышник много лет и сотни страниц назад.

Хотя и страниц-то теперь нет, текст возникает, светится некоторое время и тает.

Мы с Прустом в детстве боялись наступления ночи. Но в сорок девятом году и взрослые боялись темноты. Сидели под своим оранжевым абажуром на тахте с паласом, дустом пахло, канализацией, котлетами – и в любой момент весь этот временно мирный интерьер мог закончиться. Это был год нехороших тоскливых вечеров.

Несколько лет назад я прочла в исторической статье цитату из письма некой патриотки Сталину с просьбой защитить русскую культуру от писателей-космополитов. Вторым или третьим было имя моего отца, а дальше – имена людей, приходивших к нам в гости.

Отца не арестовали. Из приходивших в наш дом исчез только некий Хаим, писавший на идиш. У него было прозвище Хам, потому что он приходил в гости и не уходил, валялся на тахте, привалившись квадратной спиной к паласу, дурацкие шутки шутил. Родители его недолюбливали. Родившиеся в местечках, они хотели забыть всё местечковое. Знакомое чувство: эмигранты тоже стараются держаться подальше от соотечественников.

Меня Хам ужасно смущал своими шуточками, он говорил, что хочет на мне жениться, и я была очень рада, что в сорок девятом он исчез и перестал к нам приходить.

Хорошо, что Пруст умер так рано. Если бы Пруст дожил лет до семидесяти, то и он умер бы в концлагере.

«Сказки Перро», Детгиз, 1948 г. Обложка синяя, и на ней уже не кокошник, а рококо.

На гравюре Доре – подземелье, в нем копошится множество карликов, они варят в больших котлах угощение на свадьбу Рике-Хохолка.

Только эту сказку я и помню из всей книжки. Там про двух принцесс, из которых одна очень красивая, но глупая, да еще и неловкая: «она не могла расставить четыре фарфоровые фигурки на камине, не разбив одной из них» Другая сестра некрасивая, но так умна и остроумна, что на балах все толпятся вокруг нее. Появляется принц, зовут его Рике-Хохолок. Он совсем урод, но умный. То есть идеальная, казалось бы, пара для умной сестры.

Он влюбляется в красивую глупую, отдает ей половину своего ума, а она ему – половину своей красоты, на этом средне-статистическом уровне они женятся. И все счастливы.

То есть как все? А вот так: о судьбе некрасивой умной сестры не говорится больше в этой сказке ни слова. Никакого разрешения конфликта, никто ее даже не утешает, не говорит: будь одна из вас ткачиха, или повариха, или завбиблиотекой. Она просто исчезает из сюжета и всё.

Читать я научилась с четырех лет. И не то, чтоб меня за это хвалили, – детей не хвалили никогда, во избежание зазнайства и самоуверенности, той именно самоуверенности, которую в теперешних детях так старательно воспитывают, – но по реакции окружающих я догадывалась, что у меня ума палата. И что это, в лучшем случае, несколько комично, но вообще-то не к добру, потому что я девочка.

Я очень даже заметила полное выпадение умной сестры из сюжета и знала, что ей предстоит. Как нашей незамужней тетушке: стирать, гладить, мыть полы и спать на раскладушке во дворце своей сестры.

Однако пожалела я тогда вовсе не умную принцессу, а Рике-Хохолка. Никакой солидарности со своим полом, или, как теперь говорят, гендером, я не проявила, а влюбилась в Рике-Хохолка. И описан-то он у Шарля Перро в десяти словах, но много ли ребенку надо?

Автор и читатель всегда встречаются на полдороге и на этот свой пикник духа приносят каждый свое. А ребенок – два-три слова сложи – и так их в воображении разукрасит, столько всего себе напредставляет; оно и останется на всю жизнь.

Эта сказка мешает мне до конца верить в феминистские байки о симметричности отношений между мужским и женским полом и о

взаимозаменяемости ролей. Многих дам знаю, которые отличались в молодости глупостью и красотой. С возрастом они не только следы бывлой красоты сохранили – а главное, соответствующую манеру поведения, которая у красавиц навсегда остается, – но и приобрели репутацию умнейших женщин. Они пишут о своих Рике-Хохолках мемуары.

Что же до умных мордovorотов, то им и равноправие не помогло. Раньше, по крайней мере, им профессиональная деятельность оставалась в утешение: ткачиха, повариха. Но теперь карьера вполне совместима с привлекательностью, теперь и красавицы, не стеснясь, делают карьеру. Они далеко не дуры, это им раньше приходилось притворяться.

Дочка соседей по коммунальной квартире, студентка юрфака Лиля, боявшаяся держать у себя в доме сомнительные книги, отдала мне сборник рассказов Зощенко о Ленине.

Там Ленин в тюрьме, у него чернильница, сделанная из хлеба, в которую налито молоко: если написанное молоком подержать над свечкой, то буквы становятся видны. Я была из тех читателей, у которых описание еды всегда вызывает аппетит. Я очень хотела попробовать чернильницу с молоком, но мне не разрешили слепить из хлеба это интересное блюдо. Хотя хлеб был уже не по карточкам. А молоко, творог и сметану приносила по утрам молочница в ватнике, бидоны, связанные веревкой, висели у нее через плечо, а творог и сметана – в кошелках.

Еще там у Зощенко есть рассказ про козлика. Брат малолетнего Ильича всегда плакал, когда слышал песенку о козлике: бабушка козлика очень любила, напали на козлика серые волки, остались от козлика рожки да ножки. Маленький Ильич, как настоящий Большой Брат, его отучил плакать. Он его заставлял слушать эту песенку много раз подряд. И брат отучился. Последняя строчка: «только одна слезинка текла у него по щечке»...

«Сказки страны Черногории».

Это тоже из стопки книг, подаренных боязливой соседкой Лилей. Черногория, то есть Югославия, была страна неустойчивая: то дружелюбная, то нет. В тот момент как раз враждебная. Карикатуры появлялись в журнале «Крокодил»: бешеная собака Тито и его свита.

На обложке – всклооченный старец с саблей, в сказках все друг друга убивают – из патриотизма, да еще и белым стихом. Все ж таки бывают книжки до такой степени скучные, что даже я, имевшая пятерки по поведению и прилежанию, не смогла прочесть.

Мне кажется, что ненависть русской публики к современному мультикультурализму порождена этой скукой фальшивого имперского фольклора, которым нас пичкали, – все эти сказки Севера, белорусские сказки, украинские, узбекские – и всюду классовая борьба и народные чаяния.

А вот русские сказки: «Волшебное кольцо», Детгиз, 1950 г.

Книжка маленькая, серенькая с розовеньким, в картонной обложке, с кошечкой. То есть сидит у окошка некий вроде бы Емеля или Иван-дурак, а перед ним серая кошечка. А на окошке – решетка. А на ногах у Ивана или Емели – колодки. Как же я в детстве не заметила: тюремная камера изображена на обложке моего «Волшебного кольца»!

Рисунки И. Кузнецова. Под общей редакцией Мих. Шолохова. Шолохов-то причем? И что ему было тут редактировать на ста страницах крупным шрифтом? Объяснение – вот оно, мелкими буквами: «пересказал А. Платонов». Шолохов Платонову работу подкидывал, это Шолохову зачтется на том свете.

Язык простой, даже менее сказочный, чем обычно у Платонова, а сюжеты у него и в рассказах не менее ужасающие. Долготерпением и фанатичностью герои сказок мало отличаются от героев платоновских рассказов. Ну, Марьюшка в поисках Финиста-Ясна Сокола износила три пары башмаков железных, стерла три посоха чугунных, изглодала три хлеба каменных. Так ведь и в рассказах Платонова люди обычно одеваются и питаются не лучше.

В пятьдесят первом году я болела корью и читала про Финиста-Ясна Сокола, обливаясь слезами. А Платонов в это время умирал от туберкулеза. Конечно, я не знала – кто такой Платонов, да и родители вряд ли знали.

Финист летает по ночам к Марьюшке в окно, а завистливые сестры втыкают в раму острые обломки стекла – и вот, утром окно залито кровью, Финист исчез. Я так плакала, что книжку отобрали, сказали: он умер и все. Нашла уже через несколько лет.

У меня сохранилось множество сборников со сказками дружественных народов. Их выходило много, и отец покупал все. В те времена деньги, если человек их много зарабатывал, тратить было особенно не на что. Отец деньги тратил на книги и разносолы: почти каждый день приносил что-нибудь из Книжной лавки писателей или из «Елисеевского». Стопки книг складывались на круглый стол, отражались в полировке, а рядом выкладывались редкостные сыры в керамических баночках с притертыми крышками, икра, которую тогда можно было купить каждый день, зеленый горошек в банках,

который продавался редко, коробки конфет с серебряными шипчиками, чтобы вынимать шоколадки из кружевных бумажных гнездышек. Икра была простой ежедневной едой. За солеными огурцами и мукой мы с тетушкой стояли в очередях с чернильными номерами на руках.

А стол, как я потом понял, был соотечественником и ровесником Джейн Остин. Изящный столик грациозных пропорций, с медной фурнитурой, он складывался при помощи хитрого механизма, совершенно не занимая места. В Англии конца восемнадцатого века замечательно умели делать мебель для коммунальных квартир.

В нашей комнате была двухстворчатая дверь красного дерева, сплошь покрытая резьбой. Чудеса и красоты, производимые рабами: ручная резьба, вологодские кружева, подкованные блохи... И высотные дома, и станции метро, и вся роскошная орнаментальность архитектуры периода украшения... Все это было неким воплощением живой национальной традиции рабства. Изысканное прикладное искусство требует таких затрат времени, что возможно только, если труд никак не оплачивается или оплачивается пайкой. Поэтому в монастырях можно было производить иллюминированные книги.

И поэтому в Америке никогда не было настоящего прикладного искусства. Рабы тут были заняты приведением нового материка в жилой вид. Американская секта трясунов создала удивительный стиль мебели и текстиля – минималистский, с необычным для народного искусства отсутствием орнаментов и украшений. В отличие от нашей двери работы крепостных мастеров, которая вся из украшений и состояла. К бронзовой ручке этой двери привязывали ниточкой мой шатающийся молочный зуб. Надо было сидеть на стуле и ждать, когда кто-нибудь войдет, дернет на себя дверь, и зуб мой выскочит. Ожидание было неприятно, но вполне выносимо. Хуже, если в зубе была дырка. Тогда мы ехали в тот дом, который Булгаков называет «Грибоедов». В Герценовский дом, особняк Ростовых, где когда-то танцевала Наташа, в честь которой я и была названа, где граф Ростов кормил гостей ананасами из безуховских теплиц, где позднее кормили советских писателей едой, любовно и завистливо описанной Булгаковым: стерляжи окорочка и прочее. Во времена моего детства там находилась писательская поликлиника с зубоврачебным кабинетом, где зубы детям сверлили без – это я точно помню – всякого обезболивания. Хорошие дети не кричали, не вырывались и не мешали врачам работать. Плохие дети все это проделывали, им должно было быть стыдно.

В эту большую комнату с резной дверью приходили гости. Они были двух сортов: или родственники матери, или друзья отца.

Родственники матери, люди чиновного сословия, онемели бы в присутствии друзей отца: актеров, писателей, профессиональных шут-

ников, популярных композиторов, Наша мать называла их эстрадниками – сама она предпочитала серьезное искусство. Разговор в те годы был у них быстрый и веселый, все умели рассказывать истории. Многие из них были из Одессы и прочих южных мест, они умудрялись есть и шутить даже во времена голода и молчания. И все друг другу, как справедливо написала в своем письме доносчица, помогали.

А родственники жаловались на болезни. Они наводили друг на друга минометы своих непревзойденных несчастий. Сделавший первый выстрел получал тактическое преимущество: я тебе рассказал про мою чудовищную мигрень, а ты, вместо сочувствия, лезешь со своим ерундовым артритом в коленке. Конечно, другой думал: мой личный артрит в коленке мне дороже, чем мигрень в твоей глупой голове, – но надо было показать, что любишь родственника больше самого себя. Они были специалисты по своим болезням, знатоки, гурманы, архивисты этого дела – ничего другого на свете они не знали так досконально. Смешно – хотя смешно ли это? – что на самом деле их жизнь состояла из несчастий страшнее повышенной кислотности и артрита. Но они говорили об изжоге, это было роскошью: у нас теперь нормальные жалобы, все как у людей.

Дядя Зиновий, старый большевик, ушел на ту «единственную гражданскую» добровольцем. Он служил в велосипедных войсках, а потом в кавалерии. Девятнадцати лет он вернулся домой «на белой лошади и весь покрытый вшами». Он мне объяснял: «В девятнадцать лет я вдруг понял, что меня могут убить!» А до этого, значит, не понимал.

После окончания семейных обедов мой любимый дядя пел городскую песенку двадцатых годов про Сереньку-пролетария:

И был он член завкома,
И был он член парткома...
Но:
У этого Сереньки
жена была с уклоном
Накрашенные губки,
Коленки ниже юбки.
А это, безусловно,
Весьма позорный факт

Песенка про Сереньку была до такой степени народная, что даже в нашей семье никогда не упоминалось авторство Владимира Захаровича. А ведь именно Масс, соавтор моего отца, эту песенку сочинил. Впрочем, прошлое вообще не упоминалось. Так было без-

опаснее. Например: что делал мой тихий подкаблучный дядюшка до девятнадцати лет в Конармии, когда он и о своей смерти не задумывался, а уж тем более – о чужой?

Еще один человек грозился на мне жениться: старик-столяр. Он сделал родителям на заказ книжный шкафчик и тумбочку, выкрашенные морилкой под красное дерево. В шкафчике хранилось несколько подозрительных – не то чтоб запрещенных, но сомнительных, – книжек. Тэффи, Аверченко, Зощенко. Мать просила их уничтожить, отец не согласился. Такие маленькие бумажные тетрадки. Они до сих пор у меня. Столяр сделал мне в подарок детский стульчик и пел популярную песенку, сочиненную моим отцом:

Закурю-ка, что ли, папиросу я
Никогда я прежде не курил
Полюбил я девочку курносую...

Столяр подмигивал, а я ужасно стеснялась. Я не привыкла, чтоб мне объяснялись в любви. В нашей семье детям указывали в директивном порядке, чему ты должен или не должен радоваться, о чем тебе следует плакать, а когда ты должен чувствовать себя счастливым. Наказание начиналось, как у Орвелла, не на уровне проступков, а на уровне чувств, мотивировок и эмоций, которые маленький ребенок не умеет вначале скрывать. Но скоро, очень скоро научается!

Вот поэты – они и вправду поэты – остаются маленькими детьми, эмоции скрывать так до конца и не умеют. Поэтому у поэтов всегда бывали серьезные неприятности; они плакали не о том, радовались не когда надо.

Но не все поэты. Не Вера Инбер, например.

Мать пела мне колыбельную, всегда одну и ту же. У всех наций есть такие колыбельные-страшилки, но эта была еще и обвинительная.

Ночь идет на мягких лапах,
Дышит, как медведь...

– она бежит, медведь вослед! –

Мальчик создан, чтобы плакать,
Мама, чтобы петь.

В конце жертвенная мама умирает:

Мальчик будет горько плакать,
Мама будет спать

Позднейшее творчество Веры Инбер объясняют паническим страхом, в котором она прожила свою жизнь. Но эта жуткую колыбельную она написала еще в двадцатые годы, когда была кум королю, вернее – кузина наркому Троцкому.

Как жаль, что моя мать не выбрала что-нибудь другое из раннего творчества своей любимой поэтессы. Например:

Уходит капитан в далекий путь,
Оставив девушку из Нагасаки...
Кораллов нити красные, как кровь,
И шелковые блузки цвета хаки...

Это тебе не усы позакуржавели. Я бы выросла другим человеком. У меня бы жизнь совершенно иначе сложилась.

Тем более, что у меня даже и шелковая блузка цвета хаки была. Вернее не блузка, а маленькое детское кимоно с оранжевыми хризантемами. Не из Нагасаки, города, от которого вскоре после моего рождения осталась только радиоактивная пыль. Скорее всего – из Токио. Я запомнила на всю жизнь это кимоно, и еще платье сизого, голубиноного цвета, из японского тисненого ситца с крошечными незабудками. Никогда больше у меня такой одежды не было и не будет. Подарил мне эти сокровища не капитан какой-нибудь, ухोдивший в далекий путь, а друг моего отца Зиновий Гердт, каким-то чудом побывавший в Японии. Еще, по рассказам, были пеленки, нарезанные из подаренного кем-то парашютного шелка – материи, на редкость неподходящей для пеленок.

В те годы восстанавливались имперские обычаи. Раньше не было формы в школах, но я пошла в школу уже в форменном платье с плисированной юбочкой, со стоячим воротничком, как в Смольном институте. Детям попроще форму покупали в магазине, она была из штапеля, а у самых бедных – из какого-то сатина. Но мне форму шили в ателье Литфонда из дорогой ткани кашемира. Все равно носить ее надо было с сентября по июнь, каждый день, она не сменялась и не стиралась. К концу учебного года ребенок вырастал, юбочка уже не вполне прикрывала позорные розовые или голубые резинки с застежками, к которым пристегивались нитяные, в резиночку, коричневые чулки.

Я, прочитав «1984» Орвелла, удивилась – откуда он все знал про бытовой ужас тоталитаризма? Про запах канализации, про физическое унижение? Он это все знал по английской закрытой школе. Они жили в таких же гигиенических лишениях, с тем же чувством постоянного долга перед империей, так же лишённые уважения к ценности внутренней жизни, к человеческому, к слабому.

А между тем родилось уже то, что со временем должно было

разрушить книжное засилье и сделать детей совершенно нетерпимыми к занудству и скуке – появился первый телевизор.

КВН-49 появился именно в том сорок девятом году, когда с космополитизмом боролись. И так получилось, что связано было и то, и другое – и телевизор, и обличение космополитов – с одним и тем же человеком, другом нашей семьи Василием Ивановичем, Васей Ардаматским. Именно он был обладателем первого увиденного нами телевизора, еще до того, как телевизоры поступили в открытую продажу. Васе Ардаматскому за особые заслуги выдали телевизор в какой-то очень важной организации. Ума не приложу – в какой?

Он сочинил фельетон «Пиня из Жмеринки», опубликованный в «Крокодиле», – фельетон до такой степени антисемитский, что даже в те времена люди выражали свое к Васе отвращение. Но и после написания фельетона он остался другом семьи. В какой-то момент, уже подростком, я занялась тем, что называли «критиканством» и допытывалась: как можно было дружить с Васей? Мне было сказано – и справедливо: «Ты ничего не понимаешь».

Не помню никаких почти телепередач, кроме сетки настройки. Таинственное изображение, некий орнамент в стиле не земной, а инопланетной цивилизации. Подходящим фоновым звуком для этого изображения был бы шум глушилок. Но глушилки появились в нашей жизни позже: шум эфира, который мы слушали по ночам. Ночной зефир струит эфир. Ловили обрывки музыки, или, еще ужаснее и прекраснее – слов.

Какие-то телепередачи были. Чаше всего показывали спектакли МХАТа, в основном пьесы Островского, которого я невзлюбила и оценила только намного позже. Крошечная серая Уланова плясала на мигающем сером фоне. Помню фильм, назывался «У них есть Родина», про советских детей, которые остались после войны в Европе. Они рвутся домой из мира капитализма. Интересно было, потому что про заграничную жизнь.

А вот – вечер, родители ушли на встречу Нового года в ЦДРИ. Моя мать читалась литературы девятнадцатого века и любила общество. Не в советском смысле, общественицей она не была, а в смысле дореволюционном: принят в обществе, ездит в общество. Общество было: ЦДРИ, Дом Актера, Дом Кино, Дом Литераторов.

Мы с тетушкой сидим под елкой. Елка до потолка, а потолок высоченный, с лепными бордюрами и плафонами работы крепостных мастеров. И у нас уже есть свой собственный КВН-49 с линзой, в которую налита дистиллированная вода. Показывают кино «Светлый путь». Фильм состоит на три четверти из радостного финала. Белокурая, светящаяся Любовь Орлова идет, и идет, и идет из глубины

кадра, между бесконечными рядами тарахтящих ткацких станков... Конечно же Александров видел чаплинские «Новые времена». У Чаплина так темно, а у Александрова так светло: два мира, два конвейера, у них человек человеку – волк, а у нас – наоборот. Все стучит и грохочет, клапаны двигаются, на часах стрелки прыгают! Только у Чаплина движение в кадре справа налево, а у Александрова прямо на нас, в лобовой перспективе – типичная композиция конструктивизма, футуризма, Родченко и Маринетти. Всяческие поезда-самолеты, трубы сияющие, колонны марширующие. Победные фаллические атрибуты социализма и фашизма.

Идет и идет Любовь Орлова, по сторонам – станки, станки, станки, она идет и поет, и ниточки связывает: труд наш есть дело чести, в своих дерзаниях всегда мы правы. Занятие это в ткацкой промышленности называлось: подсучалка на ходу.

Наутро на нашем полированном английском столе лежат принесенные родителями подарки, сувениры встречи пятьдесят третьего года в ЦДРИ: миниатюрное серебрянное ведерко, наполненное кусочками виноградного сахара, а на этом игрушечном льду – бутылочка игрушечного шампанского. Вечернее платье матери из изумрудной тафты с малиновым отливом, блестящее и шуршащее, сшитое частной портнихой, висит на плечиках.

Игрушечным шампанским и тафтой я еще восторгалась, но восторги мои кончились довольно быстро. Владимир Набоков вспоминает свое детство с умилением, ничуть не замутненным сознанием какого-либо социального неравенства и разночинскими муками совести. В этом мы с Набоковым не похожи. Я-то начиталась про Павлика Морозова и к материальному благополучию относилась с подозрительностью и осуждением, особенно к родительскому.

После двадцатого съезда произошли изменения не только в области культуры и политики, но и в экономике. В пятьдесят пятом году началось в нашей семье приобретение недвижимости. Нас стали меньше воспитывать, что было хорошо. Но и книжек стали покупать меньше. Родители полностью ушли в строительные работы.

Но собрания сочинений выкупались по подписке журнала «Огонек» и складывалась на верх большого славянского шкафа, из тех, у которых внутри зеркало, нафталин и dust. Там они лежали, ожидая переезда в первый писательский кооперативный дом на Аэропорте, известный позднее под кличкой «Розовое гетто».

В кооперативной квартире появились построенные на заказ книжные полки и даже застекленный шкаф с красивыми слюдяными окошками, где хранились наиболее ценные и редкие издания, а также

книжки, неподходящие для детей. На полках стояла классика, до которой я теперь могла легко дотянуться. Поэтому классику я начала читать рано и прочла почти что в подлиннике.

Увидела недавно справедливое замечание: люди классику в подлиннике, то есть без предварительных объяснений, без комментариев и предвзятого пиетета, — никогда не читают. У меня это почти случилось, и даже дважды. В первый раз в раннем детстве, когда я пропахала собрания сочинений задолго до школьной скуки. И во второй раз уже из чужой цивилизации, живя в другом языке, когда я начала снова читать по-русски после долгого перерыва и уже зная, что солнце не ходит вокруг плоской земли и что в центре мироздания не находится русская литература.

Было совершенно ясно, что классики так и задались с ранней юности задачей: написать собрание сочинений. В этом была их классичность, упорядоченность. У каждого — свой взвод, полк, в мундирах разных казенных цветов: молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Вагоны стучат мимо по насыпи, под ними Анна Каренина со своим маленьким красным мешочком; из вагона, где плакали и пели, выходят князь Мышкин с Рогожиным — в конце ноября, в оттепель, часов в шесть утра, поезд Петербургово-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу, было так сыро и темно... Это я наизусть заучивала; магические тексты, мантры, заговоры из другого мира. Читала, почти ничего не понимая, — было мне лет одиннадцать-двенадцать. Вот тогда я и решила, что только в книгах — все настоящее, а люди, среди которых я живу, — так, недоразумение. Идея, очень популярная среди детей и подростков.

Хотя — вот Грибоедов был классик, но у него не было собрания сочинений. Только «Горе от ума», очки и хохолок, как у героя сказки Перро. Я его за это жалела.

Вот еще одна книжка с картинками: «Горе от ума», исключительно роскошное издание — мне давали только рассматривать, и то под надзором. Книжка принадлежала матери. Она когда-то училась в театральной школе и играла роль Лизы.

Книжка эта издана в 1923 году, к столетию написания пьесы. Обложка желтого яичного цвета: цвет русского ампира, фамусовского особняка, замоскворецких переулков, по которым я потом так много ходила, прогуливая уроки. Множество заставок, виньеток; изящные черные силуэты, как узорчатые чугунные изгороди и ворота. Фотографии актеров в ролях. Несмотря на мхатовский реализм, все они в вычурных позах, с размалеванными лицами. И вклеенные цветные картинки — эскизы декораций, эскизы костюмов. Я смотрела

с благоговением, думая, что они настоящие, нарисованные. Боялась пальцем потрогать, чтоб краска не сошла.

Выходные данные:

«Обложка, заглавная буква 'Н', виньетка к статье Вл. Ив. Немировича-Данченко и эскиз декорации IV акта работы художника М. В. Добужинского.

Виньетки и заглавные буквы к статьям: от автора и Н. Эфроса работы худож. С. В. Чехонина.

Все заставки, концовки, эскиз декорации 1-го акта...»

– и так далее, и так далее. «От автора», между прочим, – вовсе не про Грибоедова, а про Немировича-Данченко. Вот эта отдельно упомянутая «заглавная буква 'Н'» и то, что Добужинский – «художник», а Чехонин – просто «худож.», но Добужинский всего лишь «М. В.», а Немирович-Данченко более почтительно – «Вл. Ив.», вся эта загадочная иерархия с суеверным почтением к роли каждого – даже и буквы «Н» – все это доказывает правдивость «Театрального романа». Действие у Булгакова как раз и начинается в двадцать третьем году.

Немирович-Данченко извиняется в своем предисловии за излишний реализм МХАТа. «Кажется, – говорит Вл. Ив., – что со времени прошлой постановки 'Горя от ума' на театре прошло не 15, а сто лет.»

Двадцать третий год, Мейерхольд в начальниках.

– Не грустите, – хочется ему ответить, – За следующие 15 пройдет двести. И не только на театре.

А в начале двадцать первого века, стоя на канале Грибоедова, я начала было объяснять англоязычной аудитории:

– Грибоедов – автор одной-единственной пьесы, которую знают все в этой стране. Главный герой, живший за границей, возвращается в Россию полный надежд и воспоминаний, но двуличие... коррупция... грубая лесть...

Тут англоязычная аудитория заскучала и начала рассматривать памятники архитектуры, и я поняла, что уже говорила все это – от своего лица.

Ведь пьеса-то про нас! Чацкий – совершенно понятный нам, эмигрантам, человек. Наши неуместные, бестактные пламенные монологи начались с момента поднятия железного занавеса и продолжают до сих пор. Трудно было нам с Чацким удержаться от лекций, сравнений и советов, от праведного возмущения и порицания. Попав с корабля на бал, да еще и со сменой временных поясов – сорок пять часов, глаз мигом не прищура – сколько же я говорила! И все лишнее. Мои знакомые, с которыми мы когда-то читали вольнодумный самиздат – в темном уголке, вздрогнём, как скрипнет дверь, – теперь они представляли друг друга к крестикшу и к местечку.

Нелепые мои проповеди, попытки кидаться к окну и открывать форточку в задымленном сладким и приятным дымом помещении – все это вызывало сначала тихое, а потом и явное раздражение людей, живущих в цивилизации, где боятся сквозняков.

Я вопила: «Блат! Коррупция! Непотизм вопиющий!»

– Но как не порадеть родному человечку? – удивлялись мои знакомые.

Как раз в дни моего приезда праздновался очередной славный юбилей, и крестишки были вполне реальные, почти каждому представителю интеллигенции начальство выдало на той неделе по ордену. Милая, очень интеллигентная журналистка с гордостью рассказывала о снятом ею для телевидения сюжете: торжественное открытие нового храма.

И в воздух чепчики бросали.

– Храм же уродливый! – возмущалась я. – Бюджет разокрали! ОБХСС бы на ваш ХХС! В стране дети беспризорные, проституток экспортируете, амуры и зефиры все распроданы поодиночке! Детские приюты надо строить, а не храмы!

Ясно помню ощущение, что за спиной у меня переглядываются и пересмеиваются. Наивняк Чацкий, такой наивняк...

Мой раж был неуместным и бестактным, и я начала чувствовать себя даже и не мечтателем опасным, а хуже, таким придурочным Кандидом. Что-то объединяло их, моих бывших друзей, мне уже недоступное. Понимание, что рассчитывать можно только друг на друга, а для этого помогать друг другу всеми возможными способами, и детям друг дружкиным помогать, и держаться вместе, старых связей не нарушать, и для этого не морализировать.

Не порядочность их теперь объединяла, а взаимопомощь.

Все это было много лет назад. Вообще-то говоря, все эта взаимопомощь сильно ухудшила ситуацию. Теперь Храм стал для интеллигентов печальным символом. Моя правота как бы подтвердилась – но была ли это правда? Правильные мысли, высказанные в неправильном месте и в неправильное время, – глупость. Историческая несправедливость заключается еще и в том, что ничтожество, оказавшееся там, где нужно, в подходящий момент, – уже и не ничтожество.

Что еще можно сказать про мое замечательное издание «Горя от ума»?

Художник Добужинский эмигрировал уже в следующем, двадцать четвертом, году. А худож. Чехонин – через пять лет. Карету мне, карету – и так далее.

Нью-Йорк

ЗАМЕТКИ. ЭССЕ

Сергей Голлербах

Голос двух столетий

К столетию Ивана Елагина (1918–1987)

Поэту Ивану Елагину (Ивану Венедиктовичу Матвееву) в этом году исполнилось бы сто лет. Уроженец города Владивостока, он провел молодые годы в Киеве, во время войны попал там в немецкую оккупацию, прошел тяжелый путь беженца и по окончании войны оказался в американской оккупационной зоне, став «перемещенным лицом», или ди-пи. Вся Западная Германия была тогда полна беженских лагерей и ди-пицы не хотели оставаться в Германии. Они боялись, что могущественный Советский Союз вскоре захватит всю Европу и либеральные западные демократии не будут способны тому воспротивиться. Надо было бежать за океан, предпочтительно в Соединенные Штаты, куда Ивану Елагину, как и автору этих строк, и посчастливилось иммигрировать. Из ди-пи мы стали эмигрантами второй волны. Мне, одному из немногих оставшихся ее представителей, дана возможность рассказать об этом времени и о моей дружбе с Иваном Елагиным, длившейся сорок лет, — со встречи с ним в 1947 году в Мюнхене и до его кончины в Питтсбурге в 1987 году.

Советская власть наложила на вторую волну клеймо «изменников Родины». Да, мы были «изменниками», но не родины, которую мы любили всем сердцем, а сталинской диктатуры, которую ненавидели и в числе жертв которой оказался отец Ивана Елагина, поэт-футурист Венедикт Март, расстрелянный в 1938 году.

Отношение Ивага Елагина к советской власти было ясно:

О Россия – крошечная тьма
О, куда они близких дели?
Они входят в наши дома,
Они щупают наши постели...

Разве мы позабыли за год
Как звонки полночные били,
Останавливались у ворот
Черные автомобили...

И замученных, и сирот –
Неужели мы всё забыли?
«По дороге оттуда», Нью-Йорк, 1953

Нет, не забыли, как не забыли и годы войны, и эти переживания нашли отклик в творчестве поэта.

В последнее время появилось мнение, что из трех волн российской эмиграции наша, вторая, волна не создала каких-либо значительных культурных ценностей. Такое мнение нельзя считать справедливым. Конечно, первая волна вынесла за пределы России почти весь ее Серебряный век, «Мир искусства», балет Дягилева, писателей, композиторов, ученых. Третья волна – значительную часть интеллектуальной и художественной элиты Советского Союза. Число интеллигенции во второй волне было действительно гораздо меньшим – и вот по какой причине: когда началась война, советская власть сразу же стала эвакуировать квалифицированные кадры вглубь страны, и в немецкую оккупацию попали лишь те, кто по разным причинам не смог или не успел уехать в тыл. К ним по окончании войны прибавились военнопленные, уцелевшие в немецких лагерях и тоже не хотевшие возвращаться домой и становиться жертвами сталинской мести. Среди них оказалось много талантливейшей молодежи, начавшей учиться еще на родине, но созревшей и раскрывшей свои дарования уже на Западе. Иван Елагин – блестящий тому пример, но не единственный. Следует упомянуть поэтессу Валентину Синкевич, поэтов Николая Моршена, Олега Ильинского, прозаика Сергея Максимова.

У каждого отрезка времени есть свой голос. Иван Елагин был голосом нашего поколения, второй волны эмиграции. Эта волна стала связующим звеном между первой и третьей волнами, и созданное ею целиком вписывается в то, что сейчас справедливо называется «единым культурным пространством».

Иван Елагин стал писать стихи еще в России, но творческой зрелости достиг уже на Западе. Его большой талант оценили как представители первой волны – Роман Гуль и Иван Бунин, так и последующее поколение – Иосиф Бродский, Евгений Евтушенко и Александр Солженицын.

Иван Елагин вернулся на родину своими стихами еще до распада Советского Союза; о творчестве поэта было написано много статей и при его жизни, и после его кончины. В 1998 году в Москве, в издательстве «Согласие», вышли два тома стихотворений Ивана Елагина с обширным предисловием Евгения Витковского, одного из лучших российских исследователей культуры русской эмиграции.

Несомненно, к столетней годовщине появится еще множество статей о творчестве поэта. Не считаю нужным добавлять к ним что-то от себя, тем более потому, что я – художник, а не литературный критик. Все же позволю себе взглянуть на творчество моего друга именно глазами художника – и вот почему: Иван Елагин любил искусство и дружил с художниками. Его сверстником и ближайшим другом еще по Киеву был художник Сергей Бонгарт, тоже эмигрировавший в Соединенные Штаты. Переписывался Иван Елагин и с художником Владимиром Шаталовым из Филадельфии, а мне предоставилась возможность сделать обложки для нескольких сборников стихотворений поэта и даже иллюстрировать один из них – «Дракон на крыше». Любить искусство – еще не значит его понимать. Иван Елагин понимал искусство, знал, что в нем существуют не только красота и гармония, но и гротеск, и вызов. Наконец, в своей поэзии он создал чисто зрительные образы-символы, как делает это настоящий художник.

Бомбы истошный крик –
аэродром в щебень!
Подъемного крана клык –
на привокзальном небе.

Ты, мое столетие!

или:

Уже последний пехотинец пал,
Последний летчик выбросился в море.
А на путях дымятся груды шпал
И проволока вянет на заборе

Они молчат – свидетели беды.
И забывают о борьбе и тлене
И этот танк, торчащий из воды,
И этот мост, упавший на колени.

Для меня, как художника, «подъемного крана клык», «танк, торчащий из воды» и «мост, упавший на колени» представляют собой зрительные, графические образы, нарисованные рукой поэта. Они черно-белые, им не мешает цвет, и поэтому они особенно выразительны. Всех художников можно условно разделить на графиков и живописцев. Графики видят силуэт и линию, живописцы «мыслят

цветом». Пикассо был графиком, Клод Моне – живописцем. Применяя эту условную формулу к поэзии, можно сказать, что в этих стихотворениях Иван Елагин – график, – и сразу же мысль обращается к знаменитому черно-белому полотну Пикассо – «Герника». Стихи Ивана Елагина военного и послевоенного периода – это его поэтическая «Герника».

Конечно, его поэтическое наследие многообразно. Человек широкого кругозора, большой жизнелюб, Елагин обращал внимание на множество вещей и явлений, на эмигрантский быт, на природу новой для него страны, где он много путешествовал. Он описывает встречи, высказывает свои мысли, он не чужд сатиры, он думает о жизни... Уже больной, он думал и о неизбежном ее конце. В Америке Иван Елагин написал одно замечательное стихотворение:

Мне не знакома горечь ностальгии.
Мне нравится чужая сторона.
Из всей – давно оставленной – России
Мне не хватает русского окна.

Оно мне вспоминается донине,
Когда в душе становится темно –
Окно с большим крестом посередине
Вечернее, горящее окно.

Мне не известно, был ли Елагин религиозным человеком, мы никогда не касались этой темы. Все же, «большой крест посередине» написан поэтом неслучайно. И снова напрашивается сравнение с творчеством другого замечательного человека, с которым я был знаком в Нью-Йорке, – со скульптуром и графиком Эрнстом Неизвестным. В одном из документальных фильмов о нем он говорит о том, что ему везде видится крест. Два глаза и нос – это крест; ветви, отходящие от ствола дерева, – это крест. Но крест – это не только Распятие Христа, но и распятое человечество. Так и называется одна из скульптур Эрнста Неизвестного. Можно, я думаю, предположить, что крест посередине русского окна – это крестный путь России за всю ее многовековую историю. Что же касается окна, то и тут можно увидеть символ: оно находилось за железным занавесом, отделявшем нас от родины. Мы никогда не закрывали на нем ставни, только задерживали занавеску, когда слишком больно было смотреть на то, что происходит в России.

Поэзия Ивана Елагина – это голос нашей второй волны российской эмиграции, голос ясный и предельно выразительный. Прозаик

Леонид Ржевский, как и мы – эмигрант второй волны, но старшего поколения, сказал мне как-то, что знал только двух поэтов, умевших читать свои стихи – Владимира Маяковского и Ивана Елагина. Да, Елагин умел «подать» свои стихи. В этой подаче кое-кто находил излишний пафос. Допустим, что так... Позволю себе снова привести пример из области искусства. По сравнению с религиозной живописью раннего Возрождения искусство барокко, полотна Караваджо тоже полны религиозного пафоса, игры светотени, что отсутствует в восточном христианстве.

«Герника» Пикассо и «Распятие человечество» Эрнста Неизвестного тоже полны пафоса. В одном из стихотворений Ивана Елагина повторяется строка «Ты, мое столетие!» Двадцатый век был страшным столетием для всего мира, для России. А двадцать первый? В две тысячи первом году, будь он жив, Ивану Елагину было бы всего восемьдесят три года, и он мог бы видеть катастрофу двух башен Мирового Торгового Центра. Пали на колени уже не мосты, а высотные здания, и клыки их остовов торчали вверх. «Герника» продолжается теперь повсюду, и «перемещенных лиц» становится все больше. Мы находимся «В зале Вселенной» – название одного из сборников Ивана Елагина, мы живем «Под созвездием топора» – название его другого сборника, и над нами «Тяжелые звезды» – название последнего сборника поэта.

Иван Елагин – поэт двух столетий, прошлого и недавно начавшегося. И в этом мире непрекращающихся войн, бегств и всякого рода социальных потрясений нам, живущим в Зарубежье, Иван Елагин оставил русское окно, которое никогда не закроется для тех, кто любит нашу родину, наш язык и нашу культуру. Спасибо тебе, Иван, за те богатства, которые ты нам дал в своем творчестве, за то, что твой голос был не только голосом нашей волны, нашего поколения, но и голосом страждущего человечества, – за то, что не только мы его слышали, но он слышен будет и последующим поколениям. Спасибо тебе, что ты был среди нас!

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Сын кадета

Памяти князя В. К. Голицына (1942–2018)

22 февраля 2018 года не стало князя Владимира Кирилловича Голицына, президента Русского Дворянского собрания Северной Америки, многолетнего старосты Синода РПЦЗ, члена Совета директоров корпорации «Новый Журнал», видного общественного деятеля Русского Зарубежья.

Владимир Кириллович родился в Белграде 29 января 1942 года в семье белоэмигрантов. По линии матери, Марии фон Энден, он принадлежал к роду фон Энденов, оказавшихся в России во времена Петра Великого. Со стороны отца, князя Кирилла Владимировича Голицына, он был корнями связан с историей становления Российской империи; его предок, боярин Борис Алексеевич Голицын, был воспитателем Петра I, род шел от Гедимины.

Роды Голицыных и Энденов принимали активное участие в Белом движении. Вместе с армией барона Врангеля родители Голицына были эвакуированы из Крыма в Константинополь, затем оказались в Югославии. Отец Владимира Кирилловича учился в Крымском кадетском корпусе. Он завещал сыну свято беречь традиции русских кадет – и Владимир Кириллович много сил и энергии отдал делу сохранения кадетского братства. Много лет он был назначаемым Объединения кадет Российских кадетских корпусов за рубежом; участником и одним из организаторов кадетских съездов, включая последний. При его содействии на месте казни белых офицеров на Скотском кладбище в Югославии был водружен Крест-памятник.

До конца дней своих оставаясь антикоммунистом, Владимир Кириллович свято верил в возможность возрождения свободной России. Впервые Владимир Кириллович попал в Россию в 1990 году. В 2000-х он участвовал в перезахоронении праха генерала А. Н. Деникина. Он был среди тех, кто помогал создать в современной России кадетские корпуса, а позднее принимал участие в возвращении на родину знамени Сумского кадетского корпуса и в передаче в Москву архива Объединения кадет Российских кадетских корпусов за рубежом.

В США семья Голицыных попала в 1951 году со статусом ди-пи – «перемещенные лица». Они поселились в Бруклине, жили крайне бедно. Поддержку семье, как и большинству русских эмигрантов, оказал Толстовский Фонд и лично А. Л. Толстая и Т. А. Шауфус, кото-

рую Владимир Кириллович хорошо знал с детства, с послевоенной Германии. Юный Володя – «Миша», как звали его в семье – и это имя было единственным для его друзей на протяжении всей его жизни, – получил стипендию Фонда, закончил образование и устроился на работу в Bank of America. В этой банковской корпорации Владимир Кириллович проработал до пенсии, занимаясь международными финансовыми операциями. Он возглавлял Восточно-Европейский отдел, что позволило ему быть в курсе основных событий на советском пространстве.

Князь Владимир Кириллович Голицын был глубоко верующим, воцерковленным человеком. Жизнь его была неразрывно связана с Русской Православной Церковью за границей. На протяжении сорока лет он был старостой прихода Синодального собора Знамения Божией Матери, в котором хранится святыня РПЦЗ и всей белой эмиграции – икона Курской Коренной Божией Матери.

Значительную часть его жизни занимала общественно-культурная работа. Четверть века он был вице-президентом Русского дворянского собрания (Russian Nobility Association) в Нью-Йорке; в 2018 году, после кончины президента RNA К. Э. Гиацинтова, Владимир Кириллович принял этот ответственный почетный пост.

На протяжении многих лет Владимир Кириллович состоял в корпорации «Новый Журнал», был членом Совета директоров корпорации. При его поддержке и участии осуществлялись проекты НЖ по собиранию и сохранению истории и культуры русской эмиграции.

Трудно поверить, что этого жизнерадостного, неунывающего, ироничного человека больше нет среди нас. Неиссякаемая жизненная энергия и какая-то юношеская независимость исходили от него. Помню, как в начальных 2000-х на одном из конгрессов, собравших российских соотечественников со всех стран, за прощальным ужином соседний стол затянул советскую патриотическую песнь – Голицын поднялся: «А что же мы, господа?!» – и мы грянули: «...мы победили – и враг бежит, бежит, бежит! / Так за Царя, за Русь, за нашу веру мы грянем дружное ура, ура, ура!..» Стало радостно, шумно, отчаянно хорошо! Тогда мы перепели «красный» стол. Тогда верилось, что свободная Россия возможна.

Он ушел 22 февраля – в день начала Кубанского Ледяного похода, «Корниловского похода». 22 февраля 1918 года родилась Белая Армия. Через сто лет в это день сын белого кадета, князь Владимир Кириллович Голицын, ушел в мир иной. Навсегда соединившись с белопоходцами.

Он всегда верил в Божие Провидение. И оно не оставило его. Так и должно было случиться. Прощай, Миша. Храни тебя там Господь!

26 февраля 2018 года в Знаменском Синодальном соборе Первоиерарх РПЦЗ митрополит Нью-Йоркский Иларион (Капрал) возглавил чин отпевания; в тот же день архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил (Чемодаков) совершил чин погребения на Русском кладбище при Ново-Дивеевском монастыре. Там, где нашли упокоение белые кадеты-эмигранты.

Корпорация и редакция «Нового Журнала» выражает свои глубокие соболезнования вдове покойного, Татьяне Казимировне Голицыной, детям и родным князя В. К. Голицына.

Марина М. Адамович, гл. редактор НЖ

БИБЛИОГРАФИЯ

Вульфина Лариса. Неизвестный Ре-Ми: Художник Николай Ремизов. Жизнь, творчество, судьба / Сост. указ. имен В. Е. Климанов; ред. Е. Д. Щепалова; коорд. проекта А. А. Евдокимова. – Боролево-1; указ.: Москва: «Кучково поле». – 2017. 304 с.; ил.

Не многие таланты обречены быть знаменитыми. Николай Ремизов – из их числа. Тем более странной кажется его судьба: сначала, уже при жизни, он был позабыт на отторгнувшей его родине, а затем – и в свободном мире, там, где Ремизов жил с конца 1910-х, успешно работал и пользовался (по слову компетентного наблюдателя) «не меньшей известностью, чем Марк Шагал». Удивительным образом он оказался надолго если и не в полном забвении, то где-то на периферии внимания исследователей и ценителей искусства: едва ли кто-нибудь из них мог бы припомнить что-либо из созданных Ремизовым образов, кроме нескольких сатириконовских шаржей да энергичных иллюстраций к истории Чуковского про Крокодила и доблестного Ваню Васильчикова. Художник удалился в мир теней, оставив реальному миру, как Чеширский кот, лишь улыбку.

Только что выпущенная в свет московским издательством «Кучково поле» монография американской исследовательницы Ларисы Вульфиной – обстоятельный, весьма документированный, хорошо продуманный, а потому убедительный рассказ о сложных перипетиях жизни незаурядного человека, о его надеждах, о его трудах, о его разнообразных достижениях, о его значении, – и о механизмах коллективной памяти.

Предложенный нам рассказ, прежде всего, – об очень продуктивном художнике, и потому важно, что этот рассказ организован наглядно. Монография представляет собой полноценный, хотя и не обычного альбомного формата, альбом, с большим количеством изобразительных материалов: репродукций живописных, графических, сценографических, декоративно-прикладных, архитектурных, интерьерных работ мастера, афиш и плакатов, фотографий. Все эти материалы, как и письменные документы, использованные автором в тексте, извлечены из архивов и библиотек, в которых мало кто бывал, а в некоторых из них большинство интересующихся и не побывает никогда. Следы художника и свидетельства о его трудной судьбе рассеяны теперь по России, Украине, Средней Азии, Западной Европе, Северной Америке. Увлеченность своей темой и незаурядная исследовательская энергия позволили Ларисе Вульфиной обнаружить, изучить, проанализировать, аккуратно систематизировать и изложить удобным для читателей образом документы и произведения, о существовании которых трудно было даже догадываться. Теперь всё это можно увидеть своими глазами.

Книга построена особым образом. Основную ее часть составляет изложение исследователем выявленных материалов в соответствии с хро-

нологической чередой отслеживаемых событий. В качестве названий глав здесь использованы даты, рубежные для жизненного пути героя: «1887–1918: Петербургские годы», «1918–1921: Отъезд из Петрограда. Одесса – Константинополь – Париж» и так далее. Нарушением выбранного автором принципа выглядит включение в одну из глав, про «чикагский период», публикации «Пять писем Бориса Григорьева: 1934–1935». Впрочем, такое отступление Ларисы Вульфиной от принятого ею же правила объяснимо и вполне уместно: предисловие публикатора объясняет важный человеческий и жизнеописательный смысл приведенных здесь писем, – который во многом существенном мог бы быть утрачен при выборочном цитировании. Завершена же хронологическая часть повествования о Николае Ремизове естественным финалом, фиксирующим завершение жизненного пути художника: «1937–1975: Под солнцем Калифорнии».

Но финал земного существования – не финал книги, поскольку следующая за этим глава имеет уже тематический характер. Уход биографа за последние вехи биографии Ремизова объясняется именно темой, составившей содержание этой, вполне специального характера, главы: «1939–1960: Голливуд. Работа в кино». Хронологически, таким образом, автор как бы идет вспять и прокручивает заново уже обозначенный ранее сюжет, но в ином ракурсе и используя другую оптику; такой «blow up» позволяет обнаружить, что и на самом излете жизни Ремизов был творчески бодр и свеж, как мало кто бывал. Завершает же монографию раздел «Приложение», – очень ценный для специалистов, но и для всех остальных тоже. Здесь собраны скрупулезно составленные автором перечни изданий, балетных, драматических, кинематографических и телевизионных постановок, в художественном оформлении которых принял участие Николай Ремизов, а также – уже не авторский, а издательский – обширный аннотированный указатель упомянутых в монографии персон.

Едва ли эта книга может быть отнесена к созданному некогда Флорентием Павленковым, поддержанному затем Алексеем Пешковым и ставшему привычным для российского читателя жанру «жизнь замечательных людей», – родовым пороком которого небезосновательно считаются представление того или иного персонажа в наиболее выгодном свете, избегание проблемных тем и неудобных сюжетов. Хорошо фундированное повествование Ларисы Вульфиной отличается честностью. Это не исторический бидермайер, насыщенный уютом и благолепием. С появлением книги о Ремизове читатель получил возможность увидеть мастера не только у мольберта: исследователь показывает художника и в семейном быту, и в его суетливых хлопотах, и во множестве ситуаций, о некоторых из которых он сам, вероятно, предпочитал не вспоминать.

Исследователь не ретуширует образ, воссоздаваемый им по порой мельчайшим фрагментам. Биограф не скрывает, например, определенно

негативного отношения Ремизова к установившемуся на родине «новому строю», к наглым попыткам «советских деятелей» использовать отечественное изобразительное искусство как инструмент коммунистической внешнеполитической пропаганды (с. 98, 113). Ремизов не исключал, по-видимому, злых козней международных «вольных каменщиков» (с. 167). Порой давал основания заподозрить себя в позорных предрассудках: «Какой ужас Шагал с его 'Птицей', – раздраженно заметил он, например, в середине 1940-х по поводу «Жар-птицы» Игоря Стравинского, постановки нью-йоркского балета в декорациях великого витеблянина, – правда, курица всегда играла большую роль в его творчестве. Как можно такое тончайшее 'русское', что дал Стравинский, смешать с 'Янкель кушает компот...'» (с. 222-223). Маэстро, кроме прочего, плохо понимал и совсем не ценил «галиматью» – творчество Пикассо, Ларионова, футуристов и других «левых художников», которых он простодушно трактовал как «жуликов» и «шарлатанов» (с. 114, 120); однако, когда представлялся случай, вполне умел работать и в авангардной манере (с. 165-167). Не скрываются биографом «прозаические» обстоятельства разрыва Ремизова с Никитой Балиевым и его труппой «Летучая мышь» (с. 114-118, 134). В книге не утаивается, что в первые пореволюционные годы Ремизов нередко грешил самоповторами, эксплуатируя то, что было найдено им ранее (например, в книге воспроизведены ремизовские шаржи на Распутина, опубликованные в «Новом Сатириконе» в 1917-м и в «The New York Times» в 1922-м, мало чем различающиеся (с. 74, 107); можно добавить, что аналогичное изображение «старца» было воспроизведено и на обложке выпущенного «Новым Сатириконом» в 1917-м «политического романа» «Позор династии» Николая Брешко-Брешковского), – либо повторял то, что было найдено ранее другими: прагматично разрабатывал вошедшую «в моду» (с. 121) и имевшую спрос, отчасти благодаря предшествовавшим европейским и американским «сезонам» Дягилева, русскую этническую тему, нередко используя образы и приемы родного фольклора, народных промыслов, «строгановской» иконописи, живописи Абрама Пырикова (Архипова) и Бориса Кустодиева, стилизованной графики Ивана Билибина и Николая Рериха, «с дерзкой самоуверенностью как будто выдергивал страницы из блокнота Бакста» (с. 167), откровенно подражал Сергею Чехонину, многократно воспроизводя в своих творениях его розовые бутоны, похожие на капустные кочаны. С той же энергией позднее, во второй половине 1930-х, он будет вдохновляться творчеством старинных немецких граверов и мексиканских муралистов (с. 191, 206-213).

При этом Ремизов искал новые для себя темы и формы, принимая каждый заказ как вызов и возможность, пытаясь даже в самый неорганичный для себя сюжет привнести неожиданное, интимное, инстинктивное. Эти усилия не были бесплодными; Лариса Вульфина отмечает роль своего

героя и труппы «Летучая мышь» Балиева, с которой художник какое-то время активно работал, в приобщении американской не всегда софистицированной публики первой половины 1920-х к мало известным тогда в Новом Свете достижениям российских дореволюционных жанровых живописцев, к варварской роскоши Андрея Рябушкина, к колоритной разнузданности «архиповских баб»: «‘Русский стиль’ (‘Russian Vogue’) Ремизова, как его именовали за океаном, имел безусловное влияние на модные театры и журналы того времени <...>. Резко возросший интерес ко всему русскому – одежде, тканям, кухне, пьесам, музыке, живописи и опере, литературе, русским породам собак и русской вышивке – пресса связывала в первую очередь с театром Балиева, называя ‘Летучую мышь’ с яркими шальями ‘баб’ и удивительным красным Ремизова в одеждах крестьян и цыган ‘калейдоскопическим центром русского цвета’. Модницы Америки, собираясь на променады по Пятой авеню в Нью-Йорке, облачались в яркие, невероятных цветов туалеты. Предпочтение они отдавали душегреям и кокошникам» (с. 112).

В 1924–1936-м, в годы, когда в родном городе художника, на берегах Невы, обыватели и гости тяжело вздыхали вслед за бывшим сатириконовцем Самуилом Маршаком по разным поводам: «Ты не в Чикаго, моя дорогая», – другой бывший сатириконовец Ремизов находился именно в Чикаго и был там, возможно, самым востребованным художником: оформлял постановки крупнейших театральных трупп, проектировал общественно значимые пространства и помещения, успешно занимался коммерческим искусством, активно преподавал. «В 1931 году Ремизов был настолько известен, что ему доверили оформление Стейт-стрит, главной торговой улицы Чикаго, к праздничному рождественскому карнавалу <...>. Праздник удался, народ ликовал. Когда-то молодой художник Ре-Ми заставлял смеяться всю Россию, а в разгар Великой депрессии ему удалось развеселить целый американский мегаполис.» (сс. 139-142)

Ремизов сам понимал, что его жизнь – крупная растрата: «Я исколесил Америку во всех направлениях, – признался он однажды, уже в конце 1930-х, – и везде, где я останавливался, я оставлял частичку себя – в настенных росписях, портретах, театральных постановках» (с. 213). Это действительно могло переживаться им как проблема. Попытавшись однажды, в момент «простоя», «заняться своей личной работой для души», он обнаружил, «как трудно встать на эти рельсы»: «Работа для материальных благ очень тлетворно действует на душу, и остается очень неприятный осадок, который не может выжечь даже американское солнце...» (сс. 118-120). Мастер показан Ларисой Вульфовой в его сложности, во внутренней, а порой и во внешней конфронтации со средой, и внимательный читатель может понять теперь его травмы и скрытые мотивы его творчества, разглядеть эволюцию его художественного языка, его юмора, его иронии, его сарказма; увидеть в его работах те, по Барту, пунктумы, которые придавали

этим работам порой достоинство очень высокого искусства, привлекали к ним внимание самых разных современников и, надо понимать, способны привлечь внимание зрителя сегодня. Автору монографии удалось показать, что Ремизов умел быть не только ловким коммерческим рисовальщиком, автором популярных «веселых картинок», но и искателем истины, созидателем новых смыслов. В нем, как, наверное, мало в ком, сочетались разнообразные качества, необходимые для успешного служения Афине Палладе, или Минерве, покровительнице как ремесел, так и искусств.

Не со всеми утверждениями автора книги можно согласиться, – например, с тем, что крушение Российской империи в 1917 году стало результатом «стараний» Ремизова и его коллег по столичным журналам «Сатирикон» и «Новый Сатирикон» «расшатать устои старого мира» (с. 52). Едва ли уместно называть «уважаемым» одного из крупных советских «искусствоведов, библиофилов и коллекционеров» (с. 70) – теперь, после того, как стало широко известно, что он был также многолетним осведомителем ОГПУ–НКВД–МГБ и принес окружавшим его людям немало вреда. Не обошлось в книге, к сожалению, без неточностей: например, на коллективном фотопортрете сотрудников «Нового Сатирикона» (с. 55) Александр Яковлев ошибочно (пусть и предположительно) назван Константином Юоном; «неизвестный» же возле него может быть уверенно опознан как Александр Юнгер, хорошо известный уже тогда, но особенно впоследствии, как художник-график, архитектор и педагог. Реплика Ремизова о «его величестве фармацевте» (1923) напрасно истолковывается автором монографии как намек на некоего филладельфийского химика-фармаколога, обогатившегося на изобретении антисептика (с. 114); и сам Ремизов, и его коллега и приятель Сергей Судейкин, и многие другие завсегдатаи предреволюционного петербургского литературно-художественного подвала «Бродячая собака» Бориса Пронина называли фармацевтами платежеспособных гостей заведения «не из мира искусства».

Вызывает недоумение и сожаление и то, что оказались недоступными автору монографии изобразительные материалы, хранящиеся в Государственном Русском музее (с. 74). Представляется, что ведущему собранию отечественного изобразительного искусства следовало бы проявлять больше старания в раскрытии фондов для исследователей и широкой публики и иметь в виду весьма успешный опыт Государственного Эрмитажа, демонстрирующего сегодня городу и миру надлежащую открытость.

«Можно ли считать Ре-Ми человеком счастливой судьбы? – задается в финале своего повествования Лариса Вульфина. – Большую часть жизни <...> он благополучно прожил под солнцем Южной Калифорнии, узнавая о трагических событиях и войнах только из газет и писем. Он не был богат, но и не бедствовал. Был окружен известнейшими людьми своего времени, никогда не искал работу – работа сама находила его <...>. Да, ему нередко прихо-

дилось соглашаться на малоинтересные коммерческие предложения, не по внутреннему убеждению, а по обязанности. Зато не довелось писать портреты вождей-тиранов, судьба уберегла его от колеса репрессий, как это случилось с некоторыми из его друзей, решивших вернуться на родину...» (с. 282).

Можно по-разному отвечать на итоговый вопрос автора книги. Вполне и стабильно счастливым, вероятно, Николаю Ремизову быть не довелось. Но нельзя не признать того, что, много лет самоотверженно и беспощадно «растрачиваясь», он не так уж много потерял в итоге. Напротив, благодаря и вопреки всему сумел проявить свои незаурядные силы, реализоваться в разных областях, творчески запечатлеть и себя, и ту реальность, в которой ему довелось тратить свои дни, обогатив мировую культуру – и российскую в частности, которая была бы гораздо беднее, будь в ней лишь то, что печатали во времена Ремизова центральный партийный орган «Правда» и всегда беспощадный к любым врагам журнал «Крокодил».

Евгений Голлербах

Владимир Варшавский. Ожидание. Проза, эссе, литературная критика. – М.: Дом Русского Зарубежья им. Александра Солженицына: «Книжница». – 2016, 752 с.

Имя Владимира Сергеевича Варшавского (1906–1978) принадлежит к числу наиболее цитируемых в работах, посвященных Русскому Зарубежью, особенно – об эмиграции второй волны. В. С. Варшавский – автор знаменитой книги «Незамеченное поколение» о поколении тех, кто детьми покинул красную Россию и чье творческое становление прошло уже в эмиграции. Отдельным изданием книга вышла в Нью-Йорке в 1956 году.

Жизнь Варшавского складывалась не по классическим канонам изгнания. Хотя начало было узнаваемым: детство в Москве, эвакуация из Севастополя, затем – Чехия, Париж... Именно там появились его первые литературные опыты. На них сразу обратил внимание «метр» литературы русского Парижа Георгий Адамович. Проза и публицистика молодого автора полностью отвечала его требованиям аскетичности слова и правдивости. Даже в самых ранних произведениях Варшавского обращали на себя внимание высокая культура его письма. Рассказ «Шум шагов Франсуа Виллона», посвященный «певцу дна» парижской богемы, как и размышления над судьбой литературы русской эмиграции, опубликованные в журналах «Числа» и «Воля России», сразу были отмечены вниманием признанных мастеров слова Русского Зарубежья.

Однако взлет молодого прозаика прервала война. Его оценки происходящего отличались независимостью суждений. В отличие от взглядов, скажем, его отца, считавшего гитлеровское нападение началом освобождения родины от большевизма, Варшавский никаких иллюзий на этот счет не

питал. Он ненавидел любую тиранию, и это неприятие впоследствии с блеском обосновал в своих статьях.

Владимир Сергеевич пошел добровольцем во Французскую армию. В одном из фронтовых эпизодов, оставшись один на линии огня, он не отступил перед фашистами. За это Варшавский поплатился четырьмя годами немецкого концлагеря на территории Померании. В 1947 году Владимир Сергеевич за подвиги во время войны был удостоен одной из высших наград Франции – Военного Креста с Серебряной звездой.

В послевоенной Европе писатель не смог обрести себя и уехал за океан. Там, несмотря на очень тяжелый первоначальный период, он сумел найти свою звезду. Этому способствовала служба в ООН, потом на радиостанции «Свобода». Брак с Татьяной Дерюгиной, работавшей переводчицей, оказался во всем благотворным для Варшавского. Именно Татьяна Георгиевна, спустя тридцать лет после кончины мужа, передала в Дом Русского Зарубежья архив мужа. Этот дар стал возможен благодаря хлопотам известного историка литературы эмиграции, ученого секретаря ДРЗ Марии Васильевой. Совместно с Олегом Коростелевым и Татьяной Красавченко была подготовлена к печати эта книга.

В центре сборника, вне сомнения, – роман «Ожидание», вышедший первоначально в парижском издательстве YMCA PRESS в 1972 году. Произведение написано от лица русского изгнанника Владимира Гуськова, это своего рода исповедь автора «Незамеченного поколения». Варшавский развернул широкое полотно жизни эмиграции. Благословенные московские улицы Москвы до 1914 г., знаменитая русская гимназия в Моравской Тршебове под Прагой, парижская литературная жизнь. И конечно, ужасы Второй мировой, толпы беженцев, фронт и бесконечный лагерь в Германии. «Вот этой двуединой правдой – о человеке и о мире в человеке, о призвании человека дать миру ‘человеческое значение’, найти и самого себя, и мир, и всю жизнь ‘в чьем-то вечном сознании’, – и живет, и движется творчество Варшавского», – так писал один из известных мыслителей русского изгнания протопресвитор Александр Шмеман. Этот отзыв, как и ряд других рецензий, посвященный Варшавскому, также приведен в книге.

Представленная в сборнике проза – это попытка осмысления произошедшего. Но это еще и тексты, написанные ясным, точным, подчас жестким языком. Писатель удивительно конкретен в каждой детали. Вот как, к примеру, описывал он одно из собраний русской эмиграции в Нью-Йорке: «Я всматривался: как больные тыквы на бахче, голые, усыпанные коричневыми пятнами черепа мужчин, седые, подкрашенные лиловым, букли женщин. Морщинистые, благородные, с отпечатком ‘критической мысли’ лица бывших курсисток, подпольщиков, бундовцев, земцев, борцов за светлое будущее, читателей толстых прогрессивных журналов, авторов бесчисленных политических и экономических брошюр, гневных памфле-

тов и передовиц. Последние из русских интеллигентов. Верно ни над одним поколением история не посмеялась так жестоко. Все они отдали свою молодость делу борьбы с несправедливостью самодержавия только для того, чтобы увидеть возникновение нечеловеческого мира сталинских концлагерей. И все-таки я чувствовал – они были счастливы.»

Причины постигшей Россию и весь мир в XX столетии катастрофы не могли не волновать Варшавского. Уже в конце жизни, в Европе, он начал работать над книгой «Родословная большевизма». В отличие от американского политолога Ричарда Пайпса, объявившего, что истоки коммунизма и большевистского террора следует искать в самом менталитете извечно рабского русского народа, Варшавский стоял на абсолютно противоположной точке зрения. Он яростно доказывал, что Россия и СССР – это совершенно разные исторические явления, что корни всего произошедшего надо искать в «марксистско-эсхатологическом мифе мировой революции».

Книга Варшавского – это возвращение в нашу жизнь наследия одного из самых значительных прозаиков русского изгнания.

Виктор Леонидов

Михаил Соловьев. Когда боги молчат. Малая война (Записки советского военного корреспондента). – М.: АИПРО-XX, 2017.

Через пятьдесят лет после выхода на Западе романа «Когда боги молчат» Михаила Соловьева, практически не известного на его родине автора, книга была издана, пусть и с небольшими купюрами, в России. Это эпохальный срез настолько крупного масштаба, что временной, эмоциональный и сюжетный диапазон роднит его с такими классическими произведениями XX века, как «Тихий Дон» М. Шолохова и «Доктор Живаго» Б. Пастернака. Об этом пишет и литературовед В. В. Агеносов, автор предисловия и составитель книги, говоря о точной «диалектической оценке» Гражданской войны, какую дал М. Соловьев.

Хотя публикация в России осуществлена впервые, фактически это уже третье издание на русском языке. Еще до своего появления в виде отдельной книги в 1963 году в Нью-Йорке отрывки из произведения публиковались в известном общественно-литературном журнале русского Парижа «Возрождение» (1951). Можно представить себе реакцию редактора «Возрождения» С. П. Мельгунова, получившего этот текст. Сразу стало ясно, что появился талантливый автор из «новых» эмигрантов второй волны, со свежим взглядом, обладающий своеобразным стилем. Кроме того, Мельгунов не мог не заметить знания материала «из первых рук». Вместе с тем, взвешенная позиция писателя, выступившего тогда под псевдонимом «Бобров», не давала повода сомневаться, что, хотя он пишет с симпатией о героях революции, все же он – «свой».

Первоначально роман назывался «Марк Суров», позднее – «Когда

боги молчат» (совершенно очевидна реплика в сторону Достоевского с его «Все дозволено, когда Бога нет»). Их молчание и дает повод совершать все те беззакония, свидетелем, а порой и участником которых становится главный герой романа Марк Суров. Как указано составителем в аннотации, Михаил Соловьев – «писатель с ‘пестрой биографией’, послужившей прообразом биографии героя романа <...>, ‘от детства потрясенного революцией человека’». Как и автор, Суров в 12 лет вместе со старшими братьями воевал в Первой Конной. Затем учился в МГУ и имел возможность наблюдать накал внутрипартийной борьбы, жертвой которой стала выведенная в романе Надежда Аллилуева. Работая на Дальнем Востоке, Марк Суров видел как энтузиазм молодых строителей Комсомольска-на-Амуре, так и бездушное к ним отношение. Бюрократизм руководителей, жестокость чекистов, лагеря ГУЛага вызвали сомнения молодого человека в оправданном высокими целями насилии. Наблюдения и размышления Сурова, масштаб зафиксированных событий получили полноценное художественное воплощение уже на страницах первого тома. Именно это сопряжение автобиографического с романным, поиск автором золотой середины между художественным вымыслом и нонфикшн, попытки вплести собственную судьбу в канву повествования и стали той основой, которая подогревает читательский интерес к произведению.

Действительно, основные вехи жизни героя совпадают с фактами биографии Михаила Соловьева, но несомненно, что перед нами художественное переосмысление действительности. Сказовая стилистика романа (здесь и неторопливая речь крестьянского многодумца, и повествование от лица несмышленища, выросшего в деревне) подводит читателя к мысли о всеобщности описанной судьбы деревенского мальчишки, ввергнутого в хаос истории. Ясно прочитываются эпические интенции повествования. Уже первые главы романа, в которых речь идет о детстве Сурова, выросшего, как и герои Шолохова, в донских степях, разворачивают перед читателем эпохальную картину изменений на фоне свершившейся революции и Гражданской войны: «Прошли те времена, когда захваченных в плен пускали на все четыре стороны; революция требовала крови, пролитая кровь вызвала новое кровопролитие, а круг кровопролития, только дай ему ходу, всех людей без разбора в свой предел включит».

Позицию автора, совпадающую, по-видимому, с восприятием героя-повествователя, можно оценить как объективно-оценочную по отношению к обеим враждующим сторонам. Его выводы взвешены, эмоционально нейтральны, порой он описывает враждующие стороны не без симпатии, что выражается и в появлении юмористических деталей, смягчающих общее напряжение сюжета. Однако поражает, что написанное почти 70 лет назад произведение отличается не просто точностью диагноза, данного советской политической системе, а глубоким пониманием закономерностей развития

этой системы, где поначалу почти еле заметные червоточины дали насквозь гнилой плод.

Интересно сравнить опубликованные в «Возрождении» отрывки с итоговым романном вариантом, чтобы проследить эволюцию Соловьева как художника. Его перо оттачивалось в 30-е годы при написании журналистских статей. Совершенствовал он свои исторические знания, преподавая историю в генеральской группе Военной академии им. Фрунзе. В 1941 году он лейтенантом Красной армии попал в плен. Ему удалось вернуться в журналистику, редактируя на оккупированных территориях газету «Новый путь» (Бобруйск); писал Соловьев уже под псевдонимом «М. Бобров». После окончания войны Соловьев переезжает в США, начинается новый этап его писательской деятельности. Эпический стиль его прозы органично включает обильные философские размышления. Художественный стиль романа Соловьева угадывается в разного рода аллюзиях, метафорах и гротескных отступлениях: «Мерным шагом шел старый рыжий конь, и было в этом всаднике и его коне что-то мрачное, пугающее, словно встали они из могилы и едут так уже давно – неторопливо, безостановочно, вечно едут». Это напоминает шествие Коня-Блед, несущего смерть. Мифологема смерти во многом определяет поэтику повествования. Герой многократно встречается со смертью лицом к лицу (на службе в Конармии, при строительстве Комсомольска на Дальнем Востоке, во время восстания на прииске Холодном или ареста по делу Бухарина, на Финской войне, на фронтах войны Отечественной, в лагерях военнопленных, наконец, на оккупированной территории).

Важным в романе оказывается и «просвечивание» автобиографического материала. Соловьев балансирует на грани беллетристики и мемуаристики. Заметим, что «процент» мемуаристики уменьшился в окончательной версии романа по сравнению с журнальной публикацией. Установить точное место и время описываемого можно лишь по отдельным деталям (отмена продразверстки и введение продналога, бои в Гражданскую войну на Кубани и пр.). Судьба героя разворачивается на фоне происходящих в стране реальных исторических волнений. С ними связана и любовная линия в романе. Студенческое увлечение Леной и Наташей приходится на период становления «новой морали» (они обе – члены общества свободной любви «Долой стыд!»), а возвышенная любовь к Кате-Колибри, «тоскующей и печальной птичке, которой обломали крылья», – на период репрессий начала 30-х.

После окончания учебы из Москвы Суров направлен заведомо ЦК партии Ежовым в Хабаровск. И там герою уже приходится быть с теми, «кто хватал, судил, обрекал, и спрятаться от этой правды нельзя». Среди последних – начальник краевого НКВД Доринас (Т. Д. Дерibas). Возникают и «говорящие фамилии»: Южный руководит исполкомом на Севере,

Веселый управляет заключенными при добыче угля, а потом, когда рудник закрывается, расстреливает их из пулеметов. Куда уж веселее?..

А боги молчат... Вместо них начинает говорить новый «божок» («Сталин стал всемогущим»): «Больше напряжения и жертв, меньше сентиментальности, и невозможное станет возможным». Философские размышления становятся неотъемлемой частью романа. Вот одно из важнейших: «Другой стороной нашего однолюбства является нетерпимость к инакомыслящим. Того, который не согласен с нами, мы сразу к врагам причисляем, огнем и мечом истребляем, не понимая, не зная, не веря, что свобода не с единства, а с различий начинается, и если действительно о свободе болеть, то прежде своей, чужую свободу нужно уважить потому, что ведь может быть и так сказано: моя свобода кончается там, где начинается свобода другого». Не менее значимы и мировоззренческие споры с Катей, в которых Суров, желая оправдать репрессии, апеллирует не к марксистско-ленинской теории, а к Достоевскому («На нашем пути Смердяков. Мы устраним его.»). Важна в этом плане и вставная глава «Записки для памяти геолога Петра Сергеевича Новикова» – записки, которые оставляет Сурову встреченный в тайге человек. Строки этого дневника доказывают, что не только Суров сомневается в верности избранного партией курса.

Этот этап формирования героя заканчивается, когда он встречается в сибирском лагере заключенного Остапа, того самого «зеленого», кому он подарил верного Воронка. А вскоре на прииске Холодном происходит восстание, и одним из его участников становится Остап. Восстание по-новому освещает для Сурова весь пройденный им путь: «События прииска Холодного тогда еще не были для Марка прошлым – отблеск таежного пожара лег на его мир, по-новому осветил его. Убийства, исход, Лена и Остап с их страшной решимостью, – в этом он не видел начала и не видел конца. Бóльшим, чем всё это, было то, что человек, определенного лица не имеющий, – вселичный человек – восстал, и этим мгновенно отменил безусловный абсолют их общей правды».

Вторая часть книги «Когда боги молчат» содержит личные воспоминания М. С. Соловьева о малоизвестной Финской войне, написанные в жанре журналистского очерка. Несмотря на выборочность публикуемых текстов (из 19 очерков в настоящий сборник вошло всего 6), хотелось бы обратить внимание и на этот цикл. «Записки военного корреспондента» занимают всего 30 страничек, тем не менее они дают достаточно полное представление о нравственном облике автора, о его творческих принципах и подходе к обрабатываемому материалу. Очерки написаны в жанре эгодокумента, т. е. представляют записи о непосредственно пережитом и прочувствованном. Автор в первую очередь хочет донести до читателя ужас холодеющей лесной пустыни, окружившей на финской границе неподготовленных к войне советских бойцов.

Вошедшие в книгу шесть очерков дают полное представление о публицистическом мышлении автора. Соловьев описывает разгильдяйство и неподготовленность Красной Армии, случайность приказов и нелепые поступки командования, не объяснимые ничем бюрократические проволочки и плутание в коридорах власти. При этом автор как бы мимоходом запечатлевает мелочи жизни: на станциях торопливо и неряшливо кормят супом, вот бьется в припадке эпилепсии боец (заболевших отправляли в тыл без сопровождения), но главное – всепронизывающий абсурд происходящего. Так, хладнокровный кретин-убийца может в одночасье сделаться патриотом, якобы предотвратившим диверсию, а несчастный солдат предстанет врагом народа; сотрудники газеты «Известия», будто бы «политически соvrащенные» Бухариным, попадут под подозрение, а члены правительства выйдут сухими из воды... Везде «по ходу» Соловьев набрасывает портреты людей, облеченных даже малой толикой власти, которую они по унтерпришибеевски используют. Достаточно напомнить о «костлявом человеке с сонными глазами» в областном НКВД, пославшем рассказчика под начало Мехлиса.

Разговор о Мехлисе – особый. Рассказчик встречается с ним дважды. Первый раз он запечатлевает радушного покровителя, который решил помочь Соловьеву избежать опалы (тот находился под подозрением в связи со своей работой под руководством Н. Бухарина в газете «Известия»). Автор отмечает позерство этого человека, носившего маузер в деревянном футляре, желая подчеркнуть и напомнить о своих заслугах на Гражданской войне. И в то же время, во всем его поведении чувствуется сковывающий его страх. Причиной страха может стать даже сатира «Исследование о белом коне и всаднике под ним». Злую шутку над Мехлисом сыграло желание какого-то подхалима подчеркнуть его заслуги и написавшего, что в свое время в боевое расположение войск на Волге Мехлис прибыл на белом коне. Так, рассказывая историческую байку, автор дает представление о безудержной лести и подбострастии, проникших всюду в коридоры власти. Не забывает он напомнить и о прозвище Мехлиса – «Левушка Прохвостов».

Второй раз возникает Мехлис перед читателем в образе «судьи неправедного». Это он посылает на расстрел обезумевшего от ужаса солдата, узнавшего о том, что его семья погибла от голода, охватившего Воронежскую область. Он виновен и в убийстве политрука, будто бы призывавшего к предательству, – «типичный случай советского патриотизма». Он же делает выговор Соловьеву, который едва не совершает «политическую ошибку». Обратим внимание на то, как рисует автор эту сцену. Он применяет прием ретардации, замедления, фиксируя буквально каждый всплеск робко вспыхивающей у героя надежды на справедливость решения. И тем страшнее выглядит безапелляционный вердикт начальника: «В военно-полевых условиях мы не можем заниматься такими тонкостями, как психиатрия. К тому

же, существует потребность показать всей армии, что жизнь политработников неприкосновенна». Впрочем, убитый политрук – под стать Мехлису: «Студент Института красной профессуры был очень хороший политрук. Поэтому все человеческое ему было чуждо. <...> Для него бойцы были прежде всего исполнителями высшей воли, и выразителем этой воли был он, политрук роты и коммунист».

В этих зарисовках почти совсем нет упоминаний о природе: только холод, снег, ночь. Вот автор пишет о том, что в страшную северную зиму перебросили войска из Средней Азии, состоявшие из местных жителей. И большинство их перемерзло в первые же дни. Будни войны вынуждают оставшихся бойцов использовать окоченевшие тела чудовищным образом: «Бойцы сидели и ели суп на трупах своих товарищей, замерзших или убитых». И командир полка безразлично сообщает Соколову, что «человек с сотню перемерзло». Еще страшнее выглядит передовая, где солдаты вынуждены сражаться в резиновых сапогах, без зимнего обмундирования, в легких шинелишках. Картины греющихся у костров в шалашах солдат, многим из которых предстоит вскоре замерзнуть, потрясают.

«Замороженный мир» – так назвал Соловьев один из своих очерков. И тем больше врезается в память образ, передающий кошмар войны, где уже не обезображенные люди, а лес, превращенный «в частокол обрубленных осколками, расщепленных до самого корня обезображенных стволов», выступает обвинителем происходящего.

Конечно, можно пожалеть, что в данное издание не вошла вторая часть романа Соловьева. Но надо отметить, что и в таком виде роман, почти забытый, появился очень вовремя. На основе таких книг, как роман Соловьева, можно составлять учебники истории XX века. И потому хотелось бы пожелать полной публикации, без купюр, книг этого интересного и своеобразного писателя «с пестрой биографией». Ведь он был прав, когда в уста одного из своих героев вложил слова о людях, лишенных чувства собственного достоинства: «Это люди с умерщвленными душами. Для них нет будущего, и у них отнято прошлое. Боже, если Ты есть, помоги им!» Этот призыв, но обращенный не к богам, а к нам самим, должен быть услышан.

М. В. Михайлова, Москва

А. Н. Кравцов, Мельбурн

Андрей Чернышев. Открывая новые горизонты. Споры у истоков русского кино. Жизнь и творчество Марка Алданова. – М.: Паблит. – 2017, 358 с.

Бывают неслучайные книги. «Открывая новые горизонты» – из этого ряда. Ее написал Андрей Александрович Чернышев, профессор МГУ, многие годы преподававший на факультете журналистики, давний автор «Нового Журнала». С конца 1980-х годов он исследует творчество Марка

Алданова, по существу, является первым и системным публикатором и комментатором его произведений в России. Благодаря его стараниям и неутомимости, сочинения писателя одно за другим выходили миллионными тиражами. После работы в Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк), где находится основная часть наследия М. А. Алданова, Чернышев готовил к изданию, комментировал, сопровождал предисловиями однотомники, двухтомники, многотомные собрания сочинений писателя, выступал в журналах и газетах с десятками статей и интервью. Его целью было познакомить российского читателя с этим крупным литературным именем, десятилетиями насильственно не допускавшимся в культурный контекст России.

Раздел книги «Материк по имени 'Марк Алданов'», обобщающий многочисленные публикации автора об Алданове, – новая попытка постижения живого образа русского писателя и его творчества. Работа содержит много интересных размышлений и фактов. Тринадцать раз Алданов был представлен к Нобелевской премии, девять из них – Буниним. «Алданову это было, безусловно, лестно, но он отдавал себе отчет в том, что Нобелевскую премию ни в коем случае не дадут второй раз русскому эмигранту», – пишет Чернышев. По натиску выдвижения кандидатуры М. Алданова, его можно сравнить с Зигмундом Фрейдом, номинировавшимся на ту же премию тридцать три раза – и так и не получившим ее. В этой связи автор затрагивает и тему непрекращающихся споров о закулисных мотивах, о «корысти» лиц, участвовавших в кампаниях по выдвижению на Нобелевскую премию, о «неискренних комплиментах» и т. д. «Совершенно немыслимо представить себе Бунина и Алданова корыстниками и льстецами. Слова ободрения, которыми они обмениваются, идут у них, несомненно, от души», – справедливо считает автор. Оба писателя, безусловно, не отделяли свое творчество от жизненной позиции, а взаимная симпатия и дружба углубляли понимание друг у друга.

Из книги Чернышева мы узнаем немало интересных фактов и об Алданове-журналисте. Оказавшись в эмиграции, он активно включается в работу русских редакций. В Берлине в 1922–1924 гг. он сотрудничает с «Голосом России», публикуется в газете «Дни», редактирует ее воскресное приложение; его работы выходят в «Современных записках», «Числах», «Иллюстрированной России», «Русских записках». Вплоть до Второй мировой войны Марк Александрович работает для парижских «Последних новостей», руководимых П. Н. Милюковым.

Спасаясь от нацистов, оккупировавших Францию (писатель входил в список авторов, книги которых сжигались нацистами в Германии еще в 1933 году), Алданов, убежденный антифашист, отправляется в Нью-Йорк. При этом его мучают сомнения: в 1940-м, году его иммиграции в США, его английский оставлял желать лучшего, да и материальная сторона жизни не

сулит радужных перспектив. Однако это не помешало Алданову задумать большой проект по изданию в Америке русского «толстого» интеллектуального журнала – «Нового Журнала». К началу войны во Франции прекратил свое существование выходивший на протяжении двух десятилетий журнал «Современные записки», дававший трибуну лучшим авторам эмиграции. В нем публиковались И. Бунин, И. Шмелев, Д. Мережковский, А. Куприн, В. Ходасевич, М. Цветаева; в 1921 году журнал открыл читателю и самого Алданова. Чернышев цитирует интервью писателя американскому журналисту, которое состоялось почти сразу после приезда его в Америку. На вопрос о состоянии эмиграции следует ответ: «В безвыходном. <...> Знаю, например, что Бунин написал на юге Франции несколько новых рассказов и впервые в жизни не знает, что делать с ними. Русским писателям больше на своем языке печататься негде – я говорю о произведениях, по размеру не годящихся для газет».

«Новый Журнал», созданный совместно с М. О. Цетлиным, стал самым авторитетным толстым изданием последующих десятилетий. В 40–50-е гг. в нем публиковались все лучшие писатели эмиграции. Алданов сразу включается в журналистскую деятельность. Работа редактора, он знал это еще со времен издания журнала «Грядущая Россия», – это не только ежедневные бдения над рукописями, но прежде всего искусство дипломата, – А. Чернышев пишет: «Алданов был прирожденным дипломатом: он находил компромиссы, гасил страсти, сохранял присутствие духа в тяжелых ситуациях». В качестве главного редактора «Нового Журнала» (совместно с М. Цетлиным) он оставался недолго: успешный писатель, он предпочел собственную творческую работу, как только журнал встал на ноги.

Алданова ждал успех в Америке: его отмечали рецензенты «Нью-Йорк Таймс», в 1943 году роман «Начало конца» становится «книгой месяца». За своего коллегу порадовался В. В. Набоков: «Ваша книга предвещена четверкой аврорных статей в 'Бук оф дзи Монте'». В США перед ним открывались новые горизонты: если писать не только о России и не только по-русски, то его романы станут по-настоящему популярными на Западе. Алданов пробует создавать «Ульмскую ночь» на французском. Написав сто страниц, он отказывается от этой идеи. «По-настоящему жить можно только в той стране, где человек родился и провел детство. Мне это не было суждено», – любил повторять писатель. И в своих произведениях он говорит о том, чем живет, что знает и чувствует. За ним закрепляется репутация эксперта по русской теме. «Судьба Алданова – доказательство, что сильные духом и талантливые люди могут найти себя и на чужбине», – пишет Чернышев. Создавая исторические романы, Алданов всякий раз проводит параллели с современностью и ищет контуры будущего. В письме Набокову в мае 1942 г. он признается: «Меня действительно интересуют лишь грандиозные нынешние события».

Жизненный путь Алданова, его переписка с видными представителями русской культуры, общественными деятелями, политиками проливают свет на многие стороны жизни Русского Зарубежья, делают для нас более понятными события и явления в прессе эмиграции. Материальные трудности не мешали Алданову помогать другим. Алданов с супругой организует вечера помощи нуждающимся литераторам, он поддерживает Ходасевича, Бунина... Алданов, писатель и журналист, за годы эмиграции в разных странах и на разных континентах нередко оказывался на перекрестках судеб крупнейших представителей эмиграции. В книге, например, исследуется послевоенный конфликт И. А. Бунина с Марией Самойловной Цетлин, известной меценаткой и общественным деятелем эмиграции, – и отношение М. А. Алданова к этой ситуации. Цетлина огульно обвинила Бунина в просоветских симпатиях. В результате Алданов принимает сторону Бунина и порывает с Цетлиной.

Читая о жизни и творчестве Алданова, мы узнаем детали из биографий таких заметных фигур эмиграции, как В. Набоков, Г. Иванов, М. Шагал, Г. Струве, Б. Зайцев, А. Седых, Б. Бахметев, С. Рахманинов, М. Осоргин.

Переводы Алданова на немецкий, английский, французский и другие языки Европы сегодня переиздаются и доступны современным читателям. Значительная часть его архива погибла в оккупированном нацистами Париже. Тем не менее, Алданов, наконец попавший в фокус интересов исследователей, все больше открывается для читателей, публикуются его творческая переписка и сохранившиеся архивные документы.

Другой раздел книги А. Чернышева «Споры у истоков русского кино», не уводит читателя от фигуры М. А. Алданова, хотя и посвящен процессу развития киножурналистики в России на этапе ее зарождения. «Крупный план» одной личности, а вместе с ней и эпохи революции, дополняет анализ отечественной кинокритики до и во время Первой мировой войны. Киноискусство стало плацдармом для испытания различных эстетических теорий и гипотез, например, о скорой смерти литературы и роли кино как нового учителя человечества, «которую в настоящее время играет книга». Кинокритика привлекала к себе многих деятелей литературы, ведущих публицистов того времени. Среди них В. Маяковский, А. Ханжонков, А. Куприн, К. Чуковский, И. Василевский (Не-Буква). Историзм, тщательность аргументации, разбор многочисленных «за» и «против» – все это было вновь для русской киномысли периода Первой мировой войны. Молодой Марк Ландау (ставший известным писателем эмиграции Марком Алдановым), сын успешного сахаропромышленника, в это время живет как будто другой жизнью. Получив в Киевском университете сразу две специальности – химика и юриста, – он пишет первую научную брошюру «Законы распределения вещества между двумя растворителями». Ландау уезжает во Францию продолжать образование, но с началом Первой мировой войны

возвращается в Петроград, где участвует в разработке форм защиты населения от химического оружия. Позднее Алданов считал: «...если писатель порой переключается на научно-исследовательскую деятельность, это обогащает его интуицию и наблюдательность». Параллельно развивается его литературный талант. В 1918 г. выходит публицистическая работа «Армагеддон», где он иронично высказывается об Октябрьской революции. Тираж был изъят. Автор покидает Россию, чтобы продолжать делать свое дело в новых редакциях, в других странах, на других континентах и материках.

В последние годы творчество писателя вызывает все больший интерес. Ему посвящаются диссертации ученые из разных университетов России – от Владивостока до Москвы. Духовное возвращение М. А. Алданова в Россию, начатое благодаря публикациям А. Чернышевым его произведений, состоялось. Можно с уверенностью говорить, что и в будущем нас ждут открытия новых граней наследия Марка Алданова.

Артем Лысенко

Доктор Лиза Глинка. «Я всегда на стороне слабого». Дневники, беседы. – Москва: АСТ. / Редакция Елены Шубиной. – 2017, 320 с.

Лиза Глинка. Письма о любви к людям. / Идея книги – Александр Бондарев. – Москва. – 2018. Не для продажи.

На обложке книги «Я всегда на стороне слабого» помечено «18+», «содержит нецензурную брань». По новым российским законам издатели обязаны таким образом предупреждать читателя до 18 лет, что в тексте есть ненормативная лексика и ему, молодому, не следовало бы открывать эту книгу, дабы не нарушить свою юношескую чистоту. Я позволю себе уточнить: *вся* эта книга – о *ненормативной жизни*, о жизни, которая унижает человеческое достоинство, о недопустимой в 21 веке жизни – криком кричащей, взывающей о помощи. И было бы странно говорить иначе о преступно нарушенной государством жизненной норме, чем это делала Лиза Глинка, – иной раз и матом. О том, как это есть в реальности, – ее дневники, собранные в эти две книги.

Елизавета Петровна Глинка известна в России и Украине как «доктор Лиза». Свой интернетовский дневник она вела на сайте «Живого Журнала» на протяжении нескольких лет – тех лет, что занималась паллиативной медициной и благотворительностью в этих странах. Она подробно описывала своих ежедневных героев – умирающих и бомжей, выброшенных из отрегулированных, благополучных современных Украины и России. В которых пышно расцветают списки Форбса, растет как на дрожжах коррупция, в которых стыдливо задымляют раскуренные сигареты на киноэкранах, изображающих страсти власть предержащих, и где кокетливо пипикает аудиосигнал, заглушая мат, – но как заглушить его в душе зрителя? – Пенсионера, живущего за чертой бедности, беспризорника и тихо умираю-

щего обреченного пациента хосписа... Или врача-паллиатолога, отказывающего обреченному больному – потому что нет свободных койка-мест в этом нищенском убогом хосписе. Да, счастье человека порой приобретает самые неожиданные формы, одна из них – свободная койка в больнице.

Вот на хосписах я и хочу остановиться. Именно Лиза Глинка была тем человеком, который основал первое такое заведение в Украине, а потом и в России.

Однажды у нее на руках умирал священник. Она спросила его: какой грех самый большой? – «Самый большой грех – обидеть слабого.» – «Эта мысль поразила меня: самый тяжкий грех сделать легче всего...» – записала Лиза в дневнике в октябре 2012 года. По профессии, полученной еще в России, Лиза (позволю себе, в силу нашей дружбы, называть ее именно так) была детским реаниматологом. Давным-давно уехав в США к мужу, Глебу Глинке, потомку русских эмигрантов второй, послевоенной, волны, она получила дополнительную специализацию – паллиативная медицина. Это важно запомнить – потому что сегодня в России, где к памяти «доктора Лизы» относятся с благоговением и даже коленопреклоненно, не говорят о том, что, по сути, их Лиза – американский врач. Я ни в коей мере не пытаюсь здесь отделить «российское» от «американского» и усомниться в человечности тех и других, намекая на существующий сегодня между странами острый конфликт; я просто хочу быть точной в главном: любой врач в любом государстве мира, начиная с Гиппократов и по наши дни, должен быть готов принести себя в жертву во имя спасения больного. От Гиппократов до наших дней прошло достаточно времени, чтобы выстроить целую систему помощи больному, страдающему и даже обреченному. И есть страны, где эта система работает. А есть другие государства – где почему-то такой системы нет и создавать ее не собираются. Там про Гиппократов давно никто не помнит.

Попав в Америку, эта русская женщина-врач вдруг увидела готовую, четко организованную, действующую систему спасения человека; структуру, помогающую не только достойно жить, но и достойно умирать. Именно в Америке она получила возможность *практики* спасения обреченного больного. И Богом заложенные в ней уникальные доброта и жертвенность (потому она и пошла в медицину) соединились с реальным врачебным опытом. Ее научили, как помочь человеку достойно уйти в мир иной. Для этого можно, но не обязательно, быть матерью Терезой, не особенно нужно быть даже воцерковленным верующим (хотя Лиза и была православной), для этого должно быть хорошим опытным врачом, включенным в хорошо организованную государственную систему паллиативной медицины.

Но такой системы Лиза не обнаружила в Украине и России. А обнаружила незащищенного больного и изгоя и абсолютную безнравственность и безнаказанность власти. «Я работаю с отверженными и преданными», – сказала как-то она. В этом месте можно было бы поставить «18+».

Она решила действовать в одиночку. «Я могу сказать, чего я не боюсь. Я не боюсь своих больных. Грязи, крови, рвоты не боюсь. В остальном я нормальная женщина! <...> их только вылечить нельзя, а помочь можно и нужно. Их можно утешить и обезболить. Так что я работаю с живыми.» – написала Лиза в июле 2007 года. «Я всем больным даю руки, всем до единого без перчатки», – в марте 2008 года отметит она важную для себя деталь: человека нельзя унижать; простая медицинская перчатка может создать непреодолимую преграду между врачом и больным, и это добьет умирающего.

А вот и еще записи. Октябрь 2007-го (из интервью): «Вы бы помогли больному по его просьбе уйти из жизни досрочно? – Я бы его обезболила. – А когда действие лекарства кончилось? – Обезболила бы еще раз». Апрель 2008-го: «...из боли и страданий других людей складывается моя жизнь». Больная слепоглухонемая девочка – «...этот ребенок узнает меня по запаху: она сначала нюхает, а потом трогает меня... Я хочу держать их за руку, я их глажу, жалею – делаю, что в моих силах, чисто тактильно, даже если они без сознания. <...> Ты говоришь – не бойся, и они тебе доверяют» (март 2008).

За годы работы в Киеве на ее глазах скончалось 253 человека. Лиза напишет в апрельском дневнике 2012 года: «Помню всех своих умерших бездомных. Кого-то – по поступкам и словам. Кого-то – по характеру и привычкам. Эту женщину запомнила тихо плачущей», – после кончины одной из пациенток хосписа.

Истинная заслуга Елизаветы Глинки перед человечеством (да-да, перед человечеством, не меньше) в том, что она в одиночку начала применять на постсоветском пространстве опробованный западной медициной способ защиты и поддержки нижних слоев населения. Она подчинила себе это буйное пространство, собрала единомышленников и рекрутировала «сильных мира сего». Некоторых. Ни в России, ни в Украине до сих пор нет широкой работающей системы паллиативной медицины.

А Лиза очень хорошо понимала, что единичные жертвенные усилия не могут исправить ситуацию и она не успевает спасти тысячи, десятки тысяч нуждающихся в медицинской и социальной помощи, да и в политической защите, – ведь она занималась и правозащитной деятельностью. Она вошла в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ с иллюзией, что это поможет ее пациентам и подзащитным, – менее всего думая при этом о своих репутационных потерях; она преследовала одну цель: организацию системной помощи «отверженным и преданным». Я помню, как в один из моих приездов в Москву они с Глебом устроили посиделки на кухне и Лиза добивалась от меня: «Ну ты-то должна понять, что без этих (18+) я не могу помочь никому! У них всё – власть, сила, деньги, – и я должна заставить их помогать!...» А так ли уж действительно важно наше «чистое имя», если рядом гибнут страждущие и ты отворачиваешься от них, не умея спасти?.. Совесть твоя, вроде как, чиста. Но и трупов вокруг – множество...

«Из-за ее поездок на Донбасс от Лизы многие отвернулись. Из тех, кто раньше горячо поддерживал. Почти от всех ей доставалось. От либералов в том числе. И от этого пострадали и бездомные, и больные. Денег меньше стали давать», – вспоминает коллега Лизы. Вот так – просто: перестали давать деньги. И не заботило, что от этого кто-то не доел, а кто-то и умер. Переживала ли она? – Да, сильно. Смутило ли это Лизу, заставило ли отказаться от поездок? – Ни на секунду. «Когда недавно мне заявили, что, мол, я помогаю детям сепаратистов, я была потрясена до глубины души. Они детей делят на сепаратистов и несепаратистов», – призналась она в сентябре 2015-го. Еще запись о детях, на этот раз – из Дома ребенка в Краматорске: он «оказался меж двух огней. <...> Имена детей мы писали на ручках, потому что дети не разговаривали. Лежали поперек, потому что машина была не приспособлена. Мы их привязывали бинтиками, чтобы они не упали. Таким образом мы передали на украинскую сторону 29 сирот». Бинтиками привязывали... В 21 веке в центре Европы – это идеальный способ спасти грудного ребенка, когда никто из богатых не дал специально оборудованную машину вывезти детей из зоны обстрела. Они ведь, богатые и власть предержащие, – такие идейные! «Без страха и упрека».

А она – в страхе, она – боялась, ведь стреляют вокруг... Декабрь 2016-го – еще дети, на этот раз из интерната для глухонемых, имена их, уже привычно, написаны фломастером на руках; в машине – жара, пот течет градом, – и «вдруг я вижу, как с каплями пота, текущими по их коже, эти имена тают»... Вот он, настоящий образ войны: тающее на руке имя ребенка. Исчезновение человека. Сколько их растаяло, Божьих душ, в этой безумной войне? Сколько растает еще? – И кто ответит за это? Да, мне нужен ответ, я к нему взываю. В этом – отличие от Лизы: она не искала виновных, у нее просто не было на это времени; она не могла потратить свое время на такие глупости, как поиск виновных в нашем заидеологизированном циничном идейном мире. Ее мир был проще и, кажется, справедливее. «Я жду и верю, что война закончится, что все мы перестанем писать друг другу напрасные, злые слова. И что хосписов будет много. И не будет раненых и голодных детей»; «Я буду вывозить их, пока война не кончится. Или пока меня не убьют. Потому что они не выживут там. У них нет других шансов.»

Она отдала им свой собственный шанс на жизнь. Лиза погибла 25 декабря 2016 года, на пути в Сирию, на еще одну войну, которую не она развязала, которую она ненавидела, но мимо которой она не могла пролететь – ведь там гибли люди, дети. И она везла им медицинскую помощь.

Может ли такой человек уцелеть в нашем мире? – Я думаю, что нет. И мы все в этом виноваты: никто, как мы сами, выстроили этот мир и боремся за него. Или – за себя? Каждый – за себя... Так нужно ли знать эту страшную правду о нас тем, кому еще нет 18-ти? Может, правы ставящие оградитель-

ный значок «18+»? А может быть, наши дети эту ненормативную правду так и не узнают – и продолжат дела греховные своих отцов? Наши дела.

Я же надеюсь, что «18+» все-таки искусит и заставит молодых людей взять эту книгу в руки. И прочитать дневники «доктора Лизы». Это будет настоящий, взрослый поступок. Ведь решились же издатели, прочитав дневники, сделать такую книгу – честную книгу, прежде всего, – не стали вымарывать «сомнительные» места и слова. В том видится определенное мужество этих людей. Спасибо всей Редакции Елены Шубиной, спасибо Глебу Глинке. Быть просто честным – это так непросто в нашем мире.

Теперь несколько слов о книге-альбоме, собранной А. Бондаревым. Эта книга-альбом была сделана другом Лизы для ее друзей; кроме них книгу мало кто увидит (мне жаль), – мизерный тираж, да и в продажу она не поступит. Составитель назвал альбом «Письма о любви к людям» – но я вижу ее как книгу о любви людей к Лизе. Ее дневниковые записи и многочисленные фотографии из семейного архива перемежаются воспоминаниями тех, кто был рядом с ней в ее жизни – долгие годы или мгновенье лишь, – режиссера Ольги Мауриной (фильм «Вокзал по средам» стал первой документальной работой о Лизе Глинке, НЖ показал ее в 2010 году на своем фестивале доккино в Нью-Йорке), протоиерея Георгия Пустовита (его сын был пациентом Лизы); Нюты Федермессер (создателя благотворительного фонда «Вера»), писателя Людмилы Улицкой, актрисы Чулпан Хаматовой (создателя благотворительного фонда «Подари жизнь»), и – немногих других. «...твое пребывание на этой земле компенсирует катастрофическую нехватку милосердия и добра в нашей злобной и равнодушной действительности. Ты заштопала мою совесть нитями своей души, своего времени, своих нервов и, в итоге, своей жизнью», – написала Хаматова. Один из журналистов вспомнил, как он назвал серию своих материалов «Проект Доктор Лиза» – на что Лиза ответила ему: «Я не проект. Я человек». Да, просто человек.

Эти голоса сливаются с голосом самой Лизы – голосом тихим и несмирившимся. Кроткая – не значит «слабая»; кроткая – это принявшая смерть как продолжение жизни и выступившая против жизни как формы смерти. В самом начале альбома есть фотография из Вермонта, на которой Лиза снята с семьей – маленькая, хрупкая Лиза, какой она и была, стоит рядом с мужем Глебом и сыновьями, – над чем-то громко смеются. Да-да, я слышу, как громко они смеются, – во весь рот, запрокинув головы... Она была веселой, задиристой, «хулиганкой», – никто не мог ее «причесать», приручить, «вписать в систему». Она словно чувствовала, что в здешнем мире за добро нужно уметь помахать кулаками. И она умела отстоять слабого. Но как же это было тяжело!.. – Об этом ее дневники. Они расскажут вам о мире, который мы сами сделали ненормативным. Абсолютно непригодным для жизни.

Марина Адамович

ОБ АВТОРАХ

АНАНИЧ Татьяна Анатольевна (1985, Смоленск). Поэт, прозаик. Окончила Всероссийский финансово-экономический институт, школу актерского мастерства им. Стеллы Адлер (Голливуд). Автор сборника стихотворений «АнтиУтопия». Живет в США.

БАТШЕВ Владимир (1947, Москва). Прозаик, поэт, издатель. В СССР был членом нелегальной группы СМОГ, приговорен к 5 годам ссылки. Участник диссидентского движения. Окончил ВГИК. 23 года публиковался под псевдонимом. Возглавлял московское представительство изд-ва «Посев» (1989–1991). В 1993 году организовал издательство «Мосты». В 1995 г. эмигрировал в Германию. Редактор журналов «Литературный европеец» и «Мосты». Автор 14 книг. За 4-х-томное литературное исследование «Власов» удостоен международной премии «Veritas» (2005). Лауреат литературной премии им.Марка Алданова, 1 место (2007).

БЕЛЬСКАЯ Лилия Леонидовна (1935, Харьков). Окончила филфак Государственного Университета (Алма-Ата), работала в средних и высших учебных заведениях, защитила две диссертации. Доктор наук. Публиковалась в журналах и научных изданиях, автор несколько книг, в том числе «Песенное слово. Поэтическое мастерство Сергея Есенина», «Анализ поэзии и поэзия анализа», «Литературные викторины». С 1996 года живет в Израиле.

ГЕЛЬБАХ Игорь (1943, Самарканд). Прозаик. Окончил физический факультет Тбилисского университета. Автор книг прозы: «Признания глиняного человека», «Утерянный Блюм», «Показания Цаплина», «Очертания Грузии», две книги переведены на английский язык. Повесть «Играющий на флейте» номинирована на Русского Букера в 1994 г., роман «Утерянный Блюм» вошел в шорт-лист Премии Андрея Белого в 2004 г. Лауреат премии им. Марка Алданова за лучшую повесть Русского Зарубежья (2012). Живет в Израиле.

ГОЛЛЕРБАХ Евгений (1963, Южно-Сахалинск). Историк, литературовед, кандидат филологических наук. Автор книг: «Трепетный провокатор: О прозе Андрея Синявского», «Распространение русской печати в мире: 1918–1939 гг.», «К незримому граду: Религиозно-философская группа ‘Путь’ (1910–1919) в поисках новой русской идентичности», «Книги революции: Государственный книжный фонд как инструмент советской культурной политики между двумя мировыми войнами», «Хлеб да соль: Из истории российского германофильства: Петербургское издательство ‘Пантеон’ в преддверии Первой мировой войны» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

ГОЛЛЕРБАХ Сергей Львович (1923, Царское Село). Художник, эссеист. Академик Национальной академии дизайна, член Общества акварелистов, Общества художников Одюбон. Автор книг «Заметки художника», «Жаркие тени города», «Мой дом», «Свет прямой и отраженный», «Нью-Йоркский блокнот», «New York on My Mind. Memoirs of a Displaced Person», «From a Personal Point of View». Живет в США.

ГРЖОНКО Владимир (Баку, 1960). Писатель, сценарист, журналист, переводчик. Автор романов «The House», «Свадьба», «Дверной проем для бабочки»; рассказов в сборнике «Городу и миру»; публикуется в нью-йоркских газетах и журналах.

ЗУБАРЕВА Вера Кимовна (Одесса). Доктор филологических наук, поэт, писатель, литературовед, гл. редактор сетевого журнала «Гостиная». Президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА). Преподает в Пенсильванском университете. Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики на русском и английском языках. Лауреат международных литературных премий, в том числе Муниципальной премии им. Константина Паустовского (2010). Живет в Филадельфии.

ИЛЬИН Борис (Украина). Поэт. Учился в Нью-Йоркском Городском и Лонг-Айлендском университетах. Стихи и проза публиковались в журналах «Ното Legens» и «Крещатик». Автор двух книг стихотворений. Живет в Нью-Йорке.

КРАВЦОВ Андрей (1970, Казахстан), В 2012 г. окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. Горького. В 2016-м защитил кандидатскую диссертацию (МГУ). Работает переводчиком и куратором издательского проекта «ЧтецЪ». Автор монографии «Русская Австралия» и указателя «Русские печатные издания Австралии: 1912-2012» (2018). Автор свыше 40 публикаций в научных, научно-популярных и литературных изданиях России, Германии и Австралии. С 2001 г. живет в Австралии.

КРАСИЛЬНИКОВ Андрей (1953, Москва). Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (семинар драматургии). Один из основателей телевизионного политического театра («Гибель поэта», 1986; «Почему убили Улофа Пальме?», 1987; «Кругосветное путешествие Бертольта Брехта», 1988). Лауреат Всероссийского конкурса драматургов «Долг. Честь. Достоинство» (2002). Автор романов «Отпуск», «Старинное древо», «Терпеливая история», драматургических, прозаических и публицистических произведений. С 1992 года – первый секретарь правления Профессионального союза писателей России. В 1994–96 годах – член Общественной палаты при Президенте РФ.

ЛЫСЕНКО Артем Валерьевич (1974, Москва), окончил факультет журналистики МГУ. Там же защитил кандидатскую диссертацию по русской эмигрантской прессе Веймарской республики. Автор монографии «Голос изгнания. Становление газет русского Берлина и их эволюция в 1919–1922 гг.», книги «Остановка – Миссури». Научный сотрудник факультета журналистики МГУ. Руководитель Московского бюро Германо-Российского форума.

МАЛИШЕВСКАЯ Елена (Киев). Поэт. Окончила киноведческий факультет КГИТИ. Автор сценариев документальных фильмов и телевизионных проектов. Поэтические сборники: «Хроника среды», «Такое кино». Публикации в «Новом Журнале», ж. «Крещатик», «Времена», «Радуга», «Палисадник», «Новый Гильгамеш». С 2015 г. ведет свой литературный проект «Вход с веранды» в «Доме Турбиных», музее М. Булгакова в Киеве.

МЕЖИРОВА Зоя (Москва). Поэт, эссеист. Печаталась под псевдонимом «Зоя Велихова». Окончила исторический факультет МГУ. Автор трех поэтических сборников: «Качели весны», «Случайный гость». Стихи и эссе публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Новый Журнал», «Арион» и др. Член «Союза писателей XXI века». Лауреат премий журналов «Дети Ра» и «Зарубежные записки». Живет в США.

МИХАЙЛОВА Мария Викторовна (1946, Москва), доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ, член СП Москвы, академик РАЕН, лауреат премии им. Владимира Лакшина, автор более чем 500 научных статей по истории русской литературы, театра и критики XX века, 15 монографий, многочисленных публикаций.

МУСАЯН Ара (1946, Франция). Переводчик, прозаик. Вместе с родителями в 1947 году переехал в Советскую Армению, с 1948 по 1952 гг. семья жила в Абхазии. Вернувшись в Армению, в 1953–1964 гг. учился в ереванской русской школе. В 1964 г. вернулся во Францию, учился на философском факультете Сорбонны. Публиковался в журнале «Орти» в 1979–1984 гг. Пишет по-французски и по-русски. Живет в Париже.

РЕЙФ Игорь Евгеньевич (1938). Врач, журналист. Печатается с 1990-х годов. Публикации последних лет: «Мысль и судьба психолога Выготского»; «Писатель на все времена: Юрий Трифонов»; «‘Золотой теленок’, ‘Мастер и Маргарита’: типология массового мышления в тоталитарном обществе»; «‘Каждый выбирает для себя...’ Памяти выдающегося правозащитника генерала П. Григоренко» (автор и составитель). Живет в Германии.

САНДУЛОВ Юрий (1953, г. Артемово). Окончил философский факультет

Ленинградского университета, там же аспирантуру и докторантуру. Работал гл. редактором изд-ва «Лань», преподавал. Печатается в периодических изданиях Русского Зарубежья. Составитель книг по истории русской эмиграции, среди них – «Русские места захоронений в США». Президент общества «Северный Крест», занимается историей Русского Зарубежья.

СКРУНДЗЬ Татьяна (1982, Липецк). Прозаик. Окончила Технический университет в Липецке и Литературный институт им. Горького, публиковалась в журналах «Нева», «Октябрь», «Урал», «Сибирские огни», «Новая Юность» и др. Автор книги стихов «Се человек».

ЧЕРВИНСКАЯ Наталья (Москва). Прозаик, сценарист. Окончила режиссерский фак-т ВГИКА. Работала на киностудии «Союзмультфильм». Эмигрировала в 1977 году. Занимается миниатюрной живописью и скульптурой. Пишет рассказы, публикуется в «Знамени», «Звезде», «Новом Журнале». Сборник рассказов и повестей «Поправка Джексона» вошел в список «Русской премии» 2013 года. Лауреат Литературной Премии им. Марка Алданова, 1 место (2012). Живет в Нью-Йорке.

ЧЕРЕШНЯ Валерий, (1948, Одесса). Поэт. По образованию инженер связи. Автор четырех поэтических книг: «Свое время», «Пустырь», «Сдвиг», «Шепот Акакия»; книги эссе «Вид из себя» и многочисленных публикаций в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Дружба народов», «Постскриптум», «Крещатик» и пр. Живет в Санкт-Петербурге.

ШКЛОВСКИЙ Евгений Александрович (1954, Москва). Прозаик, литературный критик. Окончил филологический факультет МГУ и аспирантуру факультета журналистики. Автор книг прозы «Испытания», «Заложники», «Та страна», «Фата-моргана», «Аквариум», «Точка Омега» и многочисленных публикаций в периодике. Живет в Москве.

ЭТЕЛЬЗОН Михаил (1959, Винница). Поэт. По образованию – инженер и патентовед. Учился в Ленинграде. Победитель международного конкурса в Брюсселе «Эмигрантская лира. 2009». Публиковался в альманахах и периодике: «Нева», «Арион», «Новый Журнал», «Интерпоэзия», «Слово/Word», «День и Ночь», и др. Автор книг: «Под Созвездием Рака», «Соло» и «МеждуМетие». Живет в Нью-Йорке.

ЯРОШЕВСКИЙ Ефим (Одесса). Прозаик, поэт. Родился в Одессе. Публикуется с конца 1990-х гг.; стихи и проза печатались в журналах «Арион», «Крещатик», «Самватас», антологии «Освобожденный Улисс» и др. Живет в Германии.

УКАЗАТЕЛЬ К №№ 281-290, 2015–2018

ЛАУРЕАТЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМ. МАРКА АЛДАНОВА

Анатолий Николин – Жаркий август Терезы. Повесть. 281, 2015; Ночь музея. Повесть, 289, 2017;

Владимир Лидский – Убить оловянного солдата. Повесть. 282, 2016; Слепая любовь. Повесть. 285, 2016;

Дмитрий Исажжанов – «Доля ангелов» Повесть. 285, 2016;

Андрей Белозеров – «Галерея ПМР» Повесть. 286, 2017;

Сергей Захаров – «Номер с видом на океан». Повесть, 288, 2017.

ПРОЗА

Михаил Аранов – С Новым годом, с новым счастьем. Рассказ. 282, 2016;

Владимир Батиев – Свидание в июне. Рассказ 287, 2017; Приключения с турецким барабаном. Рассказ. 290, 2018;

Нина Божидарова – О любви. Три рассказа; О любви: Поцелуй меня!; Предпоследнее желание; Чужая собака; 289, 2017;

Евгений Брейдо – Долг. Рассказ, 284, 2016; «Любовь в Городе». Повесть, 288, 2017;

Игорь Гельбах – Прошлое. Главы из романа 287, 2017; Призрак Алафузова. Отрывки из романа. 290, 2018;

Владимир Гржонко – Время сурка. Роман; 290, 2018;

Марк Зайчик – Для вас, женщины. Рассказ, 282, 2016; Памяти объятий и поцелуев. Рассказ. 285, 2016; История Евсея Бялого. Повесть, 286, 2017;

Сергей Захаров – Сорок дней пути. Повесть. 281, 2015; Время влажного песка. Повесть, 284, 2016; Три рассказа: Мария; Полоса леса; Не выходить бы тебе за майора; 286, 2017; Весна, весна. Повесть, 289, 2017;

Генрих Иоффе – Невыдуманные истории: Колоно; Корова; «Родные ветры вслед за ним летят...»; Газеты у метро «Рэмбо»; 285, 2016; Валюша. Рассказ. 283, 2016;

Елена Катишинок – Счастливый Феликс. Рассказ. 283, 2016;

Нина Кромина – День согласия и примирения. Рассказ 281, 2015;

Леонид Левинзон – Рассказы: В глуши; Купание красного коня; 285, 2016;

Маргарита Меклина – Слоны Ганнибала. Рассказ, 283, 2016;

Михаил Моргулис – «Хохлуша». Рассказ, 288, 2017;

Ара Мусаян – Миниатюры: Не оскорбляя будущего. 281, 2015; Капли на стекле. 284, 2016;

Анатолий Николин – Роза, королева цветов; 286, 2017; Предчувствие Астрид Брандт. Повесть. 287, 2017;

Мария Розенблит – Темное время перед рассветом; 282, 2016;

Татьяна Скрундзь – Кукушка; 290, 2018;

Эдуард Старосельский – Первая скрипка. Рассказ 281, 2015; Был да сплыл. Документальная повесть, 284, 2016;

Елена Улановская – Пальмы на асфальте. Повесть, 284, 2016;

Евгений Шкловский – Рассказы: Домик в Дахау; Упрямая; 290, 2018;
Вадим Ярмолинец – Эта непредсказуемая жизнь. Рассказы, 283, 2016; Страницы семейной истории Смирновских: Зябочка; Голябки; 4 июля; 289, 2017.

ПОЭЗИЯ

Виталий Амурский – «Я из русского детства...». «Ах, пятидесятые...»; «Век без Рыбникова, Визбора...»; Мосты; Поклон Р. Конквесту; «Помню время несытое...»; 281, 2015; Из цикла «Снегорождение»: «Играли кое-как. Закончили ничьей...»; «Страна лохматая...»; Раздвоенный портрет; «Я побывал на родине в гостях...»; «Важно ль, с кем здороваться при встрече...»; «Будь холст там – я б сказал: Сулаж...»; «Ноябрь был мрачен, и декабрь...»; 289, 2017;
Татьяна Ананич – «Говорят, секса не было...»; «Отболев, отстрадав, отлюбя...»; «Эйлатский камень. Соль. Трава. Песок...»; «Песня из прошлого века ‘Мани-мани’»; 290, 2018;

Дмитрий Артис – «Вот она женщина утром...»; «Помню, в детстве еще на бумаге...»; «Поживи я хотя бы еще сорок лет...»; «Под окнами...»; 290, 2018;
Александр Бараиш – Время первых дождей: Перелет; «Голова в полосе отлива...»; Кастель; 284, 2016;

Александр Беляев – «В человеке есть походка...»; «Бутылка с водой в ожиданье цветка...»; «Яркий ночной фиолет фонаря...»; Inverted forest; «Меня пугала несоразмерность...»; «Снегирь сначала плачет о своем...»; 287, 2017;
Ина Близнецова – Прощание с осенним парком; 284, 2016;

Александр Вейцман – «Поль Сезанн, после спора с Золя...»; «Возвратись в этот зал, пыльным зеркалом...»; «Улисс вернулся домой, а дома опять ни души...»; «Прислушайтесь: из пыльного угла...»; 288, 2017;

Александр Верник – Два стихотворения; Рефлексия; «Бессмысленна полочная слеза...»; Возвращение; Читая Сашу Соколова; Букварь; 284, 2016;

Михаил Вирозуб – Жили люди...; Семен Ефимович; Анатолий; Бабушка Лана с любовью; Вот такая молитва; «Мифы пишет чиновник...»; 288, 2017;

Янислав Вольфсон – «Там за окном милиция...»; Городское Романсеро; Вальс; Бегство; 283, 2016;

Анна Гальберштадт – Минута в минуту; «Ты – лис хитро путающий следы...»; «Эвридика в царстве Аида...»; «Я капля в потном бульоне нью-йоркского лета...»; «Ты говорил...»; 287, 2017;

Марина Гарбер – Согладатай. «Я смотрю в окно, муравей ползет по нулю...»; «Кто впотьмах качается за бортом?»; «За занавеской кто-то ждет зари»; «Потому здесь темно и спокойно...»; «Город стеклянным взглядом следит из окон...»; Танго; «Век земляного запаха, цвета хны...»; 281, 2015; Мы никуда отсюда не умрем; «Райок закрыт. Не будет благодати...»; «За часом час крупы толчет курант...»; «Идет издалека, трясет в горсти...»; «Преемница негреющих широт...»; 286, 2017; «Я видела такие лица...»; «Я жила в деревне, молчком и тишком, как все...»; 289, 2017;

Дана Голина – Превращение в камень; «Сиренево-серый, рисованный полдень...»; «Все расставлено по местам...»; Ответь; «Как пленка засвеченный день...»; 284, 2016;

Андрей Грицман – Остров; «Каждый отвечает за себя...»; «Черный ветер подул...»; «Я из леса уйду, выйду на полотно...»; «Слово никто не расслышал...»; Остров; 281, 2015; На пути к Итаке. «Ситуация грустная, моя дорога...»; «Я теперь все больше молчу...»; Приемный покой; «Горело окно в безвестной долине...»; «Утро вечера мудренее...»; «Словно ферматик с ворохом с сумочкой...»; Голос; Осенняя соната; 282, 2016; «Так жизнь ворует у души...»; «Рано с утра, да какое там – с ночи...»; «Все, что я делаю, на самом деле...»; «Стараешься забыть себя, тебя...»; «Так и болтаемся между вчера и завтра...»; Колизей; «Нет ничего там, а может быть, есть...»; «Время разбазаривая по ночам...»; «Жизнь все откладываю на потом...»; «Память спит в банке с маслянистым раствором...»; «Мы с тобой на все это смотрим...»; «Осторожно. Не прислоняться...»; 288, 2017;

Анна Голицына – Сутулый человек; Приступ; О полетах во сне и в старости; Рассветное; 283, 2016;

Андрей Драгунов – Энтомология; Натюрморт; «Я слушал пение сегодня, в понедельник...»; Interegnum; 286, 2017;

Владимир Друк – Стихи разных лет. Автоэпитафия; Орлята; «я был один я подбирал эпитет...»; «в масштабе женщин и мужчин...»; Переводчик; 285, 2016;

Ольга Злотникова – «Здесь даже зверь, себя преодолев...»; Лепет; «Качается соломенная зыбка...»; «так шишка пахнет – тсс! – едва-едва...»; «Я здесь проездом, потому...»; «июль явился бабочкой в окно...»; 288, 2017;

Вера Зубарева – Из цикла «Тень города». «Манхэттен. Солнце не выдержав нагрузки...»; «Город кишит ночными привычками...»; «Кварталы метастазируют заколоченными апартаментами...»; «Парусник с дыркой луны в парусине...»; «Закат остатки света роздал...»; «Ветер площадь пересек наискось...»; «Город спит на краю океана...»; 281, 2015; Дерево; Юрико; Записки из леса. 286, 2017; В ожидание непогод: «Сумятица. В разгаре вьюг фиеста...»; «Снег придет в четыре утра...»; Памяти отца: «день взлетает...»; «Сумерек перевес...»; «Он явился почти на заре...»; «Под землю ковчег...»; «Вот земля принесла весть...»; «Куда ты теперь ведешь свой корабль?..»; «Это август. Бабочек ворожба...»; «Хочется зимы – высокой, чистой...»; Отпевание; «Кто-то в сад полночный вышел...»; 290, 2018;

Елена Игнатова – «Как, не ударяя в крик, о фанерном детстве...»; «Всадник бел на оснеженной горе...»; Спас-на-Крови; «То была роза, в которую я влюбилась...»; «Всхлипнуть, припасть к офицерской шинели...»; 284, 2016;

Борис Ильин – Credo; Любовь к музыке; Апология невежества; «Тютчев дома по-немецки...»; 283, 2016; «ножка болит грибная...»; «мал человек да долог...»; МСК; Дубовая роща; Дна; «решали и решили...»; 290, 2018;

Катя Капович – Приглашение на острова: «На старой ферме ведра моло-

ка...»; Приглашение на острова; «Как люди светятся в домах...»; «Видишь, одной строкой...»; «По хрупкому краю блестящей слюды...»; «Мы в лодочке синей скрипучих дворовых качелей...»; 289, 2017;

Геннадий Кацов – Вершины треугольника: Элегия сумерек; Пастораль; Стансы к прожитым в августе суткам; Вершины треугольника; Сродство; 282, 2016; Просыпаясь из детства: Ранним вечером; Шестидесятый день после жизни. Отцу; Сновидение; Ураган с утра на Манхэттене; «От желания жить появляются дети, идея...»; 287, 2017;

Бахыт Кенжеев – «Ах, Гамлет, Гамлет, нищий друг, ну в чем твоя вина?»; «Ипполит разбогател...»; «Спят усталые игрушки...»; «На старости годов – вот подлость!...»; «У фонарей, где хлопья снега тают...»; 283, 2016; «куда спешишь моя рогнеда...»; Гражданские стихи; «Опять весна, о *primavera*, вновь язык...»; «Служил на свете рыцарь бледный...»; 289, 2017;

Наталья Крофтс – О нас; Анубис едет в отпуск; «Отраженье гор на воде – впритык...»; «Кровью грудь небесная багрянится...»; Ведьма, Сицилийское; «Мы тихонечко сходим с ума...»; 284, 2016;

Ираида Легкая – «Роятся в голове слова...»; «Погибают летучие мыши и пчелы...»; «Спят мои читатели...» 289, 2017;

Елена Литинская – По сокрытому временем следу...: «Сколько, не помню, лет...»; Предрождественское; «Лица растекаются во времени...»; «Три страны, три погоста...»; 287, 2017;

Ирина Машинская – Эвридика: «Когда человек умирает...»; Отец; «писать стихи – какой анахронизм...»; Ты тоже; Эвридика; 285, 2016;

Елена Малишевская – «Подай мне знак, душа моя...»; «был пир, объявленный заранее...»; «Кипя движеньем тесным, щиплет пена...»; 287, 2017; Забытые стихи; «– Вам... мятных? – и в один кивок...»; «где была? не отвечает...»; «Окно, над которым сыреет венец...»; «Так память тяжела...»; 290, 2018;

Зоя Межирова – Сквозь предвечернюю прохладу; Живопись Кати Московской; «Я увижу снег в горах...»; Памяти отца; 290, 2018;

Екатерина Оленина – «Прозвенев высокой синей звенью...»; «Я налегке. Куда иду, не вем...»; «На зернах и на звездах колдовал...»; Каю; «Он был поэтом...»; «Над головой опрокинуто веретено...»; 288, 2017;

Хельга Ольшванг – Четыре стихотворения и после; «В лесу идешь по розовой дороге...»; «Условимся, что эта рябь...»; «Там где арка и я...»; «Скоро они – решенные праздники...»; «Напрасно они прибывают, двоясь...»; 282, 2016; «Встает река в прозрачных лагах...»; «Из книги «Фрагменты оперы...»; 289, 2017;

Екатерина Преображенская – «Самоубийцы с веревками...»; «Ну вот мы и добрались до сути дела...»; «Ты вышел в магазин за хлебом...»; «Листья по-прежнему пустынные...»; «Автозапчасти, – о Боже...»; 288, 2017;

Михаил Рабинович – «Не любит запаха духов он...»; «Поздний ветер, исчезнув в морщинах реки...»; «Звездный космос, невесом...»; «Из строчки – нервной, темной, протяжной...»; «Разнополых людей коллектив...»; 286, 2017;

Александр Радашкевич – На улицы судьбы: Форточка; На смерть А. Собчака; Вогезская площадь; На цыпочках; Я хотел бы; «Сардиния в исходе октября...»; 289, 2017;

Евгений Ракович – «Ты на окне сидишь...»; «Бессмертная душа. Так это страшно...»; Ветер; Новоселье отца; Последний ужин; 286, 2017;

Ирина Рувинская – «почему не сказали что он звонил?...»; Но; Сосед по койке; «этот дом скоро не будет существовать...»; 287, 2017;

Александр Самарцев – «Что мне взять от Батая от Фуко с Дерридой?...»; «Сугробов наплела и тишиной достала...»; «Повезло России...»; «Голубоватой шерстью отлегло...»; Город; 289, 2017;

Виктор Санчук – «Мой Господи, скажи мне, что со мною...»; «Он под Гончими Псами летит...»; «Когда ты уходишь, так просто...»; «В двухэтажном, как шкаф...»; «05.16.09. 05:48 am. Park Av...»; 287, 2017;

Валентина Синкевич – «Тот Свердловск, что дымом...»; Фонарь; «Сядем, память моя...»; 284, 2016; Дома; Тогда; «Предстоит ли нам встреча? ...»; 288, 2017;

Валерий Сосновский – Манхэттен. Русский в Нью-Йорке; Таймс Сквер; Облака над Гудзоном; 285, 2016

Григорий Стариковский – «день такой рядовой...»; «выдерживать, дырявой леечкою звеня...»; «для вошедшего в церковь...»; «когда последний автобус отправится в город...»; «взгляд проскальзывает в лунку...»; «ворочаться, думать о воскрешении...»; 288, 2017; «лист, светящийся подарок...»; «огонь напоминающий – была...»; 289, 2017;

Евгений Терновский – На смерть М. Л.; «Теперь и походка, старея...» 289, 2017

Алексей Ткаченко-Гастев – Оливеру, с любовью и ностальгией; Новогоднее; Сон об Америке; Человек; 288, 2017;

Рудольф Фурман – Ночные дожди; О вечности; «Поздний вечер...», 283, 2016; *Эдуард Хвилковский* – Белое ощущение. Письмо. Лакомство и яд. В поисках секрета; 281, 2015;

Алексей Цветков – Шенберг в брентвуде; То не ветер; Домашнее чтение; За чертой; Сутра с утра; 289, 2017;

Валерий Черешня – Городское трио и вальс: Вода; Выходной; Провода; Вальс; 283, 2016; Женщина – Старость – Смерть: «О женщине, снимающей чулок...»; «Женщине, живущей в десяти...»; «Старушечьи глаза, глядящие упорно...»; «И в этом птичьем облике...»; «Что, кроме комнаты, осталось...»; «Теперь я прихожу к тебе нечасто...»; 290, 2018;

Феликс Чечик – «Молодильное яблоко съев...»; «перебродивший сок...»; «А справа и слева: родители, дети и внуки...»; «Пусть кто-нибудь другой, не я...»; «На протяжении двадцати...»; «И когда я пойду, – не домой...»; «Чай из мяты. След кометы...»; «Из всех орудий по...»; «Ум пропьем и честь уроним,...»; «В день независимости от...»; 286, 2017;

Сергей Шабалин – «Я вспоминаю наш побег из зоны...»; «До поляны в бана-

новом штате...»; «В “Сентрал-парке” декабрь...»; «Меня во сне приговорили к расстрелу...»; 286, 2017;

Сергей Шестаков – «говори, говори со мною...»; Два письма; «мне не снится больше тот край...»; Стихи о силлаботонике; 287, 2017;

Леопольд Эпштейн – «Грешно ли молиться о смерти тирана?...»; «Высокомерие ахматовского толка...»; ИСВ; Апокалиптическое; Прогулка в горах; 289, 2017;

Марина Эскина – Три посвящения предисловием и послесловием: Предисловие. Вариации на тему 62-го псалма; «В приложении к энциклопедии Британника...»; «В детство, в Зеленогорск...»; «Было недетским эхом...»; Послесловие; 285, 2016;

Михаил Этельзон – Античные мотивы: Орган; Рождение Венеры; Дельфы; Скитания; Пришелец; 283, 2016; День Благодарения; Надежда; 25. 12. 2016; Let it be; Ускоряется время; Отлив; 290, 2018;

Владимир Эфроимсон – Замысловатый путь к цели; «Где-то там, в голове...»; Полеты во сне и наяву; Один день; 286, 2017;

Анастасия Юркевич – «Вот такая печаль – постыдная, неживая...»; «Город Б. встречает тебя дождем...»; Охотный ряд; «Середина июля, пахнет осенью...»; Царь Давид; 282, 2016; Любовь; «Сколько дней осталось до сентября?...»; «Сначала вырезали легкое...»; «Москва – Саратов»; «Нам горе не беда...»; 285, 2016;

Ефим Ярошевский – Стихи разных лет: «Поэт, бегущий в полночь...»; «Топили камины, топили печи...»; «Когда не пишутся...»; «Медленно постигаю твои стихи...»; Комфорт зимы; Прогулка по Летнему саду; 290, 2017.

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАЗАХСТАНА

Константин Емельянов – На углу «Дерибаса» или Повесть о школе, которой нет; 283, 2016;

Лиля Калаус – Горгона. Повесть, 283, 2016;

Бахытжан Канаянов – Рассказы. Жалгыз Агаш; Куранты небес; 283, 2016; Стихи: Повесть; «Вдоль горной речки на коне»; Знаки; 283, 2016;

Ермек Турсунов – Три рассказа: Кастинг на «Келин»; Бриллиантовый дым; Кошкар; 283, 2016;

Диляра Тасбулатова – Из цикла «Театр»; 283, 2016.

Стихи репрессированных поэтов Казахстана:

Ахмет Байтурсунов – «Мне ли бояться смерти в грядущем?...», 283, 2016;

Мыржакып Дулатов – Ностальгия; 283, 2016;

Магжан Жумабаев – Настроенье; Сон; Луч; 283, 2016;

Шакарим Кудайбердыев – Приходит лето; Толстосумы. Сильные мира сего; 283, 2016.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сергей Максимов – Денис Бушуев. Главы из III тома романа (Публ. – Андрей Любимов) 288, 2017;

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- Андрей Бабилов* – К истории берлинского «Братства Круглого Стола». Неизвестная рецензия Набокова; Публикация второй части «Дара» Набокова и ее критика. 281, 2015;
- Елена Дубровина* – «Твой голос далекий...» Поэт и критик Юрий Мандельштам. 282, 2016;
- В. П. Камкин* – Письмо М. М. Карповичу (Публ. – Ю. Сандулов). 283, 2016;
- М. М. Карпович* – Герберт Уэллс о России (Публ. – М. Адамович). 285, 2016;
- Комментарий (НЖ, №29, 1959). 289, 2017;
- Виталий Койсин* – Старческий дом в Юи. 282, 2016;
- Вячеслав В. Иванов* – «И Бог ночует между строк...» (Публ. – Е. Якович). 290, 2018;
- Джордж Ф. Кеннан* – Америка и русское будущее. 289, 2017;
- «Точку ставить рано...» РОВС. Приказы 1939 года (Публ. – Ю. Сандулов). 284, 2016;
- Л. Ф. Краснова* – Биографические данные о Войска Донского генерале от кавалерии Петре Николаевиче Краснове. (Публ. – Жорж Шерон). 287, 288, 2017;
- Переписка М. А. Алданова и Г. Д. Гребенщикова «Я поверил в Вашу искренность...» (Публ., предисловие и примечания – О. Б. Кудзоева). 288, 2017;
- Сергей Максимов* – Главы из III-го тома «Денис Бушуев» (Публ. – А. Любимов). 286, 2017;
- Юрий Мандельштам* – Не вошедшее в книги. Стихи; Статьи. 282, 2016; Четыре эссе (Публ. – Е. Дубровина). 285, 2016; Три статьи (Публ. – Е. Дубровина). 286, 2017; О франко-русских прозаиках (Публ. – Е. Дубровина). 287, 2017;
- Юрий Мандельштам* – Четыре эссе (Публ. – Е. Дубровина). 285, 2016;
- Василий Молодяков* – Серебряный век в БСЭ: невышедшая статья. 282, 2016;
- Ирэн Немировски* – Погром. Главы из романа (Публ. – Ю. Линник). 286, 2017;
- «Священное право творить свободно». *Литераторы мира о съездах советских писателей* (Публ. – Ю. Сандулов). 290, 2018;
- Кн. Вера Константиновна Романова*. После войны (Публ. – М. Адамович). 283, 2016;
- Борис Сергеевский* – Автобиография. 283, 2016;
- Мари Стравинская* – Мой дедушка Юрий Мандельштам. 282, 2016;
- Владимир Сирин* – Материалы для критики. 281, 2015;
- Марк Уральский* – Устами Алданова. 289, 2017;
- «Огонь бывает только настоящим...» О книге А. Ремизова «Огонь вещей» (Публ. – А. С. Урюпина). 284, 2016;
- Владимир Хазан* – «Общение в высоком плане...» Письма Софии Прегель к М. С. и М. О. Цетлиным. 283, 2016;
- Встреча двух эмиграций. Переписка В. Маркова и М. Карповича (Публ. – Ж. Шерон), 289, 2017

НОВЫЙ ЖУРНАЛ КАК ЗЕРКАЛО ЭМИГРАЦИИ

Дмитрий Бобышев – Три эмигрантских послания URBI et ORBI. 289, 2017;
Стенли Рабинович – Вклад Томаса П. Витни в культуру эмиграции. 289, 2017;

КРУГЛЫЙ СТОЛ: 100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ – 100 ЛЕТ ЗАРУБЕЖНОЙ РОССИИ

Уроки истории. Круглый стол потомков белой эмиграции, 289, 2017;
Юрий Сандулов – Путь архиепископа Андрея: Слово на наречение; 289, 2017;
Виктория Курченко – Из воспоминаний Е. А. Лодыженской об А. Ф. Керенском. 289, 2017.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

К 145-летию И. А. Бунина:

Ренэ Герра – «Я вырос в бунинских местах...». 281, 2015;

Юрий Иваск – Бунин. 1970 год. 281, 2015;

Марк Уральский – «Под бунинской кровлею». 281, 2015;

Обращение Международной группы поддержки номинирования И. А. и В. Н. Буниных на звание «Праведник народов мира». 281, 2015;

К 100-летию со дня рождения:

Сергей Максимов – Черная метель. Есенин. Мои первые литературные шаги. 281, 2015; Рассказы 1950–1960-х годов. (Публ. – А. Любимов). 282, 2016; 283, 2016; 284, 2016; 285, 2016; Денис Бушуев. Глава из 3-го тома романа (Публ. – А. Любимов). 288, 2017.

ЛИТЕРАТУРА. КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Марина Адамович – «Не знал я вас, господка кадеты...». 283, 2016;

Антон Бакунцев – Как Бунин готовился стать эмигрантом 1919–1920. 287, 2017;

Лев Бердников – «Волнует эхо здесь звучавших слов...» Литературный салон Рашели Хин. 283, 2016;

Джон Боулт, Юлия Горячева – «Верю: сближения не миновать!» Интервью. 285, 2016;

Адриан Ваннер – Поэзия перемещения. 289, 2017;

Ренэ Герра – Юрий Анненков – между кистью и пером. 282, 2016;

Т. В. Гордиенко – Старший брат Ивана Бунина. 285, 2016; Педагогический опыт Л. Д. Ржевского. 289, 2017;

Юлия Горячева – Цвет надежды Ирины Ратушинской. 286, 2017;

А. Гусаченко – Деятельность сокольских организаций в межвоенной Латвии 287, 2017;

Елена Дубровина – «О ветер вечности моей...» Поэтесса Татьяна Штильман (1908–1984). 281, 2015; «Чужие звезды». Русские поэты в Абиссинии. 284, 2016; Юрий Мандельштам. Детство, юность и музы поэта. 285, 2016;

Геннадий Кацов – Статья о поэтах. 286, 2017;

Александр Кедрин – Встречи. 285, 2016;

Андрей Красильников – Есть у революции начало и есть у революции конец. 290, 2018;

Ксения Кривошеина – Неэвклидов палиндром имен и судеб, небесных и не очень. 284, 2016;

Никита Кривошеин – Просвещения плоды. 285, 2016;

Виктория Курченко – Борис Львович Бразоль. 1885–1963. 281, 2015;

А. В. Мартынов – Философы Русского Зарубежья и Вторая мировая война. 281, 2015;

Ольга Матич – Необорочная «Палисандрия» Саши Соколова: время, альтернативная история, память. 289, 2017;

Ара Мусаян – Искусство и неистовство. 290, 2018;

Юкио Накано – К проблеме жанра дистопии. 282, 2016; Американский период Марка Алданова. 286, 2017;

Игорь Рейх – Русский Айзик Азимов. 290, 2018;

Мария Рубинс – Литература Ар-деко. 288, 2017;

Майя Сёмина – История портрета князя Оболенского кисти Малявина. 287, 2017; Неизвестный портрет Марии Цетлин 289, 2017;

Валентина Синкевич – Николай Моршен. 1917– 2001. 289, 2017;

Саша Соколов, Евгений Соколов – «Язык – это генетическое». Беседа. 286, 2017;

Марк Уральский – Еврейские друзья и покровители Бунина. 282, 2016; Лео Бирински – киносценарист и драматург. 283, 2016; Кузнецкстрой: литературный миф как документ эпохи. 287, 2017; Штрихи к литературному портрету: Троцкие о Горьком. 288, 2017;

Амир Хисамутдинов – Православие и русская Аляска. 282, 2016;

Шесть монологов Эрнста Неизвестного (*Лит. запись М. Адамович*). 284, 2016;

Сергей Шиндин – Габриэль Гершенкройн. 284, 2016; Габриэль Гершенкройн. Штрихи к портрету. Часть II. 285, 2016; Из «теневого окружения» Мандельштама: Сергей Маковский. 288, 2017;

Е. Шраговиц – Парадокс. Загадка двух стихотворений Пастернака. 283, 2016;

Сандра Шульберг – «Нюрнберг: урок на сегодня». 284, 2016.

КНИГА И СУДЬБА

Елизавета П. Глинка – Doctor-Liza.Livejournal.com. 289, 2017;

Геннадий Кацов – «Но двух песчинок не хватало». Поэт Д. Бобышев. 289, 2017;

Наталя Червинская – Записки читателя. 290, 2017.

ИНТЕРВЬЮ, ЭССЕ, ЗАМЕТКИ

Марина Адамович – Апология эмиграции, или Роман Борисович vs Роман Николаевич. Диатриба. 284, 2016;

Лилия Бельская – «Я не в изгнание, я – в посланье». 290, 2018;

Д. Бобышев, Ю. Горячева – «Жить, просто жить сквозь годы, ночи, дни...».

Интервью. 282, 2016;

- Сергей Голлербах* – Вторая волна. 284, 2016; Памяти двух друзей. 287, 2017; Голос двух столетий. 290, 2018;
- Т. Гордиенко* – «Переводчики не стреляют». *Интервью с Вольфгангом Казаком*. 1994. 288, 2017;
- Лев Гудков* – Свободы черная работа. *Интервью Н. Ажгихиной*. 287, 2017;
- Александр Кедрин* – Друзья мои поэты, великие и малые (*Публ. – Ю. Сандулов*). 287, 2017;
- Kolodzei Art Foundation – вчера, сегодня, всегда: *Татьяна Колодзей: Истоки. Костяки, Додж и другие души*. 283, 2016; *Наталья Колодзей: ...И жизнь, и слава, и любовь*. 283, 2016;
- Ольга Матич: Люблю объединять (Интервью Юлии Горячевой.)* 287, 2017;
- Людмила Оболенская-Флам* – Двадцатый год Комитета «Книги для России». 284, 2016;
- Виталий Райхман* – Стихотворение. Последний из шестидесятых, любимцев клятых. 287, 2017;
- Валентина Синкевич* – «Обратная гениальность». 282, 2016; Памяти Евгения Александровича Евтушенко. 287, 2017;
- Ирина Тишина* – Открывая русскую Америку. 287, 2017;
- Сергей Шиндин* – К биографии Осипа Мандельштама. 281, 2015; Обязательный постскрипtum и необязательные детали. 283, 2016.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

- Марина Адамович* – Джон Глэд (1941–2015). 281, 2015; Памяти Никиты Алексеевича Струве (1931–2016). 283, 2016; Елизавета Петровна Глинка. (1962–2016). 285, 2016; Сын кадета. Памяти князя В. К. Голицына (1942–2018). 290, 2018;
- Галина Артамонова* – Памяти Людмилы Фостер (1931–2015). 281, 2015;
- Сергей Голлербах* – Глезер Александр Давидович (1934–2016); Эрнст Неизвестный (1923–2016). 284, 2016;
- Евгений Соколов* – Памяти Елизаветы Глинки. 285, 2016.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Марина Адамович* – Доктор Лиза Глинка. «Я всегда на стороне слабого». Дневники, беседы; *Лиза Глинка. Письма о любви к людям*. 290, 2018;
- Лиана Алавердова* – Валентина Синкевич. При свете лампы. Стихи разных лет; 286, 2017;
- Виталий Амурский* – Рощин Н. Я. Парижский дневник 286, 2017;
- А. Ю. Вовк – Матич О. Записки русской американки: Семейные хроники и случайные встречи; 287, 2017;
- Петр Базанов* – Ермичев А. А. Философская и общественная мысль в журналах русского зарубежья. 288, 2017; Шмелев А. В. Внешняя политика правительства адмирала Колчака. 289, 2017;

- Владимир Гандельсман* – Татьяна Вольтская. В легком огне; 289, 2017;
- Блок Марины Гарбер*: Поэты в Нью-Йорке. О городе, о языке, диаспоре; Николай Боков. Смута новейшего времени или Удивительные похождения Вани Чмотанова; Евгений Терновский. Сеанс; Ара Мусаян. Капли на стекле; Евгений Водолазкин. Авиатор. 286, 2017; Андрей Грицман, Борис Херсонский. Свитки. Библейские стихи; Хельга Ольшванг. Трое. Стихи; Анна Гальберштадт. Transit. Стихотворения; 287, 2017; Михаил Шишкин. Пальто с хлястиком: короткая проза, эссе; Григорий Стариковский. «Автономный источник»; Глеб Шульпяков. Саметь: Книга стихотворений и поэм; Александр Кабанов. «На языке врага». Стихи о войне и мире; 288, 2017;
- Евгений Голлербах* – Марк Уральский. Неизвестный Троцкий; 287, 2017;
- Вульфина Лариса. Неизвестный Ре-Ми: художник Николай Ремизов. Жизнь, творчество, судьба; 290, 2018;
- Генрих Иоффе* – Лев Бердников. Евреи в царской России: сыны или пасынки? 282, 2016;
- Моргана Девли* – Василий Молодяков. Джордж Сильвестр Вирек: больше чем одна жизнь; 281, 2015;
- Геннадий Кацов* – Евгений Брейдо. Эмигрант. 288, 2017;
- Ксения Кукина* – Анна Иделевич. «Вспять реки ДНК». 287, 2017;
- В. Лазарис* – Владимир Ханелис. Родились и учились в Одессе. 281, 2015;
- Виктор Леонидов* – И. А. Бунин. Новые материалы. «...Когда переписываются близкие люди»; Саймон Карлинский. Марина Цветаева: Ее жизнь и творчество; Никита Струве. Осип Мандельштам; 281, 2015; Солженицынские тетради: Материалы и исследования; И. Л. Жалнина-Василькиоти. Русская эмиграция в Греции; Российская эмиграция в борьбе с фашизмом. 282, 2016; «Вера жена Бориса»: Дневники Веры Алексеевны Зайцевой; Marina Tsvetaeva. Poésie lyrique, Poèmes de Russie. Poèmes de maturité; 284, 2016; Н. В. Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии; Лейб-гвардии конная артиллерия в боях и операциях Великой войны; Солженицынские тетради: Материалы и исследования; 287, 2017; Скитания русского офицера. Дневник Иосифа Ильина; Н. В. Чарыков. Беглый взгляд на высокую политику; Ежегодник Дома Русского Зарубежья им. Александра Солженицына; 288, 2017; Н. М. Бубнов. Сквозь череду потерь. Воспоминания; 289, 2017; Владимир Варшавский. Ожидание: проза, эссе, литературная критика; 290, 2018;
- Артем Лысенко* – Открывая новые горизонты. 290, 2018;
- Михаил Маргулис* – Владимир Лазарев. Доктор Логос. 281, 2015;
- Андрей Мартынов* – Алексей Белков. Всегда за Россию! История периодической печати Русского Охранного Корпуса; 284, 2016;
- М. В. Михайлова А. Н. Кравцов* – Михаил Соловьев. Когда боги молчат. Малая война. 290, 2018;
- Василий Молодяков* – Ренэ Герра. О русских – по-русски; 281, 2015; Георгий Адамович. Собрание сочинений. «Последние новости»; Георгий Адамович.

Собрание сочинений в 18 томах; Всеволод Иванов. Красный лик. Мемуары и публицистика; 282, 2016;

Ростислав Полчанинов – А. А. Самцевич. Русские и украинцы в вооруженных силах Независимой Державы Хорватии. 282, 2016; Вячеслав Войлоков. Русская осень. Роман. 288, 2017;

Анна Смутная – Р. В. Полчанинов. Мы, сараевские скауты-разведчики. Дети Белого движения; 262, 2016;

Ольга Соколова – Николай Боков. Созерцания и вздохи. 284, 2016;

Григорий Стариковский – Марина Гарбер. Каждый в своем раю. 284, 2016;

Рудольф Фурман, Лиана Алавердова – Валентина Синкевич. При свете лампы. Стихи разных лет. 286, 2017;

Борис Хазанов – Вадим Фадин. Пейзаж в окне напротив. 286, 2017;

Сергей Шиндин – Аполлоновский сборник. 288, 2017;

Владимир Яранцев – В. Батшев. Власов; В. Батшев. Литературный календарь. 286, 2017.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Марина Адамович 281, 2015; 283, 284, 285, 2016; 289, 2017; 290, 2018
Надежда Ажгихина 287, 2017
Лиана Алавердова 286, 2017
Виталий Амурский 281, 2015; 285, 2016; 286, 289, 2017
Татьяна Ананич 285 2016; 290, 2018
Михаил Аранов 282, 2016
Галина Артамонова 281, 2015
Дмитрий Артис 290, 2018
Андрей Бабилов 281, 2015
Петр Базанов 288, 289, 2017
Ахмет Байтурсынов 283, 2016
Антон Бакунцев 287, 2017
Владимир Батишев 287, 288, 2017; 290, 2018
Александр Бараиш 284, 2016
Лилия Бельская 290, 2018
Андрей Белозеров 286, 2017
Александр Беляев 287, 2017
Лев Бердников 283, 2016
Наталья Бешенковская 290, 2018
Ина Близнецова 284, 2016
Дмитрий Бобышев 282, 2016; 286, 289, 2017
Нина Божидарова 289, 2017
Джон Боулт 285, 2016;
Евгений Брейдо 284, 2016; 288, 2017
Адриан Ваннер 289, 2017
Александр Вейцман 288, 2017
Александр Верник 284, 2016
Михаил Вирозуб 288, 2017
А. Ю. Вовк 287, 2017;
Янислав Вольфсон 283, 2016
Анна Гальберштадт 287, 2017
Владимир Гандельсман 289, 2017
Марина Гарбер 281, 2015; 286, 287, 288, 289, 2017
Игорь Гельбах 287, 2017; 290, 2018
Ренэ Герра 281, 2015; 282, 2016
Елизавета Глинка 289, 2017
Дана Голина 284, 2016
Евгений Голлербах 287, 2017; 290, 2018.
Сергей Голлербах 284, 2016; 287, 2017; 290, 2018
Анна Голицына 283, 2016
Т. В. Гордиенко 285, 2016; 288, 289, 2017
Юлия Горячева 282, 285 2016; 286, 287, 2017
Владимир Гржонко 290, 2018
Андрей Грицман 281, 2015; 282, 2016; 288, 2017

- Лев Гудков 287, 2017
А. Гусаченко 287, 2017;
Моргана Девли 281, 2015
Андрей Драгунов 286, 2017
Владимир Друк 285, 2016;
Елена Дубровина 281, 2015; 282, 284, 285, 2016; 286, 287, 2017
Мыржакып Дулатов 283, 2016
Константин Емельянов 283, 2016
Магжан Жумабаев 283, 2016
Марк Зайчик 282, 285, 2016; 286, 2017
Сергей Захаров 281, 2015; 284 2016; 286, 288, 289, 2017
Ольга Злотникова 288, 2017
Вера Зубарева 281, 2015; 286, 2017; 290, 2018
Вячеслав В. Иванов 290, 2018
Юрий Иваск 281, 2015
Елена Игнатова 284, 2016
Борис Ильин 283, 2016; 290, 2018
Генрих Иоффе 282, 285 2016
Ольга Исаева 283, 2016
Дмитрий Исакжанов 285, 2016;
Вольфганг Казак 288, 2017
Лиля Калаус 283, 2016
Бахытжан Канапьянов 283, 2016
Катя Капович 289, 2017
М. М. Карпович 285 2016; 289, 2017
Елена Катишонок 283, 2016
Геннадий Кацов 282, 2016; 286, 287, 288, 289, 2017
Александр Кедрин 285, 2016; 287, 2017
Джордж Ф. Кеннан 289, 2017
Бахыт Кенжеев 283, 2016; 289, 2017
Виталий Койсин 282, 2016
Наталья Колодзей 283, 2016
Татьяна Колодзей 283, 2016
Ф.Н. Кравцов 290, 2018
Андрей Красильников 290, 2018
Л. Ф. Краснова 287, 288 2017
Ксения Кривошеина 284, 2016
Никита Кривошеин 285, 2016;
Нина Кромина 281, 2015
Наталья Крофтс 284, 2016
Шакарим Кудайбердыев 283, 2016
О. Б. Кудзоева 288, 2017
Ксения Кукина 287, 2017
Виктория Курченко 281, 2015; 289, 2017
Владимир Лазарис 281, 2015

- Леонид Левинзон 285, 2016;
Ираида Легкая 289, 2017
Виктор Леонидов 281, 2015; 282, 284, 2016; 287, 288, 289, 2017
Владимир Лидский 282, 285 2016;
Ю. И. Линник 286, 2017
Елена Литинская 287, 2017
Артем Лысенко 290, 2018
Андрей Любимов 281, 2015; 282, 283, 284, 285, 2016; 286, 288, 2017; 290, 2018
Сергей Максимов 281, 2015; 282, 283, 284, 285 2016; 286, 288, 2017
Юрий Мандельштам 282, 285 2016; 286, 287, 2017
Елена Малишевская 287, 2017; 290, 2018
Андрей Мартынов 281, 2015; 284, 2016
Ольга Матич 287, 289, 2017
Ирина Машинская 285, 2016;
Зоя Межирова 290, 2018
Маргарита Меклина 283, 2016
Василий Молодяков 281, 2015; 282, 2016
Михаил Маргулис 281, 2015;
Михайлова М. В. 290, 2018
Михаил Моргулис 288, 2017
Ара Мусаян 281, 2015; 284, 2016, 290, 2018
Юкио Накано 282, 2016; 286, 2017
Ирэн Немировски 286, 2017
Анатолий Николин 281, 2015; 286, 287, 289, 2017
Людмила Оболенская-Флам 284, 2016
Екатерина Оленина 288, 2017
Хельга Ольшванг 282, 2016; 289, 2017
Константин Пио-Ульский 289, 2017
Ростислав Полчанинов 282, 2016; 288, 289, 2017
Екатерина Преображенская 288, 2017
Михаил Рабинович 286, 2017
Стенли Рабиновиц 289, 2017
Александр Радашкевич 289, 2017
Виталий Райхман 287, 2017
Евгений Ракович 286, 2017
Игорь Рейх 290, 2018
Мария Розенблит 282, 2016
Мария Рубинс 288, 2017
Ирина Рувинская 287, 2017
Александр Самарцев 289, 2017
Юрий Сандулов 283, 284, 2016; 287, 289, 2017; 290, 2018
Виктор Санчук 287, 2017
Майя Сёмина 287, 289, 2017
Борис Сергиевский 283, 2016
Валентина Синкевич 282, 284 2016; 287, 288, 289, 2017

- Владимир Сирин* 281, 2015
Татьяна Скрундзь 290, 2018
Анна Смутная 282, 2016
Евгений Соколов 285, 286, 2017
Саша Соколов 286, 2017
Ольга Соколова 284, 2016
Валерий Сосновский 285, 2016
Григорий Стариковский 284, 2016; 288, 289, 2018
Эдуард Старосельский 281, 2015; 284 2016
Мари Стравинская 282, 2016
Диляра Тасбулатова 283, 2016
Марина Темкина 289, 2017
Евгений Терновский 289, 2017
Ирина Тишина 287, 2017
Алексей Ткаченко-Гастев 288, 2017
Ермек Турсунов 283, 2016
Елена Улановская 284, 2016
Марк Уральский 281, 2015; 282, 283, 2016; 287, 288, 289, 2017
А. С. Урюпина 284, 2016
Рудольф Фурман 283, 2016; 286, 2017
Владимир Хазан 283, 2016
Борис Хазанов 286, 2017
Эдуард Хвиловский 281, 2015
Амир Хисамутдинов 282, 2016
Алексей Цветков 289, 2017
Валерий Черешня 283, 2016; 290, 2018
Наталья Червинская 290, 2018
Феликс Чечик 286, 2017
Сергей Шабалин 286, 2017
Сергей Шестаков 287, 2017
Жорж Шерон 287, 288, 289, 2017
Сергей Шиндин 281, 2015; 283, 284, 285, 2016; 288, 2017
Евгений Шкловский 290, 2018
Евгений Шраговиц 283, 2016
Сандра Шульберг 284, 2016;
Анастасия Юркевич 282, 285 2016;
Марина Эскина 285, 2016;
Михаил Этельзон 283, 2016; 290, 2018
Леопольд Эпштейн 289, 2017
Владимир Эфроимсон 286, 2017
Владимир Яранцев 281, 2015; 286, 2017
Ефим Ярошевский 290, 2018
Вадим Ярмолинец 283, 2016; 289, 2017

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

General Sponsor of The New Review, Inc.: Zimin Foundation
The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Benefactors: The Tcherepnin Society, Mr. P. Tcherepnine;

Sponsors: Russian Nobility Association in America; Capital Builders Group, Mr. & Mrs. G. Lukin; Mr. S. Hollerbach;

Fellows: The Orthodox Hospitaller Knights, Countess Tatiana Bobrinskoy; Mr. G. Glinka; Mr. & Mrs. B. Pushkarev; Mr. & Mrs. V. Galitzine;

Friends: Mr. M. Averbuch; Mr. A. Moussaian; Ms. C. Raeff.

It requires the support of loyal friends for year 2018:

Patron –	\$ 5,000 and up
Benefactor –	\$ 2,000 and up
Sponsor –	\$ 1,000 and up
Fellow –	\$ 500 and up
Friend –	\$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity» pursuant to the provisions of the Internal Revenue code 501 (c) (3). Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 902
New York, NY 10012

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Николай Сарафанников – тел.: 7-495-304-4879

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Париж, Франция: Виталий Амурский: vitaly.amoursky@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:

Дом Русского Зарубежья: 109004 Москва, Нижняя Радищевская, д. 2

Магазин «Фаланстер»: Москва, Малый Гнезниковский пер., д.12/27,

Librairie du Globe: 67, Bd. Beaumarchais 75003 Paris, France

на сайте журнала (кнопка: Подписка), через PayPal

Вы можете оформить электронную подписку на журнал.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (кнопка: Подписка)

www.newreviewinc.com

www.newreviewworld.com

www.rusdocfilmfest.org